ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

4

АПРЕЛЬ

1958

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

Содержание

К 86-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

АНРИ БАРБЮС — О Ленине *(С послесловием Альфреда Куреллы)* 3

ХАРИНДРАНАТ ЧАТТОПАДХАЙЯ — К поэтам *(Стихотворение)* 30
ВЕРКОР — Рассказы 31
МИТЧЕЛ УИЛСОН — Брат мой, враг мой (*Роман. Окончание*) 58

КРИТИКА

Н. МИХАЛЬСКАЯ — Роман Димитра Димова „Табак“ 189
ИВАН КАШКИН — Перечитывая Хемингуэя 194

РЕЦЕНЗИИ

И. БЕРНШТЕЙН — Без шефа 207
П. ТОПЕР — Рассказы Говарда Фаста 210

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Н. ГУДЗИЙ — По Англии и Шотландии 215
АРНОЛЬД КЕТТЛ—Английская литература в 1955 году 219

ТВОРЧЕСКАЯ ТРИБУНА

МИЛОСЛАВ СТЕГЛИК — Молодому драматургу . . . 230
АННА САКСЕ — О повести Марии Домбровской . . . 233
ЕФИМ ДОРОШ — Открытое письмо Марии Домбровской 235

4

1956

АПРЕЛЬ

ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА

ГОВАРД ФАСТ — Заметки писателя 240

ПУБЛИЦИСТИКА

ЛЕВ НИКУЛИН — Стамбул и Анкара 244

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

СЕРГЕЙ ЮТКЕВИЧ — Жан Эффель, художник-поэт . . 248

СРЕДИ КНИГ

А. МИХАЙЛОВ. Новое издание Валлеса. □ Б. БЕРДИЧЕВСКИЙ. Воспоминания о Христо Смирненском. □ А. МЕЛЬНИКОВ. Роман Леопольда Инфельда. □ В. АРТЕМОВ. Сказки народов Бирмы. □ А. НИКОЛЮКИН. „Филантропы в рваных штанах". □ Р. МЕРКИНА. Рассказы о польских коммунистах 254

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ (Хроника) 260

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 288

В. И. ЛЕНИН

К 86-летию со дня рождения

Анри Барбюс

О Ленине

На протяжении почти четверти века Ленин шаг за шагом, исподволь готовил самый потрясающий переворот в истории человечества. Всем своим существом он отдался стоящей перед ним задаче. В течение всех этих лет он не переставал быть подлинным вождем и вдохновителем движения; он был тем, кто нанес рассчитанный, решающий удар, преобразивший в октябре 1917 года облик всего мира и изменивший течение мировой истории. На карте мира среди капиталистического хаоса возникла социалистическая страна...

Личные письма знаменитых людей обычно, если можно так выразиться, несколько умаляют их величие. Кое-кому приятно видеть таких людей уменьшенными до нормальных человеческих размеров в этих небольших листках бумаги, отражающих настроение часа или минуты. Читая письма, можно обнаружить «маленькие» стороны великого человека, что, впрочем, не делает такого рода чтение менее интересным и поучительным... Но с письмами Ленина дело обстоит иначе.

Только у поверхностного наблюдателя, представляющего собой пресловутый образец так называемого «среднего человека», может создаться ложное впечатление, будто Ленин в данном случае отделим от своего политического дела. В человеке, который с нетерпением ждет новостей от родных, просит прислать книги и кратко сообщает о своей частной жизни и об окружающей его обстановке, виден Титан, который ни на минуту не должен был и не мог перестать бороться за Революцию. Письма Ленина, может быть, в большей степени, чем какой-либо другой документ, вышедший из-под пера этого гиганта современной истории, показывают слияние и взаимопроникновение его личности и его дела.

Но в этих письмах приоткрывается и ощущается главным образом одна из особенностей Ленина как исторической личности, одна из сторон его деятельности революционного борца — его облик «профессионального революционера».

Предлагаемое читателю собрание писем далеко не полно. Сохранилась лишь часть переписки Ленина. Его адресаты подвергались постоян-

---

Печатаемый нами очерк Анри Барбюса «О Ленине» написан им в сотрудничестве с Альфредом Кореллой. Он появился в качестве предисловия к книге «Переписка Ленина с родными», изданной в Париже в 1936 году.

ным преследованиям со стороны охранки (царской тайной полиции), никогда не терявшей их из виду как близких родственников активного революционера и как людей, которые сами занимаются революционной деятельностью. Их жизнь была полна частыми и поспешными переменами местожительства, обысками, арестами или ссылками. Неудивительно, что многие письма потеряны для нас либо потому, что они попали в руки полиции, либо потому, что их получатели опасались, как бы эти письма их не скомпрометировали. Без сомнения, такова судьба наиболее «интересных», так называемых «химических» писем, написанных симпатическими чернилами на обороте гостиничного счета или на листке с отрывком из стихотворения, или таким же способом нанесенных между строк книги либо научного журнала. Одна из сестер Ленина, Анна Ильинична Елизарова, рассказывает по этому поводу, как, гостя у брата в Париже в 1901 и 1902 годах, она обнаружила особую способность выбирать на ощупь книги, бумага которых была особенно пригодна для тайнописи. Приобретая книги, она вызывала величайшее удивление парижских букинистов, не понимавших, почему их покупательница проявляет такой повышенный интерес к бумаге подержанных книг, весьма разнообразных по содержанию.

Наконец, многие письма совсем не дошли по назначению. Это письма, перехваченные департаментом полиции и вызвавшие его особый интерес. Письма долго путешествовали кружным путем и иной раз проходили через руки трех или четырех посредников. Они пересекали множество границ и каждый раз подвергались двойной проверке. «...очень уже трудно в нашем (и твоем и моем особенно) положении вести переписку, как хочется...»,— пишет Ленин в одном из писем к сестре Марии. Это относилось, конечно, и к остальным его корреспондентам, включая и старую мать...

Уцелевшие письма, избежавшие всех этих ловушек и преследований, носят отпечаток тяжелых условий, в которых они появились на свет. Их автор должен всегда считаться с тем фактом, что охранка будет внимательно и с пристрастием читать, разбирать и анализировать написанные им строки. Кроме того, он рассчитывает если не на прозорливость своих корреспондентов, то, во всяком случае, на их большую проницательность. Во многих письмах встречаются довольно своеобразные выражения, на первый взгляд очень неясные намеки, неожиданные и странные имена. Почти никогда лица, о которых идет речь, не называются их настоящими именами. В одном из писем Ленин спрашивает, что поделывает «китайский путешественник», желая узнать о своем друге молодости и товарище по Самарской группе А. Скляренко, служившем тогда на железной дороге в Манчжурии.

Когда Ленин просит передать свои лучшие пожелания «польским друзьям», это значит, что он хочет узнать о своем друге Воровском (который впоследствии был убит Конради в Швейцарии).

Тем же языком, известным лишь посвященным, приходилось пользоваться, когда речь шла о литературных, научных и политических материалах, которым Ленин в своих письмах уделяет очень много внимания. Так, Мария Ульянова послала брату, жившему тогда в Мюнхене, экземпляр «Манифеста партии социалистов-революционеров», спрятав его в переплет альбома для фотографий. Ленин подтвердил получение этого документа, имевшего для него чрезвычайно важное значение, в таких выражениях: «...очень благодарю за присланные книги и особенно за чрезвычайно красивые и интересные фотографии, посланные кузеном из Вены; очень желал бы почаще получать такие подарки». Под «кузеном

из Вены» Ленин подразумевал Г. Красина, который увез альбом из России в своем чемодане и переслал его из Вены в Мюнхен.

Таким образом, письма Ленина частично приоткрывают перед читателем скрытую сторону и необычные условия жизни и работы человека, который своей упорной деятельностью на протяжении десятков лет подготовил крушение Российской империи и замену ее величественным новым общественным строем.

И, однако, в течение всех этих лет, посвященных разработке важнейших планов революционной борьбы, Ленин, этот враг «царя всея Руси», преследуемый и гонимый, не переставал глубоко интересоваться судьбою своих родных. В особенности это относится к его матери, с которой его связывало не только чувство почтительного уважения к ней, но и особой, можно сказать, отеческой любви. Находясь вдалеке от матери, сын постоянно дает ей множество советов по поводу устройства в том или ином городе, по поводу выбора очередного нового местожительства, столь часто менявшегося, поскольку судьба ее детей так сильно сказывалась на судьбе этой старой женщины. Он журит ее за то, что она слишком щедро расходует свои силы, и просит ее побольше отдыхать и думать о своем здоровье. Он озабочен вопросом о том, достаточно ли тепло в квартире, где она живет, и советует ей завести железную печурку. «Здесь часто делают так... — пишет он из Парижа, — и в Сибири мы так делали». Жизнь Марии Александровны — ей было уже за семьдесят во время первого длительного пребывания ее сына за границей — и в самом деле была нелегкой. Один за другим дети (из которых старший был повешен царскими палачами) — сыновья, дочери, зять — арестовывались, заключались в тюрьмы, высылались в Сибирь или в отдаленные губернии. Не раз ей приходилось подолгу оставаться совершенно одной. Достигнув возраста, когда другие женщины уже могут спокойно жить в кругу своих детей и внучат, она вынуждена была просиживать часами в приемных тюремных начальников, ожидая свидания с кем-нибудь из своих детей, в одиночку бороться с трудностями жизни «неблагонадежной», преследуемой женщины и к тому же постоянно тревожиться за судьбу того или другого из ее детей, когда они подвергались аресту. Самым тяжелым для нее был, пожалуй, 1901 год. Владимир — в эмиграции, дочь Мария и зять Елизаров — в тюрьме, дочь Анна, чтобы избежать подобной же участи, выезжает за границу, младший сын Дмитрий — в провинциальном университетском городе: пребывание в Москве и в Петербурге ему запрещено.

Письма, которые мать писала в то время своему сыну, не сохранились. (Владимир Ильич, так же как и его товарищи и родственники, подчинялся правилам конспирации, а они запрещали хранить частную переписку.) «Демократические», конституционные правительства Европы поместили имя этого «опасного нигилиста» на одно из первых мест в своих черных списках; любая неосторожность с его стороны могла повредить всей организации (а ведь ничто в мире не было ему дороже). В ответных письмах, которые Владимир посылает своей матери, можно почувствовать ее глубокую озабоченность судьбами дорогих ей существ, с такой жестокостью рассеянных по свету. Его ответы полны глубокого сострадания к тревогам материнского сердца. В это время Ленин жил жизнью, которая была столь же богата идейным содержанием, сколь трудна материально. То был первый период эмиграции, сразу же после возвращения из Сибири. Ленин еще не приспособился к условиям эмиграции, и Мюнхен, где он обосновался вначале, не облегчал жизни изгнанника, как это могло бы быть там, где существовали эмигрантские колонии. Но одновременно то был период, когда Ленин уже окончательно

разработал один из решающих этапов проводимой им великой борьбы за последовательный марксизм, когда он начинал создавать будущую стальную когорту большевиков, когда у него зародилась идея создания организации «профессиональных революционеров», идея, которую он обосновал в своей знаменитой работе «Что делать?», начатой им осенью 1901 года. Живя как будто обычной, будничной жизнью, он шел вперед по широкой дороге истории. И, несмотря на эту жизнь, полностью сосредоточенную вокруг политических проблем, которые он в гораздо большей мере, чем все его соратники, хранил в своей памяти и разрешением которых практически руководил, сознавая всю их важность, он все же находил время и слова утешения для своей матери. Он всегда старался придумать новые доводы, чтобы создавшееся положение казалось ей менее трагичным. Он рассказывал ей о случаях, когда арестованных и обвиненных по более серьезным делам все же освобождали. Иной раз ему удавалось умерить горе преследуемой семидесятилетней женщины, испытывавшей на себе самой удары, наносимые ее детям, вынужденной разъезжать по огромным пространствам России, по стране, где двадцать лет спустя повсюду будут воздвигнуты памятники ее сыну и где вечно будет звучать его священное имя...

Не раз он пытается облегчить положение матери, предлагая ей переехать к нему. Но лишь один раз ему удалось осуществить это. Впрочем, сама Мария Александровна противилась осуществлению этих предложений: она всегда желала быть рядом с теми из своих детей, кто особенно нуждался в ее помощи. Что касается Владимира, то она знала, что он был «находчивым и расторопным» и что рядом с ним была женщина, которая стала его лучшим помощником во всем, что было связано с политической работой, и старалась внести в суровую и беспокойную жизнь эмигранта немного того, что немцы называют «Gemütlichkeit».

Надежда Константиновна Крупская с 1894 года (когда Ленин познакомился с ней — молодой пламенной энтузиасткой общеобразовательных рабочих кружков, организованных группой социал-демократов в Петербурге) и до смерти великого вождя постоянно делила с ним тяготы и радости его жизни революционера. Повсюду, где появлялся Ленин, который всем своим существом уходил в самую гущу масс, в самую сердцевину класса (хотя мысль его и парила в «стратосфере» общественных наук),— повсюду мы видим рядом с ним тень его верной, схожей с ним и столь же величественной спутницы. Тень? Но мы не слишком уверены в уместности этого слова. Единственное, что позволяет нам согласиться с ним, — это скромность Крупской, которую характеризуют как чрезмерную.

И действительно, немалая часть уважения и признательности, которые большевистская партия и русское революционное движение питали к людям, воздвигнувшим новый мир, относится и к этой необыкновенной женщине. Тесная внутренняя связь, полное и глубокое единение, столь присущее отношениям между этими двумя людьми, навели нас на мысль поместить наряду с письмами Ленина некоторые письма Надежды Константиновны, адресованные тем же лицам. Чрезвычайно интересно проследить, как одни и те же события, одни и те же вопросы и заботы находят почти одинаковый отзвук в этих двух умах, у этих двух характеров.

Любовь к спутнице его жизни, чувство, которое Ленин испытывал неизменно, — бесспорно редкое явление в биографиях «великих людей»; и это особенно поразительно при особом образе жизни профессионального революционера, подверженной неожиданным и постоянным переменам, если говорить о внешних условиях этой жизни. Если бы в кратком

и сжатом очерке можно было остановиться более подробно на такой теме, мы показали бы, какой это был пример прекрасного, почти совершенного союза мужчины с женщиной. Два существа, не только любящие друг друга, но и борющиеся рядом пусть разным оружием, но одинаково страстно, отдавали весь свой разум и сердце во имя осуществления общего великого идеала.

Прочная привязанность Ленина к своей жене неотделима от постоянства его отношений со всеми родными, отношений, оставшихся неизменными в течение всех двадцати трех лет этой переписки. Такое постоянство в чувствах к семье также неотделимо от его твердой веры в дело, которому он себя посвятил. Не было таких обстоятельств, при которых Ленин проявил хотя бы малейшее колебание или испытывал какие-либо сомнения. Это особенно знаменательно потому, что публикуемые письма носят чисто личный характер и выражение в них подобных чувств, если бы они существовали, было бы вполне естественно. Отсутствие чего-либо подобного неопровержимо доказывает (если вообще нужны дополнительные подтверждения), что никакие идеологические искушения, чуждые учению, в которое он уверовал и для разработки которого он так много сделал, никакие оттенки убеждений, идущие вразрез с теми принципами, какие он в конечном счете воплотил в современной действительности (обеспечив их существование и в будущем), никогда не смущали его духа.

Мы не находим и следов колебаний в его мыслях, потому что у него не было никаких колебаний. Мы также не находим в его письмах даже малейших признаков беспокойства по поводу лично его касающихся обстоятельств. И это отнюдь не потому, что он не испытывал этого беспокойства. Материальные условия его существования были преимущественно более чем скромны...

Владимир Ильич жил жизнью бедняка. Лишь изредка и очень нерегулярно, только тогда, когда он находился в весьма стесненных обстоятельствах, он получал деньги от партии и небольшие суммы, посылаемые ему матерью, имевшей как вдова директора народных училищ небольшую пенсию. В основном, однако, средства на удовлетворение своих нужд он зарабатывал собственным трудом...

Частая перемена мест влекла за собой различные случайности, а они требовали неожиданных расходов и делали почти невозможной экономию в быту. Не будем говорит о Сибири и о деревушке Шушенское, которую он шутя называл «Шу-шу-шу». Будем говорить только о европейских городах. Его жизнь за границей — сплошные переезды из одного города в другой... Он оценивает города исходя из интересов и нужд большого, главного дела: облегчит ли его пребывание в том или ином месте практическое осуществление ближайших задач?..

Конечно, Ленин умел ценить все эти города и сами по себе, то есть с эстетической точки зрения.

Он сохранил яркие впечатления от «дьявольского» уличного движения в Париже (в 1910 году!). Ему нравилось подмечать непринужденные манеры парижан, которые он сравнивал с «Петербургской чинностью и строгостью». Вообще он признавал прелесть путешествий и в письме к сестре Марии советовал ей поехать за границу: «...поездка теперь освежит тебя, встряхнет...» Но вынужденные и слишком частые поездки теряют свое очарование, и однажды он вздохнул: «Как-то у вас весна на Волге?»

Ленин развлекается довольно редко. Да это и понятно. Однако он любит посещать музеи и слушать хорошую музыку. Иногда он бывает

в кинематографах, если такая роскошь ему по карману, но он получает от этого мало удовольствия, ибо убеждается, что на экране показывают одни только глупые кинофильмы. Заметим в скобках, что это его суждение относилось к тому или иному конкретному французскому фильму, а отнюдь не к искусству кино в целом, которому Ленин с замечательной прозорливостью предсказал возрождение в руках русских мастеров...

Но явное предпочтение Ленин отдавал прогулкам. Они были для него лучшим видом развлечения и отдыха. Они приближали его к природе и к людям, они располагали его к новым трудам. Собственно говоря, они были для него своего рода этапом его непрерывной работы. Прогулки пешком или на велосипеде. Велосипед обходится недорого, если сам умеешь его ремонтировать: «Вытащил уже Надин велосипед». Однажды, в 1910 году, его велосипед, на котором он ехал по шоссе, был задет автомобилем, и Ленин был обязан своим спасением только тому, что сумел быстро соскочить с машины. Автомобиль принадлежал некоему виконту, и он очень долго упирался, не желая уплатить компенсацию за понесенный ущерб, хотя и был обязан это сделать.

Ленин любил и ценил отдых на лоне природы. Привычка замыкаться в четырех стенах и, не переводя дыхания, работать до изнеможения приводит лишь к снижению качества работы. Отдых — это тонизирующее средство, это восстановление сил для максимально продуктивного труда. Но формы отдыха надо уметь выбирать, и Ленин предпочитает и советует всем умиротворяющее и успокаивающее общение с природой. «Здесь отдых чудесный, купанье, прогулки, безлюдье, безделье. Безлюдье и безделье для меня лучше всего»,— пишет он в 1907 году из Стирсудде-на в Финляндии (по возвращении с V съезда партии). Где бы он ни оказался, он всегда осматривает вместе с женой окрестности. Живя в Швейцарии, он совершает восхождения на Альпы; поднимается на Татры, находясь в Галиции; он бродит по окрестностям Мюнхена, Лондона, Парижа. Ряд писем из Женевы, из Сибири показывает нам, как живо наслаждался он красотами природы, как много получал от общения с ней. Живя в Сибири, он ежедневно проделывал пешком путь в несколько километров только для того, чтобы искупаться в проточной воде.

Но, как мы знаем, прогулки играли для него главным образом познавательную роль.

В 1895 году он пишет из Берлина: «...мне вообще шлянье по разным народным вечерам и увеселеньям нравится больше, чем посещенье музеев, театров, пассажей и т. п.»...

Посещая деревни в окрестностях больших городов, этот глубочайший теоретик аграрного вопроса соприкасался с сельским населением, получая при этом живые впечатления от крестьянской жизни.

Иной раз, совершая свои экскурсии, Ленин преследовал весьма определенные и конкретные цели... Прогулки вдвоем или в обществе нескольких товарищей зачастую носили характер «заседаний» чрезвычайной важности. Во всем этом проявлялась одна из особенностей Ленина: уменье целесообразно использовать место и подходящий момент при любой ситуации. Его письма ясно говорят об этом...

Необходимо отметить еще одну, необычайно сильно развитую способность Ленина — сохранять во всех случаях жизни уравновешенное, спокойное и собранное состояние духа. Это было, пожалуй, даже не чертой характера или счастливым свойством темперамента, а результатом сознательных и методических усилий. Он знал, что подобное равновесие необходимо для его политической деятельности, которая составляла

смысл всей его жизни. Вот почему он упорно развивал в себе это качество и стремился сохранить его.

В советах мужу сестры Марку, которые Ленин повторяет в письме к сестре Марии, мы видим, какой «режим» он установил для себя в тюрьме, чтобы уберечь свое тело и дух от пагубного воздействия тюремной обстановки. После каждого события, способного нанести ущерб его здоровью или угрожающего его душевному равновесию, он считал своим долгом в кратчайший срок прийти в нормальное состояние, и ему удавалось добиваться этого прямо-таки с научной последовательностью...

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР

Нелегальная работа Ленина в России прерывалась его длительным пребыванием за пределами страны. Эмиграция была для него не столько жизненной необходимостью, сколько обязательным условием для подготовки к той роли, какую он призван был сыграть в будущем. Он был и остается выдающимся образцом профессионального революционера. Скажем больше: он являлся создателем этой профессии...

В период, когда Ленин возвратился из сибирской ссылки (1900 год), революционное движение в России переживало глубокий кризис. Реакция нанесла ему тяжелый удар. Руководящие работники были арестованы, осуждены, сосланы, а между тем различные группы приспособленцев и оппортунистических капитулянтов добились влияния на рабочие массы. Так называемые марксисты, не сумевшие извлечь из великого учения глашатая Революции ничего, кроме утверждения о том, что рабочий класс есть независимый фактор современной истории, пытались ограничить роль этого исторического фактора одной лишь экономической борьбой (частные требования, борьба за пятачок, куцые реформы, забастовки на своем предприятии — и только на нем!). Таким образом, они отвлекали рабочих от идеи полного уничтожения самодержавного режима и прямого наступления на капиталистическую систему в целом. Здесь речь шла не о различных тактических оттенках, а о двух диаметрально противоположных системах взглядов на то, что без преувеличения можно назвать поступью истории человечества.

Псевдомарксистская идея о независимой роли рабочего класса в современной истории, взятая в отрыве от действенного лозунга о диктатуре пролетариата, означает призыв к закреплению на позициях консерватизма и буржуазной политики; идея диктатуры пролетариата предполагала *руководящую* роль рабочего класса в революционной борьбе и захват пролетариатом власти, необходимой для осуществления коренных преобразований всего общественного строя.

Ленин был чрезвычайно огорчен такого рода политической атмосферой и тем положением вещей, которое он застал, возвратившись из ссылки. Влияние «экономистов» (так называли оппортунистов, сводивших цели борьбы рабочего класса к одним только экономическим требованиям) парализовало активность марксистских групп на местах. «Я работал в кружке, который ставил себе очень широкие, всеобъемлющие задачи,— вспоминал Ленин еще о периоде 1894—95 гг.,— и всем нам, членам этого кружка, приходилось мучительно, до боли страдать от сознания того, что мы оказываемся кустарями в такой исторический момент, когда можно было бы, видоизменяя известное изречение, сказать: дайте нам организацию революционеров — и мы перевернем Россию!»

Убедившись в этом и посетив предварительно многие центры движения в различных районах России, Ленин решил выехать за границу (это было добровольное и зрело обдуманное изгнание), чтобы отдаться полностью осуществлению великой задачи: выковать «архимедов рычаг», с помощью которого можно будет перевернуть старый мир. Что касается точки приложения этого рычага, то Ленин был уверен, что он нашел ее!

Борясь за осуществление этой задачи, Ленин полностью отдавал себе отчет в ее мировом значении. «История поставила теперь перед нами ближайшую задачу, которая является *наиболее революционной* из всех *ближайших* задач пролетариата какой бы то ни было другой страны. Осуществление этой задачи, разрушение самого могучего оплота не только европейской, но также (можем мы сказать теперь) и азиатской реакции сделало бы русский пролетариат авангардом международного революционного пролетариата».

Сейчас, когда эта мечта стала реальностью, приводимые ниже слова звучат торжественно: «И мы вправе рассчитывать, что добьемся этого почетного звания, заслуженного уже нашими предшественниками, революционерами 70-х годов, если мы сумеем воодушевить наше в тысячу раз более широкое и глубокое движение такой же беззаветной решимостью и энергией».

Вдохнуть энергию и боевой дух в огромные массы рабочих, придать сознательный характер движению, которое в начале XX века стихийно захватило их, распространившись на огромных просторах царской России, — вот дело, которому с этого момента посвятил себя Ленин в тиши той скромной маленькой комнатки, какую он занимал вместе с Надеждой Крупской в Мюнхене. Собрать силы, распыленные по всей стране, объединить их, дать им точное направление, обратить их к высшей цели — к политической борьбе, согласованной, планомерной, организованной против царского самодержавия и капиталистической системы в целом, — вот что он имел в виду, когда создавал «Искру», первую газету, которую можно характеризовать как интернациональный орган коммунистического рабочего движения (называвшегося тогда социал-демократическим). «Из искры возгорится пламя» — эта крылатая фраза из ответа, посланного Пушкину декабристами, была поставлена как девиз над заголовком газеты. Создать единую организацию, централизованную, сильную, основанную на ясных и последовательных принципах, подлинно революционную партию, сплоченную вокруг твердой программы и руководящих кадров, — вот цель, которую он имеет в виду, когда пишет свои статьи для «Искры» и свою знаменитую книгу «Что делать?».

Именно в этой книге Ленин развивает совершенно новую концепцию понятия «профессиональный революционер».

Ошибкой «экономистов» было то, что они рассматривали рабочее движение как движение чисто корпоративного характера, участники которого должны были ощущать себя лишь членами какой-либо цеховой организации, существовавшей наряду с другими. «Экономисты» утверждали, будто они служат делу рабочего класса. Ничто не может быть более ложным, чем подобное утверждение! Даже если рабочий класс и не преследует никаких других целей, помимо самосохранения, он не может добиться этого в капиталистическом обществе, если не будет ставить перед собой задач, касающихся общества в целом, если он не будет действовать *политически*. «Сознание рабочего класса не может быть истинно политическим сознанием, если рабочие не приучены откликаться на *все* и *всяческие* случаи произвола и угнетения, насилия и злоупотребления, *к каким бы классам* ни относились эти случаи; — и притом откликаться именно с социал-демократической, а не с иной какой-либо точки

зрения. Сознание рабочих масс не может быть истинно классовым сознанием, если рабочие на конкретных и притом непременно злободневных (актуальных) политических фактах и событиях не научатся наблюдать *каждый* из других общественных классов во *всех* проявлениях умственной, нравственной и политической жизни этих классов; — не научатся применять на практике материалистический анализ и материалистическую оценку *всех* сторон деятельности и жизни *всех* классов, слоев и групп населения».

Мы видим, с каким упорством и страстью Ленин настаивает на этой идее всестороннего наблюдения, анализа и оценки. С какой силой он концентрирует внимание на слове *«все»* (курсив Ленина), каким настойчивым лейтмотивом звучит оно в его общем представлении о социальном долге рабочих. Это вполне в духе всей деятельности его как великого борца.

Таким образом, революционная агитация и партийная пропаганда требуют большого мастерства. Поднимать массы до необходимого высокого уровня политического сознания следует не только при помощи теоретических книг, но и путем живой агитации и пропаганды, повседневных «политических обличений», на основе «опыта политической жизни». Эти «всесторонние политические обличения представляют из себя необходимое и *основное* условие воспитания революционной активности масс».

«Экономисты» сеяли среди рабочих недоверие к «теоретикам», к людям, которые, приходя «со стороны», вносят в рабочее движение идеи (читай: политические), глубоко ему «чуждые». Ленин со всей присущей ему страстностью выступает против этой демагогии.

«Классовое политическое сознание может быть принесено рабочему *только извне,* то есть извне экономической борьбы, извне сферы отношений рабочих к хозяевам. Область, из которой только и можно почерпнуть это знание, есть область отношений *всех* классов и слоев к государству и правительству, область взаимоотношений между *всеми* классами. Поэтому на вопрос: что делать, чтобы принести рабочим политическое знание? нельзя давать один только тот ответ, которым в большинстве случаев довольствуются практики, не говоря уже о практиках, склонных к экономизму, именно ответ: «идти к рабочим». Чтобы принести *рабочим* политическое знание, социал-демократы должны *идти во все классы населения,* должны рассылать *во все стороны* отряды своей армии».

Ленин всячески настаивает на этом тезисе о привнесении политического сознания «извне». Он разъясняет, что подлинно революционное движение — это результат слияния двух различных факторов: стихийной борьбы рабочих против эксплуататоров и социалистического учения. Совершенно ясно, что социализм как учение уходит корнями в современные экономические отношения в такой же степени, как и классовая борьба пролетариата; он вытекает из необходимости для рабочего класса вести наступательную и оборонительную борьбу против все продолжающегося обнищания масс, порожденного капитализмом...

Вот какие широчайшие горизонты открывает приведенный выше моральный наказ: «Внести в рабочий класс политическое сознание!» Это означает не более и не менее, как необходимость вернуть трудящимся массам все то, что именно благодаря их деятельности было создано умами великих людей всех времен; ибо они, эти великие люди, могли заниматься наукой и мыслить только потому, что масса рабов своим трудом

создавала и поддерживала их привилегированное существование. Эта истина до сих пор была скрыта от масс...

Деятель «тредъюнионистского» типа, который прекрасно знает, как провести забастовку, как вырвать у хозяина те или иные уступки рабочим, как использовать наиболее рационально для удовлетворения неотложных нужд взносы, поступившие в фонд профсоюза от его членов, неспособен решить подлинную проблему революции, то есть слить воедино рабочее движение и научный социализм. Для этого необходим новый тип политического деятеля.

Но было бы ошибочным предполагать, что этот новый тип деятеля может быть выходцем только, или предпочтительно, из среды «интеллигенции», которая в принципе по своему происхождению и умственному развитию как будто и предназначена для того, чтобы поставлять новых апостолов, несущих в рабочую среду политическое и социалистическое сознание...

И вот профессиональный революционер родился; он родился в голове этого необыкновенного человека, чтобы затем каждодневно и во множестве возрождаться из самой гущи масс. Ибо «сосредоточение всех конспиративных функций в руках возможно небольшого числа профессиональных революционеров вовсе не означает, что эти последние будут «думать за всех», что толпа не будет принимать деятельного участия в *движении*. Напротив, эти профессиональные революционеры будут выдвигаться толпой все в большем числе...»

Итак, профессиональный революционер — это сплав, «духовный союз» двух сил, порожденных эпохой загнивающего капитализма: идей социализма и рабочего движения...

Профессиональный революционер — это человек, теснейшим образом связанный с движением угнетенных масс, из чьей среды в большинстве случаев вышел он сам, человек, унаследовавший к тому же вместе с марксизмом все богатство знаний, накопленных человечеством, для того, чтобы извлечь из них уроки и использовать их, передав в доступной форме широким массам в интересах успеха их освободительной борьбы. Это человек, который не знает во всем мире и в своей жизни более насущного и благородного дела и который полностью посвящает ему всего себя. Прототипом такого человека был Ленин.

ЛЕНИН-ПОЛИТИК

Вдохновитель и вождь профессиональных революционеров, Ленин сам был наиболее сильным и ясным воплощением этого совершенного типа солдата революции. Он осуществлял во всей своей деятельности соединение современного рабочего движения с великой теорией Маркса и Энгельса. Уже они внесли в идеологию нового класса, призванного взять в свои руки руль истории, часть духовного наследия прошлого, соответственно преобразовав его.

Многие представляли Ленина, да и представляют его в наши дни, прежде всего как практика, который только претворил в жизнь учение Карла Маркса. Нет. Ленин никогда не переставал быть одновременно и «практиком», и теоретиком, причем теоретиком творческим. Прежде чем применять учение Маркса и Энгельса (и в процессе его применения),

он не только разъяснял и комментировал его, но также развивал и обогащал. Сохраняя в неприкосновенности (несмотря на многочисленные попытки «ревизовать» марксизм) основное содержание марксистского метода, Ленин развил дальше труды этих двух людей, которых он считал своими учителями, применяя их метод к реальным условиям своей эпохи. Он творил в новой обстановке. Вот почему с полным основанием можно говорить о *ленинизме*...

В порядке полемики часто говорят, что Ленин — выразитель специфически восточных, азиатских принципов. Такое заявление в гораздо большей степени бессмысленно, чем остроумно! В Германии и во Франции коммунистов тоже обвиняют в том, что они идут на поводу у экзотического учения, чуждого всему строю мышления Центральной и Западной Европы. Впрочем, в России с неменьшим пафосом и без всяких для этого оснований обвиняли большевиков в том, что они следуют западному учению, перенесенному на славянскую почву и чуждому русской душе.

Как и марксизм, ленинизм, являющийся его дальнейшим развитием, — это универсальное учение. Вполне возможно, что эта теория вызывает в нашем сознании образ иного мира (в смысле грядущего прогресса), но она отнюдь не связывается с представлением о каком-то определенном континенте. Возникшее из анализа капиталистической системы, которую с равным правом можно считать и «западной», и «восточной», это учение, имеющее в виду построение интернационального социалистического общества, применимо ко всем без исключения странам. К тому же в трудах Маркса и Энгельса мы находим исследование и разработку самых разнообразных проблем, относящихся к разным эпохам и странам. Основоположники марксизма, люди выдающейся эрудиции, обогащенные классическим образованием своего времени, анализировали ход франко-прусской войны и философию Эпикура, эволюцию теоретической физики и социальное законодательство Англии XIX века; они писали о теории стоимости, об американской войне за независимость, о так называемом азиатском способе производства (Китай и Индия), о программах немецкой Рабочей партии, о французских материалистах XVIII века, о Парижской Коммуне, об экономических теориях Прудона, Оуэна, Дюринга, о социальном облике русской деревни, о Дарвине, о Мадзини и Гарибальди, о Декарте и Дидро, о Спинозе и Гегеле...

Такое же обилие и разнообразие тем, серьезность анализа и синтеза (всегда необычайно глубоких), тот же интернациональный характер деятельности и мышления мы обнаруживаем и у Ленина. Исключим проблемы, связанные с созданием русской революционной партии, в которых, разумеется, преобладают русские вопросы, хотя те ответы, какие дает на них Ленин, поучительны отнюдь не для одной только России; но в том огромном наследии, которое он нам оставил и изучение которого только начинается, проблемы международного характера и мирового значения стоят на первом плане. В его работах по аграрному вопросу, по национальному и колониальному движению, о государстве, об империализме, о войне, о проблемах философии — во всех этих работах в качестве исходной точки всегда берутся злободневные события, поставленные на повестку дня экономическим, социальным, политическим и идеологическим развитием Германии, Франции, США, Англии, Италии, Китая, балканских стран и... конечно же, России.

Было бы глубоко ошибочным искать причины «интернациональности» ленинского мышления в том, что до 1917 года он провел много времени за границей... Главная причина этого заключается в том, что марксизм-ленинизм сам по себе глубоко интернационален по своему существу.

Для революционеров домарксистского периода, боровшихся за национальные свободы, пребывание в эмиграции лишь обостряло национальный характер их мыслей и действий, тогда как для Ленина (а в свое время и для Маркса) выезд за границу был не причиной, а следствием явно интернационального характера их учения.

Наконец, Ленина часто изображают только как «политика» в том специфическом смысле, какой это слово приобрело в капиталистических странах, став синонимом узкого и ограниченного политикана (по образцу действующих и преуспевающих буржуазных политиков этих стран). Мы вовсе не намерены оспаривать, что Ленин был политиком, и даже преимущественно политиком. Однако понятие «политик» в применении к Ленину находится в резком противоречии со словом «политикан». В нем нет абсолютно ничего от ограниченности и узости, ничего от «политикана» западноевропейского стиля. Политик сочетался в нем с выдающимся теоретиком, философом, значение которого в развитии современной мысли мы только сейчас едва начинаем оценивать должным образом, и даже с литературным критиком, отличающимся редкой глубиной суждений. Мы, разумеется, хорошо знаем, что среди крупных и признанных буржуазных деятелей нашей современности найдется ряд таких, которым принадлежат остроумные или насыщенные фактами работы об искусстве или литературе, а также и академические труды. К ним относятся, например, Барту или Эррио. Имеются и такие, которые устремляются в область экономических обобщений, как Кайо. Но, независимо от относительной посредственности их продукции, она остается лишь плодом часов досуга этих авторов, а не является результатом их основных занятий; вот почему эта продукция почти всегда довольно забавно контрастирует с их конкретной деятельностью на политической арене. У Ленина все самые разнообразные проявления его духовной деятельности образуют единое целое и особенно усиливают ощущение монолитности, вызываемое в нас всем обликом этого человека.

Таким образом, направляющей линией его жизни была политика.

Но деятельность Ленина в еще большей степени, чем деятельность Маркса (ибо Ленину было дано свершить больше, чем его великому учителю), привела к реабилитации самого понятия «политик». Скажем больше: оно, это понятие, впервые обрело свой подлинный смысл; вспомним, что во времена Греции и Рима слово «политика» подразумевало «дело всего города», «всеобщее дело», что, однако, отнюдь не распространялось на всех: миллионы рабов рассматривались как «говорящие орудия», как «двуногие», которые вообще не считались людьми.

Для Ленина слова «политика» и «человечность» стали синонимами. И если мы говорим, что любые действия этого вождя профессиональных революционеров сливались с его политической деятельностью и что он пронизывал политическим смыслом и духом партийности все, чем он занимался, то тем самым мы хотим сказать, что он был великим гуманистом.

Людям, незнакомым с марксизмом, конечно, трудно понять, в каком смысле приравниваются друг к другу эти два, казалось бы, противоречивых понятия: «партия» и «человечность». Но для того чтобы понять ленинский смысл слова «политика», необходимо уяснить себе схожесть этих двух понятий.

Постараемся сначала установить, какой смысл вкладывает Ленин в слово *партия,* поскольку вся его политическая деятельность была направлена на создание партии, которая по отношению к этой деятельности является чем-то вроде законодательной и исполнительной власти.

Политические партии в той форме, в какой они существуют ныне в условиях буржуазной демократии, сфабрикованы на основе отрицания классов; эту «идею» они главным образом и пропагандируют. Каждая группа этих якобы свободных граждан, которые усердно ссылаются на всеобщее избирательное право (тоже якобы свободное), в действительности закабалена правящими классами. Именно правящие классы искусственно культивируют политические партии и избирательную систему и тем самым низводят политику до уровня словопрений о тех или иных оттенках идей и чувств, не преследующих никаких больших, существенных перемен; эти классы совсем не считаются с подлинными интересами народа и реальными противоречиями и в конечном счете неспособны изменить ничего.

Практически так называемая «партия общественного мнения» становится очень быстро орудием политической борьбы, в основе которой лежат ничтожные расхождения и компромиссы между многочисленными фракциями, представляющими интересы имущих классов, ведущих на поверхности борьбу между собою, но, по существу, тесно сплоченных против неимущих. Таким образом, отрицание классов, отрицание разделения людей на группы, представляющие различные общественные интересы,— а без такого разделения и не могло бы существовать капиталистическое общество и, следовательно, проводиться его политика, — это отрицание классов порождает фактически ту коррупцию и фальсификацию «общественного мнения», какая характерна для партийной и политической жизни буржуазных государств. Всеобщее избирательное право, созданное в свое время как идеальный инструмент, который должен был гарантировать гегемонию третьего сословия, входит в противоречие с самим собою в обществе с развитой индустрией, где целые группы избирателей восстанавливаются любыми грязными способами против трудящихся, хотя они и сами принадлежат к ним. Таким образом, политика превращается в демагогию, вымогательство, игру интриг.

Итак, понятия «политика» и «партия» в буржуазном обществе опорочены, особенно в период его упадка. (Это распространяется и на синдикализм, который превратился в большей своей части в движение, основанное на отрицании политики, что, впрочем, не помешало ему самому стать орудием буржуазной политики.)

К тому же в «прогрессивной» среде, особенно в среде мелкобуржуазной, весьма принято быть «аполитичным» и «беспартийным». Ленин горячо выступал против этого либерального снобизма.

«Кто ведет «беспартийную» борьбу за свободу, тот либо не сознает буржуазного характера свободы, либо освящает этот буржуазный строй, либо откладывает борьбу против него, «усовершенствование» его до греческих календ. И наоборот, кто сознательно или бессознательно стоит на стороне буржуазного порядка, тот не может не чувствовать влечения к идее беспартийности.

В обществе, основанном на делении классов, борьба между враждебными классами неизбежно становится, на известной ступени ее развития, политической борьбой. Самым цельным, полным и оформленным выражением политической борьбы классов является борьба партий. Беспартийность есть равнодушие к борьбе партий. Но это равнодушие не равняется нейтралитету, воздержанию от борьбы, ибо в классовой борьбе не может быть нейтральных, «воздержаться» нельзя в капиталистическом обществе от участия в обмене продуктов или рабочей силы. А обмен неминуемо порождает экономическую борьбу, а вслед за ней и борьбу политическую. Равнодушие к борьбе отнюдь не является, поэтому,

на деле отстранением от борьбы, воздержанием от нее или нейтралитетом. Равнодушие есть молчаливая поддержка того, кто силен, того, кто господствует... Кто равнодушен в современной Европе к господству буржуазии, тот молчаливо поддерживает буржуазию... Политическое безразличие есть политическая сытость. «Безразлично», «равнодушно» относится к куску хлеба человек сытый; голодный же всегда будет «партийным» в вопросе о куске хлеба. «Безразличие и равнодушие» к куску хлеба означает не то, чтобы человек не нуждался в хлебе, а то, что человеку всегда обеспечен хлеб, что он никогда не нуждается в хлебе, что он прочно пристроился к «партии» сытых. Беспартийность в буржуазном обществе есть лишь лицемерное, прикрытое, пассивное выражение принадлежности к партии сытых, к партии господствующих, к партии эксплуататоров».

И Ленин заключает:

«Беспартийность есть идея буржуазная. Партийность есть идея социалистическая».

Всех, кто действительно хочет «бороться за свободу», Ленин призывает ясно определить свою позицию и вступать в партию, объединяться вокруг партии. Он рисует нам облик партии совершенно нового типа, у которой с партиями буржуазно-парламентского режима только и есть общего, что название «партия». Для него марксистская революционная рабочая партия это законченное выражение социального и исторического факта, факта существования нового класса — пролетариата, то есть рабочего класса, обогащенного классовым самосознанием. Создание коммунистической партии, партии большевиков, раскрыло глаза рабочему классу, который осознал, что он выступает как независимый и активный исторический фактор; перед ним открылся путь для приложения своих сил, для действенного вмешательства в ход событий...

Надо хорошо понять и усвоить эти ленинские положения о партии, чтобы понять смысл всего, что сделал Ленин для создания и развития большевистской партии. В разносторонней и интенсивной деятельности Ленина в этой области — а она простирается от забот об организации тайной переброски той или иной брошюры, того или иного номера газеты до острой полемики с противниками, до мер дисциплинарного воздействия на какого-нибудь члена партии, проповедующего идеи или совершающего поступки, несовместимые с программой или уставом партии,— во всей этой деятельности ярко проявляется прозорливый ленинский гений. В основе всех этих действий Ленина мы всякий раз видим одну и ту же мысль: какой должна быть партия в условиях разлагающегося буржуазного общества, истинные хозяева и властители которого, несмотря ни на что, напрягают последние силы, стремясь любыми средствами удержать свои позиции, предотвратить свою гибель.

Партия — общественный организм, в котором профессиональный революционер, прообраз человека социалистического будущего, связывает свою судьбу с эксплуатируемыми массами, с миллионами людей, объективно призванных создать новый общественный строй, но субъективно еще не осознавших своей миссии. Усилиями партии, ее трудами осуществляется плодотворное соединение социалистических идей с борьбой угнетенных за свои интересы; эти идеи овладевают все более широкими массами активных борцов, которые образуют ударное ядро армий, идущих на штурм крепостей капитализма. С созданием большевистской партии «политика» выходит из тупика запутанных хитросплетений, предвыборных интриг и комбинаций и становится самой возвышенной, самой чистой, самой благородной формой общественной деятельности человека.

Есть люди, которые, не понимая, насколько прочны и незыблемы основы партии, удивляются тому, что коммунистические партии не отказываются от участия в политической жизни буржуазного общества, что они участвуют в выборах, посылают своих представителей в парламенты. Анархисты, то есть тот отряд рабочего движения, который многие называют левым, тогда как в действительности благодаря их расплывчатым идеям, выражающим чаяния и стремления самых отсталых слоев рабочего класса, они составляют арьергард правого крыла этого движения и очень легко становятся орудием в руках полиции,— анархисты используют факт участия коммунистических партий в политической жизни буржуазного государства как предлог для уподобления их буржуазным партиям, для отрыва рабочих от коммунистического движения.

Но тут-то и проявляется ярко выраженный реалистический характер марксистско-ленинского учения. Рабочий класс, рабочее движение развиваются в недрах общества, которое они не выдумали, а нашли уже вполне сложившимся; они связаны с ним тысячью нитей, и оно фактически стремится управлять действиями и мыслями всех групп, входящих в его состав. В таких условиях нельзя предоставить буржуазное общество самому себе, пытаться где-то вне его воспитывать рабочих, объединять их, создавать социалистический коллектив. Для правильной организации и воспитания трудящихся масс, для их объединения, для их вовлечения в политическую деятельность в самом широком смысле слова необходимо использовать все средства, все возможности, предоставляемые в рамках буржуазного общества...

Таким образом, коммунистическая партия, вступая на неизведанный путь, в то же время остается, как кто-то выразился, «одной ногой на буржуазной политической арене». И все в ее организации, в ее структуре, в ее деятельности всегда рассчитано таким образом, чтобы она могла одновременно решать две задачи: развивать максимальную активность на политической арене капиталистического общества и, с другой стороны, опираясь на борющиеся массы, укреплять, расширять вне парламента фундамент и кадры нового общества.

Правда, нам могут сказать: другие буржуазные партии тоже заявляют, будто они подчиняются господствующим социальным порядкам только для того, чтобы изменить их. Могут сказать также: подобное участие в буржуазной политике, которое, пусть только для вида, означает принятие существующего порядка, может оказаться губительным. Но самая структура, дисциплина и принципы коммунистической партии позволяют ей — и только ей одной!— вмешиваться в политические схватки, происходящие в буржуазном обществе, не подвергаясь опасности быть поглощенной им. Когда в свое время партия большевиков Советского Союза ввела нэп и частично допустила капиталистические методы хозяйствования, она сделала это с единственной целью избавиться от них навсегда. Этот пример — есть еще и другие — доказал, насколько обоснована уверенность большевиков в своем могуществе, своей сплоченности, своей правоте; а ведь для всякой иной партии подобный эксперимент, безусловно, оказался бы роковым.

Партия — повсюду: на предприятиях, где она имеет свои первичные ячейки, в буржуазном парламенте, в профсоюзах, в беспартийных организациях, где у нее есть свои фракции,— везде, где собралось множество людей, она имеет свои форпосты. Она постоянно исследует общественные течения, изучает и анализирует все, что происходит при общении людей между собой; она пользуется любым поводом, чтобы вмешаться, интересуется каждым человеком в отдельности, каждой группой

людей, которых можно вовлечь в орбиту своего влияния. Партия поразительно вездесуща, всеведуща и всемогуща.

Она не терпит в своих рядах членов, довольствующихся тем, что они принципиально согласны с ее программой, она требует от каждого из них активного участия в ее деятельности, учитывая способности каждого, его склонности, учитывая место, занимаемое им в общественной жизни, его методы работы. Партия строго контролирует благодаря своей дифференцированной и специализированной организации деятельность своих членов. Она их предупреждает, она обсуждает с ними любые вопросы, она оказывает помощь, когда им угрожает опасность сойти с верного пути, намеченного сообща, согласно принципу демократического централизма. Принцип этот состоит в том, что любая новая проблема, возникающая перед партией, обсуждается и решается всеми ее членами; но уж если решение принято, то оно становится незыблемым законом, неоспоримой директивой, линией поведения, которой каждый член партии должен следовать неукоснительно...

Мировоззрение и учение вождей партии, принятое коллективом, является общим, священным его достоянием. Такова традиция. Но это учение постоянно проверяется и углубляется путем научной работы, в ходе которой специалисты исследуют все области общественной жизни. Это учение постоянно обогащается в процессе изучения изменений в стратегии и тактике революционной борьбы, являющихся неизбежным следствием перемен в экономической жизни.

На своих заседаниях, на съездах, в работе которых участвуют делегаты от партийных организаций, на национальных конференциях своего актива, на пленумах Центрального Комитета — во всех этих органах партии выковывается ее повседневная политика, вырабатывается тактика, намечаются в главных чертах основные свершения, формулируются лозунги, которые можно назвать «двигателями» борьбы масс.

Такова партия нового типа, создававшаяся Лениным в течение долгих лет, когда, находясь в различных уголках мира, он писал письма своей семье. Следует помнить, что он выработал во всех подробностях план, цели, организационные принципы этого могучего, жизнеспособного инструмента нашей современности, позволившего обновить сверху донизу целую страну, основать перед лицом всего мира новый общественный строй, влияние которого сказывается повсеместно. Гибкость и вместе с тем принципиальность этой организации — вот необыкновенный и прочный сплав, лежащий в основе всего дела революции, которое осуществлялось и осуществляется во всем мире. Несмотря на то, что Карл Маркс дал нам свое великое учение, можно утверждать, что та революционная партия, которая действовала и побеждала, а затем в первой половине XX века стала партией мирового масштаба, сверху донизу построена мозгом и руками Ленина.

Это он превратил партию в «великий человеческий коллектив», влияющий отныне на судьбы всей цивилизации.

Выше мы говорили о вездесущности, всеведении и всемогуществе партии. До сих пор люди обычно допускали эти общие понятия только в свои храмы. Нельзя не заметить, однако, что эти атрибуты, недоступные индивиду, вполне естественно принадлежат целому социальному коллективу, действительно накапливающему знания, силы, твердость.

Приходит на память прекрасная мысль Фейербаха, оказавшая свое влияние на развитие мировоззрения Маркса и Энгельса, мысль о том, что свойства, приписываемые некогда богам, представляют собой не что иное, как реальные свойства человеческого коллектива, властелина времени и пространства. Когда бедные люди были разобщены, подвержены

всяким случайностям и неразвиты, они объясняли все непонятное силой небес, а отсюда — возникновение развращающего представления о кумирах и богах.

Эту замечательную мысль, оставшуюся у Фейербаха абстрактной, Маркс связал с реальной действительностью. Исходя из нее, он показывает, что основная сфера деятельности человека — производительный труд; он находит, что совокупность всего созданного человеческими руками, коллективным трудом, составляющая, собственно, мир человека,— что это и есть материальное выражение его общественных усилий; в экспроприации экспроприаторов и стяжателей всех благ, созданных человеческим трудом, Маркс видит средство вернуть человеку его подлинную сущность, которую он до сих пор считал воплощенной только в выдуманных им богах; в диктатуре пролетариата Маркс видит практическое средство для объединения человека с другими людьми, для установления связи, и весьма реальной, трудящихся масс со средствами производства. И именно Ленин, создавший большевистскую партию, предвосхитил в ней это объединение, делающее человека хозяином всех своих способностей и превращающее каждого члена общества, организованного и сознательного, в универсального человека в высшем смысле этого слова.

Для членов ленинской партии она — все. Нет ничего на свете, что могло бы сравниться с нею.

Это поразительно трогательное отношение большевиков к своей партии побудило некоторых людей рассматривать ее как явление религиозного порядка, а марксистское учение — как религию. Был момент, в период жесточайшей реакции в России, когда даже внутри партии появилась тенденция религиозного поклонения социализму. Ленин со свойственными ему упорством и сарказмом боролся против попытки внести «поповский дух» в рабочее движение и нисколько не щадил тех, кто в то время пропагандировал подобную идею,— своих друзей Горького и Луначарского.

После всего сказанного уже не приходится доказывать несостоятельность подобных параллелей. Большевизм так же отличается от религии, как день от ночи. Коммунизм, без сомнения, внушает своим сторонникам столько стойкости, живительной веры, сколько не могли дать никакие религиозные догмы своим последователям. Это вера неизмеримо более сильная, потому что она основана на разуме, не имеет ничего общего с верой в сверхъестественные призрачные существа, фактически находящиеся в подчинении у сильных мира сего; это — здоровая и бодрая уверенность человека в себе, вера каждого отдельного человека в несокрушимую силу коллектива, ставшего сознательным хозяином своей судьбы. Здесь все строится на науке, мудрой организации и ниспровергающем все преграды труде.

«Политика» Ленина, которой он посвятил всю свою жизнь, мысли о которой пронизывают все его письма к родным, была политикой того авангарда предвестников революции, чьим предтечей явился он сам.

Итак, политика, связанная с глубочайшим подспудным течением истории и являющаяся живым выражением стремлений и чаяний человечества,— такая политика стала благодаря ленинизму наукой и искусством. Более всего в ленинском учении поражает его цельность. Но эта цельность совсем не похожа на грандиозную архитектонику многих философских систем; как бы замечательны, смелы и гениальны ни были в своих общих очертаниях эти системы, всегда где-нибудь в них обнаруживаются «склеенные места», «швы» и даже «мостики», ведущие в область иррационального или сверхчувственного. Ленинская система, напротив, никогда не приходит в столкновение с реальностью, с внешним миром, явлениями природы, воспринимаемыми нашими чувствами,

с определениями и предсказаниями науки. Единственно возможные в ней «противоречия» являются лишь отражением известного антагонизма, проявляющегося в ходе событий, иначе говоря, они не выходят за пределы реального, это — *«реальные противоречия»*.

Когда глубоко изучаешь труды Ленина, то видишь, насколько в общем разнородны и расплывчаты бытующие в буржуазном обществе взгляды на жизнь, социальные явления, политику. В самом деле, если дать себе труд понаблюдать, то можно легко заметить, как охотно и часто люди перескакивают обычно с одной «точки зрения» на другую, становясь попеременно на позиции чувственного или рационального, утилитарного или идеального, революционной морали или оппортунизма. Более того, подобный эклектизм воззрений даже характерен для умонастроений верхушки буржуазного общества, которая не прочь любоваться и кокетничать этой своей особенностью. И буржуазия весьма заинтересована в сохранении такого причудливого эклектизма. Она готова позволить значительным контингентам своих собратьев отклоняться от ее моральных и этических, пацифистских и эстетических принципов лишь бы только, в конечном счете, все это оставалось пестрым и разнородным в своей противоречивости. Тем, кто предусмотрительно поддерживает подобную путаницу, разрешается, коли им этого захочется, стать «немножко сумасшедшими»; им могут даже позволить некоторые «революционные заблуждения», причем их не лишают права и на оппортунизм, а ведь для этого нужно еще немного непоследовательности — только и всего. Но зато буржуазия ни за что не потерпит цельности взглядов, единства той системы мышления (и действия), на которой настаивает ленинизм...

С какой бы стороны ни подойти к огромному наследию ленинизма, убеждаешься в том, что благодаря своему колоссальному размаху оно имеет существеннейшее значение не только для прогресса, но и для спасения самой цивилизации и рода человеческого.

Не располагая возможностью в рамках небольшого исследования трудов одного из величайших людей всех времен сказать обо всем, что он свершил, сказать все о продолжении и перспективах развития его дела, мы добавим только, что различные стороны ленинизма связаны между собой и неизбежно вытекают одна из другой. Так, национальная и колониальная проблемы теснейшим образом связаны и с аграрным вопросом, и с проблемой коллективизации и механизации, и с идеями о государстве и диктатуре пролетариата, а также с проблемой связи теории с практикой, проблемой гибкости и твердости в политике, с вопросом о реформизме, о соглашательстве и оппортунизме, всегда готовых к отступлению, и с множеством других проблем...

Понять Ленина как политического деятеля — значит понять все это в совокупности. Это значит — постигнуть его великое учение, преподанный им всеобъемлющий урок по экономике, истории, философии. Этим великим уроком, собственно, был отмечен весь путь Ленина по нашей планете. Его учение преобразует наш дряхлый мир, наше представление о всех вещах на земле и весь ход нашего мышления.

ЛЕНИН - ТЕОРЕТИК

Создавая партию, Ленин учил нас: «Без революционной теории не может быть и революционного движения... *роль передового борца может выполнить только партия, руководимая передовой теорией»*.

Вот что говорил Ленин, пестуя большевистскую партию. Он — этот гениальный созидатель — был вождем авангарда, его олицетворением.

В его учении о стратегии и тактике нет ничего, что не вытекало бы из очевидных и теоретически глубоко осмысленных фактов.

В этом плане Ленин действовал как ортодоксальный марксист. Когда перед ним возникала новая проблема, он изучал ее на основе фактов общественной жизни и экономических условий. Так, на каждом этапе большевистской политики мы находим ленинские труды, посвященные проблемам экономического и социального порядка.

На протяжении всего своего необыкновенного жизненного пути Ленин не переставал самым действенным образом отстаивать марксистское учение, и в частности исторический материализм. Самым блестящим доказательством ценности этого учения были, разумеется, последовательные победы движения, творцом и вождем которого был он сам; в настоящее время это движение достигло гигантского размаха и огромных масштабов. Было бы, однако, весьма поверхностным и ошибочным считать факт захвата власти в октябре 1917 года заключительным этапом этой победы.

С захватом власти успех дела революции только лишь обозначился. Удержание власти, установление прочного союза пролетариата с крестьянством, разгром белогвардейцев и интервентов в гражданской войне, разрешение национального вопроса с учетом неотложных потребностей и перспективой на будущее, решение важных социально-экономических проблем, накопившихся за время гражданской войны и сразу же после ее окончания, наконец, социалистическое переустройство всей страны — все это было единой и многогранной победой, плодом обдуманной политики. За долгие годы кропотливой подготовительной работы успехи сводились к завоеванию на сторону партии той или иной местной группы или даже к убеждению того или иного активиста социал-демократической партии в правильности большевистских тезисов. Теперь же случилось именно то, чего хотела партия и что было так точно рассчитано. Никогда еще исторические перевороты не совершались на основе такого точного математического расчета...

В теоретической работе Ленина «Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905—1907 годов», важное значение которой для достижения окончательной победы в 1917 году очевидно, больше всего поражает, какое важное место он сам отводит историческому опыту, практике и действию при разрешении любой теоретической проблемы. Желая объяснить, почему нельзя было сформулировать с необходимой четкостью аграрную программу социал-демократов до 1907 года (когда он сам это сделал), Ленин говорит: «...русские с.-д., не увидав перед собой воочию *начала* крестьянской революции, не могли не относиться осторожно к ее возможности, ибо возможность победы ее требует действительно ряда особо благоприятных условий и особо благоприятного размаха революционной сознательности, энергии и инициативы масс. Не имея перед собой *опыта,* считая невозможным выдумыванье *буржуазных* движений, русские марксисты, естественно, не могли *до революции* выставить правильной аграрной программы. Они делали, однако, при этом ту ошибку, что и *после* начала революции вместо *приложения* теории Маркса к оригинальным условиям России (наша теория не догма,— всегда учили Маркс и Энгельс,— а *руководство для действия*), вместо этого некритически повторяли выводы из приложения теории Маркса к чужим условиям, к *иной* эпохе».

Приведем еще один пример того, как Ленин, подготовляя решающую политическую акцию, предварительно изучал экономическую основу общественных и политических явлений. Этот пример особенно важен потому, что он более универсален. Мы говорим о разработке теории империа-

лизма, основанной на тщательном анализе конъюнктуры, сложившейся в конце XIX века в экономике мирового капитализма.

Ленин взял на себя эту задачу во время войны, когда II Интернационал фактически перестал существовать. С первого дня войны Ленин определил поведение национальных социал-демократических партий, примкнувших к своей буржуазии, как предательство принципов социализма и марксизма. Уже в самом начале войны он предложил создать новый Интернационал, детально сформулировал тактику борьбы против войны, борьбы под лозунгом о «превращении войны империалистической в войну гражданскую». Эта тактика была основана на определенной оценке современной стадии развития капитализма, оценке, которая давно уже зрела в его уме. Желая завоевать на сторону своей концепции как можно большее число активных борцов международного социалистического движения, Ленин решил опубликовать всеобъемлющее исследование, обобщающее его идеи по этому вопросу.

Книга, над которой он работал во время своего пребывания в Берне, в 1915—1916 годах, совсем невелика по объему (в ней всего около 120 страниц) и называется «Империализм, как высшая стадия капитализма». Выпуская эту книгу, Ленин преследовал две цели: прежде всего, он желал быть понятным возможно более широкому кругу читателей; отсюда — чрезвычайно простой стиль изложения, впрочем, без тени упрощенчества, и очень немного статистических данных, только самый необходимый минимум (или, точнее, самый необходимый максимум). Кроме того, книгу, по замыслу Владимира Ильича, надо было издать легально, то есть с разрешения цензуры воюющих стран. Отсюда ее строго научный характер в узком смысле слова: в ней отсутствуют все те политические и тактические выводы, которыми, как правило, всегда завершались теоретические труды Ленина.

«Брошюра писана для царской цензуры,— указывал Ленин в предисловии к первому изданию.— Поэтому я не только был вынужден строжайше ограничить себя исключительно теоретическим — экономическим в особенности — анализом, но и формулировать необходимые немногочисленные замечания относительно политики с громаднейшей осторожностью, намеками, тем эзоповским — проклятым эзоповским — языком, к которому царизм заставлял прибегать всех революционеров, когда они брали в руки перо для «легального» произведения.

Тяжело перечитывать теперь, в дни свободы, эти искаженные мыслью о царской цензуре, сдавленные, сжатые в железные тиски места брошюры».

И все же эти «тиски» не помешали Ленину создать капитальный труд, не только опрокинувший полностью все буржуазные и псевдосоциалистические теории об империализме, но и ставший ключом ко всей тактике революционного социализма в данную эпоху...

Просматривая ленинские рабочие тетради того времени, мы узнаем, какое огромное количество экономической литературы он изучил, прежде чем пришел к выводам, касающимся различных аспектов этой проблемы. Уже одно оглавление говорит о ее огромном объеме и разнообразии тем. Для каждой главы, то есть для каждого из своих тезисов, Ленин собрал и сгруппировал самые важные и убедительные статистические данные. Проделав все это, он пришел к следующему неоспоримому в своей логичности выводу: «Из всего сказанного выше об экономической сущности империализма вытекает, что его приходится характеризовать, как переходный или, вернее, умирающий капитализм».

Чтобы завершить хотя бы схематически нашу краткую характеристику, упомянем еще и другие области социально-политической теории, к которым обращалась мысль этого универсального теоретика.

Это он углубил и расширил теорию диктатуры пролетариата, проходящую красной нитью через все учение марксизма. Это он в конкретной форме разработал теорию перехода от капитализма к социализму — теорию построения социализма. Это он теоретически и практически обосновал теорию гегемонии пролетариата в любой современной народной революции. Это он научно обосновал положение о социалистической индустриализации страны. Это он поднял на высокий теоретический уровень национальный и колониальный вопросы и тем самым заложил основу для практического разрешения столь огромной проблемы, потрясающей и волнующей весь современный мир. Это он, наконец, теоретически обосновал положение об организации и роли монолитной коммунистической партии в титанической борьбе двух миров, завязавшейся в XX веке.

ЛЕНИН-ФИЛОСОФ

Для того чтобы до конца понять Ленина как политического деятеля, организатора, теоретика, необходимо ознакомиться с его деятельностью в области философии. Если сегодня круги интеллигенции, согласные с ленинским толкованием марксизма, а также революционные рабочие отлично знают, что марксизм-ленинизм имеет свою философию и что этой философией является *диалектический материализм,* то это целиком и почти исключительно заслуга Ленина.

Во II Интернационале философская сторона марксизма была похоронена и забыта, как и ряд других его составных частей. Каутский осмелился даже утверждать, что «у Маркса не было никакой философии». Исходя из этого отрицания философской стороны марксизма, кое-где и кое-кем в международном социал-демократическом движении были предприняты попытки соединить марксизм с какой-нибудь философской системой, используя кантианство и неокантианство, позитивизм и эмпириокритицизм Маха.

Ленин очень быстро заметил эту опасность, угрожавшую подлинному марксизму. Еще в ранней молодости, в своих первых теоретических произведениях «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» и «Экономическое содержание народничества», Ленин атаковал идеологов народничества. Всю силу своего полемического таланта он направил против философских идей своих противников, противопоставляя им философскую концепцию подлинного марксизма. Уже в этих работах Ленин проявил себя вполне зрелым философом-марксистом, превосходящим в данной области не одних лишь своих противников, но и всех современных ему марксистов в России и за границей. Теперь мы знаем, что в тот период он не только очень внимательно изучал «Капитал» Маркса, в котором между строк выражена вся марксистская философия и который всем своим построением показывает диалектический метод изучения и изложения в его целостности; Ленин изучал также и одно из самых замечательных ранних философских произведений Маркса и Энгельса «Святое семейство» (1845), а также ряд других трудов, сыгравших свою роль в эволюции философского мышления Маркса и Энгельса (среди них — «Лекции о сущности религии» Фейербаха). Часы, проведенные в Королевской библиотеке в Бер-

лине, были посвящены именно изучению этих трудов. Он делал из них выписки с комментариями, дошедшие до нас (о работе в библиотеке Ленин рассказывает в письме к матери от 29 августа 1895 года). С тех пор, как Ленин уяснил себе всю важность философской стороны марксизма по отношению ко всему учению в целом, он не переставал углублять свои знания в этой области, то есть в области философии вообще. Случайно в шкафах московской жандармерии сохранился перехваченный властями список книг, отправленных Лениным из Шушенского к концу срока его ссылки. В этом списке перечислены следующие философские труды: Спиноза — «Этика»; Спиноза — «Богословско-политический трактат»; Спиноза — «Трактат об усовершенствовании разума»; Гельвеций — «Об уме»; Гельвеций — «О человеке»; Кант — «Критика чистого разума»; Фихте — «Факты сознания»; Фихте — «О назначении человека»; Шеллинг — собрание сочинений, один том; Гегель — «Энциклопедия философских наук»; Гегель — «Философия права»; Фейербах — «История философии» (от Бэкона до Спинозы); Фейербах — «К критике философии Гегеля»; Плеханов — «Очерки по истории материализма»; Ланге — «История материализма».

Уже один этот список дает некоторое представление о том, с какой серьезностью Ленин относился к своим занятиям философией. Вместе с тем этот список проливает свет на трогательные отношения его с родными: ведь это они, его мать, его сестры преодолевая тысячу трудностей, доставали ему все эти книги; в Западной Европе большинство из них нелегко найти даже сейчас, а в России в 1900 году они и подавно были редкостью...

В 1904 году Ленин почувствовал необходимость вернуться к изучению философии. Но разразившаяся революция, его возвращение в Россию, огромная политическая работа, захватившая его целиком, не оставляли для этого времени. И все же это не помешало ему заниматься; плодом всех его занятий философией в тот период явилась написанная в 1908 году объемистая книга «Материализм и эмпириокритицизм», солидный, чисто философский труд, для создания которого ему пришлось изучить около 200 философских работ — от Аристотеля до Вундта. Чтобы обеспечить себя достаточным материалом, Ленин даже предпринял путешествие в Лондон: фонды Женевской библиотеки его не удовлетворяли.

Владимир Ильич никогда не переставал следить за философской литературой. Мы знаем, например, что в 1920 году он увлекся изучением двух работ Лабриолы, что в 1921 году он вновь вернулся к чтению «Науки логики» и «Феноменологии духа» Гегеля.

Но уж если мы хотим перечислить все периоды, когда чтение философских трудов было важным занятием великого изгнанника, то надо сказать еще и о другом периоде систематического изучения им философии, приходящемся на 1914—1916 годы, то есть на первые годы войны. Уже в 1913 году он написал небольшую работу «Три источника и три составных части марксизма» и, кроме того, статьи: «К двадцатипятилетию смерти Иосифа Дицгена», «Исторические судьбы учения Карла Маркса», «Переписка Маркса с Энгельсом». В этих произведениях Ленин подчеркивает, что самое существенное, гениальный шаг вперед в истории революционной мысли состоит в том, что Маркс и Энгельс применили диалектический материализм ко всем областям науки — к политической экономии, философии, естествознанию, к политике и тактике рабочего класса; он обращает особое внимание также на тот факт, что диалектический материализм — живая душа, теоретический фундамент марксизма. Сам Ленин хотел в те годы написать теоретический труд о диалектике. Эта книга так и осталась ненаписанной. Рост всеобщего возмущения

против империалистической войны, вспыхнувшая вторая русская революция, гром Октября и задачи практического претворения в жизнь идей социализма поглощали столько времени, что Ленину некогда было закончить задуманную им философскую книгу. От тех лет, когда он ознакомился с более чем восемью тысячами страниц философских сочинений — начиная с Гераклита и кончая Жоржем Ноэлем и Абелем Реем,— остались только выписки и комментарии, иногда весьма обширные, сделанные при чтении этих книг. В сохранившихся многочисленных материалах центральное место занимают заметки, относящиеся к «Науке логики» и «Лекциям по истории философии» Гегеля, и фрагмент «К вопросу о диалектике». Как ни отрывочны эти заметки, в целом они представляют собой стройный философский труд редкой глубины и большой смелости мысли. Именно опубликование отдельных отрывков из этих подготовительных работ во французских журналах и сборниках привлекло внимание широких кругов французской интеллигенции к Ленину-философу.

В рамках сжатого очерка невозможно полностью показать, что представлял собой Ленин как философ. Мы хотели бы лишь обратить внимание некоторых читателей этой подборки писем на данную сторону духовной деятельности покинувшего нас великого человека.

Добрая половина философских трудов Ленина посвящена восстановлению подлинного духа философии Маркса и Энгельса. Основную сущность этого философского учения Ленин изложил в небольшой статье, написанной им для «Энциклопедического словаря Граната». В ней он дает четкое представление о том, как интерпретирует Маркс материалистическую философию и диалектику...

Ленин отстоял философское учение Маркса, вернул социалистическому рабочему движению материалистическую концепцию и диалектический метод, вооружив большевистскую когорту грозным оружием, обеспечившим победу Октября и успех пятилеток; но этим не исчерпываются заслуги Ленина на поприще философии. Как и в других областях общественных наук, Ленин и в философии *продолжал* дело Маркса, углубил и расширил его, сообразуясь с новыми условиями своей эпохи...

Продолжать дело Маркса и Энгельса в области философии означало для Ленина вести аналогичную работу применительно к своему времени. Чтобы применить марксистскую философию к новым условиям, Ленин должен был сам заняться всеми теоретическими проблемами, возникшими после Маркса и Энгельса в связи с развитием точных наук.

И Ленин действительно сделал это, что видно из его книги «Материализм и эмпириокритицизм». С точки зрения современного состояния естествознания эта книга дает нам ответ на ряд актуальных проблем физики и химии. Целая глава под названием «Новейшая революция в естествознании и философский идеализм» посвящена специально этим проблемам. На всем протяжении книги Ленин излагает марксистскую точку зрения на такие спорные философские вопросы, как материя и опыт, ощущение и познание, объективность познания пространства и времени, абсолютная и относительная истина, свобода и необходимость и т. д.

Если в этой работе Ленин делает главным образом упор на материалистическую сторону философии Маркса, то с неменьшим вниманием он исследует ее диалектический характер, когда в 1914—1916 годы приступает к занятиям философией. Критикуя страница за страницей «Науку логики» Гегеля, Ленин дает методическое изложение идеалистической диалектики (диалектики абсолютного духа), отбирая все рациональное в гегелевском толковании категорий логики, исторического развития «абсолютного духа», освобождая эти положения от идеалистической обо-

лочки (разоблачая попытку Гегеля приписать историческую эволюцию материального и социального мира свойствам разума) и ставя, таким образом, на ноги эту философию, стоявшую, по выражению Маркса, на голове. Ленин в своих заметках дает последовательное описание категорий диалектического материализма.

Ленин прекрасно знал, что этим трудом он только закладывает основы, указывает направление. В пометках, сделанных на полях страниц «Науки логики» Гегеля, Ленин неоднократно повторяет, что дальнейшее развитие марксистской философии состоит в том, чтобы дать диалектическое «оформление» всей истории человеческой мысли, науки и техники.

При чтении книги Лассаля о Гераклите Ленин перечисляет те области знания, без которых нельзя обойтись, когда речь идет о построении теории познания и диалектики: история философии, следовательно, история отдельных наук, история умственного развития ребенка, история умственного развития животных, история языка, психология, физиология органов чувств — словом, как отмечает Ленин, история познания вообще.

С такой огромной работой может справиться только коллектив при участии самых выдающихся специалистов по всем отраслям науки. Ленин отмечает, что крупнейшие представители современных естественных наук все были материалистами и диалектиками в строго ограниченной сфере своей специальности. И они же превращались в идеалистов и метафизиков, даже в верующих, за пределами своей специальности, то есть как только они начинали заниматься вопросами, в которых ничего не понимали... Вот почему Ленин в годы существования советской власти настаивал на поощрении крупных ученых в том, чтобы они стремились познать самую сущность науки.

«Современные естествоиспытатели найдут (если сумеют искать и если мы научимся помогать им) в материалистически истолкованной диалектике Гегеля ряд ответов на те философские вопросы, которые ставятся революцией в естествознании и на которых «сбиваются» в реакцию интеллигентские поклонники буржуазной моды.

Без того, чтобы такую задачу себе поставить и систематически ее выполнять, материализм не может быть воинствующим материализмом. Он останется, употребляя щедринское выражение, не столько сражающимся, сколько сражаемым».

Здесь мы подошли к очень характерной стороне работы Ленина-философа, резко отличающей его от всех философов-немарксистов. Речь идет о неразрывной связи, которую Ленин видит между философией и практикой, политикой. Говоря в приведенной выше цитате об изучении диалектического материализма в СССР, Ленин имеет в виду необходимость установления еще более тесной связи ученых с социалистическим строительством, ибо для Ленина решение философской проблемы всегда тесно связано с практическими задачами общественной борьбы...

Ленин считал, что его книга «Материализм и эмпириокритицизм» должна главным образом служить оружием в политической борьбе, оградить партию от влияния вредных теоретических идей. Это явствует из его заметок на корректурных листах книги. Он согласился внести в текст некоторые изменения, чтобы не раздражать цензуру, особенно строгую в вопросах «богохульства». Так, он разрешил заменить слово «боженька» словами «религиозные понятия». Но в письме от 12 марта 1909 года он категорически отказывается смягчить те места, которые непосредственно направлены «против Богданова, Луначарского и К°», потому что они-то как раз и были носителями этих вредных идей в рядах партии.

Что касается занятий философией в 1914—1916 годах, то в то время перед Лениным не стояли в этой области столь неотложные задачи,

как в прежние годы. Тем не менее у него были очень серьезные причины для этих занятий: Ленин предвидел, что ему вскоре придется поставить ряд кардинальных проблем, связанных с империалистической войной и предательством социал-демократов, явившимся прямым результатом их ошибочных теоретических концепций. Он хотел вновь выступить во всеоружии марксистской теории, начиная от ее философских основ, чтобы коренным образом решить вопросы наиболее существенные и актуальные. Впрочем, нельзя себе представить, чтобы Ленин мог без предварительного изучения философии сделать это с той же точностью, какая свойственна таким его работам, как «Развитие капитализма в России», «Что делать?», «Две тактики социал-демократии в демократической революции», а также статьям, напечатанным в «Правде», книгам «Империализм, как высшая стадия капитализма», «Государство и революция» и так далее (мы говорим лишь об основных произведениях отдельных периодов). В эти периоды, и в особенности в работах, относящихся к началу войны, Ленин в отдельных случаях непосредственно занимается «пропагандой диалектики». В статье «Крах II Интернационала» (1915 год), в своей полемике против Каутского Ленин обвиняет его в том, что он превратил диалектику «в самую подлую, самую низменную софистику». «Диалектика Маркса,— пишет Ленин,— будучи последним словом научно-эволюционного метода, запрещает именно изолированное, то есть однобокое и уродливо искаженное, рассмотрение предмета».

И далее:

«Чистых» явлений ни в природе, ни в обществе *нет* и быть не может — об этом учит именно диалектика Маркса, показывающая нам, что самое понятие чистоты есть некоторая узость, однобокость человеческого познания, не охватывающего предмет до конца во всей его сложности. На свете нет и быть не может «чистого» капитализма, а всегда есть *примеси* то феодализма, то мещанства, то еще чего-нибудь»...

Единство теории и практики, мысли и действия — вот принцип, который Ленин поднял до уровня закона познания. Критерием истины он сделал общественную, коллективную, историческую практику; быть может, именно эта особенность и есть самое характерное для образа мышления вождя большевиков. Именно в этом сливаются и сочетаются все исключительные качества этого человека действия, политика, теоретика и мыслителя-философа.

Как мы уже сказали вначале, письма Ленина к родным служат ярким выражением того, насколько неразрывны были для него теория и практика. Они нам показывают Ленина в сфере человеческих и личных отношений. Вот почему эти письма — поистине неоценимый вклад в биографию этого великого деятеля, который всей своей жизнью явил нам совершенный образец человека социалистического будущего.

КАК БЫЛ НАПИСАН ОЧЕРК „О ЛЕНИНЕ“

В 1936 году в Париже были изданы «Письма к родным» Ленина. Письмам был предпослан краткий очерк о Ленине, написанный Барбюсом в сотрудничестве с автором этих строк. Появление очерка было вызвано следующим поводом.

Издательство «Ридер» на протяжении ряда лет выпускало теоретические работы и художественные произведения, рассчитанные на французскую «левую интеллигенцию». Ридер издавал, между прочим, и журнал «Эроп», основанный Роменом Ролланом и Ж.-Р. Блоком. Однажды издательству был предложен французский перевод «Писем к родным» Ленина. Возникла необходимость предпослать этим письмам пояснительное вступление, адресованное французским читателям и содержащее характеристику времени, событий, адресатов и корреспондентов.

Один из переводчиков сборника предложил издательству обратиться к Анри Барбюсу с просьбой написать такое вступление. После непродолжительных колебаний, вызванных причинами, о которых я скажу ниже, Барбюс согласился. Он и привлек меня к этой работе; такое решение объяснялось не только нашим давним знакомством, но и тем, что в течение последних двух лет мы поддерживали самый тесный личный и рабочий контакт. Наше сотрудничество было связано с подготовкой к изданию больших литературно-политических трудов. Последним плодом нашего сотрудничества и явился очерк о Ленине.

Все сказанное касается лишь внешних обстоятельств возникновения этого труда. Его идейное содержание и форма — результат довольно продолжительного обмена мнениями, я сказал бы даже — совместной духовной жизни, которой было отмечено наше тесное политическое сотрудничество в международном рабочем движении.

Было задумано ознакомить читателя хотя бы в самых общих чертах со всеобъемлющей и кристально ясной картиной мира, которую дал современному поколению марксизм вообще и последующая ленинская разработка научного социализма.

В данном случае исходной точкой явилось человеческое в Ленине: это подсказывалось самими текстами писем, составлявших главную часть книги и охватывавших период в двадцать с лишним лет. Ленин писал все эти письма, совершенно не помышляя о возможном их опубликовании. Но образ сына, брата или супруга, встающий с каждой страницы и открывающий нам Ленина с новой и малоизвестной стороны, оказывается столь же привлекательным, как и образ Ленина — великого мыслителя или государственного деятеля.

Для разъяснения метода построения и стиля этой небольшой работы следует сказать еще несколько слов о том, каким было в ту пору передовое движение французской интеллигенции. В силу некоторых особенностей общенационального развития Франции рабочее движение этой страны, в первую очередь его радикальное крыло, смогло завоевать на свою сторону значительные группы национальной интеллигенции. Эта особенность проявилась во Франции в большей мере, чем в других странах, и уж, во всяком случае, сильнее, чем в Германии. В начале 30-х годов отношения между французским коммунистическим движением и национальной интеллигенцией вступили в новую фазу своего развития. В рядах работников умственного труда, и прежде всего профессоров Сорбонны и других крупных учебных заведений Парижа, образовалась быстро растущая группа, открыто и вполне сознательно вставшая на позиции марксизма, публично отстаивавшая марксистско-ленинские идеи и следовавшая в своей научной работе принципам диалектического материализма. Неслучаен тот факт, что эта группа, выпустившая тогда свои первые «эссе» под названием «В свете марксизма», возникла из научной комиссии «Рабочего сообщества «Новая Россия». Именно здесь началась кристаллизация революционных сил французской интеллигенции, стремительно распространявшаяся и на провинцию, охватившая профессоров, преподавателей и студентов провинциальных университетов.

Одна из побочных целей, которую мы ставили себе, приступая к нашей работе о Ленине, заключалась в том, чтобы дать теоретическую пищу этому новому движению. Дело в том, что издательство «Ридер», типично буржуазное по целям и характеру деятельности, считаясь с политическим полевением значительных кругов французской интеллигенции, намеревалось по-своему использовать это обстоятельство: оно все чаще предоставляло трибуну псевдолевым авторам.

Нежелание как бы то ни было соприкасаться с ними и было причиной, заставившей Анри Барбюса далеко не сразу ответить на предложение, сделанное ему. Однако после того, как он обусловил, что ни на обложке книги, ни на рекламных вкладышах не будет фигурировать название какого бы то ни было издания, которое мы отвергаем из политических соображений, его опасения улеглись. Он считал достаточным выигрышем уже тот факт, что издательство «Ридер» открывает ему путь к широким слоям читателей, а это обстоятельство имело тогда особенно большое значение.

Теперь, видимо, понятно, почему мы избрали для своей работы форму, позволявшую нам, отталкиваясь от фактов биографии Ленина, изложить некоторые основные положения марксизма с учетом уровня подготовленности французской интеллигенции.

Остального можно коснуться совсем коротко.

Издательство передало нам рукопись перевода зимой 1933 года, когда я еще жил во Франции. Первое собеседование Барбюса со мной о том, как выполнить предстоящую работу, состоялось на чудесной вилле «Вижилия» в Мирамаре (Ривьера), куда Барбюс часто выезжал из беспокойного Парижа, чтобы в тихой обстановке обдумывать планы больших работ. Барбюс договорился со мной об основном содержании очерка в целом; в феврале 1934 года я уехал в Москву. Таким образом, мы разлучились и надо было придумать какой-нибудь способ продолжения нашего труда. Летом 1934 года я прожил довольно долго во Франции и в июле и августе встречался в Париже с Барбюсом; он продолжал обсуждать со мной план очерка. Мы окончательно согласовали характер, объем, композицию и стиль работы. Барбюс, несмотря на

крайнюю свою загруженность, принимал очень активное участие в ее создании. Каждую главу он дополнял, изменял, перерабатывал, неоднократно к ней возвращался.

Наши последние беседы, весьма краткие, впрочем, поскольку текст в основном уже был закончен, состоялись 18—20 августа 1935 года в Москве. Я не мог и предположить, что вижу Барбюса в последний раз. Через две недели самолет с его гробом летел в Париж!

Мне пришлось одному читать корректурные листы и отдавать последние распоряжения, касавшиеся издания книги.

Она появилась в начале лета 1936 года. Есть основания предположить, что эта небольшая работа посильно помогла лучшей части французской интеллигенции сыграть ту роль, какая известна всем по периоду деятельности Народного фронта во Франции и по французскому движению Сопротивления.

Печатаемый в этом номере перевод очерка «О Ленине» несколько сокращен по сравнению с оригиналом. Опущены в основном те места, какие были необходимы для французского читателя, обращены к нему и на него рассчитаны.

Альфред Курелла.

Лейпциг, 1956 год.

Харинранат Чаттопадхайя

К поэтам

Перевод М. Ваксмахера

Поэты! Довольно вам петь уныло
Под жалобный стон струны!
Новые песни с новою силой
Над миром греметь должны.
Идите скорее из сумрачных келий
В просторный и светлый мир!
Песня поэта — не звонкие трели,
Не робкие вздохи лир,
Не дряблых аккордов пустое бренчанье,
Не мелких страстишек спор,—
Песня — народной мечты дыханье,
Больших сердец разговор.
Песня — поток весеннего света,
А не туманные сны...
Песня — это борьба поэта
За счастье родной страны.

Что мы о жизни народной знаем!..
Страдают люди, их гложет страх,
Им нужен хлеб...
И песня нужна им —
Та, что надежду зажжет в сердцах.
Та, что сильнее страданья и муки,
Та, что сильнее врагов любых...
Поэты! Протянем народу руки,
Братские руки — наш вольный стих!

Правдивая песня — что в мире сильнее?
Она, как солнце, как кровь, горяча,
И враг в испуге бежит перед нею,
Зная, что правда сильнее меча.
Песнь на битвы идет вместе с нами,
Неугасимым горя огнем.
Песня народная — жаркое пламя.
Сталь сердец закаляется в нем.

Поэты! Чей голос звучит уныло?
Кто о вчерашних снах поет?
Голос поэта — могучая сила.
Хозяин этой силы — народ!

Веркор

РАССКАЗЫ

ВЕНЕРА СОЛАРИЙСКАЯ

Перевод с французского Р. Райт-Ковалевой

— Сколько тебе лет, Сальватор?— неожиданно спросил Мастер, снимая рабочий халат. Зиму и лето он носил что-то вроде темнокрасной блузы.

— Тридцать четыре года, учитель,— ответил Сальватор.

Он перестал работать резцом и молотком и улыбнулся. Его черные кудрявые волосы были присыпаны тонкой мраморной пылью.

Мастер вытянул губы, словно хотел присвистнуть от удивления.

— Неужели ты уже пятнадцать лет работаешь у меня?

— Шестнадцать. Я к вам пришел, когда мне было восемнадцать лет.

Мастер повесил халат на плечо бронзового Антиноя.— Чудеса!— пробормотал он.— Шестнадцать лет!— Он взял щетку, лежавшую у ног Антиноя, и стал тщательно чистить блузу и брюки. Потом выпрямился, молча постоял со щеткой в руке, глядя в упор на Сальватора.

— А что ты сделал за это время?

Сальватор слегка покраснел и снова стал работать. Негромкий стук молотка не заглушал его слов.

— Да ничего особенного,— признался он.

— Ты мне никогда ничего не показывал,— сказал Мастер.— Каждый раз находил отговорку...

— Учитель...— виновато протянул Сальватор,— понимаете, учитель.— Он помолчал, потом спокойно добавил:— А зачем?

— То есть как это «зачем»?

Сальватор быстро обернулся и поднял руку, словно отмахиваясь от обидных предположений.

— Нет, нет, учитель, я не о том... конечно, ваши советы... верьте, учитель... нет, нет. Я только хотел сказать...— Он слегка передернул плечами, посмотрел в окно на зимнее небо.— Зачем... зачем искать оценку того, что ты делаешь?

Мастер как будто забыл, что торопится. Он сел у ног Антиноя, прямо на пыльный постамент. Вертя щетку, он посмотрел на своего ученика.

— Зачем?— медленно и задумчиво повторил он.— Но ведь...

Сальватор был очень красив. Прямой нос, выразительные губы, резкая складка между бровями — умное лицо.

— Сальватор, ты не веришь в нашу работу?

— В работу? — живо подхватил тот.— Конечно, верю. Именно в работу,— подчеркнул он, тряхнув головой.

— Так в чем же дело?

Сальватор, не отвечая, продолжал работать. Потом повернулся, положил инструмент и прислонился к мраморной глыбе, которую он обтесывал. Он улыбнулся, посмотрел на Мастера, и в глазах его зажегся огонек.

— Учитель,— сказал он вдруг.— Мне давно хочется загадать вам загадку. Вернее, задать вопрос,— поправился он.

— Что ж, мой мальчик, говори! — Мастер удобно оперся о колено Антиноя. Привычным жестом он смял в кулаке бороду.

— Для кого вы работаете?— спросил Сальватор.

— Фью-ю-ю!— свистнул Мастер со смешанным выражением удивления, недовольства и обиды. — Да, ты прав, это действительно загадка...

Хитрая улыбка осветила его загорелое лицо, на котором серебром блестела седая щетина.— Я мог бы тебе ответить: для тех, кто мне платит деньги.

— Это не ответ,— серьезно сказал Сальватор.— Конечно, если мой вопрос нескромен...

Мастер поднял руку, и лицо его стало серьезным. Видимо, признание давалось ему с трудом.

— Зачем скрывать? Для потомства!— сказал он и добавил торопливо, глотая слова:— Так я, по крайней мере, надеюсь... хоть и не уверен...

— Понимаю,— сказал Сальватор без сочувствия, но и без иронии.— Отлично понимаю... Для по-том-ства...— задумчиво и веско отчеканил он каждый слог.

Мастер следил, как на лице Сальватора отражалась смена мыслей.

— А что?— бросил Мастер, и его голос прозвучал насмешливо, взволнованно, но без малейшего высокомерия или пренебрежения:— Какого черта иначе работать в мраморе? С гипсом возни меньше...

— Зато мрамор прекрасен,— сказал Сальватор.

— Ну и что же? Для кого эта красота?

Сальватор сморщил подбородок, в раздумье поджал губы. Глаза у него стали далекими, мечтательными. Он машинально вертел пуговицу на блузе.

— Для кого?— вздохнул он.— Вот об этом-то я вас и спрашиваю.

— Ну как же!— воскликнул Мастер.— Для тех, мой мальчик, для тех, кто...

Он запнулся. Никогда он не был красноречив. Преодолевая эту беспомощность, он сам перешел в наступление:

— А с каких это пор у тебя такие унылые мысли?

— С давних пор, — признался Сальватор, — с очень давних...— Он вздохнул и добавил:— Вопрос вот какой: если бы мрамор был нестойким, а гипс — прочным, с чем бы вы предпочли работать?

Мастер поднес к глазам щетку и осмотрел ее со всех сторон, словно какую-то редкость.

— Боюсь, что я перед тобой очень виноват,— сказал он, наконец, подымая глаза.— Нехорошо, что я предоставил тебе самому... самому все это распутывать... Сальватор, ты, наверно, считаешь меня большим эгоистом?

— Учитель,— сказал Сальватор,— не мучайте себя. Я работаю у вас с наслаждением. Я счастлив. Жизнь, которую я веду, мне нравится. Вы это почувствовали и вы меня не стесняли — так не жалейте же об этом и не начинайте...

— И все же,— перебил его Мастер,— понадобилось целых шестнадцать лет... Нет, это невероятно, — вспылил он вдруг. — Как я мог не обращать внимания! Но я привык к тебе, как к брату, к младшему брату, или племяннику... Говоришь о всяких мелких делах, мелких неприятно-

стях... А о таком, о самом важном... О, черт! Скажи мне, по крайней мере, как это началось. Что произошло? Когда? Я ничего не видел. Неужели я настолько слеп, настолько глух?

— Это было давным-давно,— объяснил Сальватор.— В самые первые дни, в Тунисе. Помните, Бей заказал вам кариатиды. Вы взяли меня с собой, помогать вам. Я был очень молод: двадцать три года. Какое вам было дело до того, что творилось в душе у мальчишки?

Мастер привстал.

— Уже не хочешь ли ты заставить меня поверить, что из-за какой-то любовной истории...

Он смотрел на ученика насмешливо и недоверчиво.

— Какой истории?— Сальватор недоуменно поднял брови, не понимая, о чем речь.

— Так о чем же ты говоришь? — спросил Мастер тоном человека, которого сбили с толку.— Я отлично помню тогда, в Тунисе, твое хмурое лицо, отсутствующий вид, помню, как ты бродил в тоске, потерял всякий интерес к работе. Бедняга, думал я, крепко его зацепило...

— Значит, вы все-таки тревожились обо мне, — сказал Сальватор, пряча под улыбкой искреннее волнение.— Да, я и тогда это видел и изо всех сил старался отвести вам глаза...

— Слишком мы оба скрытничали... Но все же я...

— Вы тогда решили, что это — любовная драма. Любовь... Да, может быть, так оно и было... Но если я назову вам предмет моей любви, вы, должно быть, удивитесь...

— Что ж, назови...

— Карфаген,— сказал Сальватор.

Мастер удивился:

— Ты хочешь сказать, что в Карфагене...

— Да нет,— нетерпеливо поправил его Сальватор,— не в Карфагене, а *Карфаген,*— подчеркнул он,— сам Карфаген. Вернее...

— Ничего не понимаю!

— Вернее, его гибель...— договорил Сальватор. Он горько рассмеялся:— Как мне хотелось его увидеть! Во время всего путешествия по морю, — а вы помните, каким оно было долгим и тяжким, — ожидание мучило меня сильнее, чем морская болезнь, Карфаген, думал я, Карфаген! Побывать на его великих развалинах! Мы приехали. В первый же свободный день я отправился туда. Оказалось — это рукой подать. Мы добрались за одно утро. Я сгорал от нетерпения. Как только с какого-нибудь холма открывалась хоть малейшая видимость, я в нетерпении искал глазами развалины Карфагена. Мой проводник сказал: «Ну, вот мы и на месте». Сначала я подумал, что он шутит. Вокруг не было ничего, кроме песков и редких пастбищ. Мирно паслись стада. Я крикнул: «Где же развалины?» — «Какие развалины?— удивился проводник. И вдруг понял:— А вон они, внизу,— объяснил он.— Смотрите, там, в воде, виднеются остатки старинных плотин». Мне хотелось умереть, да, да, умереть на этом подлом холме. Мне кажется, что ужас, который я испытал тогда, остался во мне на всю жизнь...

Мастер покачал головой:

— Значит, вот что у тебя болит...— ласково сказал он. Потом помолчал, погладил бороду.— Неужели вечность так мучает тебя? Неужели ты так страшишься смерти?

— Смерть меня не страшит,— спокойно ответил Сальватор.— Мне не страшно смотреть в лицо смерти. А вот говорить о потомках значит закрывать на нее глаза,— так мне кажется. Надеяться на дым, на тень, на иллюзию. Наверно, и в Карфагене были гениальные скульпторы, как вы. Может быть, они, как и вы, тесали мрамор для потомства. И я вам

говорю: они убаюкивали себя страшной ложью.

Он вдруг оживился:

— Вот и я, и я тоже мечтал увековечить свое имя в мраморных статуях!— воскликнул он.— Но Карфаген заставил меня прозреть. О да, бывает, что работа сохраняется в веках. Но это лотерея, где слишком много пустых номеров, где талант, способности играют ничтожнейшую роль. Ваша статуя герцога Соларе, на площади Четырех Углов,— это высокое искусство. А статуя принца Флорана, сделанная вашим другом Вольторне, просто — честное ремесленничество и ничего больше. Но если в огне войн и пожаров она переживет вашу, то ею и будут любоваться в веках.

— Возможно,— сказал Мастер.— Пожалуй, ты прав.

— И вы согласны на такую лотерею?— запальчиво спросил Сальватор.

— Нет,— сказал Мастер.— Разумеется, мне это неприятно. Но что тут поделаешь...

— Да ничего,— сказал Сальватор неожиданно спокойным тоном.— Ровно ничего. — Он взял свои инструменты с какой-то равнодушной деловитостью и снова принялся за мрамор. — Вот почему я люблю свое ремесло, — сказал он. — Именно эту вот работу, которую я делаю. Я стараюсь как можно лучше сохранить в мраморе ту красоту, которую вы создаете. Удастся — я счастлив. Как булочник, который выпекает хороший хлеб. А что потом станется с хлебом или со статуей — мне все равно. Я ничего и не жду.

— А почему же булочник рад, когда хлеб удается?— мягко спросил Мастер.

— Ему приятно, если скажут: хлеб хорош.

— А разве это уже не для потомства?— сказал Мастер.— Он ведь не знает тех, кому хлеб по вкусу.

— Но они живые,— сказал Сальватор.

— Какая же разница?

Сальватор опустил руки. Он думал.

— Не знаю,— признался он,— но разница большая.— Он помолчал, кусая губу.— Ага,— воскликнул он с жаром,— кажется, нашел. Для меня самое страшное, что бывает поздно. Понимаете? Поздно, чтобы... чтобы...— Он явно волновался.— Вот, например, я родился слишком поздно. Люди, которых... которых я хотел бы... которых я хотел бы ощутить, потрогать... Ну зачем мне ощущать тех, кого я не люблю?.. И как я могу любить тех, кого не знаю? А те, кого я знаю и люблю, те уже много столетий лежат в могилах. Вергилий, Данте, святой Франциск... И те, кто их любил, тоже... Все, кто нам дороги, ушли, и нам их никогда уже не вернуть. Какое бы произведение искусства я ни создал, мой отец никогда о нем не узнает... У меня сердце разрывается при этой мысли. А что мы знаем о тех, которые еще придут? Может быть, это будут варвары... Может быть, они впадут в первобытное состояние?

— Для того мы и работаем, чтоб этого не вышло.

— О-о,— с горечью протянул Сальватор,— это от нас не зависит.

Он вдруг о чем-то вспомнил, повернулся и сказал уже более веселым голосом:

— Однажды я решил, что нашел ключ.

— Какой ключ?

— Такой, что придает мужество, открывает смысл во всем, что делаешь.

Он вздохнул и добавил тихо:

— Тот, кто мне дал его, тот и отнял.

Мастер молчал; он понял, что Сальватор хочет открыть ему душу и перебивать его не надо.

— Благодаря этому человеку я выплыл на поверхность. Я знал, что он, как и я, презирает мирскую суету. Однажды я спросил его, как и вас: *для кого* он долгие ночи проводит над странными своими стихами,— они были не совсем понятны, но прекрасны и тем самым предназначены для немногих избранных. И он мне ответил: «Если бы я был уверен, по-настоящему уверен, что хоть один человек однажды прочтет хотя бы одно из моих стихотворений, если бы я был уверен, что от этого ему станет легче жить хоть на один час, для меня это было бы счастье».

— Красиво сказано,— проговорил Мастер.— Должно быть, благородный человек.

— Да, человек он был изумительный.

— Значит, он умер?

— Для меня — да. Хуже того: я его презираю...— Видно, Сальватору было неприятно это воспоминание.

— Я еще никогда ни с кем об этом не говорил. А хорошо поговорить откровенно...— признался он.— Вы, конечно, уже догадались, о ком я...

— Нет... не имею представления...

— Значит, он не посмел обратиться к вам, отравить ваш слух грязной клеветой. Помните Венеру Остийскую?

— Что за вопрос! Ты ведь два года очищал ее от известковой коры. Я часто хожу смотреть на нее во дворец герцога. Все от нее в восхищении.

— А вы знаете, при каких обстоятельствах я нашел ее во время каникул в Остии? Эта странная рука, подвешенная на веревке, служила пугалом на жалком огороде в болотистой низине, у моря... Рыбак показал мне, где он нашел эту руку после бури, в песке, выброшенном на берег прибоем. Я не решился один начать раскопки, я вызвал Гвидо, Гвидо Дольятти, археолога, моего друга, нет — брата. Он был взволнован и обрадован не меньше моего. Мы вместе взялись за раскопки и вытащили на свет божий эту Венеру — бесформенную, покрытую ракушками и твердыми, как гранит, отложениями извести. Я думал, что мне никогда не снять с нее эту кору. Правда, без поддержки Гвидо я ничего не стал бы делать, без него я не смог бы взяться за работу. Не думаю, чтобы кто-нибудь, кроме меня, отважился на это. Нужна была вся моя сноровка и все мое терпение, чтобы найти границу между отвердевшей известковой коркой и мрамором. Все делалось в полной тайне. Я работал, а Гвидо писал мне из Сицилии, спрашивал, как дела, и повторял: «Не показывай ее никому. Не говори пока что о ней. Надо сначала кончить». А потом я узнал, что сам он о ней рассказывал, рассказывал многим друзьям и часто, забывая обо мне, говорил: «Я открыл в Остии...» Впрочем, что же... Это все неважно.

В голосе Сальватора послышалось волнение:

— Разве я виноват, что вы застали меня врасплох за этой работой? Что из Флоренции, из Рима и даже из Неаполя стали приезжать люди— посмотреть на Венеру Остийскую? Разве моя вина, что все эти месяцы с ней связывали только мое имя, хотя вы свидетель, что, говоря о ней, я всегда упоминаю Гвидо. Разве моя вина, что герцог так щедро заплатил мне за эти два года работы, что я смог купить рыбаку лодку, а себе построить на холмах над Соларе дом, о котором я мечтал всю жизнь. Я хотел, чтобы Гвидо получил свою долю. Но он отказался, написал мне злое, нарочито оскорбительное письмо. Я заставил себя смолчать. Он стал писать мне омерзительные письма. И скоро я узнал, что он всем и каждому рассказывает, как я украл его открытие, я, простой ремесленник, исполнитель его воли, обокрал его, чтобы одному воспользоваться славой и богатством.

— Неужели это возможно, — пробормотал Мастер. — Дольятти!

— Да, этот неподкупный человек. Автор проникновеннейших стихов, которые и вправду помогли мне жить, как он того хотел. Теперь я ему уже не мог об этом рассказать, да и не верил больше в искренность его прекрасных слов. Может быть, он и сам поверил своей выдумке, а это хуже всего. Вот они, плоды славы. Как они отравляют даже такого человека, доводят его до низости! Я понял, что самая чистая, самая невинная и незапятнанная красота может потворствовать самым дурным, низменным чувствам.

Он замолчал. Глаза его смотрели в землю. Мастер поднялся, подошел к нему, сжал его плечи: — Бедный мой Сальватор, — сказал он с глубокой нежностью, — хороший ты человек! Теперь я все понял. У тебя выбили почву из-под ног. Ты не знаешь, куда ступить, чтобы не споткнуться. — Он остановился: — Но в себя-то ты еще веришь?

— Не знаю, — сказал Сальватор.

— Не знаешь?

— А какие у меня доказательства, что я смогу устоять? — сказал он тихо. — Разве я проверял себя? Кто знает, как бы я поступил на месте Гвидо. Не знаю, ничего не знаю... Может быть, я вел бы себя еще хуже. Вот почему я не верю даже себе! — с сердцем крикнул он вдруг. — Не хочу рисковать, не хочу ничего добиваться, чтобы потом не презирать себя!

— Но ведь это бегство от жизни! — Мастер тряхнул его за плечи.

— Нет, — покачал головой Сальватор. — Если бы я верил, если бы я мог поверить... Тогда это было бы бегством... Но мне все кажется таким пустым, такой явной бессмыслицей. Нет такой вещи на свете, ради которой стоит рисковать уважением к самому себе. Даже ради величайшей славы нельзя идти на такой риск, потому что и слава — всего только тень, только призрак.

Он перевел дыхание и добавил спокойно и уверенно:

— Все мы — только муравьи. Так будем же, по крайней мере, работать, как честные муравьи.

Мастер снял руки с его плеч и отступил на несколько шагов. Взяв щетку, он снова стал чистить свою пыльную одежду, о чем-то напряженно думая. Сальватор опять принялся за работу. Мастер посмотрел на него, словно не решаясь заговорить. Он потрогал бороду, потом сказал:

— Значит... с тех самых пор — сколько же это лет прошло? Шесть, да? Ты для себя уже не работал?

Сальватор не сразу ответил:

— По правде говоря, да...

Он обернулся. Лицо его вдруг осветила улыбка — лукавая и ребячески смущенная.

— А соблазн велик, — сказал он. — Искуситель не дремлет. И женщина — его орудие.

Мастер сдвинул брови:

— Какая женщина — Туллия, твоя жена?

В ответ Сальватор только рассмеялся.

— Ты делаешь ее портрет? Да, трудно устоять — она самая красивая женщина во всей Италии. И самая обаятельная.

— Я тоже так думаю, — просто согласился Сальватор. — Но я не портрет ее делаю, нет. Гораздо больше. — И он повторил: — Гораздо больше...

Веселый огонек плясал в его глазах — он не решался открыть свою тайну.

— Вы только ей не говорите! — продолжал он, улыбаясь. — Она сама... — Он опять засмеялся, пытаясь скрыть смущение. — Она дала

мне понять, что если я действительно считаю ее такой красивой... что в знак моей любви... — Он запнулся.

— Значит, всю, целиком? — сказал Мастер с веселым видом заговорщика. — И без покрывала?

Сальватор тряхнул головой с утвердительным смешком.

— Я с нее леплю Венеру, но только для нас двоих, — добавил он поспешно. — Ни я, ни она... правда, по разным причинам, но мы оба не хотим, чтобы кто-нибудь когда-нибудь...

— Она — из стыдливости, так? А ты — из-за того, что ты сейчас говорил?

— Да, учитель, из-за этого.

— Неужели ты ее никому не покажешь? Никогда? — недоверчиво спросил Мастер.

— Никогда, — спокойно и твердо сказал Сальватор. — Верьте мне,— добавил он и улыбнулся, как человек, уверенный в себе,— я глубоко убежден в том, что сказал вам. Я не хочу изменять себе...

Он запнулся, потом продолжал:

— Конечно, когда-нибудь все-таки... вам, одному! Я три года над ней работаю. Но только вам! — настойчиво повторил он. — Не выдавайте меня, как тогда, с Венерой Остийской!

— А что ты с ней сделаешь?

— Не знаю. Пока мы живы, она будет стоять у нас. А потом... честное слово, не знаю... Может быть, я ее закопаю заранее, может быть, и нет... Сам не знаю...

— Оставь хоть руку снаружи, — пошутил Мастер, но шутка прозвучала грустно. Он накинул мохнатый плащ. — Пусть ее когда-нибудь найдут, через много веков... покрытую известняком и ракушками...

Он остановился на пороге, посмотрел на Сальватора и договорил, пряча под насмешливой улыбкой искреннее восхищение:

—...твою таинственную Венеру Соларийскую...

* * *

Вернувшись домой к обеду, Сальватор не застал жены в столовой: она уже легла, чего с ней никогда не бывало. Сальватору показалось, что ее лихорадит. Она жаловалась на страшную слабость. Он велел подогреть большую кружку вина «Лакрима-Кристи», добавил туда несколько ложек меду и заставил жену выпить.

— Ох, уж это твое лекарство! — ласково подсмеивалась она. — Других ты не знаешь. По-твоему, оно все излечивает.

— Завтра встанешь! — сказал Сальватор. — Перед этим никакая болезнь не устоит!

На следующий день жар стал сильнее, наступила болезненная слабость. Сальватор забеспокоился, вызвал врача. Тот потер щеку и постарался скрыть под учеными словами полное непонимание этого странного случая. Все же ему удалось сбить жар, но слабость все росла. День ото дня больная худела. Иногда ее мучили страшные приступы боли. Сальватор видел, что она теряет силы и уже не может приподняться без чужой помощи. На пятнадцатый день врач отвел его в сторону и предупредил, что надо быть готовым ко всему.

— Вы... вы хотите сказать, что она может умереть? — прохрипел он, теряя голос, и, пока врач еще раз пытался защитить себя учеными словами, Сальватор с огромным усилием сдерживался, чтобы не вцепиться ему в горло.

Он спустился с холма в Соларе, отупевший от горя. В этот сухой и солнечный февральский день весна уже давала знать о себе. Люди шагали быстрей. Молодая девушка, его формовщица, повстречавшись

с ним, улыбнулась. На площади Четырех Углов, вокруг памятника, ярмарочные торговцы раскинули свои пестрые палатки. Продавец лимонов весело жонглировал своим товаром. Слышались громкие голоса, смех детей.

Сальватор пробирался сквозь эту пеструю сутолоку, и сердце у него колотилось от бессмысленной ярости. Он вошел во дворец герцога, ослепленный гневом и отчаянием. Ждать пришлось в галерее, где в мраморной нише царила в светлом своем великолепии Венера Остийская.

Необъяснимый, безумный порыв охватил его вдруг. Лютая злоба вспыхнула в нем при виде этой статуи — такой светлой, прекрасной, такой живой. Сумасшедшее желание — разбить ее в куски. Ему пришлось собрать весь остаток разума, чтобы не швырнуть ее об пол. Он облегченно вздохнул, когда его позвали к герцогу. И тут ярко вспыхнула отчетливая мысль: «Я разобью ту, свою!» Он понял, что Венера Остийская сейчас внушила ему эту мысль: разбить, да, разбить окаменевший образ, на который он вот уже пятнадцать дней не мог смотреть, уничтожить безумную попытку воплотить в мраморе смертную красоту. Для кого? Для кого же? «Нелепый памятник моего тщеславия! — подумал он. — Если Туллия покинет меня, я и на час не переживу ее!..»

Он попросил герцога прислать к нему своего врача. Герцог согласился с более чем дружеской готовностью, он любил Сальватора и восхищался красотой Туллии. Но все оказалось напрасным: врач герцога подтвердил опасения своего собрата. Их искусство бессильно, теперь все зависит только от природы.

Вечером следующего дня им показалось, что настал конец. Врач стоял у постели. Молодая женщина спала. Исхудалое лицо, бескровные, запавшие губы — все предвещало смерть. Она дышала с трудом, короткими, судорожными толчками. Иногда дыханье падало, становилось почти неслышным, и Сальватор дрожащими негнущимися пальцами впивался в дерево кровати; потом дыханье становилось слышнее и еще прерывистей, неожиданно стихало и опять усиливалось, переходя в короткую неровную одышку.

Сальватор чувствовал, как болят и немеют его руки, — так крепко сжимал он изголовье кровати, словно пытаясь удержать ускользающую жизнь. Врач стоял рядом, бледный, с виноватым видом, не спуская глаз с больной. К вечеру ей стало хуже — глубокие обмороки сменялись припадками судорог. Туллия напрягалась всем телом, на ее впалом лице, исхудавшем до неузнаваемости, проступало не то удивление, не то боль. Розовая пена закипала в уголках восковых губ. И вдруг это тело, недавно такое прекрасное и теперь превратившееся в узловатый скелет, выгнулось дугой и задрожало мелкой дрожью. Сальватор выпустил деревянное изголовье, за которое он цеплялся, как утопающий, и стал метаться по комнате, словно разъяренный лев. Он бегал из угла в угол, сдерживая крик, но глухие стоны, помимо воли, срывались с крепко стиснутых губ. Потом, остановившись на миг у окна, открытого в ночь, он окинул возмущенным взглядом темную долину, исколотую тысячами огней Соларе, и прозрачное до черноты небо, где в звездной пыли серебрился молодой лунный серп.

Вне себя он обернулся и крикнул, вернее, взвыл: «Нет!!!» Он смотрел на врача в таком необузданном гневе, что тот невольно поднял руку. — Хлам! — заревел Сальватор. — Все это хлам, мусор!.. Издевательство! — в ярости завопил он. — Дикая шутка, бессмысленная, преступная! — Обеими руками он схватил доктора за ворот и стал его трясти:— Что? — с угрозой крикнул он. — Что вы можете сказать?

В ответ он услышал сдавленный крик. Словно во сне, он разобрал свое имя: «Сальво!» — и обернулся. Он увидел широко раскрытые глаза

Туллии, но она не смотрела на него, ее тело обмякло, успокоилось. Она пробормотала: «Сальветто!» — и глаза ее закрылись, дыханье постепенно стало спокойней, казалось, она погружается в сон со странной быстротой, как камень в воду. Они оба стояли, онемелые, следя за прерывистым, но уже не таким тяжелым дыханьем. Сальватор не смел повернуть голову. Наконец он с трудом заставил себя посмотреть на врача вопросительным жалким взглядом. Тот ответил ему тенью улыбки, нет — тенью тени:

— Ну вот, теперь кризис миновал. У нее крепкое сердце, оно хочет бороться. Следите за ней, — добавил он, нерешительно направляясь к двери. — Думаю, что она проспит несколько часов кряду. А вы успокойтесь, дайте своим нервам отдых, боюсь, силы вам еще понадобятся, и скоро... Прощайте, а завтра утром дайте мне знать, если она еще... если... — Он не знал, как закончить эту жестокую фразу, ласково и дружески сжал плечо Сальватора и вышел.

Туллия и вправду уснула. Сальватор, измученный усталостью, сам несколько раз забывался тяжелым сном, полным страшных видений. Он дрался с герцогом, а тот смеялся и без труда отталкивал его, издеваясь: «Грошовый принц! Ты будешь царить в мертвом Соларе!» Сальватор падал на колени, хотел укусить герцога за ногу. Но нога оказывалась каменной. Сальватор просыпался и снова засыпал. Ему снилось, что на унылом зловонном берегу в сером, как пепел, песке лежит голова его мраморной Туллии, изъеденная ракушками. Он хотел нагнуться, поднять ее, но волны захлестывали его розовой пеной и откуда-то из глубины шел сдавленный шепот. Шепот становился все явственней. Сальватор расслышал свое имя...

Туллия, широко открыв черные глаза, смотрела на него, звала его. — Сальво! — проговорила она шепотом. — Сальветто! — В ту же секунду он очутился на коленях подле кровати, сжимая в руках ее горячую руку. — Я умру, правда? — спросила она еле слышным, но ясным голосом.

— Туллия, любимая! — шепнул он. — Не говори глупостей!

— Нет, нет! — сказала она. — Я чувствую, чувствую... Ах! — простонала она громче. — Я не боюсь смерти, но расстаться с тобой! — Слезы брызнули у нее из глаз, и Сальватору показалось, что у него сейчас разорвется сердце от усилия самому сдержать слезы.

— Никогда! — с трудом сказал он и, сжав зубы, уткнулся лицом в горячую безвольную ладонь.

— Послушай! — зашептала она еще тише. — Я бы хотела... хотела... — Она замолчала и, казалось, опять уснула, глаза ее закрылись, она дышала глубже, но губы снова дрогнули, она заговорила: — Сальво, прости меня, если я... — Она остановилась. Сальватор умолял ее: — Скажи, что тебя мучает, Туллия, моя Туллия, ты ведь знаешь... — Она сжала исхудалой рукой его руки: — Знаю, Сальво, родной... — Казалось, она словно собиралась с силами, потом заговорила снова: — Эта статуя... Да... Антония... Антония как-то мне сказала... — Она вдруг раскрыла глаза и бросила на него испуганный и умоляющий взгляд: — О любовь моя, ты скажешь, что я гадкая, что я трусиха, дура! — Но он настаивал: — Говори, милая, не бойся ничего! — Туллия начала осторожно, нерешительным голосом: — Как-то в самом начале Антония меня спросила: «Ты не боишься?» Она сказала... — Туллия сжала руку Сальватора, — она сказала: «Это значит бросить вызов смерти!» И еще сказала: «Вспомни легенду о Лаис». Ты знаешь — возлюбленная Сарда... Каждый день она бледнела... краска сходила с ее щек, словно этой краской писал ее возлюбленный. А когда он положил последний мазок, она умерла... Антония еще рассказала, что другой художник... он сохранил

жизнь своей любимой только тем, что сжег ее портрет, который писал с нее... Ах, Сальво, — пролепетала Туллия, — а вдруг это правда?

— Правда или нет — все равно! — крикнул Сальватор. — Милая, милая моя! Я сейчас же разобью эту проклятую статую. Я ненавижу ее. И даже, если...

— Ах, Сальво, Сальво, — в отчаянии повторяла Туллия, — я такая трусиха, такая глупая трусиха... Ну как можно верить такой чепухе? И все же... Я знаю, моя красота пройдет, даже если я выздоровлю, моя красота смертна, а красота твоей Венеры... Мне стыдно! — вдруг воскликнула она почти окрепшим голосом. — Но расстаться с тобой, — она зарыдала. — О, как я несчастна!

— Замолчи! — крикнул он. — Неужто ты думаешь, что я смогу глядеть на этот дурацкий камень, если ты от меня уйдешь? Лучше мне дать отрубить вот эту руку.

— Сальво, Сальветто, ты будешь на меня сердиться...

— Успокойся! — умоляюще сказал он. — Успокойся, усни. — Он встал, поцеловал ей руку с глубокой нежностью и волнением. — Завтра утром, когда ты проснешься, этот ненужный мрамор, эта нелепая самодовольная глыба будет разбита на мелкие камешки, я усыплю ими дорожки сада, и скоро ты будешь топтать их легкой стопой. Успокойся и спи, Туллия, я люблю тебя, не мучайся из-за призрака, не терзай себя пустым и бесплодным сожалением. Все на свете — бессмыслица, кроме любви.

Он прижался губами к ее пылающим губам, чтобы заглушить последнюю попытку возразить ему, и вышел.

Он испытывал облегчение, почти восторг. И не потому, что его трезвый ум верил сказкам Антонии. И даже не потому, что у него осталась — увы! — хоть тень надежды на выздоровление Туллии. Но в уничтожении своей работы он видел символ, который был значительней, чем его горе. Это было словно отречение, словно бунт, словно отчаянное, страстное, яростное сопротивление, вызов слепой жестокости бессмысленной, до отвращения бездарной природы. Это был вызов и человеческому безумию, смешной и презренной людской суетности, невероятному тщеславию. И вызов последним остаткам его собственной гордости, наконец-то обузданной, наконец-то изничтоженной. Он схватил в сарае толстую веревку и деревянные блоки и с трудом удержался, чтобы не бежать бегом через сад, погруженный в ночную тьму. Он вошел в просторную застекленную мастерскую. В неверном свете его охватило странное спокойствие слепых стен и глубокая-глубокая тишина, застоявшаяся в ледяном их молчании.

В глубине, загадочная, облитая лунным светом, стояла во всем великолепии Венера Соларийская, сияя снежной белизной, немая, неподвижная и одинокая.

* * *

В ночной духоте Мастер вдруг услышал стук дверного молотка. Кто-то стучал торопливо и скорее настойчиво, чем с нетерпением. Мастер встал, накинул халат, пошел открывать двери. В полутьме он сразу разглядел измученное лицо Сальватора.

— В такой час! — испугался Мастер. — Неужели ты пришел сказать...

— Нет, — ответил Сальватор. Мастеру показалось, что он дрожит. — Нет, — повторил он, — ей лучше. Она спит. Пойдемте! — отрывисто добавил он, взволнованно сжимая и разжимая пальцы.

— Она хочет меня видеть? — удивленно спросил Мастер.

— Кто? — вздрогнул Сальватор.

— Туллия. Но ты только что сказал, что она спит.

— Ах, Туллия... Да, она спит. Нет, не она. Одевайтесь, пойдемте, — повторил он.

Мастер хотел что-то сказать, но промолчал. Его поразил приход Сальватора. Вот уже несколько дней, как Туллии стало лучше. Припадки становились все реже, все слабее. В прошлое воскресенье врачи впервые подали надежду — правда, в очень сдержанных, очень осторожных словах. Сальватор как-то странно отнесся к этим добрым вестям, которых все уже перестали ждать. Сначала он обрадовался, но вскоре его радость омрачилась тревогой, каким-то всепоглощающим беспокойством. Можно было объяснить это тем, что надежда на выздоровление была еще очень робкой: Туллия, конечно, встанет, но еще долго ей будет грозить смертельная опасность. И все же трудно было понять, отчего чем больше восстанавливались силы жены, тем беспокойнее, озабоченнее становился Сальватор, тем чаще впадал в необъяснимое раздумье. И вдруг этот странный ночной приход, который он не пожелал объяснить. «Ну что ж, — подумал Мастер, глядя на него, — посмотрим, что его так тревожит».

А вслух он сказал:

— Подожди пять минут, я иду с тобой.

Он пошел одеться потеплее. В его памяти всплыла картина: Туллия в нерешительности смотрит на Сальватора, не смея спросить его о том, что ее мучает. Сальватор держит ее руку, странно безучастный, словно не желая помочь ей. Наконец она говорит: «Сальво... Сальво... где она?» Сальватор опускает глаза, ищет слов: «Ты ее больше не увидишь», — говорит он, бледнея. Она с силой сжимает его руку и откидывает голову на подушку. Она улыбается — видно, на сердце стало спокойно. И все же слеза сбегает из-под закрытых век на бледную щеку... Тогда Мастер и не старался уяснить себе, в чем дело. Что же, наконец, произошло?

Он быстро оделся и сошел вниз. Сальватор попрежнему стоял у двери. Он смотрел в землю и, казалось, весь ушел в невеселые думы. Они пошли рядом.

— Вот что, — сказал Мастер ласково и властно. — Объясни же, наконец, в чем дело.

— Объяснять нечего, — ровным голосом сказал Сальватор. — Веду вас посмотреть на нее — и все.

— На Туллию?

— Нет, на статую.

Мастер остановился как вкопанный. Сальватор прошел еще несколько шагов и обернулся.

— Да ты с ума сошел! — крикнул Мастер. Сальватор промолчал, словно выжидая, и Мастер добавил: — Будить меня ради этого...

— Я ее разобью, — сказал Сальватор, не повышая голоса.

— Как? Разобьешь свою статую? Венеру Соларийскую?

— Да, сейчас разобью. Затем и позвал вас. Пойдемте.

Мастер не мог опомниться от изумления. Он шел за Сальватором, не говоря ни слова. Но вдруг схватил его за плечо и тряхнул изо всех сил. — Черт возьми! — крикнул он. — Да объяснишь ли ты наконец?.. Разбить ее... И сначала потащить меня... взглянуть... среди ночи...

— Она завтра встанет, — начал Сальватор тем же беззвучным голосом.

— Что ты болтаешь? Как это статуя встанет?..

— Да нет, — пояснил Сальватор. — Туллия... А ее надо превратить в прах до восхода солнца, — добавил он совсем беззвучно.

«Он все путает», — подумал Мастер. Но Сальватор в отрывистых словах все-таки объяснил ему, наконец, в чем дело. Он рассказал о своем отчаянии, потом о признании Туллии, о болтовне Антонии. И о своем

обещании. И о той страстной жажде разрушения, которую он испытал в ту ночь по пути к мастерской. А потом... потом...

— Я увидел ее в лунном свете, — закончил он. При этих словах он остановился. Он подошел к Мастеру вплотную и несколько раз ткнул его в грудь указательным пальцем. — Вы поняли? — спросил он и покачал головой, словно не веря себе. — У меня ноги подкосились. Я просидел несколько часов, не спуская с нее глаз.

— И ты не смог ее разбить? — тихо спросил Мастер.

— Нет, — признался Сальватор сдавленным шепотом. — А почему? — крикнул он вдруг. — Я ее зарыл, вот что я сделал. И я зарыл ее с легким сердцем, клянусь вам, — настойчиво, страстно воскликнул он. — Мне наплевать... Я говорил правду: жажда славы — нечистое дело, она мне ненавистна. Не все ли мне равно... Вы мне верите?

— Да, — сказал Мастер.

Голос его звучал просто и убедительно.

— Так отчего же... — шепнул Сальватор. — Отчего?.. — Они взбирались в гору по уличкам, меж садовых оград. — Ведь смог же я ее похоронить. Почему же я смог ее похоронить... и не... и не смог... Она так прекрасна! — закончил он неожиданно, и казалось, что это его сердит. — Честно скажу, что никогда до этого вечера — а может, тут виной лунный свет... никогда она не казалась мне такой... Как будто это была чужая работа: я ее не узнал. А теперь...

— Зачем ты меня ведешь? — спросил Мастер, словно подсказывая.

— Чтобы показать вам ее перед тем, как она умрет, — сказал Сальватор не то с решимостью, не то с горечью. — Чтобы и ваши глаза увидели ее, — добавил он с откровенной и суровой иронией. — Ах, учитель, учитель, — воскликнул он вдруг, — неужели я лицемер?

Они стояли у входа. Сальватор открыл калитку, но глаза его смотрели на Мастера — растерянные, почти умоляющие глаза.

— Успокойся, — сказал Мастер, — это не так: *сейчас* ты понял правду.

Он подтолкнул Сальватора вперед.

— Веди меня, — сказал он.

Луна стояла высоко, и весь сад был залит ее прозрачным и холодным светом. Меж двух тополей зияла огромная яма. Рядом стояли козлы, с которых свисали веревки и блоки, служившие для поднятия статуи.

Из невысокой травы, по которой, словно по озеру, легкой рябью пробегал ветерок, недвижная и бледная вставала Венера Соларийская. Тяжелый жгут волос, отброшенный небрежной рукой через плечо, казалось, просвечивал, как ледяной сталактит, запорошенный снегом. Изумительной красоты тело, прямое, но гибкое, сильное, но смягченное плавными изгибами, его молочная белизна, растворенная в призрачном бесплотном свете, — все походило на видение, на сон, а не на реальную, осязаемую вещь. Мастер не мог говорить. В тишине он услышал стук сердца — это билось сердце Сальватора, стоявшего подле него. Мастер прошептал:

— Такой благородной... такой прекрасной вещи я не видел за всю свою жизнь... — Он взволнованно обернулся к Сальватору. — Ты ведь сам это знаешь, правда? — сказал он с силой. — Как же ты смеешь... — Но он сразу смолк и опустил голову.

— Завтра Туллия увидит разрытую землю,— сказал Сальватор после долгого молчания. — Она спросит... а ведь смерть... смерть еще парит над ней... разве можно вынести мысль, что она узнает... про статую... узнает, что я не мог решиться...

— Но разбить такую статую... — голос Мастера дрогнул.

— А вы решитесь? — глухим, дрожащим голосом спросил Сальватор. — Вы решитесь посоветовать мне, чтобы я пощадил ее?

Взгляд Мастера встретился со взглядом Сальватора. Они смотрели друг на друга, и эта минута показалась им бесконечно долгой. Мастер медленно покачал головой, и его губы беззвучно, но явственно сказали: «Нет». И тут же торопливым шепотом он добавил: — Но разбить... о нет, нет... Сальватор, — его голос стал громче. — Что если бы безвестный творец Венеры Милосской явился меж нами и сказал тебе: «Моя Венера принадлежит мне: пусть она погибнет!» — что ответил бы ты ему? Что бы ты с ним сделал?.. Эх, мальчик, мальчик, — с ласковым упреком добавил он. — Зачем ты привел меня сюда? Зачем взвалил такую тяжесть на мои старые плечи...

Но Сальватор крепко сжал руки Мастера, пытаясь вымученной улыбкой успокоить его.

— Не терзайте себя — все равно эта жертва неизбежна, ни ваши советы, ни ваши уговоры тут не помогут. Ее уже ничто не может спасти. Благодарю вас, — добавил он горячо, — теперь вы ее видели. Теперь мне будет казаться, что она не совсем исчезнет.

Мастер обнял его, поцеловал и спросил:

— Но теперь ты, по крайней мере, понял?

— Что именно?

— Зачем ты меня привел?

Сальватор удивился: — Но... — он развел руками и опустил глаза: — По-моему, я вам объяснил, зачем...

— Но ведь ты не пришел за мной в ту ночь, когда зарыл ее, — негромко сказал Мастер. — Почему же ты тогда не пришел?

Сальватор ответил не сразу. — Сам не знаю... пробормотал он. И, помолчав, в нерешительности признался: — Может быть, я... — он снова отвел глаза. — Может быть, оттого, что... будь она в земле... — в голосе его звучало беспокойство, вопрос, — может быть, я надеялся, что когда-нибудь... кто-нибудь...

— Тебе нужно было, чтобы ее увидел глаз другого человека, — объяснил Мастер. — Ты понял это? — и он пристально посмотрел на Сальватора.

— Да, — сказал Сальватор. — Но... зачем?

Тонкие ладони Мастера раскрылись, словно он признавался в своей беспомощности.

— Кто знает? — вздохнул он. — Разве нам дано это понять? Правда похожа на женщину: может быть, нельзя познать ее и вместе с тем понять до конца. Но теперь ты знаешь правду. Она оказалась сильнее твоих доводов. Помни об этом, Сальватор! — Он крепко обнял ученика и вполголоса сказал: — Никогда больше не прячь свой талант для себя одного.

Он снова прижал его к себе и уже собрался уйти, когда Сальватор остановил его и смущенно попросил:

— Учитель... Посмотрите на нее еще раз и скажите мне... Не находите ли вы... что тут, под ключицей... не слишком ли... не слишком ли тут выпукло?

— Да, — сказал Мастер. — Грудная мышца немного выпуклее, чем надо. Но это пустяк. И все же...

— Наверно, при этом свете ошибка виднее. Да, с этой стороны нарушена гармония! Верно, учитель? Тут как будто ломается линия, которая должна быть плавной для глаза.

Оба долго смотрели на статую. Потом Сальватор глубоко глотнул воздух и сказал:

— Теперь оставьте меня, учитель. Уходите и простите меня.

Он ласково подтолкнул его к выходу. На прощанье они грустно улыбнулись друг другу.

Оставшись один, Сальватор сделал из досок нечто вроде настила. Поверх него он растянул холст. Потом перенес козлы, укрепил веревки и блоки.

Когда все было готово, чтобы уложить статую, он надел рабочую блузу. Проверил, крепко ли сидит тяжелая кувалда на деревянной ручке.

Но лицо его светилось мрачной иронией, когда, не в силах удержаться, он взял инструменты, и прежде чем разбить статую, осторожно стал снимать излишнюю выпуклость меж грудью и плечом, которая нарушала красоту пропорций.

БЕЗУМЕЦ

Перевод с французского Р. Райт-Ковалевой

Когда все ушли и Арно остался один на пригорке, один посреди безграничного поля, один под звездами, он с сердцем подумал: «Идиот! Нет, какой я идиот! Какой болван!» Он задыхался от злости: что он тут делает? Зачем он дал втянуть себя в эту историю? Теплый ветер налетел с юга, тихонько лизнул его в лицо. Трава пахла мятой. «Какой болван!» — повторил он. Для него это слово не означало, как обычно, глупость. Для него это был синоним нелепости и непоследовательности и прежде всего — слепоты. Когда он говорил «болваны», «оболванили», он не хотел сказать «глупцы» или «дураки». Для него болванами были все люди, которые принимали участие в общественной жизни (и часто с успехом), не понимая, насколько это бессмысленно. Он мог назвать болваном и знаменитого оратора, и крупного дельца наравне с каким-нибудь адвокатом, или лавочником, или спортсменом-гонщиком. В сущности, он относил это слово ко всему человечеству, за очень редким, но тем более ценным исключением. Исключал он из этой категории тех, кто разочаровался в пустой и никчемной земной жизни. Он и сам принадлежал к таким людям. Гордиться тут было нечем. Если б он гордился собой, он стал бы таким же болваном, как и все. Он давно вышел из того возраста, когда разочарование доставляло ему романтические страдания. Теперь, уже много лет, это было просто холодное, неприкрашенное разочарование. Впрочем, это даже имело свою хорошую сторону: жить было проще. Правда, много хороших минут в жизни было испорчено, но, с другой стороны, так успокоительно знать (и знать наверняка), что все бессмысленно, что ничего не стоит принимать близко к сердцу. «Плыть по жизни без надежды», — повторял он любимую строчку, когда вдруг его, как прежде, охватывало отвращение (началось оно с того часа, когда ему впервые открылась эта горькая истина), отвращение к жизни среди людей, к этой жизни, полной всяких правил, законов, приказов, предписаний, обязательств и принципов, которые перед лицом смерти, перед головокружительной бесконечностью вселенной становились такими смешными, такими бессмысленными. Впрочем, «плыть по жизни» все-таки стоило. Цветы, деревья, женщины, музыка, море — все это «стоило плавания» с одним, впрочем, условием: ничего не принимать всерьез. И в конце концов так жить было легче. Знать, что всему одна цена, что победа или поражение, добро и зло, признание и презрение что-то значат только в глазах этих ползающих муравьев — жалких

человечков, которые живут на своей крохотной планете, чтобы на миг зашевелиться и умереть. Да, жить становилось много легче, если помнить, что в конце концов все безразлично и несущественно.

А дальше все сводилось к простому правилу: избегать страданий. В самом прозаическом смысле слова. Он вспомнил искреннюю запись в дневнике: «Господи, упаси меня от страданий телесных, а от душевных я сам избавлюсь». Он и старался сделать все, что можно, чтобы избавить себя от душевных страданий. И в общем ему это удавалось. Во всяком случае, он жил неплохо. Оставались, конечно, какие-то мелочишки, которые лучше было бы убрать: ревность, тщеславие, уязвленное самолюбие. Бывали и другие неприятности, с которыми он не умел сладить. Например, эта история с орденом Почетного Легиона. Его наградили, не предупредив о том заранее, когда он путешествовал. Друзья взялись за это, выполнили все формальности, чтобы порадовать его, когда он вернется. Что ж, очень мило с их стороны: зачем же их разочаровывать? И все же он испытывал раздражение.

Он знал, что если он примет награду, милые дружки непременно попрекнут его тем, что он раньше говорил о всяких почестях. Ну и что же? Наплевать... Но ленточку он не носил. «Быть верным самому себе!» — подумал он тогда и тут же обругал себя болваном за то, что рассуждал, как все муравьи. Ну какое значение имеет, будет он или не будет носить ленточку? И все-таки он ее не носил. Даже если это пылинка, от которой тускнеет чистота его философии, трещинка в его спокойном безразличии, которое он так терпеливо взращивал, — все равно он не мог с ней примириться, и это его огорчало.

А в этот вечер, когда он очутился один среди бесконечной равнины, один под черным небом, он был не только огорчен, он был взбешен. «Кретин!» — обругал он себя. Он посмотрел на свои руки, на автомат. Четыре года держаться в стороне от всего из презрения и отвращения ко всей этой истории, к мерзкой стычке злых и глупых муравьев; суметь в течение этих четырех лет сохранить хладнокровие, считать, что этот хаос, эти разрушения, эта бойня — лишь подожженный муравейник, где десятки тысяч насекомых бессмысленно и страшно погибают, ни на йоту не изменяя порядка мироздания; выдерживать спокойствие почти сорок месяцев, не попасться в западню, на приманку всяческих чувств, не поддаться устаревшему чувству патриотизма, воображаемому чувству справедливости или милосердия — всем этим ложным представлениям человека — и вдруг очутиться вечером, одному, с автоматом в руках, и прислушиваться к каждому шуму, как загнанный заяц. Зачем, зачем это нужно?

Взошла луна. Она осветила широкую однообразную равнину мертвенным светом — светом небытия. Вспоминалось море, безграничный горизонт океана, пустынный и страшный под пустынным куполом бездонного неба. И он тут один, совершенно один под этим круглым колпаком... «Странник на земле», — подумал он, и ему показалось, что он ощущает, как под ногами медленно поворачивается земля и огромный тяжелый шар величаво плывет сквозь пространство к бесчисленным звездам. Он чувствовал, как его самого — ничтожное насекомое — неумолимо уносит туда, в неумолимую глубь небес...

Он с трудом разжал пальцы, судорожно вцепившиеся в автомат. Лежит тут дурацкий звездочет, вцепившись в свой дурацкий автомат. Он криво усмехнулся. Чего он лежит тут, как идиот, вместо того, чтобы встать и уйти? Умом он понимал, что это самое разумное, что оставаться тут — сущая бессмыслица. И все же он остался лежать среди камней и невысокой травы. Камни еще хранили тепло закатившегося солнца, трава пахла мятой. «Не хочу!» — подумал он сердито, поднялся, сел, по-

ложил автомат на колени. Но его возмущение на этом и кончилось. Он остался сидеть, держа автомат на коленях. «Какое идиотство, господи, какое идиотство!» — повторял он, глядя в огромное черное небо. Что его тут держит, черт подери? Уже то, что он пришел, достаточно глупо и унизительно. Четыре года мудрости, четыре года выдержки, четыре года непоколебимого здравого смысла — и в один час все полетело прахом. Из-за чего? Из-за какой-то вспышки чувства! Вольно ж ему было гордиться своими крепкими нервами! Только оттого, что какие-то три человека ворвались к нему, только оттого, что эти трое с жаром наболтали ему черт знает каких возвышенных глупостей, он в одну минуту забыл все на свете, пошел за ними, принял у них из рук этот идиотский автомат и теперь сидит тут один, болван-болваном.

До чего он еще дойдет? На что еще его толкнет идиотство? Неужели он сейчас тоже начнет стрелять, как все эти безмозглые муравьи, жестокие, обезумевшие? Неужели он так предаст самого себя, предаст безоговорочно, жестоко, как только может предать себя человек? «Погоня за Золотым Руном»... Он вспомнил эту картину, которая так повлияла на его умственную жизнь, вспомнил, как он в ранней молодости увидел репродукцию с нее в книжной лавке. Кто же художник? Кажется, Брейгель? Несколько кораблей — крохотные суденышки в море, хрупкие скорлупки на бурных волнах океана, населенного чудовищами, полного опасностей и такого равнодушного, такого трагически, жутко равнодушного...

И вот теперь он должен умереть. Да, ему, наверно, придется умереть — и ради чего? Ради какой-то чуши, в которую он не верит. Он умрет и оставит за все в ответе — а может быть, и в смертельной опасности — свою жену, маленькую Клариссу, с испуганными васильковыми глазами, двух своих сыновей, которые провожали его с тем выражением сосредоточенности, суровости и горя, какое бывает у слишком понимающих ребят. Он умрет, он оставит несчастную семью — и все это ради того, чтобы какие-то трое случайных людей, о которых он ничего не знает, успели спрятать какой-то дурацкий ящик с боеприпасами.

Он вскочил на ноги. Его охватило возмущение. К черту все это идиотство! Он вернется домой. Да, он немедленно вернется домой! Все это слишком глупо. Но он не сделал ни шагу. Он стоял, не двигаясь, с автоматом в руках и смотрел на горизонт, на огромный горизонт, на черный купол неба, усыпанный миллиардами звезд. В двухтысячный раз он подумал, сколько веков идет их свет, пока не достигнет нас. Как в детстве, он старался мысленно представить себе Бесконечность и Вечность, пытаясь вновь пережить томительное головокружение, которое охватывало его от безостановочного бега мыслей, возвращавшихся все к тому же началу. Сейчас он надеялся почерпнуть в этих мыслях достаточно уверенности и сил, чтобы прекратить наконец эту дурацкую комедию; ему нужна уверенность, чтобы вышвырнуть этот автомат, нужны силы, чтобы вернуться домой. Но ничего не выходило. Он вздохнул, снова сел на землю и, положив автомат на колени, опустил голову на грудь.

Он заставил себя все спокойно обдумать. «Что же, в конце концов, меня удерживает? Эти трое? Да мне наплевать на них! Я не знаю их имен, я бы даже не узнал их в лицо. Умрут они или нет, во вселенной ровно ничего не изменится, и в моем мире тоже. Если бы они умерли вчера, разве я знал бы об этом сейчас? Я бы не знал даже об их существовании, и смерть их для меня значила бы меньше, чем смерть воробья в лесу, меньше, чем смерть мокрицы, которую я раздавил. А про этот их ящик и говорить не стоит. Сплошное идиотство. Не для того я четыре года отказывался участвовать в кровавой драке этих бешеных муравьев; чтобы сейчас думать о каком-то ящике. Все это нелепо, так же нелепо,

как и все на свете. Наплевать мне на этот ящик, наплевать на войну, наплевать на жизнь и на смерть всех этих ничтожеств, я уйду, я ухожу!» Но он не трогался с места.

Мысли толпились у него в мозгу, он вертел их и так, и сяк. В голове у него помутилось. Но все напрасно. Никакого результата. Он не двигался с места.

«Господи, твоя воля! — крикнул он вдруг. — Чего я боюсь? Боюсь, что осудят, — но кто?» Если он уйдет, кто об этом узнает? Никто. Даже эти трое, на которых ему, черт их дери, наплевать! Да, наплевать! Кто же его осудит?

«Я сам, очевидно! — признался он и усмехнулся. — Ага, наконец все проясняется. Боишься, что ты себя осудишь. Вот оно что!»

«Значит, ты боишься сказать себе: ты просто трус? — подумал он. — Ну, уж это такое идиотство... Выдумал тоже, «трус». Разве это слово имеет хоть какое-нибудь значение вне нашего сознания, вне смешных мозгов разъяренного муравья?» — Он призвал в свидетели небо, его черную глубину, его черную тайну, скрытую в миллиардах звезд, в невозмутимо молчаливой луне.

Вдруг какая-то робкая мысль дрогнула и погасла в мозгу. Он не пустил ее на порог сознания, еще до того как она оформилась, стала отчетливей. Он сразу почувствовал, что в ней таится опасность. Но мысль оказалась цепкой, настойчивой. Пришлось впустить ее, встретиться с ней с глазу на глаз.

«Они мне доверились!» — подумал он.

«Что за чепуха! — вспылил он тут же, но сразу понял, что эта вспышка — дурной знак. — Доверились мне... Еще что! Быки, бараны тоже нам доверяют, мы их ласкаем, мы их балуем, а в назначенный час режем на мясо. Будет тебе выдумывать, милый мой!» — Он испытывал настоящую злобу. Не хватает еще, чтобы он начал искать разницу между людьми и баранами, между людьми и муравьями! Так можно далеко зайти! Он чувствовал, как колеблется до самых основ великолепная башня разочарования в жизни. Великолепная башня, которую он возводил пятнадцать лет. Снова он, от слабости, стал искать поддержки в бездонном небе, у бледной луны, такой белой и ко всему равнодушной. И как будто нашел. «Доверились мне!»—расхохотался он с горечью и гневом и одним прыжком вскочил на ноги. Ему показалось, что он наконец-то собрался с силами, чтобы сломить нелепое оцепенение. И действительно, он мог сделать несколько шагов. Из-под ног выкатывались большие круглые камни. Теплый ветер ласкал его лицо, осторожно забирался под рубаху. Он отошел недалеко. Он понял вдруг, что на самом деле вовсе и не хочет уходить. Это бегство, этот отказ — все это одно притворство. Он поднял взгляд к луне, бесстрастной и молчаливой, и ему показалось, что и она покинула его.

Долго он смотрел на луну с удивлением и беспокойством. И вдруг почувствовал, что у него сильнее забилось сердце. Он спросил себя — почему? «Неужели это страх»,— подумал он. Нет, это не страх, даже не тревога. Это какое-то совсем иное чувство, неожиданное, непривычное. Что-то похожее на волнение перед неизвестностью. Как будто любопытный увидел в глубине заброшенного сада взрыхленную землю и начал копать, не зная, что он найдет — труп или клад.

Да, это было странное чувство, не то испуг, не то радость. «Что-то со мной случится», — подумал он, сам не зная, что он хочет этим сказать, и откуда ждать того, что должно случиться, — извне или изнутри. «При первом же выстреле я сбегу!» — заставил он себя подумать. Но в глубине души понял, что это неправда, что он останется тут, прикованный к этой земле, пока его не убьют на месте.

И только он мысленно выговорил эти слова, как послышался далекий шум мотоциклов. Он прилег за каменной грядой у дороги, крепче сжимая свой автомат. «Выстрелю раза два, чтобы предупредить тех парней, а потом сбегу!» — настойчиво подумал он, уже зная, что это неправда, что он останется, пока его не прикончат на месте, как того и ожидали те парни.

Он слышал, как мотоциклы поднялись на холм. Несколько минут он больше ни о чем не думал, слушая только, как они подымаются в гору и подъезжают все ближе. Это длилось долго. И вдруг он понял, что через тридцать, через пятнадцать, через пять секунд появится первая машина. И она появилась. Он нажал спуск. «Дам две-три очереди и удеру!» — подумал он, когда его больно толкнуло в плечо, но он знал, что это неправда. Шум моторов стих. На равнине воцарилась беспредельная тишина, он затаил дыхание, чтобы следить за теми, слушать, как они взбираются наверх. Иногда он слышал стук сорвавшегося из-под ног камня и стрелял вглубь ночи. Ему не отвечали. Вдали послышался храп грузовика, замедлившего ход. Вдруг рядом с ним раздался взрыв — другой, третий, пятый. «Сволочи, гранаты!» — подумал он, еще не понимая, ранен он или нет. Он просто заметил, что не может двигать правой рукой. Потом его словно огнем пронзила боль в ноге. Он слышал, как вокруг него хрустит под сапогами гравий. Он подумал: «Скажу им сразу, где спрятались те, со своим идиотским ящиком», и тут же над ним наклонились пять или шесть теней в касках. Его встряхнули, он взвыл от боли. В это время он подумал с тоской, как вспоминают забытую песню: «Избавить себя от физических страданий». Грубый голос сказал: «Говори все, свинья паршивая, тебе же будет лучше! Ну, живо!» И он подумал: «Ну вот, сейчас я им все скажу!» — но не произнес ни слова. Его с силой ударили в раненое ухо, он закричал, но ничего не сказал. Он услышал: «Ах ты, свинья! Свинья!» — и потом злой голос отдал какие-то приказания, которых он не понял, и его грубо потащили. «Ты у нас заговоришь, свинья поганая, уж будь уверен!» — услышал он и подумал: «Ни за что не дам себя мучить из-за такого идиотства, приедем — все расскажу!», и на минуту ему стало легче. Но в глубине сердца он знал, что его могут мучить сколько угодно и он не скажет ни слова.

Его бросили на дно грузовика, который повернул и затрясся вниз по дороге. Его бросили среди всяких вещей, он лежал на спине, и его все время обо что-то било и толкало. Там было что-то твердое и что-то круглое и более мягкое, похожее на картошку. Он лежал на спине и смотрел, как луна мчится мимо в глубоком черном небе, рядом с грузовиком. Он смотрел на луну, но ему казалось, что луна уже не та, и звезды не те, и даже небо не то. И впервые — впервые! — он подумал с полным сознанием, с полной ясностью: «Я ничего не скажу. Не понимаю почему, но это так. Ни слова. Пусть режут на куски — ни слова!» И вдруг он почувствовал удивление и полное спокойствие. Снова его охватило то же чувство — не то испуг, не то радость, но на этот раз оно больше, гораздо, гораздо больше походило на радость. Как будто тот, в саду, с лопатой в руках, все больше и больше верил, что найдет не труп, а клад. И впервые за столько лет он посмотрел на небо, на луну, на звезды, посмотрел в эту бесстрастную головокружительную вечность не с разочарованием, а с любовью. Он снова удивился и подумал: «Конечно же — ни слова. Они мне доверились. Ни слова! А все-таки это идиотство, полнейшее идиотство!» — в последний раз попытался он протестовать, но тут же понял, что не думает этого, что это — одни слова. Он перестал чувствовать боль. Он понял, что сейчас потеряет сознание. Ему казалось, что вокруг луны и звезд пляшут разноцветные огни. Он

еще раз подумал: «Ни слова!» — с таким удивлением, с такой силой и страстью, что ослепительный белый свет вдруг залил все, поглотил и огни, и луну, и небо, и звезды. И он подумал в каком-то восторге: «Вот безумец!» — и тут же: «Но, значит...» — и его радость, и его изумление, и этот яркий свет — все слилось, унося его, подымая в недосягаемую светлую высоту, и ему показалось, что луна улыбается ему сверху, и он почти вслух докончил: «...значит... значит есть... и другое!..» И ему хотелось плакать от счастья, но тут он потерял сознание, и грузовик швырял и тряс его бесчувственное тело из стороны в сторону. А на помертвевшем лице, на полуоткрытых губах застыла такая счастливая улыбка, какой он не знал за все последние пятнадцать лет.

* * *

Партизаны выждали два дня, прежде чем спуститься на ферму. Подойдя к амбару, они увидели распятое тело. Его раздели донага и прибили к дверям амбара четырьмя огромными гвоздями. Лицо и все тело были покрыты страшными ранами и жестоко изувечены.

Они долго стояли и смотрели на него. Они молчали, как молчат перед тайной. Их сердца переполнялись любовью, ужасом, гневом и решимостью.

СЛОВА

Перевод с французского К. Наумова и Л. Лунгиной

«Искренен ли я?»— думал Люк.

Вот уже около четырех лет, из года в год, из месяца в месяц он упорно задавал себе этот вопрос. Почти каждый день какое-нибудь событие, известие, споры с собственной совестью, пустяшные или глубокие, возвращали его все к тому же вопросу. Он честно бился над его разрешением, заранее зная ответ. Ответ этот оставался неизменным. Изменись он, и Люку пришлось бы выбросить за борт все, чем он жил, самого себя. Если бы хоть раз ему пришлось ответить «нет», двадцать лет его жизни, его самосознание сразу оказались бы зачеркнутыми без остатка.

Все эти двадцать лет перед лицом каждой новой проблемы он решал для себя (с точки зрения космического Я, сливающегося со Вселенной, хотя и отделенного от нее, потому и сливающегося с ней, что от нее отделенного), непрестанно судил и решал: «Это важно, а это — нет». Никогда не опираясь, разумеется, на какую-либо из существующих систем, ни на одну. Никогда не обращаясь даже к разуму, к логике — словом, к такого рода мышлению, где слова столь неразрывно связаны с мыслями, что одно непостижимо без другого. Нет, ему надо было идти, руководствуясь своего рода внутренним озарением: «Это важно, а это — нет». Выбор между тем и другим, в сущности, уже был дан (все равно — тобой или чем-то в тебе заложенным).

В течение долгого времени это было довольно легко. Выбор делался всегда в одном и том же направлении. Что было важно? Язык, тайна языка (его удивительная причудливость), его соотношение с чувствами (его способность рождать чувственные представления независимо от смысла слов). Вот вам еще один стык: чувство, чувственный, прочувствовать! Необычайные богатства, которые таит в себе двусмысленность (могущество проникновения и познания, которым обладает это чудовище, сотканное из истин и заблуждений), и Великая Уверенность, Абсолют,

Утверждение, Бытие, которое чувствуешь за всем этим, столь близкое и недостижимое...

Что было — не важно? Нравы (мораль), институты, экономика, политика...

Да, в течение долгого времени выбор давался безболезненно. Это не значит, что Люка порой не осаждали беспокойные мысли. Иногда ему было довольно трудно разграничить эти две сферы. Язык постоянно вторгается в дела человеческие, а дела человеческие врываются в область языка. Отрицать это было бы нелепо. И потому Люк не раз рисковал неосторожно чему-то «отдать себя». «Отдавать себя» для него означало писать. Цель, которую ставишь себе в жизни, и счастье, которое берешь от жизни,— две разные вещи, говорил себе Люк. Свое благополучие можно защищать какими угодно средствами, тут ты ничему не отдаешься. То, что ты пишешь (а писательскому труду отдаешься целиком), сюда не относится.

Итак, в течение десятилетий между двумя войнами особых трудностей не возникало. Можно было, конечно, думать что угодно о таком-то или таком-то общественном строе. Можно было даже отдавать предпочтение одному перед другим. И даже бороться во имя этого предпочтения. Все это не заводило слишком далеко, во всяком случае, никогда не затрагивало самодовлеющей игры чистой мысли. Можно было спокойно писать, не опасаясь, что какое-нибудь «увлечение» (в прямом, этимологическом смысле слова), гнев или иной порыв страсти заставят сделать ложный шаг и «осквернят перо».

Но потом, черт возьми... О, и потом нужно было лишь пристальнее различать — и только; но все же различать было необходимо. Все чаще, все настойчивее его просили высказаться. Отказ порою требовал немалого мужества. Тем более, что при этом нет-нет да мелькала неприятная мысль: «Да, конечно, причины твоего отказа благородны, чисты. Но, быть может, так оно и удобнее?» Тогда Люк повторял свой вопрос: «Искренен ли я?» И, слава богу, он всегда мог, не кривя душой, ответить утвердительно и таким образом дать себе отпущение грехов.

Во время битвы за Францию он исправно сражался, исправно выполнял свой солдатский долг. Не слишком веря в него,— не требуйте слишком многого! Его тошнило от гнусной свары, подоплека которой была ему так ясна. «Демократия», «новый порядок», «защита угнетенных» — все это были лишь внешние поводы. Третьей империи охотно разрешили бы попрежнему истреблять евреев, чехов и поляков, если бы вместе с ее мощью не возрастала угроза для британских владений, для французских денежных сейфов. Америка и Советы, быть может, и вмешаются, думал он, но лишь тогда, когда их всерьез встревожит собственная судьба, не ранее. Главное — не дать себя одурачить зловещей болтовней, спасти и сохранить то, что ценнее всего.

Но возможно ли это под нацистским господством? А почему бы нет? Никакая власть не может приостановить работы мысли (разве что помешает ее открытому выражению), ни даже стеснить ее: все зависит от стойкости характера. Преходящее и форма, которую оно принимает, по сути, не имеют ни малейшего значения, если разум их отвергает. Служить своему господину, каков бы он ни был, служить, чтобы оставаться в живых, но мыслить правильно — таков урок Эзопа.

И все же после перемирия он не решился вернуться в Париж. К чему выбирать самый крутой склон? Он поселился в одной из деревушек Лимузена неподалеку от городка, расположенного у подножия холма. Одинокий блекло-розовый домик под серой черепичной крышей, увитый виноградом с бирюзовыми следами купороса. Три комнатки, побеленные известью, которые он уютно обставил. Полный очарования, прекраснейший

в мире вид, первозданное благородство линии широкого и ясного горизонта. «Эту гордую красоту, равнодушную к людским распрям, нигде и никогда не уничтожат»,— думал Люк.

Этот горизонт, этот мягкий свет помогали Люку сохранять то расположение духа, которое он называл своей «внутренней чистотой». Не то, чтобы он совсем чуждался событий. Повинуясь неосознанному чувству симпатии, он следил за ними как сторонний, но внимательный наблюдатель. Больше того: он в течение трех дней даже укрывал парашютиста и помог ему бежать. Но он не допускал вторжения событий в свои духовные владения.

Он писал совершенно так же, как до войны. Ему, правда, понадобилось несколько недель, чтобы снова приучить к этому мозг, но они прошли быстро.

Он снова, без единой помарки, исписывал страницы стихами и бросал их на дно чемодана такими, как они выходили из-под пера. Раз в три месяца он открывал чемодан и из этой груды бумаг извлекал несколько листков. Иногда во внезапном озарении (так было пять-шесть раз за всю его жизнь) возникали, ослепляя и оглушая собой, отдельные стихи и строки и властно утверждали свою непреложность. Тогда слова, стихи ложились на бумагу с такой убедительностью, что ему — он это знал — никогда не придется что-либо изменять в них. Для очистки совести Люк бросал в чемодан и эти стихи, но в назначенный день они вырывались наружу, как выскакивает из коробки картонный паяц, едва приоткроешь крышку. Позднее он понимал, что они — блестящий итог долгой внутренней работы, тогда как другие его стихи создал лишь упорный труд ремесленника.

Труд темного ремесленника над темным языком. Терпеливые поиски метафор, аналогий, чередований, аллитераций, звукоподражаний — всего того, что может вдохнуть новую жизнь в одряхлевший словарь и заключенные в нем на протяжении веков идеи; попытка покончить со всеми этими окаменелостями и породить, создать новый язык, чтобы идеи наконец обновились, напитавшись молодой и горячей кровью.

Он не мог — и не хотел — признать иной цели для поэзии своего времени. Следовательно, считал он, прежде всего надо отрешиться от всего, что может вернуть поэзию на избитую колею: от души, от сердца, от прекрасных чувств, а сейчас — особенно остерегаться негодования, возмущения, оскорбленного патриотизма. С удивлением и горечью видел он, как его учителя, поэты старшего поколения, откликаясь на зов событий, опускаются до стихов на случай, низводят поэзию (пусть даже подпольную) до вместилища излияний уязвленного сердца. Он не мог их понять и презирал их.

В это летнее утро он проснулся, как всегда, на рассвете, с пением птиц, в бодром и радостном настроении. Известия были хорошие — высадка союзников, повидимому, удалась. «Маки́» на лесистом плато не теряли времени даром. В городок регулярно спускались партизаны, отряженные за провиантом. Болтая между собой, они проходили мимо его домика. Люку они нравились.

Он принялся за работу со свежей и ясной головой. Это драгоценное состояние нужно было ловить на лету. Слова приходили легко. Быть может, они и не были единственно нужными, но зато Люк их не искал, а принимал такими, как они рождались. Забавные, странные, тревожащие, они походили на пляску жестокого пламени:

Пусть пустое исступление дрожью дряхлых веретен...

или на какую-то радость, быть может, с привкусом насилия и крови:

И с ликующей улыбкой, утолив желаний бунт...

Страница за страницей стихи исчезали в груде бумаг на дне чемодана. Но Люк расставался с ними, как с надежным другом, который, без сомнения, останется себе верным.

Он пошел позавтракать в городок. В кабачке, где все было так знакомо, он застал за кружками сидра дорожного мастера с порыжелыми усами, обоих молодых кузнецов, кривого учителя в темных очках, потерявшего глаз во время прошлой войны. Все оживленно разговаривали, и Люк, как всегда, принял участие в завязавшемся споре. В открытую дверь было видно много босоногих ребятишек, шумно игравших на залитой солнцем дороге; порой кто-нибудь из них вбегал и, облокотившись на стол, с минуту прислушивался к разговору взрослых, а потом опять кидался на улицу, подхватывая крик товарищей. На каменной скамье у окрашенного охрой низенького домика сидела женщина, прекрасная своей молодостью, и говорила с соседкой так быстро и таким певучим голосом, что ребенок у нее на руках уснул. Люк выпил свою кружку сидра и позавтракал. Потом он ушел в увитую плющем беседку и, растянувшись на лавочке, задремал, убаюканный гомоном детей, говором засидевшихся посетителей кабачка и жужжанием пчел в кустах настурций.

Когда жара спала, Люк встал и пошел домой, медленно поднимаясь по склону холма. Над землею поднялся легкий туман, и подернутое дымкой светлоголубое небо принимало у горизонта нежнейший серый оттенок. Зелень деревьев, зелень лугов и бурые тона пахоты стушевывались и восхитительно сочетались друг с другом, приводя на память Будена, Лепика, Коро итальянского периода. Люк не раз завидовал художникам и тому удовлетворению, которое они должны испытывать, всецело владея красотами, недоступными для других, умеющих лишь ласкать забывчивым взглядом прекрасное. Он не сразу поднялся к себе в комнату. Усевшись на толстый ствол дерева, лежавший возле поленницы дров, заготовленных на зиму, он все смотрел и смотрел на изумительный горизонт.

* * *

Вначале послышался глухой шум, который Люк, вчерашний пехотинец, тотчас узнал: вдали двигались десятки машин походной колонной. Они шли с севера. По крайней мере, так ему вначале показалось. Но вскоре тот же шум донесся с южного и восточного склонов. Вот уже показался авангард: мотоциклисты. Люк видел, как они мчались под гору сразу по трем дорогам, которые вели в городок, отрезая все пути к отступлению. Однако через минуту моторы один за другим заглохли, и Люк понял, что мотоциклисты остановились на окраине, видимо поджидая основные силы. Над городком, укрывшимся в низине, плыли мирные дымки.

У Люка забилось сердце. Что все это означало? Зачем было окружать эту местность? Так не поступили бы, если б хотели только расквартировать здесь войска. «Маки́» находились гораздо выше, к западу, и, как видно, их-то немцы предусмотрительно обходили.

Шум, раздавшийся где-то совсем рядом, заставил его инстинктивно вскочить и спрятаться за поленницей дров, откуда можно было наблюдать происходящее. Сначала на каменистой дороге появились два мотоциклиста, потом бронетранспортер, потом шикарная машина. Она миновала Люка, проехала еще метров двадцать пять и вдруг остановилась в облаке пыли. Заревел клаксон — бронетранспортер и мотоциклисты тоже остановились. Машина задним ходом подъехала к дому. Из нее вышел улыбающийся офицер, молодой, высокий, не скованный военной выправкой, лейтенант или капитан — Люк не мог разглядеть его погоны. «Наверное, лейтенант»,— подумал он. Как это бывает, когда опасность

становится явной, у него уже не колотилось сердце. Но офицер повернулся спиной к дому и к городку, перешел через дорогу и взобрался на откос. С бронетранспортера сошел сержант и не спеша направился к нему. Сержант тоже был молод, у него были тонкие черты лица. Он улыбался. Лейтенант что-то крикнул — что именно, Люк не разобрал, хотя и понимал по-немецки. Сержант ответил (это Люк понял):

— Действительно, великолепно! Да, в самом деле восхитительно!

— Подойдите сюда, ко мне,— сказал лейтенант.— Посмотрите на эту розовую стену, вон там... Точно бледное золото. Перед ней — тяжелая бурая земля. А позади вся эта зелень блеклых тонов. Я расположусь здесь. Этот пейзаж — просто подарок богов. Как хорошо, что я решил свернуть с шоссе!

Он еще несколько секунд смотрел вдаль, любуясь несказанной прелестью открывшегося ему горизонта, потом сел в машину. Она умчалась, скрывшись из виду за каменными оградами фруктовых садов. Сержант подошел к бронетранспортеру и с помощью солдата вытащил из него и перенес на откос мольберт, складной стул, этюдник, холст. «Не может быть, чтобы все это снаряжение принадлежало любителю»,— с удивлением подумал Люк. Потом уехал и сержант, оставив солдата охранять вещи. Тот сначала сел на откос и закурил трубку. Люка подмывало заговорить с ним, но его удерживал какой-то инстинкт. Солдат встал и, засунув руки в карманы, засеменил к дому. Он постучал и, не дожидаясь ответа, открыл дверь. «Эй! Кто здесь?» — крикнул он по-французски, помешкал с минуту, опять что-то крикнул и вошел в дом. Люк слышал, как он ходит взад и вперед. Наконец немец вышел с бутылкой вина, которую ему удалось отыскать. Он вернулся к мольберту и принялся пить.

Прошло минут двадцать, а может быть, и больше, прежде чем опять показалась машина лейтенанта. Она поднималась вверх по склону, рокоча мощным мотором. Лейтенант вылез, а солдат занял его место за рулем и увел машину. Офицер отстегнул портупею и снял китель. Он немного передвинул мольберт, сел и начал готовить палитру. У него были тонкие белые руки, точные и быстрые жесты.

Он встал и оттолкнул складной стул. Несколькими уверенными движениями легкой кисти он нанес на холст пять-шесть линий, повергнувших Люка в изумление. Чистота этих линий, строгость пропорций, с которой они разделили холст, не могли обмануть: это было искусство, и искусство высокое. С той же уверенностью и воздушной легкостью мазков художник обозначил планы широкими цветовыми массами. Люк почувствовал необычное волнение: уже одна красота этих сочетаний, скупая, но могучая, принесла бы известность многим художникам. Здесь было что-то от Гогена при большей сдержанности, что-то от Брака при большей колоритности и кое-что от Одилона Редона. Люку хотелось выйти из своего укрытия, подойти, заговорить. Но инстинкт его попрежнему удерживал.

А между тем он в работе художника находил скрытое родство с собственным искусством. Природа, ее великолепие, повидимому, были и здесь не моделью, а скорее своего рода возбудителем. Тона на палитре рождались, это чувствовалось, под влиянием иррационального импульса, причем и случай играл свою роль. Люк из-за укрытия со страстным увлечением следил, как рождалось произведение искусства.

По своему произволу художник клал широкой полосой где-то у линии горизонта густой ультрамарин, придававший небу странную тяжесть, когда, приглушенные расстоянием, по ту сторону холма защелкали первые выстрелы. Люк вздрогнул, прислушался, повернулся в сторону долины. Шум доносился из городка. Пять или шесть секунд продолжалась частая стрельба. Потом над притаившейся округой повисла тревожная

тишина. И тут поднялся пронзительный крик охваченных ужасом женщин. Издалека их голоса казались особенно тонкими.

Офицер даже не повернул головы. Да и слышал ли он? Гребень холма и домик Люка скрывали от него происходящее. Со сдержанным оживлением он смешивал на палитре краски, чтобы затем не спеша рядом с ультрамарином положить плотный тон, средний между коричневым и зеленым, который, сочетаясь с интенсивной синевой, затрепетал на холсте, как каштаны в бурю. Слегка хмурое лицо художника едва заметно подергивалось, выдавая большое внутреннее напряжение. Люк в ужасе смотрел в сторону городка, откуда непрерывно доносились пронзительные крики и другие, менее явственные звуки, перемежавшиеся с хлопаньем одиночных выстрелов и короткими очередями. Над одним из домиков, окаймлявших зеленую ленту садов, высоко взметнулось пламя. Люк увидел, как три крохотные неуклюжие фигурки выскочили из окон и рухнули, пригвожденные к земле новой очередью. Один из этих людей еще попытался подняться, дотащился до низенькой каменной ограды, с трудом перевалился через нее и снова упал. Он прополз еще несколько метров в крапиве и наконец затих. Языки пламени полыхали теперь тут и там, и невидимые очереди во всех четырех концах городка рассказывали Люку всю ту же трагическую историю.

Художник отступил на несколько шагов посмотреть издали на свой этюд. «Он не слышит,— думал Люк,— конечно, не слышит... Но даже если так, даже если так, он ведь знает...» Офицер слегка тряхнул головой и пробормотал что-то невнятное, выражавшее не то усилие мысли, не то сомнение. Он опять подошел к мольберту, снял шпателем краски в одном месте, еще раз прошелся по холсту и записал лилово-гранатовый тон другим, который даже искушенный глаз не отличил бы от прежнего. Офицер долго всматривался, повидимому, остался доволен и с новым жаром принялся писать. В городке стрельба наконец утихла, только время от времени то тут, то там раздавались запоздалые выстрелы; но попрежнему слышались крики женщин. Скоро к ним присоединились другие крики, грубые и гортанные. Люк заметил какое-то странное движение, какую-то толчею на маленьком кладбище возле церкви. Он увидел, как туда сгоняют женщин и детей. Далеко разносившиеся в прозрачном воздухе, до него долетали стоны, плач, вопли ужаса. Офицер во внезапном порыве, перейдя вдруг от одного края холста к другому, положил яркожелтое пятно у самой границы темнозеленого тона. Он не смог удержаться, чтобы не вскрикнуть от радости, и большим пальцем медленно растер краску. А там, в городке, мелькали серо-зеленые силуэты солдат, швырявших через ограду кладбища прямо на толпу согнанных женщин поленья дров и вязанки хвороста. И разом со всех сторон занялся огонь, кладбище заволокло дымом. Вопли женщин стали поистине нечеловеческими, но их заглушали автоматные очереди.

В отдалении все это казалось не большим шумом, чем кудахтанье всполошившихся кур под стук града о крышу курятника.

Люк потерял сознание.

Теперь пылал весь городок.

Офицер сосредоточенно подбирал на палитре редкий оттенок светло-зеленого цвета. Глаза его блестели.

Солнце зашло, и сразу поднялся свежий ветерок. Он вывел Люка из забытья. Было тихо, лишь пожар еще шумел вдали. Порою слышно было, как обваливается стена, рушится кровля. Люк приподнялся. Машина офицера вернулась и вместе с транспортером сержанта ждала неподалеку. Лейтенант медленно вытирал кисти. И он и сержант молча рассматривали этюд. Сержант стоял неподвижно, словно окаменев.

— Wunderbar!— произнес он наконец.— O! Wundervoll!— повторил

он.— Изумительно! Я в жизни не видел более богатых и необычайных сочетаний. Эта вещь волнует меня до глубины души.

— Да, да,— с жаром сказал офицер.— Да, мне хочется вам верить. Верю, что это так.— Он схватил сержанта за руку.— Удача, наконец, наконец, удача! — вскричал он, и в голосе его прозвучала едва сдерживаемая глубокая радость.— О Рудольф, Рудольф,— сказал он, обнимая друга за плечи,— это полотно прекрасно!

— Да, оно прекрасно,— приглушенным от волнения голосом со страстной убежденностью произнес сержант.

«Да, оно прекрасно»,— с ужасом подумал Люк. Сердце у него разрывалось от боли. Ему хотелось бы умереть.

— Рудольф, друг мой,— с экзальтацией сказал лейтенант, все еще держа его за плечи. — Я счастлив, необычайно счастлив, я давно не чувствовал себя таким счастливым. Достигнуть, достигнуть сокровенной, ускользающей, таинственной красоты — вот единственное счастье...—Долг, который мы не любим,— продолжал он в раздумье. И, помедлив, добавил: — Не его ли воспевал Пеги? * Да, конечно, как его любить? Только это,— сказал он, указывая на полотно,— достойно любви. Не правда ли? Только это.

— Да, только это,— мягко, пожалуй, даже меланхолично отозвался сержант.

Лейтенант снял руку с его плеча.

— Господи! Простите меня,— сказал он смущенно.— В самом деле, Рудольф, я свалил на вас всю грязную работу. Ах, все это ужасно! Так, значит, все в порядке?

— В полном порядке,— ответил сержант.— Мы в точности выполнили предписание. С этим селеньем покончено. От него ничего не осталось — ни людей, ни вещей. Кроме вот этого дома,— добавил он, указав на жилище Люка.

— Он вне обозначенной зоны,— сказал офицер.— В приказе точно сказано: в радиусе восьмисот метров. Люди довольны?

— Еще бы,— хмуро ответил сержант.— Как известно, наши воины это любят.

— Да, надо поддержать боевой дух. Люди у нас скучали, а скука — злейший враг войск, которым предстоит сражаться. Но довольно об этом. Все это мерзость. Не будем смешивать искусство и войну. Рудольф, дорогой Рудольф, сегодня я заслужил благодарность человечества. Я обогатил его новой красотой.

Он улыбнулся и добавил:

— Все прочее — молчание.

Субпрефект поднял фонарь.

— Это учитель,— прошептал Люк.

Он узнал его по вытекшему глазу. Верхняя часть лица у него осталась неповрежденной, нижняя обуглилась, как и все тело.

Они двинулись дальше. Трупы лежали в странных позах. Люк подумал о Помпее. Было видно, что люди здесь умирали в мучительнейшей агонии.

Ему хотелось отыскать молодых кузнецов, своего приятеля столяра, чью тонкую улыбку он так любил, дорожного мастера, трунившего над всеми, милого застенчивого маляра, всё читавшего книги по астрономии, единого в трех лицах: звонаря, могильщика и цырюльника, который

* Шарль Пеги — французский писатель, погибший в первую мировую войну, издатель журнала „Cahiers de la quinzaine", где впервые был напечатан роман Роллана „Жан-Кристоф".

приносил ему свои стихи. Но как их было узнать в этих бесформенных кусках обугленной плоти?

Они пробирались на кладбище. Люк вынужден был прислониться к стене, в воздухе стоял невыносимый смрад.

«Как это? Что это?» — думал Люк, и слезы текли по его щекам.—

— У этой уцелело лицо,— сказал субпрефект.— Вынесем ее отсюда.

Люк вместе с ним попытался вытащить труп женщины из-под груды тел. У нее отвалилась рука.

— Надо бы простыню,— сказал он и вытер лоб.— Я принесу из дому,— предложил он слабым голосом.

Он медленно поднимался по склону. У него бешено колотилось сердце. Он думал (в сотый раз): «Что же будет?» В зареве пожара перед ним плясала его тень. «Его картина была прекрасна,— думал он,— она была прекрасна, она была прекрасна». Он ощущал булыжники под своими подошвами, но у него было такое чувство, будто по ним шагает не он, а кто-то другой. «А я, а мои стихи?» — думал Люк. И вдруг, ослепляя и оглушая его, к нему пришли слова: «О вы, о вы!..» И в ту же минуту он увидел перед собой лейтенанта, сержанта Рудольфа и маленький силуэт солдата, стрелявшего поверх ограды кладбища. «Что же будет?»— думал Люк. Он споткнулся о камень, ушибся, но даже не заметил этого. «О вы, о вы!..» — преследовали его слова. «Его полотно, мои стихи, какая разница?— думал он.— Разве дело только в том, совершается ли преступление у тебя на глазах или нет, близко или далеко? Это было бы слишком просто». Он горько рассмеялся про себя при мысли: «А что, если бы это произошло на километр дальше? Всего лишь на километр...» И он представил себе, как он подходит к офицеру, восхищается его полотном, солидаризируется с ним на почве искусства. «О вы, о вы!..» — упорно звучали слова. За ними теснились другие, которым что-то мешало раздаться. Вот он беседует с офицером: «Этот желтый тон просто чудо. Ван-Гог говорил...» В углу полотна он замечает что-то черное, обугленное. Руку женщины, он узнает ее. И вдруг:

О вы, о вы, чьи страшные следы...

Охваченный ужасом, Люк замер в неподвижности. Он хорошо знал это необычное, пожалуй, даже сверхъестественное состояние, когда приходят нежданные, незваные слова. Но какие придут теперь? Какие теперь?

О вы, о вы, чьи страшные следы
Взывают к мщенью, гнусные убийцы,
Из плоти ангелов вы кандалы куете
Кровавые...

Он бросился бежать. Подъем был крутой. Когда Люк добежал до дома, он едва переводил дыхание. Он направился прямо к шкафу, лихорадочно переворошил белье, достал большую простыню и перекинул ее через руку. «Кровавые»,— думал он. «Кровавые»,— повторял он, пытаясь этим словом преградить дорогу другим. Тетрадь его лежала на столе там, где он оставил ее утром. У него сжалось сердце. Он отвернулся, сбежал вниз по лестнице и помчался в городок по неровной каменистой тропинке. Он пытался бежать быстрее набегавших слов:

... томить меня... в аду...

Словно нагромождая камни, чтобы возвести плотину, которая сдержала бы поток слов, он снова и снова повторял в такт бегу: «Кровавые — томить меня — в аду... кровавые — томить меня — в аду... кровавые...»

Свет фонаря ударил ему в лицо.

— Что вы говорите?— послышался голос субпрефекта.

Люк понял, что он кричал. Он ответил:

— Ничего. Кажется, мне страшно.

Они положили распавшийся на куски труп женщины на простыню. Под ней лежал грудной ребенок. Он тоже был мертв, но не совсем обгорел.

... из плоти ангелов вы кандалы куете
кровавые — томить меня в аду...

Они перенесли печальные останки на церковную паперть и вернулись на кладбище. Освещая фонарем черные скрюченные тела, субпрефект тщетно искал человеческие лица.

... кровавые — томить меня в аду...

— Я больше не могу,— сказал субпрефект и разразился слезами. Люк тоже плакал. Они рыдали, всхлипывая, как дети.

... вы смрадом трупов... задушили песнь...

— думал Люк. Он больше не противился словам. Они свободно лились, и каждое приносило ему и муку, и облегчение.

... Так войте же, безвременье вещая,
В кладбищенской зловещей тишине...

Они долго блуждали среди трупов, среди могил.

Слова приходили непрерывно, одно за другим, всплывая из какой-то неведомой глуби, и лопались, как пузырьки воздуха на воде. Порой казалось, что они иссякли, но потом приходили другие. И каждое приносило и муку и облегчение.

Самые жестокие были еще впереди. Не могли не прийти среди них, наконец, и те, что так долго оставались в изгнании.

... О братья мертвые!.. И мертвые слова,
рабы поэзии никчемной и превратной,
что со свободой обретают жизнь,
гнилые, немощные мысли,
сердце...

«Сердце? Значит, и здесь стертый медяк?»— подумал Люк. Но он принимал все.

...сердце,
запутавшееся в паутине украшений,
... моя душа...

«И ты, Брут!» Он закрыл лицо рукой.

... моя душа, которой помыкали
слова...

А потом уже не было ничего, кроме черной грязи, отсветов пожара и молчания. Двое мужчин плакали на ступеньках церкви, дожидаясь рассвета.

Митчел Уилсон

Брат мой, враг мой

Перевод с английского Н. Треневой

РОМАН

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Марго тоже хотела прийти на вокзал попрощаться с Бики, но в последний момент все вылетело у нее из головы, так как приехал Дуг. Целый месяц его не было в Уикершеме.

Первые три недели Марго не имела от него никаких вестей и совсем извелась, напряженно ожидая телефонного звонка или письма с завтрашней утренней почтой. Но день проходил за днем, и в конце концов ей ничего другого не оставалось, как признаться себе, что он утратил к ней всякий интерес. Но тут-то он и позвонил из Вашингтона.

— Я посмотрел расписание поездов, — сказал Дуг, будто продолжая прерванный разговор. — Если ты сможешь попасть в Милуоки через два часа, то завтра ночью ты будешь здесь.

Ей до смерти хотелось поехать и до смерти хотелось поблагодарить его за звонок, побранить за молчание и радостно засмеяться оттого, что она слышит его голос. Но она постаралась овладеть собой.

— Просто взять да приехать? — Слава богу, ей удалось произнести это шутливым тоном.

— Я-то ведь взял да позвонил тебе, — возразил Дуг.

— Ты же знаешь, что я отвечу, — медленно сказала Марго, понимая, что если его любовь означает для нее жизнь, то существует одна-единственная возможность остаться в живых: — Я могу ответить только «нет».

Дуг растерянно умолк.

— Хорошо проводишь время? — спросил он немного погодя.

— Ужасно! — честно созналась Марго. — Боже, как я скучаю по тебе!

— Ладно, черт возьми! — сдался он, не скрывая раздражения. — Буду в понедельник к обеду.

Дом Волрата стоял на холме, куда не достигал туман, как молочное озеро белевший в призрачном свете осенних сумерек. Когда Марго вошла, Дуг и Мел сидели с бокалами у горящего камина. На столике за диваном лежал раскрывшийся, туго набитый портфель. Дуг окинул Марго быстрым испытующим взглядом, затем указал ей на стул. Марго поняла: он забыл, что она должна была прийти. Инстинкт не обманул

Окончание. См. начало в №№ 2 и 3.

ее — два дня назад он позвонил ей просто под влиянием минутного порыва.

— Я, вероятно, застряну здесь, — обратился он к Марго, снова берясь за бумаги. — Может, даже на несколько месяцев.

— Удалось вам заключить договор? — медленно выговаривая слова, спросила Марго.

— Пока нет, но непременно удастся! Непременно! Об этом-то я и толкую Мелу. — Дуг сиял — его переполняло ликующее возбуждение. — Дело пошло в Сенат, — обратился он к конструктору. — Они одобрят заказ, если запрос будет исходить от армии. Помните Пита Фитцсиммонса? Такой был птенец в чине полковника? Ну, так он за нас. Правда, сейчас он всего-навсего майор, но это тот человек, который нам нужен.

— А он когда-нибудь летал?

— О, еще как. Он любил это дело. Но надо так его увлечь, чтобы он голову потерял. Это будет не так уж трудно. Фитц — не сенатор, но и на его слабых струнках мы можем сыграть с успехом. Оказывается, он еще такое дитя, что ему хочется получить кубок фирмы «Бендикс».

— Бог мой, но ведь кубок купить нельзя! — воскликнул Мел.

Дуг расхохотался.

— Конечно, нет, но я обещал купить ему кое-что не хуже: самолет, который даст ему шансы на выигрыш. Я недаром побывал в Нью-Йорке — в тот день, когда «Сокол» Волрата завоюет кубок, акции авиационного завода Волрата будут котироваться на Большой бирже, начиная с двадцати семи пунктов, и десять тысяч акций принадлежит тебе. Я и Фитцу предложил столько же, но он отказался. Знаете, чего он хочет, какая у него заветная мечта? — Дуг устремил взгляд на огонь, и в голосе его зазвучали презрительные нотки. — Он хочет, чтобы сотни тысяч глаз смотрели на него с восхищением, когда он будет выходить из самолета. А затем он медленно стащит с головы шлем, и лицо его будет серьезным, словно вся эта шумиха его нисколько не трогает. И весьма проникновенным тоном он скажет: «Я не считаю это спортивным праздником. Это чисто техническое мероприятие — ведь только так государство может выяснить, какой тип самолета является лучшим». И все это с таким, знаете ли, фальшивым видом самоотречения. А сам в это время будет упиваться происходящим, потому что ему только того и надо, хотя он в этом нипочем не сознается даже самому себе.

Марго и Мел обменялись понимающими взглядами. Дуг и не подозревал, что, говоря о ком-то другом, он, в сущности, описывает себя. Марго знала, что Дуг склонен к самообольщению, но от этого любила его не меньше. В чувстве ее лишь появился оттенок покровительственности.

— Но поскольку это все-таки действительно испытание моделей, — продолжал Дуг, — то с ним должен лететь представитель компании.

Мел закурил, прежде чем ответить.

— Только не я. Хватит на мой век одной катастрофы — сколько меня мытарили, когда началось расследование!

— Очевидно, лететь придется мне, — сказал Дуг, не отрывая взгляда от языков пламени, лизавших дрова, которые вдруг оглушительно затрещали, как бы аплодируя его словам. — Ну ладно, с завтрашнего дня мы думаем только о предстоящем испытании. Ты бы лучше перебрался ко мне, Мел.

Марго и Мел опять невольно переглянулись. В ее взгляде была настороженность, в его — понимание.

— Нет, — ответил Мел. — Ведь отсюда до меня всего ярдов пятьдесят. И мне нравится мое уединение.

— Об уединении забудь. До конца состязаний никто из нас не будет уединяться. — Но тут взгляд его упал на притихшую Марго, и он вдруг расхохотался: — Ладно, пока что оставайся у себя, Мел.

После обеда Мел ушел. Дуг повел Марго в гостиную. Несмотря на переполнявшее его хвастливое торжество, он казался озабоченным.

— Я ведь уже говорил, что скучаю по тебе, правда? — начал он. — Сейчас, Марго, я скажу тебе нечто такое, что тебе не понравится.

— Тогда лучше не говори.

— А я хочу сказать. Раз и навсегда.

Сердце ее замерло.

— Понимаешь... Ну ладно, я тосковал по тебе, но я не хотел этого. Любой другой на моем месте, чувствуя к тебе то, что чувствую я, захотел бы на тебе жениться. Пора поставить точку над «i». Так вот: я не хочу жениться на тебе.

У нее хватило сообразительности промолчать.

— Я не хочу на тебе жениться, как не хочу и тосковать. Да, я тосковал по тебе, но жениться не собираюсь. Я по тебе схожу с ума. Ты можешь пользоваться всем, что я имею, сколько захочешь, но остальное будет так, как есть. И никогда не будет по-другому.

— Почему ты решил сказать мне это? — слабым голосом произнесла, наконец, Марго.

— Потому, что ты, может, и сама догадывалась об этом, но в душе не верила. А теперь ты можешь поверить. Вот что, Марго, — сказал он грубо, — довольно валять дурака. Ты вела со мной игру. Я это знал и насмехался над собой, сознавая, что попался на удочку, но все же меня восхищала твоя выдержка. Ну, мы оба позабавились — и хватит. Давай договоримся раз и навсегда. Я хочу, чтоб ты переехала ко мне, жила здесь, ездила бы со мной, когда мне этого захочется, и оставалась бы дома, когда я захочу уехать один. Ну вот, кажется, все просто и ясно.

— И все-таки я отвечу *нет*. — Марго почти издевалась над ним. — Просто и ясно — *нет*. Мы с мальчиками переезжаем, наконец, в настоящий дом. Даже с лужайкой. С небольшой, но все-таки лужайкой. Знаешь, сколько времени мы ждали этого? И пусть никто не смеет упрекнуть меня в неучтивости — я отвечаю приглашением на приглашение. Ты просишь меня жить в *твоем* доме? Отлично, а я приглашаю *тебя* переехать к нам. Условия те же. Ты можешь жить со мной вместе или иметь отдельную комнату. Ты можешь пользоваться всем, что я имею — деньгами, одеждой, — всем, чем хочешь и сколько захочешь. Мы с мальчиками зарабатываем вместе больше шестисот долларов в месяц. Я могу себе позволить взять тебя на содержание. Но не надейся, что я выйду за тебя замуж. Что ты на это скажешь?

— Ты очень забавная особа!

— Да, — сказала Марго. Она поднялась с места и потрепала его по щеке. — Я — самое забавное существо, которое ты когда-либо знал. Каждый номер, который я выкидываю, заставляет тебя покатываться со смеху. И разве сейчас у нас не представление?

Он схватил ее за руку. — Ты это знаешь лучше, чем я!

— И разве оно не забавно?

— Марго! — вконец отчаявшись, сказал он и опустил ее руку. — Так помоги же мне!..

— Я и хочу помочь тебе, милый. Я хочу дать тебе все, кроме своего имени. — И она заговорила уже другим тоном: — О Дуг, Дуг, когда же, наконец, ты вырастешь и будешь взрослым!

Он смотрел на нее тяжелым взглядом. — Ладно, во всяком случае, ты знаешь теперь, что у меня на уме.

— Я-то, конечно, знаю, — слегка улыбнулась она, — но знаешь ли ты сам, вот в чем вопрос.

Все-таки в ноябре Марго вернулась на завод. Теперь уже не было никакой необходимости настаивать на прежнем условии — Дуг был настолько занят, что у него решительно не оставалось времени на личную жизнь. Этой осенью небо над всей страной, казалось, кишело самолетами, мчавшимися с предельной скоростью в погоне за новыми рекордами из Лос-Анжелоса в Нью-Йорк, из Майами за один день в Чикаго, из Лондона в Каир. В праздник Благодарения * Дуг слетал на восток, на Йейльские армейские состязания, и вернулся недовольный, горя нетерпением поскорее двинуть вперед работу над «Соколом».

Мел и Дуг ежедневно засиживались до полуночи, и к рождеству Мел переехал жить к Дугу. Одна только переписка, касающаяся вопросов, связанных с конструкцией самолета специального назначения, могла бы заполнить целый рабочий день Марго, а ей еще приходилось заниматься подготовкой к выпуску акций на одиннадцать миллионов долларов.

Беспокойное ощущение, будто никто не замечает, как летит время, не покидало ее и дома. Кен и Дэви, с головой уйдя в свою работу, казалось, даже не знали, что новый дом, в сущности, остается нежилым. Бывали дни, когда Марго вовсе не виделась с братьями. Она не имела понятия о том, что они сейчас делают, и только изредка кое-что улавливала из споров, которые вели мальчики, составляя ответы на письма Брока, непрестанно торопившего их.

Кен зачастил в Загородный клуб, но Марго так и не могла вспомнить, говорил ли он когда-нибудь о том, что стал членом этого клуба.

Она была слишком поглощена работой, чтоб думать о чем-нибудь постороннем, и только по временам ее внезапно охватывал беспомощный страх при мысли, что бег времени стремительно несет ее куда-то под уклон, лишая всяких человеческих чувств и все больше и больше отдаляя от людей, которым она дорога.

Дуг помчался в Нью-Йорк сразу же после нового года. Стоял ясный, морозный день. Марго и Мел наблюдали за отлетом из окна конторы. Голова Дуга в летном шлеме чернела за ветровым щитком, белое шелковое кашне развевалось по ветру, как рыцарский плюмаж. Резкий ветер был так силен, что зеленый «Фантом» — самолет, выпущенный фирмой Волрата, — оторвался от земли, не пробежав и пятидесяти футов, дрогнул от порыва ветра, затем круто взвился в небо, устремляясь на северо-восток. Марго следила за ним глазами, пока черная точка не исчезла в утреннем солнечном небе. Обернувшись, Марго увидела, что Мел прикончил стакан виски и наливает себе второй. Его худое, покрытое шрамами лицо было сосредоточенно-серьезным.

— Пока я не окачурился, отвезите меня домой, пожалуйста! — пробормотал он. — Или нет — можно мне поехать к вам? Просто суньте меня в комнату и закройте дверь. Мне нужно немножко прийти в себя, вот и все. Этот сукин сын пожирает вас живьем, вы знаете?

— Знаю, — уронила она.

— Он никогда не слушает, что ему говорят, — растягивая слова, продолжал Мел. — У вас нет ощущения, что вы работаете с *ним*, или даже *на него*. Он просто оседлал вас, взнуздал и вонзает вам шпоры в бока. Он приподнимает верхушку вашего черепа и роется там, точно в ящике с болтами и гайками, выискивая то, что ему нужно. Я теперь и спать перестал. Он только изредка дает мне передышку, как дают

---

* Официальный праздник в память первых колонистов Массачусетса (в последний четверг ноября).

остыть мотору, когда он перегревается. И когда я, по его мнению, выспался, он садится на кровать, в ногах. Он даже не скажет: «Проснитесь», а просто начинает говорить о деле. Как только кончится это проклятое состязание, я от него удеру.

— Почему же вы не удерете сейчас?

Он взглянул на нее так, будто она сказала несусветную глупость.

— Да ведь он меня не отпустит, — сказал он просто. — Знаете, что он делает с людьми, которые удирают прежде, чем он сам надумает их выставить? Я сам ничего не знал, пока не поступил к нему работать — вот тут-то я и наслушался! За ним и раньше, еще в эскадрилье, водились странности, но тогда все выкидывали разные номера, потому что нервы шалили. Я тогда думал, что он просто сумасбродный богатый молокосос, который умеет быть злопамятным дольше других. Но, уверяю вас, этот малый воображает себя самим господом богом. Погладить его против шерсти — значит совершить смертный грех, и уж будьте покойны, он вам отплатит, не пожалеет ни времени, ни средств.

— Вы действительно пьяны, — холодно произнесла Марго. — Через двадцать минут вы свалитесь под стол. У нас есть свободная комната с кроватью — можете там проспаться. Когда придете в себя, я познакомлю вас с моими братьями. Но имейте в виду: им ни слова о Дуге.

Мел встал пошатываясь, однако стараясь сохранить достоинство.

— Могу я в таком виде показаться рабочим?

Марго оставила завод на попечение старшего мастера, сказав, что у мистера Торна острое желудочное заболевание. Она повезла его к себе, за всю дорогу не произнеся ни слова. Маленькая чистенькая уличка без деревьев была совсем новой — лужайки размером с носовой платок перед выбеленными домиками еще не успели зарасти травой. Остановив машину, Марго не сразу открыла дверцу.

— Слушайте, Мел, — сказала она. — На этой улице двадцать четыре дома, и в каждом доме есть женщина моих лет, имеющая ребенка, а то и двух. В этот час на улице не бывает других мужчин, кроме разносчиков. Поэтому, когда будете идти к дому, держитесь прямо и не шатайтесь. Если вздумаете опираться на меня, я отодвинусь и вы грохнетесь на землю. Поняли?

— Конечно, конечно,— заплетающимся языком пробормотал Мел.— Теперь мне понятно, почему вы поладили с этим чудовищем. Рыбак рыбака видит издалека.

В маленьком светлом домике было холодно, полы, не покрытые ковpами, ярко блестели в солнечном свете. Марго впервые заметила, как здесь голо и неуютно. Она провела Мела в свободную спальню со свежевыкрашенными голубыми в крапинку стенами. Мел рухнул на старую походную койку, составлявшую все убранство комнаты. В подвале, где до сих пор еще пахло сырым цементом, Марго растопила котел парового отопления и подкладывала дрова, пока не стали пощелкивать нагревавшиеся трубы. Затем, дрожа от холода, она поднялась на первый этаж, уселась на радиатор и позвонила в мастерскую. К телефону подошел Дэви.

— У меня есть немного свободного времени, — сказала Марго. — Не могли бы вы с Кеном встретиться со мной, чтобы купить хоть какую-нибудь мебель? Комнаты выглядят просто ужасно.

— Я, пожалуй, смог бы, — неторопливо согласился Дэви. — А Кен уехал в Милуоки.

— Да? Я не знала. С этой Флер-Фэн или как ее там?..

Дэви засмеялся.

— Как бы ее там ни звали, он уехал. Вчера вечером на машине. Он очень много работал, Марго.

— Что случилось с нашей семьей? Разве у нас уже не принято видеться друг с другом?

— Ну, положим, ты тоже не очень-то засиживаешься у семейного очага. Но ты не расстраивайся. Ты повидаешься со мной, а я с тобой, и мы даже позавтракаем вместе.

Они договорились о месте встречи, потом Марго с беспокойством спросила:

— Неужели я знала, что Кен собирается уехать, и забыла об этом?

— Нет, — смеясь ответил Дэви. — За полчаса до отъезда Кен сам не знал, что уедет. Ты же видела — последнее время он сам не свой.

— Пожалуй, да, — устало согласилась Марго. — Заезжай за мной по дороге в город. Я подожду тебя здесь.

Сверху не доносилось ни звука, только рокот горячего пара, весело гулявшего по трубам, гулко отдавался в пустом доме. Марго нервно ходила взад и вперед, постукивая каблучками по натертому паркету. Не зная, что с собой делать, она завела патефон и поставила пластинку; комнату наполнили, словно вырвавшиеся из-под пресса, жестяные звуки веселой мелодии. Звуки исступленно бились о голые розовые стены, о девственно-белый потолок, о кирпичную облицовку камина — все вокруг было такое новое, пустынное, и казалось, будто музыка бешено мечется от пустоты к пустоте, ища, за что зацепиться. И эта музыка — как и дом, и улица, и вся жизнь Марго — была безнадежно далека от того, чего ей хотелось. В отчаянии она так резко остановила патефон, что последние слова певца повисли в воздухе, как придушенный вопль изумления: «Разве мы не...»

— Черт возьми, имею же я право развлечься! — раздраженно обратился Кен к сидевшему за столом брату. Крошечная контора, устроенная в переднем углу сарая, была отделена от мастерской тонкой перегородкой; в двустворчатых, наглухо запертых дверях было проделано оконце, через которое проникал свет. В лучах весеннего солнца лицо Кена казалось желтым и осунувшимся, глаза его опухли от недосыпания. «Он, должно быть, выехал из Милуоки часов в семь, — подумал Дэви, — но все равно запоздал». — В конце концов, с самого рождества я только второй раз позволил себе кутнуть.

— Я твои разы не считал, — ответил Дэви. Голос его звучал ровно, но в нем чувствовалось не спокойствие, а нервное напряжение. — Можешь уезжать хоть каждую субботу, если хочешь. Прошу тебя только об одном — возвращайся во-время. Три человека, получающие по сорок пять долларов в неделю, с самого понедельника болтаются без дела из-за того, что ты не изволил явиться. Во сколько бы тебе ни обошлись твои маленькие развлечения, прибавь к этому трехдневное жалованье трем техникам, а сколько ты тратишь на нее, я уж и не спрашиваю.

— Сколько бы я ни тратил на Флер, она стоит этого.

— Флер?

— Да, Флер! Не Фэн, а Флер!

— Хорошо. Флер.

— Вот именно, что хорошо. Когда я сидел без гроша, она сама добиралась сюда, чтобы покататься вместе, и часто даже входила в долю, когда я покупал бензин. А теперь, когда у меня завелось несколько долларов, самое меньшее, что я могу сделать, — это повеселить ее хоть раз за столько времени.

— Два раза за столько времени.

— А, господи, да хоть и два. Разложи пару сотен долларов на три месяца — сколько получится?

— Я говорю не о деньгах, — стукнув кулаком по столу и еле сдерживаясь, чтобы не закричать на брата, сказал Дэви. — Я говорю о том, что тебя нет на работе, когда ты нужен. Я уже второй раз вынужден откладывать встречу со Стюартом.

— Брось, пожалуйста! Ты прекрасно знаешь, что мог бы пойти и без меня.

— Мог бы, но не пойду, — упрямо сказал Дэви, ибо тут-то и крылась причина его возмущения. — Заявка на патент за нашими двумя подписями не выйдет из конторы Стюарта, пока ты не проверишь там все до последнего слова.

— Но я уже сделал это, — с досадой возразил Кен. — Мы ведь составили описание нашего изобретения.

— Даже два описания.

— Твой вариант я не считаю, Дэви. Я своего решения не изменил.

— Когда-то мы с тобой договорились, что не станем ограничиваться одним этим изобретением.

— Да, но мы договорились также, что сначала осуществим первое. Сейчас мы еще на первом этапе. Наша заявка должна быть строго определенной, точной и ясной.

— Тогда мы впоследствии многое потеряем.

— Плевать мне на то, что будет впоследствии!

До этого момента Дэви разглядывал свою ладонь; сейчас он уронил руки, как бы сдаваясь.

— Ладно, Кен, пусть будет так, как ты хочешь. Мы начали это вместе и в ответственные моменты должны стоять плечом к плечу. А если ты считаешь, что есть нечто более важное, чем заявка на патент, скажи, и, может, я соглашусь с тобой.

— К черту заявку! Самое важное — добиться передачи изображения на расстояние.

— Не беспокойся. Если мы не добьемся в этом месяце, то добьемся в следующем; не в мае, так в июне. По крайней мере, — сухо добавил он, — таков ультиматум Брока.

Кен медленно обернулся.

— Когда он это сказал?

— Вчера. Как только узнал, что я во второй раз отложил встречу со Стюартом.

— Он рассердился?

— У него ведь никогда не поймешь, сердится он или нет. Не волнуйся, если мы получим изображение, которое сможем передавать, он будет счастлив.

— Это меня меньше всего тревожит, — задумчиво произнес Кен. — Брок владеет половиной паев этого нового агентства «Крайслер». Может, мы смогли бы получить новую машину со скидкой. Сегодня у меня всю дорогу горело масло.

— Неужели, по-твоему, сейчас время думать об этом? О, черт возьми, покупай другую машину, если хочешь, но, во-первых, не проси Брока о скидке, а во-вторых, не увиливай от разговора. Я говорю о свидании со Стюартом. — Дэви положил руку на телефон. — Можем мы повидаться с ним сегодня?

— Хоть сию минуту.

— И пусть люди увидят тебя в таком виде? Поезжай домой, поспи хоть часа два да заодно побрейся. Я позвоню тебе перед уходом.

— Зачем мне ехать домой? Посплю здесь на своей старой кровати.

— Кроватей здесь больше нет. Нашу комнату я отдал вчера утром

Костеру под стеклодувный станок. Кстати, подтверди, пожалуйста, мое распоряжение насчет устройства склада в бывшей комнате Марго.

Почти полжизни они привыкли считать небольшое помещение позади сарая своим домом. Но разраставшаяся мастерская, как медленно надвигавшийся прилив, постепенно смела плиту, стулья, стол, зеркало, кровати, и с каждой вещью уходили связанные с нею воспоминания и мечты, которыми братья делились в этой обстановке. Комната Марго была последней, с нею исчезало все, что оставалось от прошлого, которое уже никогда не вернется. Но так много в их жизни было подчинено именно этой цели, что рука Кена не дрогнула, подписывая распоряжение. Однако, подписав, он остановился в нерешительности, ожидая, пока Дэви кончит телефонный разговор с адвокатом.

— Значит, в два часа, — сказал Дэви и повесил трубку.

— Если я возьму машину, — проговорил Кен, — как ты доберешься до дома?

— Меня подбросит кто-нибудь из техников. Снаружи стоит шесть машин.

Кен почему-то все еще колебался.

— Марго... Марго что-нибудь обо мне говорила?

— Ни слова.

— Она хоть знает, что я уезжал? — В голосе Кена проскользнула нотка обиды.

Дэви резко повернулся к нему.

— Ты уезжал, чтобы развлечься или чтобы поволновать Марго?

Кен посмотрел на него недоуменным взглядом. Помолчав, он спросил:

— Значит, в два часа?

— В два часа, — отозвался Дэви. Он подождал, пока уйдет Кен, затем еще раз рассеянно просмотрел утреннюю почту. Письма от Вики не было. Ни слова с тех пор, как она уехала.

Сквозь несколько перегородок донесся звавший его голос — надо идти проверять новый регенеративный усилитель. А потом... Дэви только покрутил головой, подумав, сколько еще предстоит сделать; день только начинался, а он уже устал. Даже при шести помощниках работы было по горло. Усталость проникала в него до мозга костей. Каждую минуту они, казалось, были совсем близки к окончательному успеху, и каждую минуту возникали тысячи новых возможностей. А каждая из тысячи возможностей распадалась на тысячи других вариантов.

Не удивительно, что Кен так часто выдыхался. Дэви открыл дверь, и его охватил порыв раздражения, будто что-то вдруг забарабанило по его натянутым нервам. Ему страстно захотелось устроить себе какую-нибудь бурную разрядку. Но здесь его не ждало ничего, кроме тяжелой работы и огромной ответственности, и ничто не сулило радости. Без особой надежды, просто на всякий случай он опять перерыл всю почту, но ошибки не было — Вики не подавала о себе вестей. Казалось, она совершенно исчезла из жизни всех людей на свете и продолжает жить только в его душе.

3

Когда Фэн Инкермен третий раз позвонила в мастерскую, опять не застав Кена, Дэви начал понимать, что произошло. Тщетные звонки начались в начале мая, а сейчас был июнь — горячий, зеленый и золотой.

— Кен уже уехал в Милуоки, — объяснил Дэви. Он чуть было не сказал «в город», как обычно говорил Кен. Теперь для Кена Уикершем стал просто предместьем Милуоки, находившимся в семидесяти пяти милях от города. — Он уехал утром, примерно часов в восемь, так что сей-

час он уже, должно быть, там.

В трубке послышался шорох, потом наступило молчание. «Ладно, — подумал Дэви, — пусть сама в этом разбирается».

— Прежде всего, — сказала Фэн, — я говорю не из Милуоки. Я здесь, в Уикершеме.

— Я передам, что вы звонили.

— Не беспокойтесь, — кисло сказала она. — Видно, все, что вы ему передаете, в одно ухо у него влетает, а в другое вылетает. Но раз так — ничего не попишешь. Дело в том, что я забыла в его машине фотоаппарат, а он мне нужен. Попросите Кена завезти его как-нибудь по пути, если, конечно, его новые друзья ничего не будут иметь против.

— Фотоаппарат здесь, в конторе.

— Тогда можно, я за ним зайду?

Дэви заколебался, потом сказал:

— Конечно, когда вам угодно. Послушайте, Флер, мне очень жаль...

— Никакая я не Флер. Для вас, Дэви, я — Фэн.

Дэви мягко рассмеялся.

— Ну, хорошо. Пока.

Он напрасно беспокоился по поводу ее вида. На ней было скромное белое платье, в руках она вертела белый берет. Тонкие духи напоминали аромат цветущего сада в ранний вечер. Девушки в местном клубе были накрашены куда больше, чем она. Фэн небрежно перекинула через плечо фотоаппарат и улыбнулась, но в темных глазах ее светилась грустная благодарность.

— Ловко вы это обстряпали, — сказала она. — Вы всегда так выручаете Кена?

— Случалось, — признался Дэви и, взглянув на нее, слегка улыбнулся. — Вы сами знаете.

— Как не знать. Но вы делаете это почти безболезненно. Кен тоже так старается для вас?

— Наверное, постарался бы, если б понадобилось.

— Но еще ни разу не понадобилось, не так ли?

Он пожал плечами, уклоняясь от ответа.

Фэн уселась на край стола.

— Слушайте, Дэви, все кончено, и я-то знаю, как мне себя вести. Но, между нами, что гложет вашего брата? Кто ему нужен или что ему нужно такое, чего он не может получить?

— Почему вы об этом спрашиваете? — осторожно спросил он.

Фэн взглянула на его лицо, внезапно ставшее непроницаемым, и Дэви понял, что она видит его насквозь.

— Не важно,— сказала она и спрыгнула на пол. Прямое свободное платье как бы подчеркивало вызывающие движения ее тела, но Дэви понимал, что сейчас она не сознает этого.

— Дэви, будьте любезны, отвезите меня в центр. Сестра считает, что я приехала повидаться с ней. — Она заметила его колебание. — Все в порядке. В городе меня никто не знает, кроме вас и Кена.

— Ах, да не в этом дело, — проговорил он с внезапным отчаянием. — Просто я сейчас сижу и стараюсь поверить, что мне это не чудится. Конечно, я вас подвезу.

По дороге он спросил ее, не подумывает ли она о том, чтобы вернуться в Нью-Йорк и выступать на сцене.

— Вы что, смеетесь, что ли? — иронически осведомилась она. — Неужели вы всерьез поверили этой небылице? Впрочем, почему бы и нет? Я столько об этом болтала, что, ей-богу, должно быть, сам Зигфельд верит, будто я у него выступала. Знаете что, Дэви, приезжайте как-нибудь ко мне в Милуоки. В один из моих свободных дней, — добавила

она, когда машина подъехала к запруженному толпой тротуару. — Мы с вами тихо и мирно повеселимся.

— Обязательно, — улыбнулся Дэви.

— Нет, я серьезно. Вы, по-моему, ужасно милый мальчик.

— Мало вам неприятностей доставило семейство Мэллори?

— Что вы, никаких неприятностей, — с наигранной любезностью заявила она, выходя из машины. — Одно сплошное удовольствие. — Захлопнув дверцу, она облокотилась о нее. — Я останусь здесь до завтра. Мы могли бы съездить сегодня в Павильон и потанцевать. И если вы будете пай-мальчиком и поведете себя умно, я позволю вам подержать мою руку.

— Флер! — воскликнул он, невольно рассмеявшись.

— Фэн, — настойчиво поправила она. — Ну, так как же?

В нем происходила ожесточенная внутренняя борьба. Он не сомневался, что все это кончится еще одним потерянным рабочим днем, еще одним днем простоя, за который все же придется платить жалование восьми работникам,— словом, днем сплошных убытков. Он ощутил в себе желание, чтобы этот ненавистный день был уже позади. Но при этом он не тешил себя иллюзиями — он знал, что Флер делает то же, что пробовали делать до нее другие девушки, стремясь вернуть себе Кена с помощью Дэви. Впрочем, сейчас это было ему безразлично. Он нуждался хоть в какой-нибудь перемене.

— Договорились, — сказал он. — Спасибо.

— Нет, это вам спасибо, — с изысканной вежливостью ответила Фэн и ушла.

Дэви согласился на это свидание с искренним намерением потратить на Фэн лишь один вечер и больше не видеться с ней, а когда Кен вернется из Милуоки, рассказать ему все, как было. Но на следующее утро Дэви проснулся с улыбкой, словно ясный июньский день уже обволакивал его сияющим теплом. Он не мог припомнить, чем его так смешила накануне Фэн, но ему и сейчас еще было необычайно весело, и он с трудом удерживался, чтобы не позвонить ей — просто, чтобы услышать ее слегка насмешливый голосок. Дэви был убежден, что и с ней происходит то же самое.

Кен появился только в середине дня. Вид у него был слегка пристыженный; он избегал встречаться глазами с Дэви и так ретиво взялся за работу, что Дэви даже не успел заговорить о Фэн. Впрочем, он с радостью ухватился за этот предлог. И в этот день и в следующий дела было столько, что Дэви уже не пытался найти удобный момент для разговора о Фэн. Он всегда тщательно избегал девушек, брошенных Кеном, и это единственное отступление от правила, разумеется, требовало пояснения. Из гордости Дэви постарался бы рассказать эту историю в пренебрежительном тоне, тем самым лишив себя возможности еще раз встретиться с Фэн. А она внесла такое приятное разнообразие в его унылую жизнь, что он уже скучал по ней.

Весь июнь был особенно мучительным для братьев. Работа находилась на такой стадии, когда они уже не сомневались, что электронно-лучевая трубка может посылать сигналы. У них имелись также доказательства, что приемная лампа может реагировать на чрезвычайно слабые импульсы. И все же день проходил за днем, а четко очерченный крест, помещенный перед электронно-лучевой трубкой, никак не отражался на бледно мерцающем экране.

Дэви объяснял это Нортону Уоллису так:

— Мы создали существо с глазом, способным видеть, и с мозгом, реагирующим на зрительные впечатления. Мы даже знаем, что оптический нерв в порядке. И все-таки этот ублюдок слеп, как крот!

В тысячный раз они обсуждали теоретические принципы и конструкцию прибора и объясняли старому изобретателю, как работает каждая часть схемы. У Нортона Уоллиса был недоверчивый прагматический ум, который воспринимал только конкретные явления. Он не разбирался в тонкостях электронно-лучевой трубки и упрямо считал, что сетка является лишь электрическим рычагом. Но зато он был выдающимся практиком. Подняв глаза от истрепанных, сделанных на синьке чертежей, он сказал:

— Вывод один — сигналы электронно-лучевой трубки у вас еще недостаточно сильны. А чтоб поправить дело, вам, наверное, придется весь пол покрыть этими так называемыми усилительными лампами.

— Газеты рекламируют шестиламповые радиоприемники, — немного помолчав, сказал Кен. — Можете себе представить, что будет с Броком, если он придет и увидит пятидесятиламповую установку. Я прямо вижу, как он щелкает в уме на счетах, прикидывая расходы, и тщетно пытается придумать, каким образом можно найти сбыт для установки ценою в тысячу долларов.

— О сбыте еще рано думать, Кен, — сказал Дэви. — Брока сейчас интересует только одно — чтоб на экране появилось изображение. Пятидесятиламповую схему можно аккуратненько уместить в небольшом ящичке — Брок ничего не заметит.

— Не обольщайся! Брок все замечает. На прошлой неделе, когда я вез его в город, он вдруг сказал: «Кен, за последние два месяца вы были в Милуоки шесть раз». Как по-твоему, откуда он знает?

— Уж не думаешь ли ты, что это я ему сказал?

— Никто ему не говорил, на то есть спидометр. Машина новая, езжу на ней всего два месяца, а на спидометре уже полторы тысячи миль. Сколько поездок в Милуоки и обратно укладывается в эти полторы тысячи миль, не считая разъездов по городу? Нет, Брок все заметит, не беспокойся. Да, кстати о Милуоки — месяца два назад Флер забыла в машине фотоаппарат...

— Флер? — Уоллис поднял глаза. — Что это еще за Флер?

Кен заколебался.

— Одна моя приятельница.

— Ах, вот как? Приятельница? — Старик в упор глядел на Кена, и лицо его побагровело. — Наверняка из этих «джаз-крошек». Вики была недостаточно хороша для тебя, а? Славная, милая, порядочная девушка! — Рассвирепев, старик вскочил с места. — Тебе нужно было разбить ее сердце и довести до того, что она уехала! Использовать мои мозги — это ты можешь, а моя плоть и кровь, видите ли, тебя не устраивает! А я по ней скучаю, будь оно все проклято, я по ней скучаю! — выкрикнул он и, задыхаясь от бессмысленной ярости, ткнул пальцем в Дэви. — Ты виноват во всем, ты! Всегда и во всем виноват только ты, и никто другой!

Дэви был ошеломлен этой вспышкой. Он попытался возразить, но старик не дал ему открыть рта.

— Да, ты виноват, так и знай! Разве я не тебе велел встретить ее на вокзале? Ведь я тебе ясно сказал — Кена *не надо*.

— Так ведь я ее и встретил!

— Врешь! — В его почти невидящих глазах стояли слезы. — Я скучаю по ней. Я скучаю по ней. А она не вернется! Убирайтесь отсюда оба!— Он беспомощно озирался, ища подходящее слово.

— Вы — дерьмо! Вы и ваша Флер!

Спускаясь с холма, Кен и Дэви молчали.

— Ах ты, боже мой! — вздохнул Кен, когда они вошли в контору.— Ну что с ним делать? Он стал еще сварливее, чем всегда. Как ты ду-

маешь, малыш, неужели он всерьез считает, что это я заставил Вики уехать? И надо же было мне ляпнуть про фотоаппарат Флер...

Дэви поглядел в окно.

— Фэн уже получила фотоаппарат Флер, Кен. Она заезжала за ним на днях. И фотоаппарат в полной исправности. По крайней мере был в исправности, когда я его в последний раз видел — в субботу вечером. — Все еще глядя в окно, он почувствовал, как вдруг притих Кен. — Я отлично знаю, что она собой представляет, но мне с ней весело, а остальное не важно. Ну вот, теперь, когда я тебе все сказал, она опять, конечно, покажется тебе достойной внимания.

— Ты что, с ума сошел?

— Нет. И Фэн тоже нет. Тебе ведь важно, чтоб кто-нибудь заговорил о ней так, как когда-то говорил ты, и тогда ты начинаешь задумываться. Но она всегда выставляет тебя в самом лучшем свете. Ну вот, теперь тебе, наверно, захочется повидать ее еще разок и доказать, что ты все тот же.

— Дэви!

— Ведь я по лицу твоему вижу, Кен.

— Ну хорошо, это же вполне естественно, разве нет?

— Может быть. Но знаешь что — на этот раз не ввязывайся. Никогда я не просил тебя о подобной услуге — мне и сейчас до смерти неприятно говорить об этом. А что до старика, то тут, видно, ничего не поделаешь. С ним же всегда так.

Кен долго и старательно собирал чертежи, потом направился к двери.

— Сейчас будем пробовать новую схему, — тусклым голосом произнес он. Больше он ничего не сказал и, уходя, даже не оглянулся.

Еще никогда в жизни Дэви не было до такой степени неловко; и когда он попробовал разобраться в том, почему он стыдится своих отношений с Фэнни и разгадать причины этого непонятного стыда, то ему не удалось доискаться ответа. Говоря по чести, он никогда не придавал значения тому, первый ли он мужчина в жизни девушки, или нет. Но почему же тогда прикосновения Кена словно бы оставляют на девушках неизгладимый отпечаток или даже, по ощущению Дэви, своего рода клеймо? Не мог он поверить и в то, что отвращение к этим девушкам — а, если угодно, это было так — вызывалось опасением, что они используют его как средство вернуть к себе Кена. Причины этого отвращения были гораздо серьезнее и крылись так глубоко, что даже сейчас, когда впервые в жизни он добросовестно старался понять эту сторону своего «я», ему не удалось до них докопаться.

Созданное им самим табу Дэви нарушил тайно, а сейчас, открыв эту тайну верховному жрецу, он еще неистовее упорствовал в своем ослушании. Нет, он не перестанет встречаться с Фэн. Наоборот, он еще тверже прежнего решил повидаться с ней на будущей неделе.

Но не успела кончиться и эта неделя, как в мастерскую неожиданно нагрянул Дуглас Волрат — как раз в тот момент, когда Дэви и Кен сидели в конторе, определяя параметры новой схемы. От одного присутствия Волрата тесные лаборатории стали казаться Дэви какими-то ненастоящими и недолговечными.

— У меня есть кое-что интересное для вас, ребята, — без всяких предисловий начал Дуг, небрежно, как на бумажный хлам, швырнув шляпу на листки с вычислениями. — Мы строим пробную модель самолета для международных авиасостязаний в Филадельфии. Мы собираемся испытать в скоростных полетах разное оборудование, в том числе и радио. Можете вы сварганить нам легкую радиоустановку с приемником и передатчиком?

— Мы тут ничего не «варганим»,— отрезал Кен. Взяв со стола шляпу, он протянул ее Волрату. — Не туда попали — здесь работают иначе.

Волрат не взял шляпы, но лицо его вдруг покраснело от злости.

— Вы знаете, что я имею в виду. Я бы не пришел сюда, если б не знал, что вы делаете стоящую работу.

— Мы занимаемся только *своим* делом, — продолжал Кен. — И давно уже не берем заказов со стороны.

Дэви взглянул на брата и, отобрав у него шляпу, положил ее на стул.

— Мы не можем сразу ответить ни «да», ни «нет», — сказал Дэви, стараясь заглушить голос Кена. — Мы взяли на себя обязательство работать над определенным изобретением и не имеем права браться ни за что другое, не посоветовавшись с теми, кто нас субсидирует.

Дуг обратился к Дэви, будто Кена здесь и не было.

— Вот в чем штука: наш самолет будет лететь над прериями. Наши соперники — стадо древних «Дженни» и «Кейнаков»; может, один-два «Стандарта», «Ньюпорта» и, повидимому, «Ястреб» Куртиса. Все это старые керосинки, и лететь на них будет всякая шантрапа. И, пока эта куча старья будет еле-еле дотягивать первую милю, мы опередим их на пять кругов и будем время от времени посылать на аэродром сообщения, точно это обычный испытательный полет. Само собой, все связанное с полетом получит широкую огласку.

— Да, неплохая реклама, — задумчиво согласился Дэви. — Но боюсь, наши патроны скажут, что она никак не касается того дела, которое они финансируют. Откровенно говоря, я тоже так думаю.

— Главное — это имя на продукции, — сказал Волрат. — А в газетах будет упоминаться ваше имя: «Электрооборудование братьев Мэллори». Это, пожалуй, всех устроит, а? Не так ли?

— Кто же тот замечательный летчик, который победит в состязании? — поинтересовался Кен.

— В состязании победит «Сокол» Волрата, — подчеркнуто холодно заявил Дуг. — Насчет летчика еще не решено. Мы наметили было одного человечка по фамилии Фитцсиммонс, но ходят слухи, что он будет занят в каком-то добровольном армейском состязании. Ну, не он, так будет кто-нибудь другой, не хуже.

— Вы, например?

— Например, я. — Дуг бросил на Кена надменный, окончательно взбесивший того взгляд и взял свою шляпу. — Если случится так, что это буду я и если мы возьмем вашу радиоустановку, вы можете со мной полететь в качестве радиста, тогда и ваше имя попадет в газеты, раз уж вам так этого хочется В конце концов сейчас наступил век воздухоплавания, не так ли? Позвоните мне, если это заинтересует ваших патронов.

— Ну что ж, по-моему, это редкостная удача, — заявил Брок. Увидев, какое впечатление произвел на банкира их рассказ, Дэви постарался скрыть презрительную усмешку. — Наш город сразу прославится. Самолет-победитель выстроен здесь, летчик — местный предприниматель, и даже маленькая радиоустановка и та создана в нашем городе. Насколько я понимаю, небольшая затрата времени окупится с лихвой.

— Но ведь нам придется отложить основную работу, — напомнил Кен.

Брок поджал губы и поглядел на него поверх очков — это означало, что сейчас он отпустит какое-нибудь ехидное замечание.

— Не хотелось бы об этом говорить... но при темпах вашей работы потеря нескольких недель едва ли будет заметна. Между прочим, —

колко добавил он, — Волрат заплатит за радиоустановку, не правда ли?

— Об условиях договаривайтесь сами, — сказал Дэви. — Что касается меня, то я не могу не возразить против такой затеи. Это ставит нас на одну доску с футболистами, чемпионами чарльстона и бандитами с челками на лбу.

— В наше время для бизнеса важна не только продукция, — нетерпеливо перебил его Брок. — Надо еще заработать известность. Мне самому, может, не меньше, чем вам, претит всякая дешевая сенсация, но если другие люди — и притом весьма влиятельные — не гнушаются такими вещами, то нам ни в коем случае нельзя отставать. — Брок в раздумье поиграл очками. — Разумеется, газеты захотят дать снимки — так я заранее договорюсь с фотографом, чтоб он пришел сюда и снял нас вместе как представителей корпорации,— скороговоркой закончил он.

Кен и Дэви молча вышли. Кен был взбешен, но Дэви только пожал плечами.

— Кен, нам остается либо бросить все к черту, либо смеяться. Третьего выхода нет.

Через две недели после того, как был подписан договор о приобретении радиоустановки у братьев Мэллори, Кен разбирал утреннюю почту. Одно письмо он безмолвно протянул Дэви.

РАДИОСТАНЦИЯ ВПИ.

Акционерное общество «Радиовещание в интересах народа».
Гамбринус-Тауэр, Кливленд, Огайо.
Председатель акционерного общества.

17 июня 1927.

М-ру Кеннету Мэллори
1711 Эвклид-авеню
Уикершем.

«Дорогой Кен, а также Дэви. В первых строках уведомляю вас, что до нас дошли слухи о таинственном самолете, который собирается урвать первый приз в авиационных соревнованиях в Сескви. Проверьте, ребятки, ваш старый друг и пока еще компаньон очень возгордился, увидев ваши имена в газетах. (Кстати, какой кретин вам делает рекламу?) Заметочка была крохотная, но дружеский глаз разыщет и иголку в сене. Теперь, значит, вот что. Как я понимаю, асс (или, может, ему больше по душе называться капитаном Волратом) по пути в Сескви, то есть к месту старта, обязательно проедет через наш город. Как насчет того, чтоб он заглянул в нашу студию и в виде исключения дал нам интервью? От имени моих партнеров я обещаю сделать со своей стороны все, чтоб еще за неделю до его приезда создать по радио, как говорится, подходящую атмосферу, и, ясное дело, кое-какие из местных газет с радостью нам помогут.

Конечно, в Кливленде мы самая крупная из мелких радиостанций, но не забывайте — нас слушают в Нью-Йорке, и такая реклама имени Мэллори будет только полезна для того дела, которое ближе всего вашим сердцам, да и моему тоже. Поверьте, я сделаю все, чтоб подчеркнуть значение радиоустановки на борту самолета.

С наилучшими пожеланиями и уверенностью в большом успехе остаюсь (в надежде, что вы на меня уже не злитесь, потому что я на вас — нисколько).

Исх/В. У.» *Карл Бэннермен.*

Дэви расхохотался и, взглянув на Кена, увидел, что тот тоже усмехается.

— Можно ли злиться на этого жулика? — проговорил Кен. — Знаешь, я по нем даже соскучился. Но как ему удалось прибрать к рукам целую радиостанцию?

— Показать это письмо Волрату?

— Ни в коем случае! Ничего мы ему не покажем, кроме наших хмурых физиономий. А если Карл пожелает поднять вокруг этой затеи шум — что ж, это его дело. Ты что, хочешь вызубрить письмо наизусть?

Дэви с виноватым видом быстро бросил письмо на стол. Кену ровно ничего не говорили инициалы машинистки, но у Дэви попрежнему замирало сердце от всего, что напоминало ему о Вики Уоллис.

4

Когда Вики, впервые покинув родной дом, переехала в Уикершем, она еще сохраняла наивную веру в тот мираж любви, чьи очертания и краски возникли когда-то в воображении маленькой девочки в клетчатом берете, катавшейся на коньках по Парамус-авеню. Уикершем представлялся ей золотым островом в лазурном небе — там среди цветущих лугов ее встретит и немедленно полюбит блистательный юноша, улыбка которого будет говорить о благородстве его души и нежной чуткости: он, конечно, сразу поймет все то, что Вики чувствует, но не умеет объяснить словами даже самой себе. И вот всего через полтора года туманным октябрьским вечером она уезжала из Уикершема в Кливленд, ища спасения от горя, которое принесло ей свершение давней мечты.

По дороге в Кливленд она мечтала только об одном: чтобы сердце ее не сжималось при имени Кена, чтобы она могла ходить по улицам без неотвязной, никогда не сбывавшейся надежды, что следующий встречный непременно окажется Кеном. Иногда у нее мелькала мысль, не легче ли ей было бы, если б он умер. Или если умерла бы она... Но тут Вики мгновенно убеждалась, что умирать ей вовсе не хочется. Ведь если придет момент, когда уймется эта боль, когда она поймет, что уже не любит Кена, то и земля покажется ей раем.

Подъезжая к Кливленду, Вики даже удивилась тому, что не чувствовала ни страха, ни одиночества. Она уже не в первый раз начинала новую жизнь и только теперь поняла, что, сама того не замечая, уже привыкла к этому.

На станции Вики встретила одна из ее двоюродных сестер, Клэр Иган, миловидная женщина лет тридцати, с кислым выражением лица. Она была в меховой шубке. С нею пришел ее муж, Мэтти, типичный клерк с худощавым лицом, в серебряных очках. Мэтти подхватил чемоданы Вики, а Клэр взяла ее под руку и объяснила, что, когда сестры Синклер услыхали о приезде Вики, они собрались все вместе и стали решать, у кого ей жить, а так как у Клэр и Мэтти есть лишняя комната, то они и оказались — гм! — победителями. И, не успев перевести дух, Клэр сообщила, что через шесть месяцев им понадобится эта комната.

— Она сейчас пьет за двоих, — заметил Мэтти, и Клэр метнула на него гневный взгляд.

— Между прочим, я этим обязана тебе, — заявила она.

Машина Иганов, новенький черный лимузин марки «Оклэнд», была покрыта бусинками холодного дождя.

— Мы едем в гости, — сказала Клэр. — Конечно, если хочешь, мы сначала подбросим тебя домой, но лучше поедем с нами — ты сразу мо-

жешь завести знакомства. Чем скорей приобретешь себе друзей, тем лучше.

Вики молча согласилась. Меньше всего на свете ей хотелось быть наедине с собой. Сквозь завесу дождя тускло мерцали огни, и Мэтти вел машину очень осторожно, не переставая бормотать проклятия по адресу каждого полисмена у перекрестков и водителя каждой машины, встречавшейся на блестевшей под дождем мостовой.

Наконец они прибыли; дверь открылась, и на них тотчас хлынул табачный дым, хохот и бренчание механического пианино. Мэтти исчез в толпе мужчин преимущественно его лет и вскоре вернулся с бокалами, полными пенистой желтоватой жидкости.

— Апельсиновый цвет, — сказал он, подавая один из них Вики. Клэр выхватила бокал из ее рук.

— Что ты делаешь, безмозглая голова,— прикрикнула Клэр на мужа и обратилась к Вики: — Ты сегодня что-нибудь ела?

Вики сказала, что она поела в поезде, и Клэр, сразу успокоившись, вернула ей бокал. Орущее радио заглушало голоса, пианино выбрасывало тоненькие, словно папиросная бумага, звуки, разлетавшиеся, как тучи конфетти, но весь этот гам сразу утих, когда к пианино подошел высокий молодой человек и обернулся к публике с заученной лисьей улыбкой, слегка смягченной приподнятыми уголками рта. Он стал петь популярные песенки; у него оказался высокий, сладкий тенор.

— Это Расс Ричардсон, — шепнула Клэр, обращаясь к Вики. — Он поет по радио. Наша ВПИ, конечно, не бог весть какая радиостанция, но, говорят, ее слушают в Нью-Йорке.

Затем Расс Ричардсон с рассчитанной проникновенностью спел попури из студенческих песен, которое публика выслушала благоговейно, как гимн. Клэр сказала Вики, что сама отвезет ее домой — Мэтти уже до того надрался, что тискает где-то в уголке Джулию Холдерсон, приняв ее за Энни Кейз. По правде говоря, и ребенка они решили завести только затем, чтобы их брак не развалился окончательно, призналась Клэр, ведя машину под проливным дождем. Надо же придумать — иметь еще и ребенка, когда два взрослых человека, из которых один даже с высшим образованием, не могут наладить свою жизнь. Она плакала, размазывая по щекам тушь с ресниц.

Маленькая квартирка была уютной и чистенькой. В гостиной стояла новенькая, мягкая мебель, а пол почти весь был заставлен целой коллекцией барабанов.

— Это Мэтти развлекается, — с горечью сказала Клэр. — Пятьсот долларов уплачено за удовольствие сидеть и барабанить в такт радио. Смотри. — Она повернула выключатель, и в турецком барабане зажегся свет. На коже силуэтом вырисовывалась надпись «ALOHA». — И это недоразумение будет отцом! — воскликнула она. — Ложись спать, Вики, завтра разберемся, что к чему.

Вики уложили в квадратной пустой комнате с голубыми стенами. В ушах ее все еще отдавался шум, гам, пьяные голоса, непристойные выкрики, но она не чувствовала себя несчастной. Она сонно блуждала по лабиринту новых впечатлений, пока вдруг не почувствовала, что ей необходимо найти нечто чрезвычайно для нее важное, и это ощущение заставило ее с удвоенной энергией пробивать себе путь. Она бежала все быстрее и быстрее, точно влекомая вперед непреодолимой силой, и наконец как вкопанная остановилась перед тем, что искала, — откуда-то из темной глубины ее сознания выплыл образ Кена. Лицо его улыбалось, но эта улыбка была предназначена не ей.

Вики разбудили ссорящиеся голоса; когда оставаться в комнате было уже неловко, она вышла в кухню. Мэтти сидел за столом, бледный

и сосредоточенный. Желтый стол походил на сверкающую выставку электроприборов: на нем стояли электрическая плитка для гренков, электрический кофейник с ситечком и еще какие-то две никелированные машинки неизвестного назначения. Вики села к столу, и Мэтти мельком взглянул на нее, поднося ко рту яйцо всмятку.

— Вы печатаете на машинке? — спросил он.

— Немного, — ответила Вики, надеясь, что он предложит ей работу и побаиваясь, как бы ей не пришлось работать в той конторе, где он служит бухгалтером.

— Машинистки — это как раз то, в чем наш город нуждается меньше всего. Машинистки да часовые у флагштоков. Конечно, если вы станете торговать вот такой блестящей дребеденью, то лучшей клиентки, чем моя супруга, вам не найти.

— А как насчет барабанов? — ядовито спросила Клэр, запахивая на себе желтый халатик.

— Барабаны куплены на деньги за страховой полис моей матери, и ты это прекрасно знаешь! Всю жизнь я мечтал о барабанах, и последняя воля моей умирающей матери была, чтоб я их купил. Она ведь при тебе это сказала!

Весь день Вики ходила из одного книжного магазина в другой, но нигде служащие не требовались. На следующей неделе она обошла все конторы по найму и все универсальные магазины и везде оставляла заявления. Наконец, через десять дней после приезда она получила место кассирши в кафетерии и обрадовалась, попав в вечернюю смену — теперь она могла поменьше находиться в обществе своих родственников. Однако Клэр приставала к ней с уговорами уйти из кафе, и, когда Мэтти услышал о вакансии в конторе «Скорый транзит», Вики поступила туда подсчитывать ежедневную выручку трамваев.

Она ненавидела эту работу — механический подсчет не мешал ей предаваться мучительным мыслям о Кене. Однажды она вдруг спросила себя, что заставляет ее так много думать о нем — любовь или ненависть? Да, конечно, она его ненавидит, с облегчением сказала себе Вики и стала усердно припоминать все случаи, когда Кен наносил ей обиды. Она умышленно искажала живший в ее памяти образ, наделяя его грубыми и жестокими чертами, а затем издевалась над собой за то, что имела глупость влюбиться в такого. Но в конце концов она устало призналась себе, что любит она его или ненавидит — это решительно все равно. Так или иначе, пока он не станет ей безразличен, она не обретет душевной свободы.

В декабре она перебралась от Иганов, сняв комнату в общежитии Ассоциации молодых христианок. Друзей у нее не было, и, хотя она страдала от одиночества, все же возвращаться в Уикершем ей не хотелось. Дэви, кажется, мог бы написать хоть несколько строчек, думала она с укором, но стеснялась писать ему первой. Как-то раз она позволила своему сослуживцу повести ее в китайский ресторан на танцы, но молодой человек оказался таким беспросветно глупым, что Вики весь вечер злилась. И, когда однажды в обеденный перерыв на людной зимней улице Вики увидела круглое знакомое лицо, она заулыбалась, прежде чем успела вспомнить имя этого толстяка. А он, заинтригованный многообещающей улыбкой, остановился и, еще не узнавая ее, машинально дотронулся до шляпы.

— Мистер Бэннермен, — сказала Вики. — Здравствуйте.

— Здравствуйте, малютка, — с чувством произнес он. Вглядываясь в ее лицо, он схватил обеими руками ее руку в перчатке. — Вы думаете, я не помню вас, а я помню — да, помню... Ах ты, господи, да ведь мы... Послушайте, вы на меня сердитесь или я должен на вас сердиться?

— Я ни на кого не сержусь, — засмеялась Вики, — а на кого сердитесь вы?

— Черт, я все позабыл. Вы замужем за Кеном или что-то в этом роде?

Когда она объяснила ему, что уехала из Уикершема несколько месяцев назад и сейчас живет здесь одна, в его глазах мелькнуло понимание. Взяв девушку под руку, он вывел ее из уличной толпы.

— Как ни приятно стоять и смотреть на хорошенькую девушку, еще приятнее сидеть и есть в ее обществе. Пойдемте пообедаем.

Старого цирка, с которым он был связан, сейчас здесь нет, сообщил ей Бэннермен. Теперь у него цирк куда покрупнее: он — владелец радиостанции. Конечно, станция не бог весть какая, но ее слушают в Нью-Йорке! Он не стал вдаваться в подробности, каким путем она ему досталась, но у Вики создалось впечатление, что он выиграл ее в кости. А с его обширными знаниями в области электроники...

— Разве я не прошел заочный курс у двух крупнейших специалистов этого дела? Если разобраться, так мы с вами вроде окончили один и тот же университет. Мне-то следовало бы знать, что всякий, кто балуется с ракетами, рано или поздно получит в грудь целый заряд пороховых звезд. Что же, я теперь поумнел. А вы?

— У меня все это немножко по-другому, — почти шепотом сказала Вики.

— Ну уж мне-то про любовь можете не говорить. — Никогда еще Вики не приходилось слышать, чтобы кто-нибудь с такой легкостью произносил это слово. — Я в этом деле собаку съел. Вы обязательно послушайте мои советы по радио: каждый день в два пятнадцать — доктор Мирадо, целитель сердец.

— Вы?

— Да. А почему бы нет? Я, кроме того, Кливлендский глашатай в три тридцать — «Четверть часа под вашим окном». Сегодня, например, темой дня будете вы: «Маленькая девушка под зубцами пилы мужского честолюбия...»

— Не смейте!

— Ну, тихо, тихо. Я не назову вашего имени. Когда я дойду до конца, вы даже не узнаете своей истории, но успеете полюбить эту девушку. Что же тут плохого, малютка, — ведь это делается для развлечения публики!

Он протянул ей газету, сложенную так, чтобы можно было прочесть программу радиопередач. Под заголовком «Радиостанция ВПИ, 1345 килогерц» Вики прочла:

9.00 — настройка приемника.
9.30 — утренние песни — Расс Ричардсон.
10.00 — фортепьянная музыка — Мюриэл Гарднер.
10.30 — будет объявлено особо.
11.00 — дневная серенада — Расс Ричардсон.
11.30 — беседа Торговой палаты.
12.00 — у рояля Мюриэл Гарднер.
12.30 — д-р Мирадо, целитель сердец.
1.00 — смесь.
1.30 — Расс Ричардсон, тенор.
2.30 — смесь.
3.30 — Кливлендский глашатай.
4.00 — смесь.
5.00 — полковник Эллиот Морган — Исследование южных морей.
5.30 — Расс Ричардсон — концерт для файф-о-клока.

— Полковник Эллиот Морган — это тоже я, — со смехом продолжал

Бэннермен. — Замечательный номер для развлечения — свадебные обычаи чужедальных племен! Мюриэл Гарднер — это Расс. Она никогда не произносит ни слова — только играет. Простаки пишут ей письма и предлагают руку и сердце. Разумеется, все это липа, но мы с Рассом поставили дело на широкую ногу, и все торговцы, хотят — нет, просто рвутся дать по радио объявление и заплатить за время. За время! Подумать только — я могу продать несколько каких-то паршивых минут, а мир существует два миллиарда лет совершенно бесплатно! Можете вы это постичь? Слушайте, нам в контору для солидности нужно обязательно посадить какую-нибудь изящную барышню вроде вас. Как вы смотрите на то, чтоб принести свое разбитое сердце в нашу студию? Вы сейчас работаете?

Вики рассказала ему о своей работе, и он презрительно махнул рукой.

— Слушайте, я вам дам тридцать пять долларов. Платить буду, разумеется, не сразу наличными. Дела у нас идут не слишком бойко, так что каждую пятницу я буду выдавать вам двадцать пять долларов, а остальные десять — класть на ваше имя в банк на черный день. Даже если бы вы работали задаром, оно стоит того. Ну, давайте по рукам! Мне хочется видеть в нашем старом сарае улыбающуюся мордочку!

— Неужели правда, что вас слушают в Нью-Йорке?

Насмешливо-восторженные нотки в ее голосе заставили его пристально взглянуть на Вики.

— Вот и видно, что вы много общались с братьями Мэллори, детка. Ни одна душа в Кливленде никогда не задавала мне такого вопроса. По правде говоря, я и сам не знаю. Мы никогда не получали из Нью-Йорка жалоб на то, что нас там не слышат. Нас еле-еле слышно здесь, в Кливленде, но нашим согражданам почему-то нравится думать, что наши передачи слушают в Нью-Йорке. Потому-то мы и стали крупнейшей маленькой станцией в городе.

— Вы сами распространили эту выдумку? — настаивала Вики.

— Какая же это выдумка, если люди в нее верят. В нашей жизни правда — это то, во что люди верят, — наставительно сказал он. — Вы верите в то, что у вас разбито сердце, и оно у вас болит, хотя самый лучший врач в мире не найдет на нем и царапинки. Люди верят в существование Мюриэл Гарднер — и Мюриэл Гарднер существует точно так же, как существуют полковник Эллиот Морган, доктор Мирадо и так далее. В те времена, когда люди верили, что земля плоская, она и была плоской. Плоской, как доллар. Таков главный жизненный факт, детка, и на этом основаны Иллюзия, Любовь и Развлечения. Поступайте к нам работать, и вы будете каждый день смеяться вот как сейчас.

Оказалось, что студия представляет собою три тесные клетушки на закопченном верхнем этаже Гамбринус-Билдинг — «наша голубятня», называл ее Бэннермен. «Технический персонал» состоял из единственного техника, который вместе с передаточной аппаратурой помещался в комнате размером в двадцать квадратных футов. Одна стена была сплошь из небьющегося волнистого стекла, сквозь которое, как в телескоп с ненаведенным фокусом, был виден раскинувшийся внизу Кливленд.

— Вот с чего мы начинаем, — с пафосом произнес Бэннермен. — Если учесть, что Линкольн начинал в бревенчатой хижине, то мы ближе чем на полпути к Белому дому.

Едва успев приступить к работе, Вики сразу потонула в потоке деловых встреч, которые надо было назначать или отменять; людей, которых надо было принимать или избегать; телефонных звонков, на которые надо было отвечать, что мистер Бэннермен сейчас подойдет или что его нет. Ей было некогда думать о себе, потому что работа кипела днем

и ночью. Вики даже не могла взять в толк, довольна она или нет. И вот однажды утром, примерно через месяц после поступления на работу, она проснулась как всегда с одним желанием — поскорее попасть в студию. Торопливо собираясь, она испытывала смутное ощущение, будто ей чего-то недостает; однако потеря не казалась ей особенно важной, и она решила разобраться в этом после.

Вдруг она остановилась и громко сказала: «Кен», — будто зовя его. Она снова повторила это имя — и ничего не почувствовала. Ничего! Вики засмеялась и принялась на скорую руку готовить завтрак. Кен! Она повторяла про себя его имя с тем чувством, с каким человек трогает зажившую рану, ощущая под пальцем новую гладкую кожу. Вики пыталась вспомнить его шепот, его губы, прижавшиеся к ее губам. Ничего не получалось. Ничего! Ее вдруг охватила исступленная радость. В эту минуту она была такой сильной и уверенной в себе, как еще никогда в жизни. Из благодарности она решила отныне все свое время отдавать работе на студии. Пусть рабочие часы станут еще длиннее — не все ли равно?

Этой весной ее постоянным компаньоном был Расс Ричардсон, который смахивал на Рудольфо Валентино, но неизменно одевался по-студенчески. Вначале Вики относилась к нему с благоговейным почтением— он казался ей крупной знаменитостью: ведь его фотографии время от времени появлялись в газетах. Но вскоре Вики убедилась, что Расс сам ищет ее общества — она служила ему надежной защитой от одолевавших его женщин. Он говорил, что бережет себя для богатой наследницы, на которой ему предстоит жениться, хотя таковая ему пока что не попадалась.

По существу, радиостанцией управлял не Бэннермен, а Расс; он работал без устали по шестнадцать часов в сутки, ибо был так же поглощен своей карьерой, как Дэви и Кен — своим изобретением. Расс Ричардсон считал свой голос товаром, который нужно приукрасить, умело подать публике и продать, ибо по натуре он был неутомимым дельцом. Сейчас он зарабатывал на радиостанции всего пятьдесят долларов в неделю. Выступления в клубах давали еще сотню. Жил он на тридцать пять долларов, но ничуть не сомневался, что вскоре будет выколачивать две тысячи. Он уже подсчитал в своей записной книжке, что из этой суммы у него на руках останется чистых тысяча шестьсот долларов; таким образом, даже увеличив расходы на жизнь, он все-таки сможет откладывать каждые две недели по тысяче триста пятьдесят долларов.

Все у него было обдумано заранее. Подвернется счастливый случай — и в один прекрасный день о нем заговорит вся страна. По его словам, изучив биографии знаменитостей, он подсчитал, что не больше как через шесть недель с того момента, когда Расса Ричардсона «откроет» публика, его фотографии будут печататься в газетах вместе с портретами чемпионов по боксу и плаванью, а там вскоре наступит минута высшего торжества — сам Кальвин Кулидж пожмет ему руку. Расс уже знал, какого импрессарио нужно взять, когда пробьет его час, и в своей черной записной книжечке уже набросал примерный образец контракта.

Вики прекрасно понимала, что тут он просто глуп, но прощала ему это — ведь его «пунктик» был самым безобидным из человеческих недостатков. А главное, на нее очень успокаивающе действовало то, что, находясь с ним, она ничего не чувствовала. Он ее ничуть не волновал, но зато и не мог причинить ей боли. Порою Вики поглядывала на него почти с нежностью; он этого не замечал, а она испытывала то спокойное удовлетворение, с которым обычно сжимаешь ручку своего старого зонтика на улице среди внезапно хлынувшего ливня.

Впрочем, временами ей становилось грустно при мысли, что из ее

жизни уже ушла любовь, что ей никогда больше не знать безграничного счастья любить и быть любимой. Однако горевать было некогда — Расс не оставлял ее в покое ни на минуту.

Он водил ее по ночным клубам и тайным кабачкам, где его обслуживали бесплатно, и Вики клевала носом, пока он долго и нудно обсуждал с хозяином заведения стоимость продуктов и увеселений: Расс решил, что, став знаменитым певцом, он откроет свой ночной клуб под названием «Рандеву у Расса Ричардсона». Он даже выбрал гангстера, поддержкой которого ему будет необходимо заручиться, — если, конечно, этого гангстера к тому времени не прикончат; впрочем, на этот случай у Расса была намечена другая кандидатура.

Он не пьянствовал и придерживался строгих моральных правил, но всегда был отлично осведомлен о том, кто кого убил, от какого синдиката зависит тот или иной судья, у кого какие половые извращения, кто из музыкантов употребляет наркотики и где эти наркотики можно добыть; и все это он без разбору выкладывал перед Вики с наивной непосредственностью деревенского паренька, перечисляющего названия трав, злаков и деревьев, которые составляют окружающий его мир. Расс был одержим мыслью, что он отмечен судьбой. В знак особого доверия он попросил Вики, как человека начитанного, дать свое суждение о его биографии, написанной им в расчете на то, что придет день, когда она понадобится газетам. Жизнеописание Расса Ричардсона растянулось на множество страниц — это был благоговейный панегирик американскому юноше, родившемуся для славы: «Судьба, раздавая удары направо и налево, надвигалась все ближе и, наконец, нашла своего избранника: признание публики пришло к Рассу в...»

На этом жизнеописание прерывалось — здесь следовало проставить дату. Подошла весна, а дата все еще не была проставлена. Пироги, которые Карл совал в печь, никак не выпекались, но он не унывал и тотчас замешивал другие.

— Это только вопрос времени, — утверждал он. — Одна удача — и дело пойдет на лад.

К концу марта Вики получала уже всего пятнадцать долларов в неделю. Это, разумеется, не значило, что ей сократили жалованье. Просто Карл брал у нее взаймы. Расс тоже стал получать меньше, но с ним, как обнаружила Вики, дело обстояло иначе — разница возмещалась ему паями акционерного общества.

Имя Мэллори Вики впервые за долгое время услышала, когда Карл подошел к ее столу и без всякого предупреждения продиктовал ей письмо в Уикершем. Затем он показал ей небольшую заметку в «Пресс»:

«Радиоустановка для таинственного самолета, участвующего в состязании.

На пресловутом самолете, выпущенном авиационной фирмой Волрата специально для национальных авиасостязаний в Филадельфии, будет установлена радиоаппаратура. Все подробности, касающиеся самолета, которому пророчат большое будущее, окружены тайной. Электроисследовательская компания Мэллори получила заказ на специальное оборудование. Кеннет Мэллори, председатель Компании, заявил, что в настоящее время он не может сообщить никаких подробностей для печати».

— Могу сказать только одно, — презрительно заметил Бэннермен, — если они считают, будто этого достаточно, чтоб поднять шумиху, то с таким же успехом могут как-нибудь ночью стащить свой самолет на ближайшую свалку. Скажите на милость, что в такой заметке может заинтересовать людей?

Через неделю Вики распечатала следующее письмо:

«Дорогой Карл!

Большое спасибо за дружеские слова. К вашему сведению, никто ни на кого не злится. Наши взаимоотношения с фирмой Волрата ограничиваются тем, что он купил у нас кое-какое оборудование. Со всеми вашими идеями насчет рекламы надлежит обращаться непосредственно к нему.

С приветом.

Кен».

— Сейчас же помчусь туда! — воскликнул Бэннермен.— Я уж чую — там вопиющая нужда в хороших идеях. Между прочим, не там ли работает Марго?

В воскресенье утром, когда передача длинной церковной службы подходила к концу, в конторе зазвонил телефон. Вики взяла трубку.

— Деточка, я говорю из Уикершема. — В голосе Карла звенело торжество. — Упакуйте вещички и валяйте сюда. Я уже работаю в Авиационной компании Волрата в качестве специального агента по рекламе. Повторяю: специального агента по рекламе! Я заявил ассу, что не могу занять эту должность без своего постоянного секретаря. Это я вас, деточка, имел в виду. Оставьте записку Рассу Ричардсону — сообщите ему, что он стал директором самой крупной из мелких радиостанций Кливленда.

Повесив трубку, Вики почувствовала, что вся дрожит. Уверенность, не покидавшая ее много месяцев, вдруг исчезла. Что же будет, спрашивала она себя, когда она снова встретится с Кеном? Неужели она снова очутится в плену этой тягостной любви или же придет, наконец, полное равнодушие, которого она так жаждет? Вики попробовала представить себе его лицо, но внезапный страх мешал ей как следует разобраться в своих чувствах. Она могла только дать себе слово, что не станет ни искать, ни избегать этой встречи. Чему быть, того не миновать, но пусть это свершится само собой.

Летний зной, стоявший над полями, в поезде был еще ощутимее, но ничто не могло прогнать леденящий страх, терзавший Вики по дороге в Уикершем. О, если б она была влюблена в другого, с отчаянием думала Вики, или хотя бы просто увлечена — тогда для нее было бы совершенно безопасно видеть Кена, слышать его голос или чувствовать прикосновение его руки. Ей хотелось влюбиться в кого-нибудь сию же минуту — не для того, чтобы испытать счастье любви, а только чтобы стать нечувствительной к обаянию Кена. Как пригодился бы сейчас один из тех мальчиков, которыми она пренебрегала в школе, — из тех положительных серьезных мальчиков, умевших вдумчиво относиться ко всему на свете и всегда вызывавших у нее раздражение, потому что, как это было ни досадно, она чувствовала, что они правы. Вики поймала себя на том, что припоминает имена и лица, давным-давно улетучившиеся из ее памяти, и с удивлением обнаружила, что сейчас, спустя столько времени, они неожиданно приобрели для нее привлекательность.

Поезд, погромыхивая, несся вперед, и Вики с надеждой думала — а вдруг здесь появится какой-нибудь из этих мальчиков, конечно, уже возмужавший и более уверенный в себе, но еще не утративший способности грустно светлеть от одного ее взгляда.

Вики уже представляла себе, как она идет рядом с этим безликим возлюбленным, молчаливо наслаждаясь безмятежным сознанием своей безопасности. Она даже видела, как в удобный момент, когда она останется одна, появится Кен. Он спросит ее, как дела, а в его улыбающихся глазах будет спокойная уверенность в том, что, несмотря ни на какие ее слова, он попрежнему живет в ее сердце. А она, с негодованием уга-

дывая его мысли, так же спокойно отомстит ему, описав — о, как бы между прочим! — своего нового поклонника.

Но Вики ни на мгновение не пришло в голову, что, если б Кену довелось услышать описание этого другого человека — совершенную противоположность ему, — он мог бы с полным основанием заметить: «Тот, о ком вы говорите, в точности похож на Дэви».

5

Увидев деда, пришедшего встречать ее на вокзал, Вики была потрясена происшедшей в нем переменой. Она довольно часто писала ему из Кливленда, но делала это не столько из любви, сколько из чувства долга, догадываясь, что в жизни старика она играла немалую роль, но ничто в письмах деда не подготовило ее к тому, что он так трогательно обрадуется ей при встрече. Он обнял ее, и на глазах у него выступили слезы. Немного погодя, отстранившись, он пристально вгляделся в ее лицо.

— Ты стала старше,— медленно сказал он.— Повзрослела в Кливленде. Сколько ты рассчитываешь пробыть здесь на этот раз?

Голос его был таким смиренным, что Вики чуть было не расплакалась, вспомнив былую строптивость старика. И весь он казался хрупким, слабым, почти прозрачным.

— Не знаю, дедушка,— сказала она.— Может, и долго.

— Очевидно, ты все же будешь работать?

— Я ведь и приехала сюда по служебным делам,— мягко напомнила Вики.

— Знаю. Знаю. Ну, ладно. Постарайся не слишком часто встречаться с молодыми людьми, Вики,— молящим тоном сказал он.— По крайней мере, с... ты знаешь, с кем.

— Не беспокойся, дедушка, все в порядке. Все в полном порядке. Пойдем домой.

В доме царило такое же пыльное запустение, как и в тот раз, когда она приехала сюда впервые. Ни слова не говоря, она сразу же принялась за уборку, несмотря на протесты старика, который упрашивал ее хоть минутку посидеть спокойно, чтобы он мог поглядеть на нее. Она вытирала пыль, мыла и скребла до одиннадцати часов ночи, радуясь этой черной работе, отвлекавшей ее от мыслей о себе и своем возвращении. Старик ходил за ней по пятам, не спуская с нее ласкового взгляда, и отступал в сторону только перед шваброй или тряпкой.

Все утро, с того момента, как Вики вышла из дому и направилась через весь город на завод доложить о своем приезде, она находилась в состоянии томительного беспокойства, словно ждала, что вот-вот перед ней появится Кен. Мысль о том, что он может застигнуть ее врасплох, была для нее невыносимой.

Помещение, отведенное Карлу и ей, оказалось крошечной каморкой, где еле умещались два стола. Каждый раз, когда кто-нибудь останавливался в коридоре или просто проходил мимо, пальцы ее застывали на клавишах машинки, пока на матовом стекле двери не исчезал силуэт.

Дважды Вики виделась с Марго, которая за последний год стала еще более замкнутой. Марго теперь одевалась совсем по-другому, чем прежде, и даже походка ее изменилась. В таком крупном городе, как Кливленд, и то ее могли бы принять за даму из Нью-Йорка благодаря ее особой хрупкой утонченности. Вики не успела толком поговорить с ней, потому что Марго, как, впрочем, и все служащие фирмы, закружилась в водовороте лихорадочной подготовки к авиасостязаниям. Марго

ни словом не обмолвилась о Кене и только сказала, что, когда кончатся состязания, надо будет обязательно собраться всем вместе.

Марго, видимо, совсем забегалась и захлопоталась; в конторе говорили, что единственный способ наладить какое-нибудь дело — это обратиться к мисс Мэллори. Ее напряженной энергией, казалось, была проникнута вся атмосфера завода.

Карл тоже находился в непрестанном возбуждении и не терял даром ни минуты: он то и дело вбегал и выбегал из каморки-конторы, торопливо разговаривал по междугородному телефону и несся на очередное совещание. Вики до такой степени привыкла к этой постоянной беготне, что спустя несколько дней после своего приезда, в пятницу, сначала даже не обратила внимания на его тень, остановившуюся за стеклянной дверью. Очевидно, он с кем-то разговаривал. Но тут его тень отодвинулась и появился силуэт другого человека, гораздо выше и, повидимому, моложе Карла. До нее доносился их невнятный говор, звучавший то громче, то тише. Вдруг молодой человек рассмеялся. Вики замерла — этот смутно знакомый смех показался ей наваждением. Голоса стихли, но молодой человек не уходил. Через секунду дверь отворилась. Вики была так поглощена мыслью о Кене, что совсем забыла о существовании Дэви, который стоял в дверях и улыбался, глядя на нее с насмешливой укоризной.

— Ну, хороши же вы! Даже не позвонили, не дали знать, что вы здесь,— спокойно сказал он. Вики почти физически ощущала взгляд его темных глаз на своих волосах, на лице, платье и руках.—Вы изменились.

— Нет, я все та же.

— Будь вы прежней, вы бы позвонили, как только сошли с поезда. Если б не Карл, я и не знал бы, что вы здесь. С понедельника я четыре раза проходил мимо этой двери и понятия не имел, что вы тут сидите.

— Четыре раза? — переспросила она и добавила:—И вы были один?

По его быстрому проницательному взгляду Вики догадалась, что выдала себя с головой.

— Один,— сказал Дэви.— Кен и Волрат не питают особой любви друг к другу, поэтому во избежание всяких трений мы с Кеном решили, что он будет продолжать нашу основную работу, а я уж докончу то, что мы тут затеяли. У Кена все благополучно.— Он умолк, настороженно глядя на нее.— А вы как живете?

— Вы тоже изменились, — внезапно сказала Вики.

— Разве?

— Вы стали как-то увереннее, солиднее.

— Это верно,— просто сказал он.— Мне многое пришлось пережить.

— Хорошего или плохого?

— Того и другого понемножку.— Дэви неожиданно улыбнулся знакомой ей, грустной улыбкой, и Вики на мгновенье даже растерялась — чем-то таким близким вдруг повеяло от Дэви, будто она совсем недавно думала о нем или о ком-то, очень на него похожем, с огромной нежностью. Вики старалась припомнить, когда и где это было, но не смогла. И все же она была благодарна ему за то, что он здесь, — при нем ей стало как-то легче, словно он оказывал ей услугу, в которой она отчаянно нуждалась.

6

Последний раз Дэви обедал с Вики в ресторане Белла в тот вечер, когда она решила уехать из Уикершема, и до сих пор ему никогда не приходило в голову, какими, в сущности, скудными крохами довольствовалась его любовь — ведь чуть ли не с первого дня знакомства он видел только повернутый в сторону профиль Вики, ибо даже во время самых

задушевных бесед она всегда говорила и думала о другом человеке. Но сегодня Дэви впервые глядел ей прямо в глаза, чувствуя радостное волнение оттого, что все ее внимание сосредоточено на нем. И только память о том, что вот так же однажды глядела на него Фэн Инкермен, заставляла его держаться настороженно.

Во время обеда Дэви ни разу не заговорил на тему, все время занимавшую его мысли, но, остановив машину у дома Уоллиса, он повернулся к Вики и сказал:

— Хочу спросить вас прямо — вы все еще любите Кена?

— Нет.

— Ответ, я бы сказал, скоропалительный.

— Он был у меня наготове. Я знала, что вы меня об этом спросите.

— Разве это было так очевидно?

— Вы хотели спросить еще днем, когда вошли в контору,— сказала она.— Я и тогда ответила бы так же.

Дэви положил руку на ее запястье; Вики не отодвинулась. Он чуть было не сжал пальцы властным движением, но вспомнил, что однажды точно так же стиснул руку Фэн и та тоже не отодвинулась. Настороженность, глубоко укоренившаяся в его душе, заставила его разжать пальцы. Иронически улыбнувшись, он убрал руку и наклонился, чтобы открыть перед Вики дверцу. Вики удивилась, поняв, что ее вежливо отстранили, и, секунду помедлив, вышла из машины.

— Спокойной ночи,— сказала она и направилась к дому.

Услышав этот холодный тон, Дэви посмотрел ей вслед.

— Будут ведь еще и другие ночи, правда?— В голосе его звучала мольба, заглушившая сердитый внутренний протест: «Дурак ты, дурак, зачем ты повторяешь все сначала!»

— Если вы захотите,— ответила Вики.

— Захочу,— быстро сказал он.— Да, захочу.

Позже, лежа в постели, он вдруг ощутил слабый запах ее духов, словно она в темноте только что прошла мимо. Он открыл глаза, но наваждение мучило его до тех пор, пока он не обнаружил, что пахла духами его правая ладонь, лежавшая сегодня на руке Вики.

На следующий день ему незачем было идти на завод Волрата, но, работая в лаборатории, он бегал на каждый телефонный звонок в надежде, что его вызовут на какое-нибудь совещание и у него будет предлог зайти к Вики.

И ни на минуту он не мог отделаться от ощущения, что все это уже однажды с ним было.

В течение утра он то и дело порывался сказать Кену о приезде Вики, но каждый раз слова застывали у него на языке — он видел перед собой Вики и Кена, замерших в объятии, слышал их ласковый шепот...

Все-таки в середине дня он сказал Кену о приезде Вики, но тот взглянул на него так странно, что сердце Дэви сжалось от страха.

— По-моему, я тебе говорил об этом, — произнес Кен.

— Нет, ты не говорил, что она здесь. А откуда ты узнал?

— Мне сказала третьего дня Марго. Ты уже видел Вики?

— Да, вчера. Почему же ты молчал, Кен? Должно быть, я выглядел порядочным дураком, когда устроил ей нагоняй за то, что она по приезде не позвонила.

Кен был искренне озадачен.

— А почему, собственно, она должна была звонить?—осведомился он.

Некоторое время спустя Дэви внезапно оторвался от работы и пошел звонить Вики, чтобы назначить встречу с ней на вечер. Пообедав вместе, они поехали к озеру, лежавшему среди холмов в четверти мили над Па-

вильоном танцев, который был похож на волшебный шатер, обведенный светящимися точками электрических лампочек. В теплой вечерней тишине приглушенные звуки музыки, которым темнота придавала чистую прозрачность, были полны особого, колдовского очарования.

— Давайте поговорим,— порывисто сказал Дэви.— Мне хочется говорить о вас.

— Дэви,—медленно произнесла Вики,— что вы делали весь этот год?

— Работал, вот и все. А что?

— Вы сильно изменились.

— Разве? Вот об этом я и хотел поговорить с вами. А вы изменились, Вики?

— Вы же сказали, что да.

— Знаю. Но я имел в виду внешнюю перемену. А сейчас...

— Договаривайте, Дэви.

— Я уже спрашивал вас о Кене,— не сразу произнес он.

— Я вам сказала правду, Дэви.

— Знаю, что вы верите в это, Вики, но в душе — в самой глубине души — вы тоже уверены, что это правда? Или только так говорите?

— Нет, это правда,— твердо сказала она.— Так должно быть.

— Если *должно,* значит это неправда — во всяком случае, сейчас.

— Ах, не придирайтесь к словам, Дэви.

— Но это так для меня важно, Вики!

— Это верно, Дэви?— тихо спросила она.

— Вы же сами знаете. И из-за Кена я не могу разговаривать с вами так, как я разговаривал бы с любой другой девушкой.

— Но я же сказала вам, что все уже прошло. Я понимаю, для вас я — бывшая подружка Кена. Но ведь я-то о себе так не думаю. Мне даже трудно припомнить, что я тогда чувствовала. Неужели я так и не смогу заставить вас поверить этому?

— Хотел бы я, чтоб вы смогли!

— А все-таки, как бы вы разговаривали, будь на моем месте другая девушка?

Дэви усмехнулся.

— Не могу же я переключиться так сразу.

— Попробуйте!

— Нет,— сказал он, протягивая ей ладонь.— Возьмите мою руку, вот и все. Подержите. Мне это страшно приятно, Вики. А вам?

— Дэви, мы собирались поговорить!

— Не убирайте руку. Ладно, давайте поговорим. Я расскажу вам, какой я вас вижу.

— Другой девушке вы бы тоже стали об этом рассказывать?

— Нет. Только вам.— Голос его упал почти до шепота.— Вики... взгляните на меня...— Он поцеловал ее в губы.— Вики...— снова прошептал он, наслаждаясь звуком ее имени.

— Дэви, прошу вас...

— Вы не хотите, чтоб я вас целовал?

— Не знаю...

Дэви посмотрел на нее пытливо и грустно.

— Вот об этом-то я и говорю все время. Я думал, вы поняли.

— Может быть,— медленно ответила Вики, разглядывая свои руки.— Я не сержусь на то, что вы меня поцеловали, Дэви. Я просто не могу в себе разобраться. Давайте лучше потанцуем.

— Вам вправду хочется танцевать со мной?

Вики не подымала глаз.

— Да,— помедлив, сказала она спокойно.— Мне очень хочется потанцевать с вами.

Они пошли танцевать, и тело ее было восхитительно податливым, а молчание — задумчивым. Немного погодя она прижалась лбом к его щеке, и они уже не танцевали, а медленно и ритмично двигались, слегка обнимая друг друга. Казалось, они несут нечто такое хрупкое и прекрасное, что все другие пары должны были вежливо и почтительно уступать им дорогу.

Через некоторое время Вики, не выпуская руки Дэви и не глядя на него, потянула его за собой к двери.— Пойдемте к машине,— сказала она. Но ее интонации, наклон ее головы как бы раскрывали настоящий смысл этих слов, ибо на самом деле Вики хотела сказать: «Я жду, чтоб вы меня поцеловали».

Дэви пришел домой, мурлыкая про себя какой-то мотив.

— Чем это ты так доволен? — окликнул его Кен из своей уже темной комнаты.

— Ничем.

— Ты, кажется, был с Вики?

Дэви перестал напевать.

— Да,— спокойно ответил он.

Грубоватые нотки мгновенно исчезли из голоса Кена.

— Она... она что-нибудь говорила?

— О чем?

— Ну, обо мне, например.

— Я думал, у вас все кончено.

— Что ж, разве я не могу спросить о ней?

Стоя в передней, Дэви обернулся лицом к темной двери Кена, но не вошел. Он стал рассматривать свои ногти.

— Так вот, насчет этого испытания в четверг у Волрата...

— Знаю,— сказал Кен.— Я приду.

— Я хотел сказать, что можешь не приходить. Я возьму кого-нибудь другого.

— Незачем. Я сказал, что сделаю это — значит, сделаю.

— Ладно, — громко произнес Дэви, но напевать больше не стал.

В голосе Кена Дэви почуял вновь вспыхнувший интерес к Вики, и ему показалось, словно кто-то ехидно шепнул ему на ухо простую разгадку головоломки; и снова у него мелькнула тоскливая мысль, что такие нотки в голосе Кена он уже слышал прежде.

Дэви прошел в ванную, где задумчиво и с особенной тщательностью принялся мыть лицо и руки, пока не смыл всего, что могло напомнить о Вики. Теперь он ясно понял, что она, сознательно или нет, старается использовать его любовь в своих целях. Дэви был недалек от истины, но именно поэтому совершенно не прав. На этот раз свойственная ему прозорливость ввела его в заблуждение, ибо он решил, что Вики пытается таким путем вернуть Кена. И ни разу ему не пришло в голову, что она использует его любовь в совершенно других целях — для того, чтобы спастись от Кена.

7

В четверг утром Дэви и Кен поехали на завод Волрата устанавливать оборудование. Утро было тихое, солнечное и знойное, насыщенное сочными зелено-золотыми июльскими красками; высоко над землей мягко сияла прозрачная лазурь. Когда братья подъехали к аэродрому, «Сокол», самолет, построенный специально для соревнований, только что приземлился после пробного полета; он казался совсем крохотным на просторном пустом поле аэродрома. Приподнятый кверху фюзеляж походил на злобно-тупое рыльце. Люди в рубашках с засученными рукавами лениво побежали навстречу самолету по полю, сквозь струящееся,

мерцающее марево. В воздухе пахло нагретой травой. Пилот отодвинул ярко блеснувший на солнце прозрачный фонарь кабины. Из самолета неуклюже вылез Мел Торн. Дэви и Кен подоспели как раз в ту минуту, когда он докладывал о полете Волрату, стоявшему поблизости в белой шелковой рубашке и старых вытертых гольфах, которые он обычно носил на заводе.

— «Сокол» ваш шустрый, ловкий и смышленый, только летайте на нем сами!— сказал Мел.

— Он тебе не нравится?— спросил Волрат.

— Я же терпеть не могу всего, что летает, особенно того, что летает быстро. Кажется, я побил рекорд?

— Да, на последнем этапе. Он все время тебя слушался?

— Нет. Начал было барахлить, но я понял, в чем дело.— Мел взглянул на Кена и Дэви.— Вашу установку мы поместим позади сиденья. Там помечено мелом, сколько вы можете занять места — пока что я положил там мешки с песком, на каждом написано «3 фунта». Это предельный вес, на который вы сможете рассчитывать. Если у вас эта штука с собой, давайте ее сейчас взвесим.

Установка радиопередатчика заняла полдня. Время от времени Дэви оглядывался на Вики, наблюдавшую за ними из окна конторы, и махал ей рукой, но Кен, повидимому, не замечал ее присутствия, как не замечал и механиков, которые возились в самолете, исправляя что-то по указке Торна. Внутри фюзеляжа было жарко и тесно. В два тридцать установка была готова для испытания при включенном моторе. Дэви ушел в контору, где находилась наземная радиостанция, а Кен остался в самолете.

Мотор заработал тотчас же, и даже издали, из окна конторы, Дэви было видно, как дрожит от вибрации металлический корпус маленького самолета — казалось, на нем искрятся крупные дождевые капли, гонимые сильным ветром. Сначала прием никак не налаживался, но через некоторое время удалось отфильтровать мешающий фон. К четырем часам оставалось только проверить передачу во время полета.

— Скажи Торну, пусть возьмет с собой Кена,— вполголоса сказал Дэви Марго.

Но Дуг Волрат пожелал лететь сам. Он был в веселом настроении, с лица его не сходила улыбка, и Дэви знал — это еще больше будет злить Кена. Торн, пожав плечами, знаками показал Марго, что бессилен что-либо сделать. Дэви из окна видел, как Кен — крохотная фигурка в белой рубашке — неуклюже вскарабкался на заднее сиденье; неуверенность его движений как бы подчеркивалась ловкостью, с какою взобрался в самолет Волрат. Дэви искоса взглянул на Вики — ему было любопытно, о чем она думает, молчаливо наблюдая за Кеном из окна.

Мотор внезапно издал густой рев, от которого воздух сразу стал казаться плотным, как бетон. Самолет немного пробежал вперед, затем развернулся по ветру. Кузов его на длинных, тонких, как лапки насекомого, шасси, был приподнят кверху, и весь он напоминал готовую ужалить пчелу. Голос Кена, глухой и дрожащий от треска электрических разрядов и вибрации металла, заскрипел из установленного в конторе громкоговорителя.

— Начинаю передачу, малыш,— говорил он.— Мы бежим по аэродрому, и из меня вытряхивает все внутренности.— В голос его незаметно вкралась насмешка, придававшая словам издевательский оттенок.— Если это век воздухоплавания, то дайте мне лучше лошадь и повозку. Ты меня слышишь?

— Я тебя слышу,— ответил Дэви и снова переключился на прием.— А Волрат тоже слышит?— обернулся он к Торну.

Торн кивнул головой.

Рокоча на малой скорости, то и дело выкашливая пламя, маленький самолет добежал до конца стартовой дорожки и повернул назад. Сделав поворот, он остановился и зарокотал еще настойчивее и громче. Казалось, самолет трепетал от нетерпения, стремясь поскорее взлететь вверх. Иронический голос Кена непрерывной струйкой тек из репродуктора, расплываясь по конторе.

— Напружиниваем мускулы для гигантского прыжка в Будущее,— говорил он. — Современная наука еще не видела чуда, подобного этой летающей маслобойке. Слышен ли вам Голос Будущего?

— Я тебя слышу,— невозмутимо отозвался Дэви.

— Велите ему заткнуться,— прошептал Карл.

— ...тоже мог бы вас слышать, будь мои уши на месте, но они у меня прыгают вверх и вниз... Ага, вот мы и начали двигаться... все быстрей и быстрей летит крылатая колесница, не минуя ни одного камешка по пути...

Оконные стекла задребезжали, пол затрясся — самолет набирал скорость, вздымая за собой длинный плюмаж пыли. Заднее колесо приподнялось над землей — самолет, казалось, вот-вот ткнется носом в землю. Он пронесся мимо здания, не касаясь передними колесами травы, а через секунду порыв вихря забарабанил по стеклам мелкими камешками и комьями земли. Самолет летел низко, ровно и быстро и вскоре скрылся из виду, но голос Кена продолжал звучать в конторе, такой же насмешливый, но более твердый — казалось, Кен прищурил глаза и сжал зубы. На мгновение голос захлебнулся, словно от неожиданного толчка, потом тем же ровным издевательским тоном Кен стал описывать мертвую петлю, затем штопор, снова петлю и снова штопор.

— И мы не спеша падаем в пространство... круче и круче... вниз, на столицу штата... сукин сын... Погоди минутку, малыш,— голос вдруг стал слабым и усталым.— У меня кружится голова. Ты меня слышишь?

— Слышимость хорошая,— сказал Дэви. Переключив приемник, он порывисто обернулся к Торну.— Что этот болван вытворяет с моим братом? Ведь Кен еще никогда не летал...

Конец его гневной фразы был подхвачен, унесен и разорван в клочья волной оглушительных звуков — самолет пронесся над самым аэродромом, меньше чем в двадцати футах от земли. Присутствующие молча проводили его глазами.

— Кен довел его до белого каления, вот и все,— пояснил Торн.— Этот самолет хозяину милей любимой девушки. Боже упаси издеваться над ним — это все равно, что издеваться над самим Волратом. А Кен сделал и то и другое.

— И Волрат, как мальчишка, решил с ним поквитаться!

— Может, и так, только он этого не сознает. Нашему хозяину просто кажется, будто он решил, что сейчас самый подходящий случай испытать машину.

— Оба они — малые дети,— со злостью сказала Марго.— Не знаю, чьи пеленки мокрее. Заставьте его спуститься, Мел, пока Кен его не доконал!

— Заставить его невозможно,— сказал Торн.— Он хочет...

Мел не успел докончить — самолет опять промчался над полем, точно тяжелым цепом молотя их своим оглушающим ревом, потом вернулся, еще раз обрушил на них гул и грохот, и так снова и снова, пока все, кто был в конторе, не сдались окончательно, уже не пытаясь переговариваться, и только голос Кена, комментировавшего происходящее, извилистой струйкой тек из репродуктора, да и тот каждую секунду тонул в свистящем гуле мелькавшего самолета.

Приземлившись, Волрат вылез из самолета и зашагал прочь, даже не оглянувшись. Он вошел в контору, красный, злой и молчаливый. Он принялся перебирать бумаги на столе, не подымая глаз; руки его дрожали. Через несколько минут, пошатываясь, вошел Кен; наушники сползли ему на шею, а микрофон болтался на груди, как медальон.

— Чем хороши полеты — в них можно встретить любопытнейших мерзавцев,— небрежным тоном заявил Кен. Затем он в упор посмотрел на Волрата, и в голосе его появилась язвительная вкрадчивость:— Я оглох, но вы меня, надеюсь, слышали?

Дэви ничего не ответил, а Волрат бросил на Кена гневный взгляд.

— Ладно, свой аппарат вы проверили. Что ж, отвечает он нашим требованиям?

— Вы получили в точности то, что заказывали, мистер Волрат,— сказал Кен.— Счет вам пришлют завтра утром. Если мы вам опять понадобимся, позвоните. Пойдем, Дэви,— установка пусть останется там, где она есть. Она теперь принадлежит этому субъекту.

Впервые за все время он повернулся к Вики и послал ей сияющую улыбку, как герой, только что одержавший победу в борьбе с воздухом,— единственный, кто с честью вышел из этой борьбы.

— Рад вас видеть снова, Вики. Вы хорошо выглядите. Пошли, Дэви.

И Дэви пошел за ним, даже не обернувшись, не полюбопытствовав узнать, какой ущерб причинил ему Кен.

8

Весь вечер Дэви находился в нервном напряжении, как будто судьбу его сейчас где-то решали слепые и глухие судьи. Он слонялся возле столика с телефоном на случай, если позвонит Вики, не сомневаясь, что по первому же ее «хелло» он узнает, хочет ли она попросить к телефону Кена. Он чувствовал ее близость так, как если б она ходила по соседней комнате.

Наконец в десять часов вечера терпение его иссякло. Если ей нужен Кен, пусть будет так. В последний момент он сказал Кену:— Я иду в мастерскую... — И, не вдаваясь в объяснения, ушел.

Одиночество стлалось в воздухе, когда он зажег свет в пустой конторе. Пока он выполнял заказ авиационного завода, весь штат мастерской под руководством Кена продолжал работать над основным изобретением. Дэви глядел на стопки бумаг, на рулоны чертежей и недоконченные эскизы — следы дневной работы, но это была уже не его работа, и он почувствовал себя незваным пришельцем. Он пошел по лабораториям, глядя на приборы, сконструированные не им, на схемы, созданные без его участия.

Присев к столу, он взял рабочую тетрадь и стал читать записи, день за днем отмечающие ход работы за последние недели. Здесь были идеи, к которым он не имел отношения, проблемы, о возникновении которых он даже не знал. Дэви качал головой, читая записи о методах, которые он не стал бы применять, но следующие же страницы доказывали, что Кен все-таки находил искомый ответ. Эти страницы раскрывали прагматический подход Кена к творчеству — здесь он действовал самостоятельно, без всякого вмешательства Дэви. Во всем этом был один только Кен, и Дэви пришлось признать, что Кен — молодец, хотя в последнее время он не раз позволял себе усомниться в этом.

Взгляд его упал на телефонный аппарат, стоявший возле его локтя. Пока он сидит тут, Вики, наверное, уже позвонила Кену и они вели тихий разговор, нежно улыбаясь в трубку. И если она звонила, то, конечно, Кен и не подумает сообщить об этом Дэви. Этот разговор, означаю-

щий, что они вновь открыли для себя друг друга, навсегда останется между ними.

Дэви вдруг представилось, что он — центральная фигура в каком-то сложном танце; он выделывает па то с Кеном, то с Вики, но когда Кен и Вики берутся за руки, они отходят куда-то в тень и там исполняют фигуры, которых он не видит. А он стоит, застыв в выжидательной позе, пока кому-нибудь из них не придет в голову скользнуть к нему и, взяв за руку, продолжать с ним танец.

В первый раз за последние годы Кен вновь приобрел в грустных глазах Дэви то величие, каким он наделял его, когда они были детьми,— величие победителя, со светлой улыбкой стоящего на высоком пьедестале, всеми любимого, обворожительного, небрежно протянувшего ладонь, в которую победы сыплются одна за другой.

На следующее утро к восьми часам стали сходиться техники, и, хотя Дэви видел их ежедневно, сейчас ему казалось, будто он впервые вернулся в мастерскую после долгого отпуска. Утро ушло на проверку того, что он видел накануне вечером, а после полудня все было готово к первому испытанию новых схем. В последний момент на стеклянной пластинке был намалеван черный крест; этот грубый рисунок установили перед камерой.

Дэви и Кен вошли в темную будку, сооруженную для защиты передающей трубки от постороннего света. Хоть бы получить самое смутное изображение — на большее они и не надеялись. Дэви нагнулся и повернул переключатель — шестидюймовый экран трубки превратился в светлое лунное оконце.

Опалово-молочный круг светился ровным светом, но по нему пробегали тени облаков, словно в ясную зимнюю ночь разгулялся штормовой ветер. Кен нажал зуммер — знак для подачи видео-сигнала.

И вдруг в лунном окошке замелькал снег с такой быстротой, что больно стало глазам. Мелкие хлопья перемежались огромными снежными кляксами, которые, врываясь в поле зрения, тотчас же расплывались; но сквозь метель где-то вдали маячило единственное неподвижное пятно в этом слепящем белом столпотворении — призрачные очертания вертикально поставленного черного креста.

Итак, после стольких лет работы и мечтаний они добились наконец передачи изображения. Несколько секунд Дэви сидел неподвижно. Потом нагнул голову и потер усталые глаза.

— Ну,— тихо сказал он,— вот ты и добился своего.

— Черта с два я добился,— убитым голосом отозвался Кен.— Может, если б это случилось год назад, я бы обрадовался, но сейчас такое изображение нельзя показать Броку. Это не стоит двадцати тысяч долларов, из чьих бы карманов он их ни добывал.

— Снег портит все дело,— сказал Дэви.— Погляди, может, найдешь, откуда он берется. А все-таки, что там ни говори, изображение ты получил.

Кен принялся давать помощникам подробные распоряжения. Метель на экране трубки сузилась и превратилась в луну, а луна сузилась до светлой точки, которая, как светлячок, бесцельно блуждала по экрану, пока снаружи делались новые подключения, а потом снова стала яркой луной, а из луны опять посыпалась та же буйная метель. На этот раз на экране уже не было креста, так как помощники убрали видевший его электронный глаз. Но метель бушевала попрежнему.

— Вот тебе ответ,— сказал Кен.— Помехи возникают не в самой камере, а только в усилительной цепи — видно, она чересчур мощная.— Он выключил приемную трубку, и в будке наступила полная темнота. —

И все-таки, чтобы воспроизвести любой сигнал, необходимо еще большее усиление.

— Но ты принимаешь хаотическое движение электронов в первом каскаде. Вот что представляет собою снег, ты это сам знаешь.

— А что ж прикажешь делать?— сердито спросил Кен.— Сигнал передающей трубки так же мал, как хаотическое движение электронов. И, насколько я понимаю, это нас заводит в тупик.

— Должен же быть какой-то выход, — задумчиво сказал Дэви. — Тебе нужно найти способ отделить сигнал от фона.

— Не вижу такого способа,— устало ответил Кен.— Это все равно, что требовать четкого почерка от человека, у которого трясутся руки. От беспорядочных рывков его кисти буквы идут вкривь и вкось, и поди разбери, что он там написал.

— Надо, по-моему, закрепить его кисть.

— Но как? В каждой электронной трубке, которой мы пользуемся, возникает беспорядочное движение электронов, когда мы доходим до предела.

— Давай попробуем обмозговать эту штуку,— сказал Дэви.— Предположим, два паралитика одновременно держат мел трясущимися руками. У каждого рука пляшет, но не в такт с другим. Это значит, что один до какой-то степени сдерживает другого.

— Ну и что же?

— Вместо двух человек, держащих один кусок мела трясущимися пальцами, возьмем две электронные лампы и заставим их принимать один и тот же сигнал и подавать его на один и тот же выход. Хаотическое движение возникает только в токе накала, поэтому сделаем нити накала независимыми друг от друга. Это все равно, что одна электронная лампа с двумя нитями накала: каждая из них компенсирует колебания другой.

— Давай попробуем,— сказал Кен, приподымаясь.

— Нет, сначала надо сделать расчет,— возразил Дэви. Он оглянулся, ища блокнот. В душе его теплым огнем разгоралась уверенность. У него все-таки *есть* здесь свое место, и он может внести свой вклад в дело. Как бы умен и талантлив ни был Кен, все же без Дэви он никогда не сможет быть настоящим Кеном.

Когда Дэви сел за теоретические выкладки, день уже близился к концу, поэтому Кен решил отпустить техников по домам, как только схемы будут приведены к первоначальному виду. В семь часов вечера Дэви все еще сосредоточенно писал что-то карандашом в блокноте, но Кен сидел как на иголках.

— Ну, что там у тебя получается?— не выдержал он.

— От двух параллельных ламп не будет много проку,— сказал Дэви, перелистав несколько исписанных страничек.— Пять параллельно включенных ламп сократят фон до одной четвертой.

— Тогда ясно, в каком направлении двигаться дальше!— порывисто воскликнул Кен.— Попробуем десять параллельных ламп.

— Да? С какими параметрами?

— Откуда я знаю? Соберем эту схему, а там видно будет. Ну, в общем ладно, — добавил он, что-то сообразив. — Ты уж сам это рассчитай. А я пошел.

— Куда?

Кен нахмурился — так резко прозвучал этот неожиданный вопрос.

— А что?

— Ничего, это неважно,— сказал Дэви, пристально вглядываясь в свои записи.— Просто я хотел знать, где тебя можно найти.

— Я тебе позвоню.— И добавил уже мягче:— Может, принести тебе чего-нибудь поесть?

— Не надо,— сказал Дэви.— Я не голоден.

Он слышал, как Кен отъехал от мастерской, и, напрягая слух, ловил замирающие звуки, стараясь угадать, завернет ли машина за угол, на Прескотт-стрит, где жил Уоллис. Немного подождав, он заставил себя вернуться к работе и снова погрузился в ясный мир цифр и функций, где никогда не бывает никакой неопределенности.

В половине девятого зазвонил телефон. Сердце Дэви подпрыгнуло: в нем вдруг вспыхнула надежда; но это оказался Кен, а не Вики.

— Я еще не кончил,— кратко сказал Дэви.— Завтра кое-что попробуем.

В десять часов вечера двадцать страничек, исписанных вычислениями, он свел к заключению, состоявшему из десяти строчек формул и чертежей. Тут он вдруг почувствовал, что у него засосало под ложечкой от голода. Немного погодя он услышал, как открылась наружная дверь, и, подняв глаза, увидел на пороге конторы Вики, молча ожидавшую, пока он ее заметит.

— Я увидела свет,— сказала она,— и зашла взглянуть, что вы тут делаете.

— Кен только недавно ушел,— сообщил Дэви, но если Вики и была разочарована, то не показала виду.— Я сейчас закончу, но я умираю с голоду.

— Пойдемте к нам, я вам приготовлю поесть.

— Я собирался пойти в какое-нибудь ночное кафе на шоссе.

— Можно мне с вами?

— Конечно,— спокойно ответил Дэви и нагнулся к столу, делая вид, что пишет. Хорошо, он возьмет ее с собой, но постарается доставить домой как можно скорее.

Они поужинали в ресторане, а потом Дэви вдруг понял, что ведет машину по шоссе, удаляясь от города.

— Надо немножко прокатиться,— объяснил он скорее себе, чем ей. Прогулка совершалась в полном молчании и окончилась возле скал над озером. Дэви выключил фары, и с минуту они сидели неподвижно в густом мраке. Потом Дэви обернулся к Вики, как бы собираясь о чем-то спросить; она тоже повернулась, и губы их встретились. Но Вики, не высвобождаясь из его объятий, медленно качала головой, словно не могло быть для нее покоя, пока она не дождется того, особого поцелуя, который будет значить так много для нее. Дэви поцеловал ее крепче, вкладывая в поцелуй всю душу, и почувствовал, как она замерла в его объятиях. Потом она прижалась щекой к его щеке, нежно и страстно шепча ему на ухо: «О, Дэви... Дэви!»

— Милый... милый...— еле слышно повторяла она, а Дэви был не в силах выговорить ни слова, но вдруг, сам этому удивившись, услышал свой голос, произнесший ее имя с такой пламенной мольбой, что, казалось, вот-вот он прервется бурными рыданьями.

— Дэви, что с тобой?.. Дэви, любимый?— спросила она.

— Ничего. Ничего.

— Скажи все, Дэви. Скажи мне то, что ты ни разу не сказал за весь вечер.

— Не могу.

— Но ведь ты любишь меня,— прошептала Вики. Рука ее ласково гладила его затылок.— Это не могло быть так, если б ты не любил.

Он поцеловал ее в шею, но ничего не ответил.

— Ну, пожалуйста, Дэви...

Дэви молчал.

— Ты же сказал это в тот вечер. Помнишь, когда мы танцевали. Ты сказал, что влюблен.

— А вы сказали, что это просто флирт.

— Но теперь я тебя люблю.— Она чуть отодвинулась, чтобы поглядеть ему прямо в глаза.— Ты знаешь, что это правда.— Она ласково рассмеялась.— Перестань же стесняться меня, наконец!

— Это не потому,— сказал он.— Вовсе не потому.

— А почему же?

— Не знаю. Не могу найти слов.

— Но ведь тогда ты мне сказал правду?

Он долго не двигался, потом очень медленно покачал головой, не выпуская ее из объятий, чтобы, даже солгав ей, не утерять ощущения ее близости.

— Нет, Вики,— прошептал он.— Я говорил неправду.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Весь следующий день Дэви работал в каком-то отупении. Он машинально отдавал распоряжения, совершал разумные действия, что-то решал, но мысли его витали далеко — они были поглощены воспоминаниями. Временами он застывал на месте, пока голос Кена на другом конце мастерской или даже промелькнувшая мимо тень Кена не обрывали его грез.

В такие моменты Дэви мгновенно приходил в себя и снова брался за работу, упорно не подымая глаз.

Однако ненавидел он только незримого Кена, который находился где-то на другом конце мастерской, но когда Кен, его брат, работал с ним вместе, советовался с ним, помогал, смеялся над его сухими репликами, то их опять связывала всегдашняя товарищеская близость, всегдашнее чувство взаимного уважения и зависимости друг от друга.

В конце дня позвонила Вики, и при звуке ее голоса у Дэви замерло сердце.

— Дэви, сегодня мы не сможем встретиться. Мы с Карлом вечерним поездом отправляемся в эту поездку на восток.

— В какую поездку?

— Я же вам говорила. Карл хочет посетить все аэродромы, где будут приземляться самолеты по пути к месту состязания.

— Но состязание начнется еще недели через три.

— Я вернусь через десять дней,— сказала Вики.

— А я не смогу вас повидать до отъезда?

— Если только придете на вокзал. Хотите прийти?

— А вы хотите, чтоб я пришел?

— Я же вам сказала вчера вечером,— мягко произнесла Вики.— Могу повторить еще раз. Даже если не услышу этого от вас.

— Вики...

— О, я ничего не прошу. Я хочу сказать — не прошу этих слов. Но если вы придете проводить меня на вокзал, я буду очень рада. Очень, Дэви.

— Я приду.

— И все-таки это неправда?— спросила она.

Он ни капли не сомневался, что Вики во всем абсолютно честна и верит в то, что говорит правду, но он знал: стоит только Кену сказать хоть одно слово или сделать жест, и все будет кончено. Она радостно перепорхнет от одной любви к другой, а он, лишившись иллюзий, канет в пустоту. Нет, упрямился про себя Дэви, он знает ее лучше, чем она сама.

— Да, Вики,— грустно сказал он.— Все-таки неправда. Но я приду вас проводить.

Им почти не удалось попрощаться, потому что Дэви приехал на вокзал слишком поздно. Ничто не мешало ему уйти из лаборатории пораньше, но он приучал себя к тому, чтобы не поддаваться порывам, которые так злили его в Кене. Дэви твердо решил, что уж он-то, во всяком случае, не даст повода думать, будто встреча с девушкой для него важнее работы — особенно, если в глазах этой девушки он является лишь временной заменой возлюбленного.

Он приехал на вокзал за две минуты до отхода поезда и был рад этому, ибо взгляд ее мгновенно просиявших глаз обдал его интимной теплотой, не менее волнующей, чем все, что было между ними. Не успели они обменяться и словом, как на них налетел Карл, схвативший Вики за руку с видом разгневанного папаши.

— Ступай в вагон,— приказал он таким суровым тоном, что Вики засмеялась, пробегая мимо него к вагону. Маленький толстяк задержался у ступенек, с яростью глядя на Дэви. — Вы с вашим паршивым братцем — два сапога пара! — закричал он.— Вы что, подрядились морочить голову этому ребенку? Она теперь работает у *меня*,— заявил он, тыча пальцем себя в грудь.— Она теперь на *моем* попечении, и пусть только кто-нибудь посмеет сунуться...

— Погодите, Карл...

— Вы мне очки не втирайте, молодой человек. Там, где дело касается женщин, ничего не выйдет. С этой девушкой надо обращаться по совести, а то я ни на кого не посмотрю!..

Поезд тронулся; Карл обернулся и торопливо вскочил на подножку. Из окна в середине вагона Вики, смеясь, махала Дэви рукой, но через секунду рядом с ней возник Карл и рванул вниз оконную шторку.

На следующее утро должно было состояться первое испытание прибора с новыми схемами. Дэви явился в мастерскую задолго до прихода остальных. Мысли его были заняты только работой, и, как ни странно, он чувствовал облегчение от того, что Вики уехала. Он собрал всю свою энергию в кулак, готовый преодолеть любые могущие возникнуть препятствия; он обошел лабораторию, проверяя оборудование с безжалостной придирчивостью — теперь он уже не чувствовал себя посторонним, как несколько дней назад. Тогда Кен был здесь неоспоримым владыкой. Сейчас все атрибуты власти перешли в руки Дэви, ибо это Дэви создал новую схему и это его разыскивала вчера вечером Вики.

К восьми часам собрались техники, а через час Дэви и Кен опять забрались в темную будку. Дэви сидел на табуретке перед приемным экраном, трепеща от радостного, опьяняющего предвкушения торжества. Он нажал кнопку, и мертвый белый диск засветился лунным светом. На мгновение, пока шла настройка, луна заколебалась, потом распалась на множество хаотически переплетенных линий и стала похожа на медленно крутящийся клубок блестящих нитей, но тут же снова округлилась и застыла.

На этот раз, однако, на экране не бушевала лунная метель. Вместо нее там пробегали легкие волны морского тумана. Кен нажал кнопку зуммера, вызывая видео-сигнал, и на экране распластался грубый крест, чуть волнистый, словно видимый сквозь пронизанную солнцем воду, но с четкими, ясными, не вызывающими сомнений очертаниями.

— Ну вот,— сказал Дэви спокойно-торжествующим тоном.— Позвоним Броку?

Кен быстро встал и настежь распахнул дверцу будки.

— Идите сюда!— звенящим от радости голосом крикнул он своим помощникам.— Смотрите, вот о чем мы все время толковали!— Техники

гурьбой столпились у будки, а Кен обернулся к Дэви.— Это, конечно, уже в тысячу раз лучше. Но Брок платит деньги за то, чтобы увидеть изображение движущегося предмета. А это — только для нашего с тобой утешения.

— Но мы, наконец, убедились, что прибор действует,— сказал Дэви. Ему хотелось, чтобы Кен признал значительность этой минуты.

— Да, уж в этом мы, черт возьми, убедились,— согласился Кен, отступая в сторону, чтобы остальные могли взглянуть на плоды своих упорных трудов. Если атрибуты верховной власти и выскользнули из рук Кена, то, как видно, он не очень ощущал эту потерю. Он был убежден, что все здесь присутствующие имеют полное право разделять торжество, и стремился, чтобы каждый получил свою долю. В такие минуты Дэви всегда забывал, что дает Кен с такой же легкостью, с какою берет.

— Дэви!— окликнул его Кен через головы протискивавшихся к будке людей. В голосе Кена еще слышались смешливые интонации — он только что отпустил какую-то шутку. — Дэви, тебе ближе к телефону. Позвони Марго, пусть мчится сюда.

— Вряд ли она сможет сейчас освободиться.

— От чего там ей освобождаться? Она пять лет ждала этого дня. Она обидится, если мы не позвоним. Постой, я сам позвоню.

Кен отошел от будки и взял телефонную трубку. Он улыбался, предвкушая удовольствие сообщить радостную весть и услышать в ответ поздравления. Шипение вольтовых дуг возле передающей трубки заглушало все звуки, и разговор по телефону выглядел, как пантомима. Вдруг Дэви увидел, что плечи Кена медленно поникли. Уже дав отбой, он долго стоял так, не снимая руки с аппарата, и, наблюдая за ним через комнату, Дэви понял — незачем спрашивать его, что сказала Марго в ответ на это долгожданное сообщение. Дэви подошел к Кену и отодвинул от него аппарат.

— Мы все покажем ей потом,— спокойно сказал он.— Не все ли равно, придет она сейчас или после работы? Будет даже интереснее смотреть, когда все уйдут. Ведь мы с тобой справимся и вдвоем.

Кен уставился на него непонимающим взглядом.

— Она сказала — придет только после шести. Волрат сегодня уезжает...

— Ну и что?

— Как что?— с горечью выкрикнул Кен.— Я думал, это и в самом деле для нее важно.

— Почему ты думаешь, что нет?

— Разве она только что не сказала сама мне это? Да, конечно, достаточно двух человек, чтоб продемонстрировать изображение. Так попроси кого-нибудь остаться и помочь тебе, когда она придет.

— А ты где будешь?

— А черт его знает, где я буду.— Он направился к будке.— Представление окончено. Давайте-ка все за работу!

2

Однако, когда пришла Марго, показывать было нечего — все схемы были снова разобраны, так как сразу же после утренней пробы братьями овладела жажда дальнейших усовершенствований. Марго застала в мастерской одного Дэви. Она приготовилась было к обороне, но узнав, что Кен ушел, сразу сникла, и не столько от облегчения, сколько от разочарования.

— И почему это он из всего делает драму!— вздохнула она.— Не все ли равно, пришла бы я тогда или сейчас.

— Не прикидывайся дурочкой, Марго. Ты же знала, что так будет.

— Конечно, знала. С той минуты, как он мне утром позвонил, я все время думала, что будет, когда я приду, — я даже устала от этих мыслей. В конце концов, ведь и там у меня тоже был важный день. Ты-то понимаешь это, правда, Дэви?

— Разумеется, понимаю, только иногда мне совершенно наплевать.

— Но мне-то что прикажешь делать? — воскликнула Марго. — Если я не откликаюсь тотчас же на каждый его зов, он начинает думать, что я его не люблю.

— А ты его любишь?

— Неужели ты думаешь, что я была бы с ним, если б не любила?

Дэви посмотрел на нее шутливо-мрачным, скептическим взглядом.

— Хотел бы я это понять, — сказал он.

— Когда-нибудь я тебе объясню, — ответила Марго и прошлась по мастерской с бесцельной торопливостью, явно желая поскорее уйти. — Ну, раз нечего смотреть, пошли отсюда. Но ты говоришь — прибор работает?

— Работает, — заверил ее Дэви. — По крайней мере, в пределах наших требований. Основной принцип верен. Мы доказали это нынче утром. Теперь наша задача — добиться передачи изображения какого-нибудь движущегося предмета.

— А что вас тут затрудняет?

— Свет, — сказал Дэви. — Идем, я тебе покажу.

Передающая трубка попрежнему находилась в первоначальном положении. Прямо перед небольшим диском на конце трубки находилась похожая на паутину конструкция подвижных держателей. Дэви показал Марго стеклянный квадратик размером в три дюйма, на котором был нарисован крест.

— Мы передавали изображение вот этого креста, — сказал он. — Но нам пришлось освещать его двумя карбидными дугами. Вот так.

Он поставил дуговые батареи на расстоянии шести дюймов от держателей; дуги напоминали две руки, протянувшие цепкие пальцы к слепой орбите объектива.

— Если нам удастся сделать схемы еще более чувствительными, тогда не понадобится такой яркий свет. Над этим-то мы сейчас и бьемся, но пока что дальше не двинулись.

— А потом что?

Дэви пожал плечами.

— А потом будем работать в каком-нибудь другом направлении. У тебя есть идеи на этот счет?

— Ну, куда мне, — засмеялась Марго. — Я уже давным-давно отстала от вас. Ты не знаешь, куда пошел Кен? Мы могли бы позвонить ему и где-нибудь встретиться...

Грустная улыбка Дэви стала мягко-укоризненной.

— Слушай, Марго, ты ведь знала, что делаешь, когда отказалась прийти утром.

— Да, но...

— Ну, так и не сдавайся, детка, не сдавайся.

— Тебе легко говорить, — жалобно сказала Марго, идя к двери.

Дэви последовал за ней, и улыбка слегка искривила его губы.

— Ты так думаешь? Значит, ты уже не так чутка, как бывала прежде. Либо ты просто ничего не хочешь замечать.

Марго невольно взглянула на брата, но тот уже отвернулся; так они и шли — рядом, но не вместе.

«И так мы живем уже давно, — подумал Дэви, — рядом, но не вместе».

После успешной передачи неподвижного изображения весь штат мастерской был окрылен вдохновением. Казалось, самый воздух был насыщен стихийной изобретательностью, и атмосфера в мастерской стала веселой, как на вечеринке. Ее не мог омрачить даже короткий холодный визит Брока. Банкиру, разумеется, показалось, что в мастерской царит полный ералаш, но все были так уверены в успехе, что его недовольство только смешило их. Дайте им неделю, одну только неделю!

Дэви никогда еще не видел, чтобы Кен работал с такой одержимостью, и не знал, чему это приписать, пока однажды вечером, решив прибрать в конторе, он не увидел пачки газет за четыре дня, согнутых пополам на страницах, где печаталась хроника.

Дэви презрительно сунул газеты в корзинку для бумаг; в это время вошел Кен. Дэви крепко сжал губы.

— Ты хоть раз в жизни, — с горечью сказал он, — можешь сделать что-нибудь ради самого дела?

Улыбка застыла на растерянном лице Кена.

— Ты о чем? — спросил он.

— О тебе! Ведь тебя не исследование интересует. Ты нас всех впутал в эти проклятые авиационные гонки. Ты о них только и читаешь. Волрат спит и видит, как бы победить, а ты спишь и видишь, как бы обскакать Волрата!

Кен уже почти не улыбался, а в глазах его мелькнули обида и вызов.

— Не все ли тебе равно, раз мы делаем успехи?

— Знаешь что, мне нужно, чтобы мой компаньон относился к работе так же, как и я, а не использовал общее дело для дуэли с человеком, который находится за тысячу миль отсюда. А если Волрат завтра разобьется? Что тогда тебя будет подстегивать? Или, может, ты просто бросишь работу?

Кен засмеялся и снова стал добродушным.

— Работу я брошу ровно на столько времени, сколько понадобится, чтоб отпраздновать смерть Волрата. Не беспокойся о своем компаньоне, Дэви. Я работаю из других побуждений, чем ты, вот и все.

— И поэтому когда-нибудь мы с тобой пойдем разными путями, — резко сказал Дэви.

Время шло, и вдохновение Кена начинало обгонять практические возможности. Сделанные усовершенствования, как вольные шутки, которые кажутся смешными до колик только в определенной обстановке, вопреки ожиданиям не дали потрясающего эффекта. Все же Кен карабкался по крутизне выше и выше, но все больше камней летело из-под его цепляющихся пальцев, и еле поспевавшим за ним помощникам то и дело приходилось увертываться от этого града сыпавшихся на них камней и комьев земли, пока, наконец, они не устремились по более спокойному и менее крутому пути, который прокладывал Дэви.

Дэви работал не менее усердно, чем Кен, и с такой же настойчивостью добивался успеха, но в то время, как Кен старался угнаться за трапецией, летавшей под пестрым куполом цирка где-то за тысячу миль отсюда, Дэви приноравливал ход своего рабочего хронометра к сухому и беспощадному шелесту перевертываемых страниц бухгалтерской книги Брока.

3

Дэви был так поглощен работой, что телеграмма от Вики, извещавшая о ее приезде в субботу днем, вызвала у него глухую досаду. Он с удивлением обнаружил, что с тех пор, как Вики уехала, он думал о ней всего лишь несколько раз. Воспоминание о ее лице, поднятом для поцелуя, сейчас почему-то не будило в нем волнения; его словно никогда

и не влекло к ней. Дэви недоумевал, что заставляло его воображать, будто он любил ее так сильно, что казалось, даже воздух, окружавший его, был не воздухом, а желанием всегда быть с ней и видеть ее глаза, глядящие на него с любовью, которая принадлежала Кену.

Вместе с чувством освобождения пришло сознание собственной неуязвимости, и лишь потом возникла легкая печаль и сомнение. Дэви старался припомнить хоть какую-нибудь черту Вики, которая отличала бы ее от прочих девушек и делала бы единственной, но ничего не находил, кроме воспоминания о том, как отважно она предлагала ему свою любовь; однако даже это казалось на расстоянии скорее недостатком, чем достоинством. И тут он пожал плечами, ибо, чем бы там ни объяснять, почему так неожиданно угас его пыл, сейчас им овладела только досада на непрошенное вторжение в его жизнь и посягательство на его время, потому что Вики явно рассчитывала, что он ее встретит. И хотя до приезда Вики оставалось еще полтора дня, Дэви уже сейчас начал ощущать нехватку времени, которое ему предстояло потерять.

В тот день, когда Вики впервые приехала в Уикершем и стояла на перроне, лицом и всей своей статью похожая на мальчика, одинокая и грустная среди гораздо лучше одетых и более искушенных в жизни девушек, которые приехали на танцы, Дэви было не так-то легко найти ее в толпе. Но и сегодня, хотя вокруг не было толпы, в которой она могла бы затеряться, Дэви все же узнал ее не сразу.

В тот раз Вики была смущена и подавлена превосходством других девушек; очевидно, точно такое же чувство она внушила сейчас стайке пронзительно щебечущих фокстротных девиц, которые при виде ее почтительно отступили в сторону. Лицом Вики попрежнему походила на мальчика, но мальчика тех пышных времен, когда дети-пажи улыбались взрослой, знающей улыбкой. Маленькая, сильно сдвинутая на бок шляпка, окаймленная короткими завитками волос, придавала взгляду Вики наивно лукавое выражение. Одета она была так, что даже походка ее стала царственно надменной.

У Вики был вид самостоятельной деловой женщины, и Дэви смутился, когда она пошла к нему навстречу. Ему не верилось, что эту девушку он не так давно обнимал. В течение нескольких секунд он понял, как он обманулся в себе, а когда их разделяло всего несколько шагов, он был снова так сильно влюблен и так смиренно сознавал это, что не удивился бы, если б она прошла мимо него, не останавливаясь.

Увидев его, Вики заулыбалась, потом стала смеяться, словно ей не терпелось рассказать ему что-то смешное, что она приберегла специально для него.

— Смотрите на эту руку,— сказала Вики, вытягивая пальцы и поворачивая кисть с таким видом, будто не верила, что рука принадлежит ей. — Эта рука ощущала мужественное пожатие Джека Дэмпси. До этой изящно дотронулась Глория Свенсон. Обе руки вместе пожимал генерал Билли Митчелл. На этих плечах, — Вики повернулась, как бы предлагая себя, такую невинную и чистую, объятиям Дэви, — лежали дружеские руки Гертруды Эдерли и мэра города Филадельфии. Все они были там, и я со всеми перезнакомилась, Дэви, — восторженно сказала она, — все было так, словно Карл повел меня в цирк и познакомил со всеми клоунами, наездниками и укротителями львов. До того чудесно и забавно! Никогда еще мне не было так весело. Он даже купил мне вот этот костюм. Вернее, заставил компанию заплатить за него.

— Я уже все заметил, — медленно произнес Дэви. Отныне каждая, даже самая простенькая вещь, которую наденет Вики, будет озарена этим недоступным сиянием, которое навсегда останется в его памяти. И даже услышав такой знакомый голос и смех, Дэви не мог себе пред-

ставить, что эту девушку он держал в объятиях, что она, задыхаясь, шептала его имя. Нет, никто еще не смел касаться ее, даже Кен.

— Карл сказал, что мой вид не делает ему чести — ведь ему приходится встречаться с множеством людей; поэтому он отвез меня на день в Нью-Йорк, и там одна его приятельница выбрала мне этот костюм. Я и не подозревала, что я такая красивая. — Вики засмеялась, но глаза ее молили, чтобы он как-то подтвердил ее слова. Дэви чувствовал, что Вики очень хочется заговорить с ним всерьез, но гордость не позволяла ей бросить шутливый тон, пока он не сделает первого шага. А он был до того смущен происшедшей в нем молниеносной переменой, что ничем не мог ей помочь. — Я чуть было не застряла там надолго, — добавила она.

— Почему же вы вернулись? — Дэви был не в силах даже улыбнуться.

— Потому что я потеряла всякий стыд, — сказала Вики, стараясь, чтобы это пугающе откровенное признание прозвучало, как легкомысленная шутка. — Я уехала раньше, чтобы поскорее увидеть вас. Хотя, сказать по правде, я не так уж сильно по вас тосковала — разве только временами.

— Вы лжете, — вдруг сказал Дэви. — Вы тосковали по мне все время.

— Ничего подобного. И вы тоже не тосковали по мне.

— Видите ли, пока вас не было, мы добились первого крупного успеха. Нам удалось наконец передать изображение через передающую трубку так, что оно отчетливо видно на экране. Пока что это просто две линии, нарисованные на стекле. Но с каждым днем этот крест получается у нас яснее и яснее.

Глаза ее расширились.

— Значит, вы почти закончили!

— Нет, только начинаем. Мы хотим добиться передачи движущегося изображения, но до этого еще очень далеко... Я страшно скучал по вас, — порывисто сказал он; и, если слова эти были неправдой, тон его был искренен, ибо Дэви поддался неудержимому желанию поделиться с ней чем-то для него драгоценным, хотя тут же ему стало стыдно за свою скупость. — Скучал все время.

— Вы намеревались провести сегодняшний вечер со мной?

— Да. — У него не было такого намерения, но сейчас он испугался, как бы что-нибудь не разоблачило эту вторую ложь. — Конечно, да.

— Тогда я только загляну к дедушке, а потом пойду к вам, и мы поужинаем с Марго и Кеном, можно?

Дэви не поверил своим ушам, но она действительно сказала «и Кеном», будто Кен не представлял для нее никакого интереса.

— Сегодня не совсем подходящий день, — сказал он. — Марго сейчас просто сама не своя. Вы же знаете, скоро начнутся соревнования и ее не оттащишь от радио.

— Вот поэтому-то я и хочу прийти к вам. Я была в Филадельфии во время подготовки, и теперь мне любопытно посмотреть, что из этого выйдет.

— Но у нас на ужин будет все только холодное.

— Боже мой, ну не все ли равно! Марго мне сказала, что нам обязательно надо собраться вместе, и, кроме того, ей *захочется* поговорить со мной. Ведь я была *там*, Дэви!

— Ну ладно, — с сомнением ответил Дэви. — Но... но разве вы не переоденетесь с дороги?

— Ни за что, — сказала Вики, беря его под руку. — Забегу на минутку домой, и все. Я хочу, чтоб Марго увидела меня в этом костюме.

«А Кен? — про себя спросил Дэви. — Почему она не сказала «и Кен»?

4

Дэви и Вики приехали в самый разгар перепалки между Кеном, Марго и радио. Голос диктора, глуховатый от благоговейной почтительности, рокотал в игрушечной гостиной, нараспев перечисляя имена дежурных знаменитостей, присутствовавших среди многочисленных зрителей, — пловца, переплывшего Ламанш, боксера — кандидата в чемпионы мира по тяжелому весу, члена кабинета министров и танцовщицы — звезды музыкальной комедии; а за его льстивыми выпеваниями слышалось гудение моторов и гул толпы, сквозь который вдруг отчетливо послышался скучающий мужской голос: «Дай прикурить, Боб...»

Кен, нахмурясь, шагал по гостиной взад и вперед. При виде Вики лицо его просветлело, и, быстро выключив радио, он пошел к ней навстречу с протянутыми руками.

— Смотрите-ка, вот здорово! — радостно воскликнул он.

Наступившая тишина заставила Марго выглянуть из кухни, откуда за секунду перед тем слышался ее голос. Она была в переднике, а в руках держала кастрюльку. Лицо ее было искажено от негодования.

— Кен, если ты еще раз посмеешь выключить радио... О! — прервала она себя, увидев Дэви и Вики. И не сказав больше ни слова, подошла к приемнику и включила его.

— Ради бога, Марго, ты же и так знаешь, что он выиграет! — с деланной кротостью заметил Кен и взглянул на Вики и Дэви, не сомневаясь, что они разделяют его презрение.

— Все равно, я хочу послушать, — ответила Марго. — Старт будет дан через три минуты. Что было в Филадельфии, Вики? — озабоченно спросила она.

— Страшно интересно, и все были в отличном настроении.

— Она ужинает у нас, — сказал Дэви, но никто не обратил внимания на его слова, так как голос диктора перешел в благоговейное завывание, а сопровождавший его гул толпы казался тяжким, как удары кувалды.

— Самолеты-участники выстроились на старте, готовясь оторваться от земли. Они дважды опишут круг по установленному маршруту, а на третьем круге, прямо над нашими головами, соревнования... будут... официально... СТАРТ!.. — Тут радиоголос перешел в монотонную пулеметную стрекотню; диктор тоже был знаменитостью и не потому, что он отличался оригинальностью мысли или способностью объективно освещать события, а потому, что, по общему признанию, во все исторические времена не было человека, который умел бы говорить быстрее. — Вот поднялся в воздух Джон Роджерс Хойт из Ивансвилла, которого миллионы людей знают как Джоджо,— знаменитый Джоджо Хойт, человек со стальными нервами, на своем черном «Ястребе» марки Кэртис — слушайте этот мощный рокот, люди, он означает скорость, скорость, скорость! Следом за ним взлетает Волней С. Пикет из Мирамара, штат Калифорния...

— Я с ним знакома, с этим Джоджо, — сказала Вики. — Мальчишка лет восемнадцати, вечно пьяный...

— Это тоже входило в обязанности Карла? — спросил Кен. — Напаивать летчика, пока вы потихоньку подрезаете тросы самолета?

— Тс-с! — яростно зашикала на них Марго. Еще четыре самолета поднялись в воздух, и, наконец, было произнесено имя Волрата:

— ...прославленный летчик-спортсмен и ученый в неказистом зеленом самолете... Это и есть Таинственный воздушный корабль! Слышите рокот? Сплошная мощь...

— Нет ли у кого-нибудь сигарет? — спросил Кен громко, будто в комнате было человек десять.

— Заткнись, — спокойно сказал Дэви, прежде чем Марго успела отпустить какую-нибудь колкость по адресу Кена, и минут пять все в полном молчании слушали бешеный лай диктора, которому, впрочем, несмотря на все старания, не удавалось скрыть, насколько скучно было все происходящее — день стоял пасмурный, видимость была плохая, а Дуг, сразу обогнавший своих соперников, пришел к финишу, опередив их на целых три круга.

— Сенсация, сенсация! — пробормотал Кен. — Подумать только, что может сделать предприимчивый малый с помощью одной только воли к победе, нескольких кусков троса и кучки железного хлама.

Марго, пропустив мимо ушей эти слова, выключила приемник; она, казалось, была совсем без сил.

— Ну, вот и все, — вяло произнесла она. — Никто не хочет купить авиационный завод? Цена — пятьдесят центов. Примерно через месяц завод поступит в продажу.

Но если Марго выглядела усталой, то Кен казался совсем подавленным; он словно только что понял серьезность какого-то взятого им на себя обязательства. Девушки вышли в кухню готовить ужин, а Кен налил себе бокал виски.

— Значит, он все-таки выиграл! Ручаюсь, они там, на радио, до сих пор бесятся, на все лады превознося нового Непревзойденного чемпиона века воздухоплавания. А мы шлепнулись в лужу и сидим тут, мистер Неудачник и его брат. Ну, мой брат, за наше с тобой здоровье!

Зазвонил телефон — междугородная станция вызывала мисс Марго Мэллори. Во время разговора глаза ее блестели, щеки разгорелись. Она повесила трубку, но с лица ее не сходило сияющее выражение.

— Он позвонил, чтобы сообщить мне о своей победе. Он не знал, слушали мы радио или нет, — объяснила Марго, но в ее веселом голосе чувствовалась дрожь.— Кто б мог подумать, что он способен быть таким внимательным! А, да что тут дурака валять, я действительно горжусь им!

— Ты сказала ему, что я тоже горжусь им? — осведомился Кен.

— Кен!.. — умоляюще сказала Марго.

— У нас гости, — напомнил Кен беззаботным тоном, рассчитанным на то, чтобы взбесить Марго. Он обернулся к Вики и окинул ее долгим, внимательным взглядом. — Раньше вы не были такой красивой.

Вики засмеялась, но ей было не по себе. Дэви вдруг ощутил глухую злобу на всех присутствующих. У него не хватало духу выйти из комнаты, и в то же время он знал, что, если не поможет ускорить приготовление ужина, вечер затянется надолго, а ему хотелось увезти Вики как можно скорее. Кроме того, он начал понимать, что Кен, несмотря на бушевавшее в нем отчаяние, только и ждет случая остаться с Вики наедине.

«А ну их всех к черту, — вдруг подумал Дэви. — Если этому суждено случиться, то чем скорее, тем лучше».

Как только Дэви вышел в кухню, Кен повернулся к Вики и быстро сказал:

— Это не комплимент, а сущая правда, Вики.

— Вы совершенно правы, — холодно ответила она. — Раньше я выглядела гораздо хуже. Кен, почему вы все время изводите Марго?

— О, знаете — братья и сестры... — небрежно бросил Кен. Он бы-

стро наклонился к ней, стремясь хоть что-то спасти от преследовавших его неудач. — Когда я увидел вас в конторе после этого сумасшедшего полета, во мне вдруг произошел переворот, Вики. А что вы тогда почувствовали?

— Совсем не то, что ожидала, — ответила Вики с прямотой, стоившей ей, однако, усилий. — Я тогда еще не знала, почувствую ли я, что вы мне безразличны, или же все начнется сначала. Мне было страшно.

— Ну? — торопил ее Кен, решив вытащить признание из-под спуда ее сдержанности, чтобы еще раз согреться теплом чужого чувства. — И что же?

— Вышло ни так, ни этак, —сказала Вики. — Но, в общем, ничего особенного не произошло.

— Значит, все-таки, что-то осталось, — не отставал Кен.

— Я же вам все объяснила.

— Нет, я говорю о том удовлетворении, которое вы получили тогда, отчитав меня. Потому что, если вам было приятно отомстить мне, значит, я вам еще не безразличен.

— Кен, — нетвердым голосом сказала она, — если б вы сейчас могли заняться чем-нибудь другим — читать книгу, смотреть кинокартину или играть в какую-нибудь игру, вы бы не стали со мной так разговаривать. Марго нет, поэтому вы занялись мной.

Кен сел рядом с нею.

— Нет, вы ошибаетесь, глубоко ошибаетесь. У меня вся душа изныла, Вики. Пока вы не уехали, я не знал, что вы из меня сделали другого человека...

— Еще бы! — сказала она, вставая. Вошел Дэви, застенчиво стараясь не смотреть в их сторону. — Дэви, не прокатимся ли мы с вами после ужина?

— Если вы хотите, — без всякого выражения ответил Дэви.

— Очень хочу, — сказала Вики и пошла в кухню.

Выждав удобную минуту, они вышли, сели в машину и поехали; Дэви попрежнему был молчалив и задумчив. Он решил нигде не останавливаться, пока они не поговорят начистоту о Кене. Дэви хорошо знал — она скажет то, во что ей самой хочется верить; но он стремился поймать ее на слове — как если бы фраза «Я люблю только вас» заключала в себе строгое обязательство, от которого уже нельзя будет отказаться.

Однако молчание, длившееся всю дорогу, связывало их теснее, чем могли бы связать любые слова так и не начавшегося разговора. Дэви остановил машину у скал; когда он поцеловал Вики, она вздрогнула всем телом, и в ее раскрывшихся губах была ласковая покорность.

Лежа рядом с ней в душистой летней темноте и слыша ее дыхание, такое же прерывистое, как и его собственное, Дэви вдруг понял, что перед ним раскрылся новый мир с необъятными горизонтами, и прежняя его жизнь показалась ему тесной и душной. До сих пор он был бесстрастным организатором событий, происходивших вне его, — хладнокровным исследователем сложных проблем, которые приобретали жгучий смысл только в холодном царстве науки; и только сейчас, наконец, он стал активным участником всего происходящего вокруг — в его жизнь ворвался мощный свежий ветер. Он крепче прижал к себе Вики — ведь это она ввела его в новый мир; а когда она уйдет от него и будет вот так же лежать в объятиях Кена, Дэви снова рухнет в узкий серый колодец одиночества. Видение, представшее перед его глазами, было нестерпимо мучительным, и он постарался скорее отогнать его, прижавшись лицом к лицу Вики.

Дни шли, и, упиваясь близостью с Вики, Дэви не замечал, что они

с ней, в сущности, никогда не успевали поговорить — так быстро они оказывались в объятиях друг у друга и так сильно влекло их все к одним и тем же ласкам. Ему не нужно было ничего, кроме ее прикосновений. Ее пальцы, лежавшие в его руке, ее руки, обвившиеся вокруг его шеи, казалось, порождали взаимопонимание, которое не нуждалось в словах. О таких моментах они говорили между собой с полной откровенностью, ибо в начале любви одни только любовные ощущения одинаково интересуют влюбленных. Лишь в одном Дэви был не вполне откровенен с Вики — он не осмеливался задать ей вопрос, постоянно вертевшийся у него в мозгу: «Думаешь ли ты о Кене?». Он просто считал само собой разумеющимся, что она о нем думает.

Все эти дни только частица его мозга участвовала в работе над техническими проблемами. Почти все время он был поглощен воображаемыми разговорами с Вики, в которых он с предельной честностью рассказывал ей все о себе. Однако стоило им встретиться, как эти объяснения начинали представляться ему скучными и ненужными, потому что глаза ее, казалось, говорили, что она уже все и так знает.

Никогда в жизни Дэви не думал, что будет способен смотреть на свою работу как на томительный ежедневный антракт между вечерами, заполненными всепоглощающей любовью. Прежде такое отношение к работе он считал признаком слабости, позорной для человека, любящего свое дело, но сейчас, испытав это на себе, он только покачивал головой, удивляясь своей прежней наивности. Даже когда у него на глазах стала назревать катастрофа, грозившая погубить всю их работу, Дэви в каком-то оцепенении рассеянно наблюдал за тем, как увеличиваются признаки полного развала, словно не было никакой необходимости срочного вмешательства.

Он слышал свой голос, дающий разные советы, он точно со стороны видел, как он предпринимает какие-то, по всей видимости осознанные, действия; но сквозь завесу, отделявшую его внутреннее «я», он видел, что больше всего ему хочется лежать на склоне холма и держать руку любимой, а человек, деловито суетящийся где-то внизу, — это какое-то постороннее существо, спотыкающееся о препятствие, оставшееся от далекого прошлого.

5

Дэви сидел в банке за столом напротив Брока, но банкир глядел только на Кена, слушая его взволнованные самооправдания. «Кен ведет себя неправильно, — с глухим раздражением подумал Дэви. — Совершенно не к чему расписывать трудности, связанные с передачей движущегося изображения. Вместо этого надо было сделать упор на успехи, достигнутые при передаче неподвижного изображения; но с тех пор, как Кен две недели назад потерпел неудачу, не выполнив своего тайного обета, он как будто потерял всякий контакт с окружающим миром.

«Хороша парочка, — усмехнулся Дэви: — один слепой, а другой — хромой».

Мысленно он приказывал себе вмешаться, пока еще не поздно.

— Самое важное,— сказал он наконец вслух,— самое важное — это то, что мы все-таки смогли хоть что-то передать и доказали правильность принципа электронного разложения изображения.

— Это, конечно, верно, — медленно и вкрадчиво согласился Брок, вертя в руках пресс-папье. — Я все жду, что вы мне принесете хорошие вести, но, должен признаться, ожидание становится слишком долгим — долгим и дорогостоящим. Мы не жалуемся; но с другой стороны, это не значит, что нас это не заботит. Никто не говорит, что деньги тратятся на ветер. И хотя вы, друзья мои, живете лучше, значительно лучше оде-

ваетесь и ездите в более дорогих машинах, все же я первый согласен допустить, что все это делается на деньги, принадлежащие лично вам...

— Да, разумеется, — спокойно согласился Дэви. Скрытый намек заставил его как бы очнуться, а Брок, услышав его твердый голос, перевел взгляд на него.

— По сути дела, — вскипел Кен, — вы один из первых поняли, что у нас в руках целая отрасль промышленности, которая может принести миллиард долларов дохода...

— По сути дела, — сказал Брок, передразнивая Кена, — нам уже становится ясно, что требуемое количество денег далеко превосходит ту сумму, которую может выплатить частное лицо или группа частных лиц. Я, разумеется, понимаю, друзья, — вам очень хочется самостоятельно управлять этим делом как ради денег, так и ради собственного удовлетворения. И я не отрицаю, что финансирующие вас лица в свое время согласились на это условие. Вы можете даже обвинить нас в нарушении слова, и я не дам себе труда опровергать это. Речь идет о слишком больших деньгах, вот и все, и надо учесть тот простой факт, что деньги эти — *наши*. Вы до сих пор осуществляли свою линию руководства, а теперь мы будем настаивать на своей. Мне кажется — кстати, я советовался с моими компаньонами, — что сейчас самое время заинтересовать этим делом крупную радиокомпанию. Рано или поздно нам придется продать все свои паи независимо от того, что мы вам обещали. Большие деньги требуют особого окружения, сноровки, штата людей, а самое главное — стимула. Чрезвычайно приятно надеяться на миллиард долларов, но никто еще не нищенствовал, получая и двадцать процентов прибыли. Вы же можете придумать какое-нибудь другое изобретение. У таких талантливых людей, как вы, должно быть, уйма всяких идей.

Дэви постарался выдержать миролюбивый тон.

— Мы категорически скажем *НЕТ*, если вам угодно получить ответ сразу; а если хотите, можем объясниться подробнее. Но, так или иначе, мы не намерены бросать работу над нашим изобретением. Оно для нас слишком важно.

— Но ведь у нас есть другой выход. Радиоустановка Волрата отлично разрекламирована. Радио в авиации имеет огромные перспективы если не сейчас, то в близком будущем. Почему бы вам не заняться этим? Если вы пожелаете начать производство радиоустановок для авиации, а вашим теперешним делом будете заниматься в свободное время, просто для души, то финансирующие вас лица отнесутся к этому весьма серьезно. Ведь это уже нечто осязаемое. Мы пойдем даже на то, чтобы пересмотреть вопрос о вашем жаловании и премиальном вознаграждении за счет прибыли, когда она начнет поступать.

Дэви резко поднялся с места.

— Мы с Кеном должны обсудить это между собой, мистер Брок. Это слишком важное дело, чтобы решать его впопыхах.

— Время мы вам дадим. — Брок окинул их холодным взглядом. — Если вам угодно — несколько дней.

— Но предположим, нам удастся сделать установку, которая сможет передавать движущееся изображение? — настаивал Кен.

— За несколько дней?

— Нет, вероятно, потребуется несколько недель, — признался Кен.

Брок пожал плечами.

— Отлично. Это только увеличит стоимость изобретения.

— Вы хотите сказать, что все равно намерены продать его?

— О, это решено бесповоротно. Да, вот еще что — я вас должен предупредить: следите, чтобы ваши счета не превышали сальдо в банке.

Мне поручили вам передать, что это все, чем вы можете располагать. С этого дня поступлений не будет. Если только вы не пожелаете заняться производством радиоустановок для самолетов.

Дэви тронул Кена за руку, давая ему знак держаться спокойнее, и они вышли.

— Какого черта ты разговаривал с ним так вежливо? — Кен был взбешен.

— Потому что скандалом ничего не добьешься.

— Что же нам теперь делать?

— Стоять на своем.

— А если они не сдадутся?

— Мы тоже не сдадимся.

— Но как же наша работа?

— Работу будем продолжать.

— А как быть с деньгами?

— Мы будем их тратить.

— Тратить нам нечего.

— Тогда будем брать в кредит. А когда нам откажут в кредите, уволим техников. Понадобится, так сдадим дом, продадим машины, но будем стоять на своем.

Дэви говорил спокойно, почти рассеянно. Что им делать — было совершенно ясно, но он так и не смог осознать, насколько критическим было их положение. Страх начал биться в бетонные стены, отгораживающие Дэви от внешней жизни, но он, замкнувшись в своей крепости, ощущал лишь отдаленное сотрясение и больше нечего. Все, что происходило вовне, казалось ему нереальным.

Кен и Дэви решили избрать осадное положение, и оно не замедлило наступить. Со времени последней встречи с Броком они не обменялись с ним ни единым словом. Они обещали уведомить его о своем решении, но звонить ему не стали; а Брок, в свою очередь, не напоминал им об этом. Тем не менее он, должно быть, предал свое решение огласке, потому что лаборатории братьев Мэллори вдруг было отказано в кредите. Через две недели братья остались без гроша. Пришлось рассчитать служащих — иного выхода не было. После этого в душу Дэви закралось тягостное беспокойство.

— Давай потолкуем со стариком, — сказал он Кену.— Мы с тобой слишком долго все это пережевываем, а толку нет. Может, он нам что-нибудь посоветует.

— Нет, — не сразу ответил Кен. — У меня что-то пропала охота ходить к нему. Чего доброго, угодишь как раз, когда он будет не в духе.

— Ну, тогда с ним вообще бесполезно разговаривать, — сказал Дэви. — Давай все-таки рискнем.

Нортон Уоллис не успел еще произнести ни слова, а они уже знали, что на этот раз им повезло. Уже одно то, как он повернул к ним голову, свидетельствовало о бодрости и энергии старика.

— Входите, — сказал он. — Ну, что еще стряслось? По звуку ваших шагов можно подумать, что вы тащите мертвое тело.

— У нас беда, — начал Дэви, придвигая табуретку поближе к рабочему столу Уоллиса. Он рассказал о создавшемся положении, вынудившем их уволить техников.

— Как вы думаете, может, мы поторопились? — спросил Кен.— Вероятно, мы смогли бы продержаться дольше, если б уступили техникам часть паев.

— Разве мы можем так рисковать? — возразил Дэви. — Нам ведь пришлось бы отдать часть наших собственных акций. По существу, все наше право контроля основано на том, что у нас всего на одну акцию больше, чем у остальных. А что если кто-нибудь из наших техников получит выгодное предложение от Брока? Можно ли винить человека, если он продаст свою долю, когда его одолеет нужда?

— А что толку в нашем праве контроля? Разве только, оно дает нам возможность мешать Броку делать то, что ему вздумается? Если бы только нам удалось от него отделаться!

— Каким же это образом? — спросил Уоллис. — Судя по тому, что вы рассказываете, Брок свои обязательства выполнил.

— Мы тоже!

— Ну и что из того? Даже если все вы сдержали свои обещания, у вас нет никаких коммерческих перспектив. Это скверно, но тут никто не виноват. Вообще-то говоря, предложение Брока заняться радиоустановками для авиации довольно разумно.

— Вы считаете, что мы должны согласиться? — вспыхнул Дэви.

— А вам хочется согласиться?

— Какого черта, конечно нет, но вы сказали, что это разумно...

— Мне наплевать, разумно это или нет. Речь идет о том, к чему у *вас* лежит душа. Брок сделал почти все, что обещал; предложение его разумно, и все-таки я бы послал его ко всем чертям! Я согласен с Дэви. То, над чем вы там работаете, — дело вашей жизни, и вы не должны думать, сколько оно потребует денег и кто будет платить. Но вы напрасно сердитесь на Брока. Он грозится продать вашу работу вместе с акциями? Ну и что? С его точки зрения вы зарвались со своим изобретением, а по-моему... Так что из этого?

— Я знаю только одно: Брок стал нам поперек дороги, и мне он осточертел, — заявил Кен. — Надо найти способ отпихнуть его в сторону.

— Если ты хочешь отпихнуть Брока только из-за личных счетов, то забудь об этом,— сказал Уоллис.— Если же потому, что он мешает работе, тогда другое дело.

— Ну вас обоих с вашими тонкостями,— рассердился Кен.— Не все ли равно, потому или поэтому? — Он отвернулся к окну, бледный, со страдальческим выражением лица. За его спиной наступило молчание. Кен ушел в свой одинокий мирок, куда никто и никогда не мог проникнуть, а Дэви даже не сделал попытки вызвать его оттуда.

— Надо придумать, как спихнуть его с нашей шеи, — бормотал себе под нос Кен. Лицо его становилось все сумрачнее, и, когда он обернулся, у него был больной и измученный вид.

— Очевидно, придется и это взять на себя, — произнес он. — Пойду поговорю с ним.

— С Броком? — спросил Дэви.

Кен ответил не сразу. Он бренчал ключами от машины, подбрасывая их на ладони, и возле крепко стиснутого рта его играли желваки мускулов.

— Да не с Броком, — горько сказал он. — Несмотря на все твои умные речи, ты так отупел от любви, что толку от тебя не дождешься. А Марго так давно отошла от нас, что я уже и не помню, когда это случилось. Ну, черт с ней и черт с тобой. Все должен делать я — как всегда. Я сейчас еду к Волрату. Увидимся с тобой дома.

— К Волрату! — Дэви был поражен. Он встал и подошел к брату.— Зачем ты пойдешь к Волрату?

— Заключить договор.

— На что?

— Не знаю!

— Но что ты ему скажешь?

— Не знаю!

— Тогда зачем ты идешь?

— Чтоб спихнуть Брока, вот зачем! Мне безразлично, что придется пообещать Волрату или как его упрашивать; никто не смеет вырвать у нас из рук нашу работу, пока мы сами ее не выпустим. Так что не пробуй отговаривать меня, Дэви, и, ради бога, не ходи со мной! — крикнул он. — С этим человеком я должен говорить один на один!

Он стремительно повернулся, распахнул дверь и вышел, даже не потрудившись закрыть ее за собой. Дэви не отрываясь следил за тем, как Кен шагал вниз с холма, но он не оглянулся.

— Бедняга,— произнес Уоллис. Обернувшись, Дэви увидел, что старик пристально смотрит в открытую дверь. — Он сам не знает, какая сила его гонит.

— А какая сила гонит нас обоих? — с отчаянием воскликнул Дэви. — Можете вы это сказать? Иногда мне кажется, что мы способны на убийство. А почему? Мы оба чувствуем насущную необходимость поступить так-то, сделать что-то и что-то доказать. Тех, кто становится нам поперек пути, мы ненавидим. Тех, кто нам помогает, — любим. Что в нас сидит такое?

— Представь, что ты умираешь с голоду, а у тебя отнимают еду или что у тебя есть женщина, по которой ты сходишь с ума, и кто-то запер дверь ее комнаты. Разве ты не чувствовал бы, что способен на убийство?

— Это другое дело.

— Нисколько. Каждый раз, как мне попадает в руки газета, я спрашиваю себя: «Что случилось с нашей страной?» Но я мог бы и не спрашивать. Я и так знаю, что с ней случилось.

— Какое мне дело до страны! Я говорю о себе и Кене.

— Вот и я тоже! Всю свою жизнь я смотрю, как что-то постепенно уходит. С тех самых пор, как я впервые поступил на работу. Известно ли тебе, что когда мне было пятнадцать лет, я работал на постройке одного из первых «Мониторов»? Видишь, о каких давних временах я говорю. В те дни всякий, кто трудился не покладая рук, в конце концов мог найти в этой стране свое место. Было на что надеяться, поэтому и жизнь казалась легче. А ведь работать было куда труднее, чем в наше время. Теперь же все до того легко — сущие пустяки. Все, что надо, за тебя сделает машина. Но жизнь стала хуже, потому что исчезла одна вещь, и вещь притом очень важная.

— Поговорим обо мне, — взмолился Дэви. — Ради бога скажите, что мне точит душу?

— А вот то самое, что теперь исчезло. Знаешь, что это такое? Вот! — Старик вытянул обе руки. — Работа руками, вот что исчезло! Я не о каторжном ручном труде говорю. Те времена прошли, и слава богу. Создавать что-то своими руками — вот о чем я говорю. Человеку это необходимо, как воздух. Это инстинкт, который сейчас глушат, — инстинкт мастерства, потребность сделать своими руками и на свой собственный лад то, что ты придумал. Вот такого теперь уже нет. Даже названия этому не существует, и, когда человек начинает тосковать, он даже не знает, отчего. Он просто чувствует, что задыхается, и тогда в страхе начинает метаться и корчиться. Вот что тебя точит.

— И все-таки непонятно, почему все на свете сводится к спорам, борьбе, проклятиям и интригам из-за денег. Кажется, мы с Кеном только этим и занимаемся с тех пор, как стали работать. До чего это противно! — озлобленно воскликнул Дэви. — Не желаю больше так жить!

— А придется, — грустно сказал старик. — Деньги — это общепринятый язык. Он стал распространяться, когда я был еще малым ребенком, вскоре после гражданской войны. Деньги говорят всюду, куда ни повернись. Считается, что делать деньги — главная задача твоей жизни. Все прочее — грех. Наша страна хвастается, что она изобрела все, что есть на свете полезного. На самом деле изобрели мы только одно — массовое производство. Но если есть в мире что-то такое, где нет места мастерству человеческих рук, так это конвейер.

— Ну и прекрасно! — сказал Дэви, отворачиваясь.— Это к нам не относится. Наша работа не имеет ничего общего с конвейером.

— Нет, имеет. Вы оба — инженеры в стране, где движется конвейер, где от его вибрации у всех под ногами дрожит земля. Будь вы не инженерами, а учеными, вы, может, этого не ощущали бы так сильно; но тогда вы бы не жили в настоящей Америке — в так называемой богатой Америке. Но вы не ученые, потому что у вас другой подход к науке. Ученые — люди совсем иного склада, чем вы или я. У них вечный зуд понять что-то, что до сих пор было непонятно. Инженеры же хотят создать то, чего еще никогда не было. Вот в чем разница. Тебе или мне одних только знаний мало, а тем людям мало только создавать.

— Между инженером и ученым не такая уж большая разница,— медленно сказал Дэви. — Мы с ними следуем одной и той же традиции. И мы и они одинаково считаем, что наша работа должна изменить мир для людей.

— А я и не говорю, что инженер значит меньше, чем ученый. Я хочу сказать, что та маленькая разница, которая делает человека одним из них или одним из нас, порождает огромную разницу между тем миром, в котором живем мы, и миром, в котором живут они. Когда ты изобретаешь что-то практически полезное, твое изобретение становится собственностью конвейера, а конвейер — это бизнес. Даже если это топчайшая работа, в которую ты вложил всю душу, все равно бизнес — воздух, которым приходится дышать изобретателю, и язык, которому он волей-неволей должен выучиться. Запомни это, мальчуган, тут вся история твоей жизни, как и моей тоже.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

В сизых ветреных сумерках Кен гнал машину по пустынным улицам. Завод Волрата находился на другом конце раскинувшегося по равнине города. Небо в той стороне уже подернулось серой дымкой, сквозь нее проступали алые полосы заката. По улицам вихрем носились сухие листья; шины с хрустом подминали их под себя. Кен спешил, словно боясь опоздать к назначенному часу, хотя, насколько он знал, в такое время вряд ли можно было застать Волрата на заводе.

Полководец, храбро сражавшийся в проигранной битве, с беспросветным отчаянием в душе пускается в скорбный путь к месту капитуляции, волоча за собой поверженные знамена. Но с каждым шагом в нем постепенно начинает теплиться надежда на то, что в конце концов справедливость восторжествует и нынешний победитель будет разбит в будущих сражениях полководцами других армий. Потом и эта надежда тускнеет. И в конце своего одинокого пути побежденный вождь желает только одного — чтобы его не заставили стоять на коленях, а в самую последнюю минуту он уже пытается торговаться с судьбой: «Если победитель не станет унижать мою гордость, я полюблю его; а уж если

я смогу его полюбить — значит, то, что я потерпел поражение, правильно и справедливо, и на свете есть правда».

Но Кен вряд ли мог сказать, в какой, собственно, битве он сражался и что собирается сложить к ногам победителя. Сердце его сжимала тяжелая тоска, от которой можно было задохнуться, если б причиной ее не являлась злобная ненависть к Броку. Кен ненавидел его не за то, что он грозил предать их, а за его неумолимость — черту, по мнению Кена, свидетельствующую о бесчеловечности. Волрат — тот, по крайней мере, человек страстный, порывистый, самолюбивый. Кен неохотно признался себе, что Волрат начинает вызывать у него невольное восхищение.

Когда Кен подъехал к заводу, уже стемнело, темная громада здания неясно чернела между двумя еще более темными массивами неба и земли. «Крайслер» подкатил к железным решетчатым воротам и остановился, освещая фарами пустынный двор. Кен уже хотел было повернуть обратно, но в это время у ворот появился ночной сторож. Колеблющиеся лучи фар, похожие на указательные пальцы, уперлись в тускло блеснувший «каннигхэм» Волрата, который одиноко стоял у стены.

— Мистер Волрат здесь? — спросил Кен у сторожа.

Сторож кивнул.

— Еще не уезжал. Как ему доложить?

Кен, не выходя из машины, назвал свое имя. Сторож скрылся в темноте, по ту сторону ворот, и Кен остался один среди бесконечной плоской равнины. Сумеречное небо повисло совсем низко, и казалось, будто это не небо, а нижний край какого-то огромного космического жернова, который медленно катится с востока, где уже сгустилась ночная тьма, к узенькой малиновой полоске заката. Через секунду тяжелый жернов надвинулся еще ближе и наступила ночь. Но отблески света еще мерцали в небе, и попрежнему буйствовал ветер. Мир навсегда останется таким, как есть, хотя порой и кажется, будто всему наступил конец; катастрофа — это только лясканье беззубых челюстей, сквозь которые жизнь проскользнет и будет продолжаться вечно.

Охваченный внезапно пробудившейся надеждой, Кен готов был повернуть машину и умчаться прочь, отказавшись от капитуляции, которая теперь представлялась ему совсем ненужной. Но тут же, повинуясь новому порыву, он решил доверить свою судьбу случаю.

«Если он согласится принять меня, все будет хорошо»,— подумал он. К нему вернулась прежняя заносчивость, и он потребовал еще большего: пусть Волрат сам выйдет к воротам, как если бы просителем был не Кен, а он.

Через минуту в темном прямоугольнике здания засветилась открывшаяся дверь, и Кен увидел силуэты двух человек.

Шаги звучали вразнобой — один шагал шире другого. До Кена донеслись их голоса — он узнал смех Волрата. Сердце его забилось сильнее. Затем двое разошлись в разные стороны. Хлопнула дверца машины, и ее четыре фары превратились в сверкающие глаза, как бы созерцавшие свое собственное отражение на кирпичной стене. Прошла минута, прежде чем Кен понял, что ему нанесено оскорбление. Сторож отпер ворота, и спортивная машина Волрата попятилась назад, потом быстро развернулась — издали она была похожа на летучую мышь с вытаращенными глазами и светящимися кончиками крыльев; летучая мышь, медленно плывя над самой землей, миновала ворота и снова превратилась в машину, которая остановилась перед «крайслером», загородив ему путь.

— Это вы, Мэллори? — послышался голос Дуга сквозь вой ветра. — Вы, кажется, хотели поговорить со мной?

Пальцы Кена крепко стиснули баранку руля. Затем очень осторожно, словно сознавая необходимость двигаться хотя бы через силу, чтобы не потерять сознание, он вылез из машины и пошел к Волрату, который ждал, не выключая мощно и терпеливо рычавшего мотора.

— Да, я хотел поговорить с вами, Волрат, только не на ходу.

— У меня есть несколько минут. В чем дело?

Кен медленно покачал головой. В душе его кипела смертельная ненависть, на глаза просились слезы, поэтому он держался так, словно был заключен в очень хрупкую оболочку.

— Здесь я разговаривать не стану, — процедил он. — Вернитесь назад. Или же забудем об этом.

Волрат устремил на него холодный оценивающий взгляд. Много дней прошло с тех пор, как они виделись во время пробного полета — за эти дни Волрат проделал тысячи миль, сталкивался с бесчисленным количеством человеческих судеб и честолюбивых стремлений, видел свое имя, напечатанное огромными буквами, и слышал, как выкрикивают его незнакомые люди, — но сейчас для них с Кеном словно еще длился тот самый день, когда они, раскаленные от ярости, один за другим вышли из самолета.

— Ладно, — спокойно сказал Волрат. — Садитесь, я въеду во двор задним ходом.

Кен обошел машину кругом и сел рядом с Волратом, не позволяя себе откинуться на спинку сиденья, обтянутую шелковистой кожей. Волрат в темноте подъехал к сторожу и кивком указал на «крайслер», как на вещь, не имевшую названия:

— Поставьте это во двор. Мы пойдем в контору.

Длинная машина плавно двинулась назад, и Кен ощутил тоскливую беспомощность самоубийцы, который раздумал умирать через какую-то долю секунды после того, как спустил курок. Кен явился к месту капитуляции, но вражеский полководец, сидевший напротив него, даже и не подозревал о войне между ними, потому что никакой войны не было. Однако отступать было уже поздно. Знамена слишком долго волочились в пыли и теперь должны быть смиренно сложены у ног этого удивленного, презрительно усмехающегося чужого человека.

2

Вернувшись с завода, Кен оставил машину на мостовой возле дома и с трудом добрался до входной двери, сгибаясь от ветра, бросавшего ему в лицо колючие сухие листья, которые, казалось, возникали из ничего. Кен до того устал и отупел, что казался себе плоским, как щепка, а его одежда, как и прежнее его честолюбие, словно были с чужого плеча и предназначались для человека вдвое крупнее, чем он.

Ветер все усиливался. У Кена перехватывало дыхание, глаза слезились, шляпа вдруг нелепо приподнялась над его головой; он круто обернулся и обхватил голову обеими руками, чувствуя себя так, словно его выставили на посмешище всему миру. Спотыкаясь, он поднялся на две кирпичные ступеньки, взбудораженный, исхлестанный ветром и с такой тупой болью в сердце, что ему хотелось поскорее забиться в какой-нибудь угол, съежиться там и закрыть лицо руками. Иначе он кого-нибудь убьет.

Захлопнув за собой дверь и прислонившись к ней, чтобы перевести дух, Кен открыл глаза и убедился, что буря ворвалась за ним и сюда, ибо, хотя колючие струи воздуха остались снаружи, здесь его обдал холодом гневный взгляд Марго. Поглядев на нее, потом на Дэви, Кен понял, что они ссорились перед его приходом, а теперь готовы обратить

свой гнев на него. Лицо его было смертельно бледным, в глазах темнело от стыда и злости. Он молча взглянул на брата и сестру, как бы предупреждая, чтобы они под страхом смерти не смели заговаривать с ним, потом подошел к стенному шкафу и аккуратно повесил шляпу и пальто.

— Может, поедим? — бросил он через плечо.

— Может, поговорим? — точно таким же тоном спросила Марго. Кен медленно обернулся и, тыча в нее указательным пальцем, сказал:

— Вот что: если у тебя осталась хоть капля совести, ты завтра же уйдешь от Волрата! — Кену было трудно выговорить лишь первые слова, потом они полились сами собой. Глядя мимо Марго на Дэви, он с ожесточением сказал: — Волрат еще хуже Брока. Брок хоть зарабатывает деньги своим трудом, а этот самодовольный жирный кот... Ты бы его послушал! «Из опыта моей деятельности...»— говорит. А что он, спрашивается, сделал за всю свою жизнь? Я чуть не прыснул ему в лицо — этот тип явно страдает манией величия. Можно подумать, что он — председатель, по крайней мере, десяти акционерных обществ.

— Так оно и есть, — заявила Марго. — А кто ты такой, чтобы издеваться над ним? Подумаешь — чуть не прыснул ему в лицо! Знаешь, ты уж меня не смеши.

Кен обернулся и увидел в ее глазах столько презрения, что чуть не съежился, как от ветра, бившего на улице ему в лицо. Он глядел на сестру, желая ненавидеть ее, веря, что ненавидит ее, удивляясь тому, что имел глупость считать ее недостижимым образцом женского совершенства. Про себя он разбирал ее по косточкам — голос, который он прежде так любил, резал его слух и казался пронзительным и вульгарным; стройная фигура, раньше всегда вызывавшая у него восхищение, сейчас представлялась ему просто сухопарой. Кен молча разглядывал сестру, и казалось, будто он слушает ее с сосредоточенным вниманием, на самом же деле он безжалостно развенчивал свой идеал. Слава богу, наконец-то он освободился от ее власти! Кен не слышал, что говорила Марго, и когда она умолкла, он помедлил, стараясь вспомнить хотя бы обрывки ее фраз, чтобы отразить нападение.

«Какое ты имеешь право?» Да, она сказала эти слова. «Кто тебе разрешил разговаривать с ним?»

— Кто мне разрешил? — произнес Кен, стараясь говорить внятно. Ему не хватало воздуха. — С каких это пор я стал нуждаться в чьем-либо разрешении?

— Когда кто-нибудь из нашей семьи идет к Дугу просить денег, необходимо мое разрешение, потому что я — та дверь, через которую вы к нему входите. Болван несчастный! Полез к нему со своим разговором и наверняка испортил все, над чем я так старалась ради нас... Ради *нас*? Ради *тебя*, идиот!

— Марго! — послышался предостерегающий голос Дэви, и Кен увидел, как брат встал позади Марго, но ничто не могло смягчить ее ожесточенного презрения к Кену.

— Значит, он тебе отказал! — говорила она. — Очень рада! Поделом тебе!— Видя, что Кен воспринимает ее слова, как пощечину, она со жгучим злорадством бросала ему в лицо оскорбления.

— Что ж, радуйся,— медленно произнес Кен, удивляясь тому, что она еще может причинять ему боль, хотя он выкинул ее из своего сердца. — Конечно, кому какое дело, что я заставил себя пойти именно к *нему*! Он и не знает, чего мне это стоило.

— А что ему знать? Чего ради он должен щадить твое самолюбие? Разве он у тебя что-нибудь отнял?

— Марго, замолчи! — Кен смутно расслышал окрик Дэви — так сильно стучало его ноющее сердце.

— Посмотрите на этого спесивого петуха! — продолжала Марго, не обращая внимания на Дэви.— Никто не смеет ему ни в чем отказать! Все принадлежит ему, он берет и дает, не считаясь ни с кем! Ты ненавидишь его только потому, что я его люблю! Только поэтому — другой причины нет!

Дэви шагнул к ней сзади, схватил ее за руку и круто повернул к себе.

— Зачем ты его оскорбляешь? — крикнул он. — Тебе это доставляет удовольствие?

— Оскорбить она меня не может, — сказал Кен каким-то деревянным голосом. — Оставь ее в покое.

— Не ври, тебе обидно до смерти! — Дэви встряхнул Марго за плечо и, пригнувшись к ее лицу, сказал: — Наплевать нам на Волрата и на его отказ! Мы в нем не нуждаемся. И никогда не будем нуждаться!

— Нет, он именно тот человек, который вам нужен! — отчеканила Марго.— Мне следовало знать это с самого начала. Кроме него, я ничего вокруг себя не видела, потому что он — тот, кого я ждала всю жизнь. Зато я и знаю его так, как никто. Его нельзя просить об одолжении. Брать от него подарки даже опасно. У него непременно должно быть такое ощущение, будто он навязывает людям свою помощь насильно. Тебе ведь хочется получить у него денег, — сказала она, высвобождая руку из пальцев Дэви, чтобы повернуться к Кену, ибо все-таки Кена она всегда любила и будет любить больше. — Что ж, может, и мне поначалу хотелось только этого, но теперь ты все напортил, потому что он подумает, будто ты пришел с моего разрешения. Ни разу,— раздельно сказала она,— я ничего не попросила у него для себя.

— Опять ты со своим разрешением,— сказал Кен. — Кого ты считаешь своей собственностью?

— Тебя, — ответила она, глядя прямо ему в лицо. — Ты — моя собственность, точно так же, как я — твоя. Да, я не боюсь сказать это вслух. Идиот, ты думаешь, я плачу из-за себя? Нет, мальчик мой, меня никто не обидел! Но я знаю, что ты не можешь вынести, когда над тобой смеются...

— Он вовсе не смеялся...

— Нет, смеялся, — упрямо сказала Марго.— Кен, Кен, почему ты не пришел ко мне? Разве ты уже не можешь быть со мной откровенным?

Кен покачал головой — смертельная ненависть вдруг исчезла из его сердца, и оно стало похоже на пустой мешок.

— Нет, — сказал он. — Уже не могу. Раньше мы были друзьями, а теперь — нет.

— Мы и сейчас друзья, — настойчиво произнесла Марго. Она обняла его и прижала его голову к своей. Кен вдохнул знакомый запах ее волос и вдруг понял, что самая давняя, самая постоянная его любовь осталась неизменной, а та женщина, которую он мысленно подверг уничтожающему разбору, была лишь искаженным образом Марго.

— Мальчик, мальчик мой,— шептала она.— Мы попрежнему друзья, только мы оба стали теперь взрослыми. Мы с тобой ничего не утратили, просто в нашу жизнь вошли другие люди.

— Ничего подобного, — сказал Кен. — По крайней мере, я не могу этого сказать про себя.

— Ну, а для меня это так,— грустно ответила Марго. Подняв лицо, она впервые за много лет поцеловала его в губы, и он вдруг почувствовал себя мальчиком, в первый раз целующим девушку. Он крепко прижал ее к себе, пораженный мыслью о том, что ни у одной девушки не было таких нежных губ, как у его сестры, и ни одни руки не обнимали его так ласково. После стольких неудачных романов и ничем не кончив-

шихся флиртов он понял, что самые пылкие объятия были лишь бледной тенью сестринской нежности. И всю его злость захлестнуло такое до боли сладостное ощущение родного тепла, что грудь его задрожала от сдержанных рыданий.

— Ты больше не пойдешь к нему, правда? — просительным тоном сказал он.

—Конечно, пойду. — Марго чуть отстранилась от брата и подняла на него удивленный взгляд.— Боже мой, а я-то вообразила, что теперь все улажено!

— Не говори со мной об этом, — взмолился Кен, отворачиваясь.— Пожалуйста, не говори!

— Тогда я просто ставлю тебя в известность, Кен,— очень мягко сказала Марго, — это будет именно так, потому что мне так хочется.

Она потрепала его по плечу и пошла в кухню. Немного погодя Кен поднял глаза и увидел, что Дэви смотрит на него с бесконечной грустью и жалостью; и все же в его глубоком взгляде была какая-то отчужденность, говорившая Кену о том, что Дэви скорее умрет, чем вынесет тяжкое бремя неожиданной, но неизбежной догадки.

3

За ночь ветер принес проливной дождь, а потом утих совсем. Утром ударил мороз, и земля под низко нависшим небом покрылась гладкой, как сталь, коркой льда. Дуг Волрат подъехал к воротам завода в обычное время, но в это утро аккуратность стоила ему большого усилия воли, потому что с тех пор, как он одержал победу на Востоке, надоевший завод никогда еще не вызывал в нем такого отвращения, как сегодня. Низкие облезлые здания выглядели такими убогими и недостойными своего хозяина, что он удивленно и недоверчиво вспоминал о своем былом ослеплении. Сейчас он сгорел бы от стыда, если бы кто-нибудь из прежних друзей увидел его здесь.

Волрат довольно рано пришел к тайному убеждению, что он человек увлекающийся; впрочем, даже излишнюю порывистость он причислял к своим достоинствам, считая ее признаком незаурядной энергии. Вся беда в том, говорил он себе, въезжая в ворота завода, что он никак не научится во-время бросать свои затеи. Не все ли равно, закроет ли он завод или нет? Ради кого, собственно, он делает вид, будто его еще интересует то, что происходит на заводе? Акции уже объявлены к продаже. Красная цена им — по доллару за штуку, но покупатели предлагают по тридцати долларов, рассчитывая на доходы, которые Волрат принесет компании. К черту акционеров! Неужели из-за них он должен подыхать со скуки? А что если сразу сняться с места и удрать навсегда?

Волрат вышел из машины на обледеневшую асфальтовую дорожку и с нескрываемым отвращением поглядел на пустые машины своих служащих — даже номерные знаки этих машин казались чуждыми, и он вдруг затосковал по черно-желтым номерам нью-йоркских машин. И хоть сейчас стояла зима, Пятая авеню представилась ему такой, какой он видел ее в последний раз солнечным сентябрьским днем. Там даже воздух над пестрой толпой словно искрится от скрытого возбуждения. И человеку чудится, будто он подхвачен волной, которая вот-вот разобьется, оставив его среди бурных всплесков веселья и радости. Стоит только включиться в этот бодрый темп и шагать, вдыхая живительный воздух, а где-то впереди уже ждет тебя дар судьбы — счастье, за которое никогда не придется расплачиваться.

Да, либо быть там, либо — воображение перенесло его через весь континент — мчаться по холмам высоко над огнями Голливуда, лежаще-

го так далеко внизу, что его пошлой мишуры не видно под брильянтовой россыпью огоньков, где крохотное скопление мерцающих точек обозначает дом, в котором дают бал, — пятьдесят миллионов одурманенных мечтами людей отдали бы полжизни, чтобы попасть туда; а он, Дуг Волрат, едет в этот дом и со сладко замирающим сердцем притворяется перед самим собой, будто ничуть этим не взволнован, и гонит машину с головокружительной скоростью только потому, что любит быструю езду...

Волрат съежился от пронизывающего уикершемского холода, взбежал на две деревянные ступеньки перед дверью заводской конторы и на ходу кивнул двум техникам, презирая их за то, что они имели глупость поверить его притворству, будто все они на работе равны. Войдя в свой кабинет, он еще раз поразился тому невероятному факту, что когда-то ему казалось, будто примчаться сюда сломя голову означает высшую степень энергии и целеустремленности.

Сейчас, в приливе презрения, он сравнивал себя с сумасшедшим актером, который перебегает из театра в театр, врывается на сцену и, растолкав оторопевших участников представления, выкрикивает несколько слов через рампу в многоликую темноту, тщетно надеясь, что в каком-то спектакле он попадет в тон, что где-нибудь публика устроит ему овацию и в этой ненастоящей жизни на какой-то краткий миг, когда сердцу станет тесно в груди, он почувствует, что наконец-то живет по-настоящему.

В кабинет неторопливо вошла Марго — казалось, она вышла отсюда лишь за минуту до появления Волрата и сейчас вернулась посмотреть, пришел ли он наконец.

— Ну,— грубовато сказал Волрат, — что там в сегодняшней почте?

— Еще два заказа и запрос одного техасского синдиката насчет самолета, который мог бы летать на дальние расстояния, от Хустона до Нома. Они считают, что хватит мерить Америку от побережья до побережья, потому что Техас всегда остается в стороне. Вот здесь это написано черным по белому.

— Ох, боже мой, — вздохнул Волрат. — Вызови ко мне Мела. Постой, Марго, сначала скажи мне, что происходит с твоим братом, кроме того, что он нуждается в деньгах?

Марго очень медленно повернулась к нему.

— Мой брат не нуждается в деньгах.

— А он считает, что нуждается. Ты знаешь, он был у меня вчера вечером.

— Конечно, знаю. Он пошел по моей просьбе. Я его просила оказать мне эту услугу.

— По *твоей* просьбе?

— Да.

Волрат пристально посмотрел ей в лицо.

— Почему же ты сама ко мне не обратилась?

— Потому что это чисто деловое предложение. Тебе предоставляется случай возглавить очень крупное дело. Настолько крупное, что кроме тебя тут никто, пожалуй, не сможет справиться. Я и подумала, что тебя заинтересует такая возможность.

— Он объяснил положение совсем не так.

— Но такова суть дела.

— Послушай, малый пришел ко мне в полном отчаянии. Неужели ты думаешь, что я еще не научился нюхом чуять пустой карман?

— Мне безразлично, что ты там учуял.

— Марго, ты лжешь, — сказал он. — Этот малый не сказал тебе ни слова о том, что идет ко мне. Он сам это придумал.

— А я тебе говорю, что это я придумала.

Волрат раздраженно усмехнулся.

— Ладно, к чертям, — я не собираюсь вступать в это дело.

— Ну и не надо.

— Ты сердишься?

— Конечно, нет.

— «Конечно, нет!» — передразнил он. — Черта с два ты не сердишься! Скажи, что у вас за семья — вы так держитесь друг за друга, что если один считает себя обиженным, все остальные готовы лезть в драку? Кто вы такие — Капулетти, что ли? Или Медичи?

— Я позову Мела, — сказала Марго, направляясь к двери.

— К черту Мела! — крикнул он, заступая ей дорогу. — Сядь, Марго. Я хочу поговорить с тобой. Знаешь, сколько времени мы с тобой не были вместе?

— Я не считала дней.

— О нет, ты считала. Так же, как и я. Ты помнишь последнюю нашу встречу и все предыдущие так же, как и я. Скажи мне, как ты боролась с собой все это время?

— Никак.

— Ну, я о себе этого сказать не могу. Ты просто помешалась на этой своей дурацкой гордости. Ты скорее умрешь, чем попросишь у меня хоть что-нибудь, но все равно твой братец ломится ко мне и выпрашивает милостыню. Так что же ты хочешь этим доказать?

— Я передумала насчет Кена,— сказала Марго. — Он был у тебя не по моей просьбе.

— Да?

— Да. Он вообще не был у тебя.

— Мне это приснилось?

— Тебе это приснилось. Ну, так как же, Дуг? — спросила она в упор. — Был у тебя Кен?

— По-моему — нет.

— Не смейся! Я ведь не шучу. Был ли такой случай, чтобы я или кто-либо из моей семьи просил у тебя денег или просто одолжения?

— Нет,— сказал он. — Никто не просил. Никогда.

— Вот это верно. Тебе еще нужен Мел?

— К черту Мела! Мне нужна ты, — сказал Дуг и вдруг расхохотался — он давно уже еле удерживался от смеха. — Ох, прости, детка, — сядь, пожалуйста. Я не над тобой смеюсь, я...

Злые глаза Марго налились слезами, но вдруг и она почувствовала весь комизм этого разговора и тоже рассмеялась.

Дуг обнял ее, и они нежно прильнули друг к другу — это не было страстным объятием, ибо сейчас их связывало чувство чисто товарищеской близости. Он солгал ей — или думал, что солгал, — сказав, что ни одна женщина не занимала в его жизни такого места, как она. Первый прилив ненасытного желания, когда от встречи до встречи он не мог думать ни о ком другом, кроме Марго, давно уже прошел. В последние месяцы Дуг иногда надолго забывал о ней, даже когда она была рядом. Но сейчас, обнимая ее, легонько, по-особому поглаживая ее спину,— он знал, что Марго нравилась эта ласка, — Дуг испытывал такое чувство, будто вернулся в теплую, покойную, временно забытую им гавань.

— Ну, разве нам не хорошо? — спросил он.

— Чудесно, — вздохнула Марго.

— И разве не глупо, что ты от этого отказываешься?

— А разве не глупо, что ты этого не хочешь?

— Кто сказал, что я не хочу?

— Неужели надо опять начинать все сначала?

— Давай начнем все сначала, — сказал он. — Давай уедем отсюда. Видеть не желаю этот город. Знаешь что — ты ведь никогда не бывала в Калифорнии. Поедем туда — сегодня же. Сядем в машину и рванем на запад. Я тебе покажу столько интересного, я буду тебя водить на такие занятные вечеринки, какие тебе и не снились. Поедем в чем есть, а вещи будем покупать по дороге, когда что понадобится. Каждые пятьсот миль будем одеваться во все новое с головы до ног. Поедем, девочка, поедем, я здесь задыхаюсь!

— Но как же завод?

— А что мне завод? Я купил его ради Мела. Пусть делает с ним, что хочет. Отсюда я возьму только тебя — тебя и Карла.

— Карла? Бэннермена?

— Да. Этот человек обладает даром угадывать вкусы публики. С ним можно спокойно начинать новое дело. Не знаю, чем я займусь — кино, политикой... Сейчас хочу только одного, — страстно воскликнул он, — поскорее уехать отсюда! Что ты на это скажешь?

— Как же я поеду? В качестве кого?

— Кого хочешь — сиделки, секретаря, чтицы, переодетой графини. Выбирай любое, и я куплю тебе подходящий костюм.

В его энтузиазме было столько мальчишеского, что Марго не могла не улыбнуться. Никогда еще она не видела его таким юным, таким простодушно жизнерадостным. И только немного погодя она сообразила, что Дуг хочет зачеркнуть последние полтора года своей жизни и все связанное с заводом — старания и обманутые надежды работавших на Дуга людей были для него словно промокшей до нитки одеждой, которую хочется поскорее сбросить; что его восторженное увлечение Бэннерменом очень похоже на то, как он в свое время относился к Мелу Торну, и что права, на которых он предлагал ей отправиться в эту поездку, вовсе не так уж неограниченны, как кажется. Ибо, если б она позволила себе сказать: «Возьми меня в качестве твоей жены», вся радость, освещавшая его лицо, постепенно потухла бы, уступив место замкнутости и раздумью. Но в одном Марго была твердо уверена — с заводом он покончил навсегда. Он уже не вернется сюда, и вскоре Авиационная компания превратится в пустую скорлупу.

— Я поеду с тобой, — сказала наконец Марго. — И поеду в качестве секретаря.

— Но ты же никогда еще со мной так не ездила.

— Ничего, я достаточно долго состою при тебе секретаршей.

Дуг засмеялся.

— Только не в эту поездку, детка!

— Как хочешь — иначе я не поеду.

— А твое дурацкое условие?

— Оно остается в силе.

— Что ж, я рискну! — сказал Волрат, но уже без прежнего подъема; он поклялся себе, что если Марго еще раз попробует поступить наперекор ему, он расстанется с ней немедленно. Он решил, что так или иначе бросит ее, когда выберется отсюда. Но сейчас ему неистово хотелось иметь возле себя кого-нибудь, кто помог бы ему отвлечься, чтобы не испытывать страха. Волрат чувствовал, что Марго постепенно вторгается в некие запретные пределы его жизни и если позволить ей перейти роковую границу, то он никогда уже не будет самим собой. Он не знал, каким он станет, но каждый незнакомый человек вызывал у него недоверие — даже если этот человек таился в нем самом.

4

Когда Мэллори перебрались в новый домик на Честер авеню, у них не было времени отпраздновать свершение своей давнишней мечты. Каждый из них про себя не раз вспоминал, как они мечтали иметь свой собственный угол, и каждый удивлялся, почему событие, когда-то представлявшееся одиноким детям первым залогом полного счастья, оказалось на деле таким малозначащим. Дэви уверял себя, будто это только потому, что переселение в новый дом совпало с множеством других событий. Рано или поздно они непременно соберутся всей семьей и устроят себе праздник.

До сих пор такой возможности еще не было, и вскоре Дэви окончательно убедился, что ее и не будет: однажды вечером Марго пришла домой и, блестя глазами, объявила, что забежала домой только на минутку — уложить в чемодан кое-какие вещи, — она уезжает в Калифорнию.

— Иными словами, Волрат ждет тебя на улице? — спросил Кен. Он был бледен.

— Да. Мы поедем, как только я соберусь.

— И надолго ты уезжаешь?

Марго пожала плечами:

— Не знаю.

— Но ведь ты вернешься, правда? — не отставал Кен.

— Ну, конечно, — ответила Марго, и в глазах ее мелькнул испуг, словно она только сейчас начала понимать, что происходит. Дэви видел, что ей страшно; ему и самому вдруг стало страшно от неясного предчувствия, что ее уход к Волрату — дурное предзнаменование, трагическое значение которого выяснится когда-нибудь потом.

— Я вернусь через... ну, через несколько недель, — торопливо добавила Марго. — Все мои расходы будут оплачиваться, так что я каждую неделю смогу высылать вам пятьдесят долларов.

— Спасибо, — с холодной иронией сказал Кен. — Ты нас этим просто выручишь.

Марго обиженно взглянула на него и побежала вверх по лестнице. Братья прислушались к ее шагам наверху, но через минуту она, стуча каблучками, сбежала вниз с маленьким чемоданчиком в руках, очевидно почти пустым, ибо она размахивала им, как сумочкой. Марго подошла сначала к Дэви, и они крепко обнялись.

— Ну, пока, малышка, — хрипло произнес Дэви. — Будь счастлива.

— Я вернусь, — с жаром пообещала она. — Ты же знаешь — я вернусь.

Она обернулась к Кену, молча вставшему со стула.

— Разве ты меня не поцелуешь? — спросила Марго.

Лицо Кена побледнело еще больше. Значит, она забыла о вчерашнем поцелуе — а он думал о нем все это время!

— Братья и сестры не целуются, — сказал Кен. — Тем более, если они уже взрослые. Они просто пожимают друг другу руки. — Но руки он ей не протянул.

— Кен!

— Не забывай писать нам. А главное — присылать деньги.

Марго не ответила и молча пошла к двери; чемодан, казалось, вдруг стал для нее непосильной тяжестью. У порога она остановилась, беспомощно оглянулась на братьев, чувствуя всю безнадежность попыток объяснить им то, чему нельзя найти оправдания, но что было по-человечески естественным. Затем она быстро повернулась и ушла в темноту.

Через несколько секунд машина бесшумно откатила от дома — Дэви и Кен почувствовали это. Кен глубоко вздохнул.

— Ну их всех к черту! — сказал он. — С этим покончено. Когда будем переезжать?

— Переезжать?

— А зачем нам тут оставаться? Она уже не вернется. Мало ли что она говорит — ее слова, как всегда, ровно ничего не значат. Она уже все забыла, ведь еще задолго до того, как мы задумали удрать с фермы, она всегда уверяла, что у нас когда-нибудь будет свой дом в несколько комнат, с настоящей мебелью — «даже с занавесками», твердила она. Помнишь, сколько она об этом говорила?

— Помню.

— И даже когда мы с тобой заговаривали о другом — о более важном, — она продолжала мечтать о доме, и я ей верил. Для меня это имело особое значение — как веха на незнакомой дороге. Мне представлялось, что вот мы будем идти по этой волшебной дороге, пока не подойдем к дому, большому, прекрасному, сияющему дому, а за следующим поворотом мы найдем все остальное, о чем мечтали, и это будет словно раскрытые сундуки с сокровищами — только подходи и бери. Да, Дэви, видно, где-то мы сбились с дороги и свернули не в ту сторону, потому что этот дом — вовсе не то, о чем нам когда-то мечталось; да и того чудесного поворота тоже что-то не предвидится. Так что давай-ка вернемся в сарай — там наше настоящее место. И уж если мы еще раз переселимся из сарая, так только в княжеский замок, не иначе.

— Или в богадельню, — вставил Дэви.

— Или в богадельню! Ну что ж, пошли.

Придя в мастерскую, Дэви свалил свои пожитки на стол, поверх вороха бумаг, а взгляд его по привычке тотчас устремился на загромождавшие полки приборы, ибо они составляли его подлинное имущество, его сокровище, смысл его жизни. Ряды полок достигали шести футов в вышину, и каждая полка была сплошь заставлена радиолампами, трансформаторами, катушками, конденсаторами и реостатами. И не было здесь ни одного предмета, который он не держал бы в руках, над которым он не задумывался бы, ища правильного решения.

Дэви положил руку на круглый стеклянный баллон — передающую трубку — и провел пальцами по ее гладкой поверхности.

Сквозь стеклянную оболочку он видел множество металлических колец и сетку — сколько тщательной и, как оказалось, напрасной работы потребовалось, чтобы сделать их и поместить в трубку! Дэви вспомнил, как дорога была ему эта трубка, как он любил трогать ее, смотреть на нее и сколько с нею было связано надежд. Всего лишь несколько дней назад, когда им удалось получить четкое изображение креста, она еще казалась совершенством. Но теперь, когда они выяснили, в чем их ошибка, никакие сентиментальные воспоминания не могли спасти эту трубку от гибели. Дэви снял руку с трубки, и этот сложный маленький мирок стал просто хламом, который завтра утром надо будет выкинуть вон.

— Кен, — медленно произнес Дэви, — поскольку мы вернулись туда, где мы начинали, давай будем последовательными и начнем сначала всю работу.

Он отошел в другой конец комнаты, но через несколько минут, подняв глаза, увидел, что Кен стоит там, где только что стоял он. И теперь пальцы Кена лежали на стеклянной трубке.

— Давай-ка возьмем себя в руки, — сказал Дэви. — Что ты там делаешь?

— Думаю, — грустно ответил Кен. — Просто думаю.

Дэви помедлил, затем принялся раскладывать инструменты. Он боль-

ше не заговаривал с Кеном. За последнее время у Кена было слишком много неудач.

Дэви казалось, что они с Кеном начали отступление, которое, однако, грозило затянуться до бесконечности, ибо на следующее утро им позвонил Чарли Стюарт.

— Немедленно мчитесь сюда, ребята, — сказал адвокат. — Дело плохо. Ваша заявка на патент отвергнута.

— Отвергнута? — тупо повторил Дэви. — Как это может быть?

— Это уж вам виднее. Вы же знаете, я не очень-то разбираюсь в технике, но моему неопытному глазу кажется, что вы вовсе не пионеры в этой области. Но лучше вы с Кеном сами прочтите, что по этому поводу пишет Бюро патентов.

Машина с грохотом летела по булыжной мостовой. Лицо Кена было искажено, и не только от колючего ветра, который пробивался сквозь щели брезентовых боковин спортивной машины. Время от времени Кен гневно восклицал: «Ну, пусть только попробуют...» — но эти неясные угрозы так ничем и не кончались, и Дэви понимал, что Кен не столько взбешен, сколько растерян и испуган.

Впрочем, Дэви подумал о Кене лишь вскользь. Только сейчас он осознал, какой огромной внутренней поддержкой являлась для него тайная уверенность в том, что он наделен чудесной творческой силой; поэтому его обычно не слишком трогало, если кто-то из мужчин задевал его самолюбие или какая-нибудь девушка пыталась разбить ему сердце. Нортон Уоллис был прав, говоря о всепоглощающем инстинкте творчества.

Но Кен был вне себя от злобного отчаяния.

— А ведь мы были так уверены, что вот-вот станем богачами! К вечеру слух разнесется по всему городу — на наш счет будут чесать языки во всех гаражах, парикмахерских, бакалейных лавках, даже в мужской уборной факультетского клуба. Подумай только, ведь люди подымут нас на смех!

— Люди? — раздельно сказал Дэви. — Не все ли равно, что скажут люди? Наша идея — вот что важно; если она оказалась никудышной и даже не оригинальной, то что же мы собой представляем? Мне казалось, что я ношу в сердце алмаз; пусть вокруг меня говорят и делают что угодно — мой чудодейственный алмаз искрится идеями, и это отличает меня от всех прочих людей на свете. А теперь я уж и не знаю, есть ли в нас то, что мы всегда в себе ощущали, или же мы с тобой просто невежественные мальчишки, одержимые сумасшедшими идеями, вроде того, чтобы перекосить земную ось.

Кен бросил на него беспокойный взгляд.

— Мне никогда и в голову не приходило сомневаться в себе, Дэви. Мы правы, иначе быть не может. Послушай, — вдруг воскликнул он с беспомощным страхом, — почему нас с тобой никогда не волнует одно и то же?

5

Если бы Чарли Стюарт был получше осведомлен о том, как ведет дела Бюро патентов, положение не представлялось бы ему в столь черном свете. Дэви, прочтя официальное уведомление, понял, что это еще не отказ. Возражения Бюро патентов сводились к тому, что заявка братьев Мэллори представляет собой описание не оригинального прибора, так как на многие из его составных частей уже выданы патенты, список которых приводится ниже. Тем не менее братьям Мэллори дается льготный срок в шесть месяцев; за это время они должны ответить на

все пункты возражений экспертизы и таким образом доказать оригинальность своего изобретения.

Но хотя в юридическом смысле их положение оказалось далеко не безнадежным, техническая сторона дела встревожила их не на шутку, ибо все перечисленные патенты ясно говорили о том, что другие лаборатории уже ведут работу в том же направлении. Надо было срочно доставить из университетской юридической библиотеки последние выпуски «Справочника». День за днем Кен и Дэви пробивали путь сквозь юридическое многословие к погребенным под ним техническим сведениям. Каждый день, сразу же после завтрака, они отправлялись в контору Стюарта, садились за огромные книги и с напряженным вниманием вчитывались в текст, потому что в каждом слове могла таиться ловушка. Пока они не разберутся в каждой фразе всех перечисленных патентов, у них не будет уверенности, что они могут отстаивать свои права.

Все эти дни Дэви даже не вспоминал о Вики. Наконец, однажды утром, перед самым его уходом из мастерской, она дозвонилась ему по телефону, и в голосе ее слышалось беспокойство.

— Мы все время работаем в конторе Стюарта, — сказал Дэви. — Домой мне теперь не звони — мы там больше не живем. Мы переехали обратно, в сарай. — По ее молчанию Дэви понял, что она поражена, но объяснять, в чем дело у него просто не было сил. — Завтра увидимся, и я тебе все расскажу.

— А сегодня вечером ты тоже будешь работать?

— Да. Я буду у Стюарта.

— Можно я загляну туда часов в десять и принесу кофе и сэндвичи? Обещаю не мешать тебе.

В здании, где помещалась контора, царила гулкая вечерняя тишина, и когда Вики подымалась по деревянной лестнице, шаги ее звучали неестественно громко, а когда она вошла в контору, свет ничем не прикрытой лампочки показался ей ослепительным. Дэви сидел один за столом, заваленным бумагами и чертежами.

— Ничего, если я войду? — спросила Вики. В руках она держала два объемистых бумажных кулька.

— Конечно, — устало отозвался Дэви. Слегка улыбнувшись, он разогнул спину. — Стюарт ушел в шесть, а Кен только недавно вышел. А я все торчу тут и думаю, действительно ли я ухватился за ниточку, которая поможет мне распутать этот клубок, или же просто от голода у меня свихнулись мозги. Что ты принесла?

Вики вынула из кульков термос с кофе и завернутые в бумагу сэндвичи.

— Когда ты в последний раз ел? — спросила она, глядя, как он уплетает сэндвичи.

— Кажется, утром. Одиннадцать часов назад. Неудивительно, что я отощал. — Его глаза, ставшие сейчас совсем синими, были обведены темными кругами. — Как хорошо, что ты пришла!

— Ты все-таки расскажи мне, что случилось.

Дэви пожал плечами, словно каждое слово стоило ему непомерных усилий.

— Две недели назад Брок предложил нам на выбор — либо продать лабораторию, либо прекратить работу. Денег он нам больше не обещал.

— Две недели назад? И ты не сказал мне ни слова!

— Я не думал, что он на это пойдет, а кроме того, мы с тобой обычно разговаривали совсем о другом.

— О Дэви!.. Неужели я такая глупая?

— Ты думаешь, я поэтому тебе ничего не сказал? Нет, я хотел сказать, — медленно произнес Дэви. — Мне всегда хочется рассказать тебе

уйму всяких вещей, но в ту минуту, когда мы остаемся одни, когда я до тебя дотрагиваюсь, у меня нет больше слов. И пусть бы в это время весь мир раскололся на куски, мне было бы все равно.

Вики молчала, но взгляд ее стал тревожным и даже чуть виноватым.

— Ты ведь знаешь про Марго, — сказал Дэви.

— Знаю, что она уехала. Но ведь не в этом дело, правда?

— Конечно, не в этом, — согласился он. — Этого я давно ожидал. А Кен — нет. И теперь он бродит с таким видом, словно его стукнули по голове. Толку от него сейчас — никакого, так же как от меня не было толку в последнее время.

— Из-за меня?

— Разве ты виновата, что я тебя люблю? — с ласковой иронией спросил он. — Нет, вовсе не из-за тебя. Несколько дней назад мы узнали, что в патенте нам отказано — по крайней мере, в данное время. Вот решение Бюро патентов, посмотри на дату — десять дней назад. Где были мы с тобой десять дней назад? Танцевали? Или сидели у скал? Где бы мы ни были, в это время какой-то человек в Вашингтоне смотрел вот на эту бумагу и качал головой: «Нет, нет».

— Ты считаешь, что во всем виновата я, — медленно сказала Вики. — Про себя ты думаешь: «Если б не она...»

— Глупости, — перебил ее Дэви. — Это от нас не зависело.

— Ты только так говоришь. А чувствуешь совсем иначе. Мы с тобой почти не разговариваем. Ведь, честно говоря, у нас нет ничего общего, кроме того, что ты меня так сильно волнуешь — я даже не подозревала, что это возможно. — Вики беспомощно покачала головой. — Если б я узнала, что какая-нибудь девушка делает то, что я, и говорит такие вещи, какие говорю тебе я, — не знаю, что бы я о ней подумала.

— Но ведь это я в тебе и люблю, — быстро сказал Дэви.

— Ты имеешь в виду не любовь, — с печальной уверенностью возразила Вики. — Ты имеешь в виду это волнение.

— Нет, именно любовь.

Вики покачала головой.

— Мы даже не успели полюбить друг друга, поверь мне. Мы просто обезумели, но безумие уже прошло. И ты это знаешь так же, как и я. Ты уже знал это, когда я вошла сюда.

— Боже мой, Вики, мне столько пришлось вынести, что немудрено...

— Дэви, я не о том говорю. Буря прошла, и отголоски ее постепенно замирают. Либо мы дадим им замолкнуть совсем, либо начнем любить друг друга. Кажется, я люблю тебя, Дэви, — просто сказала она. — Это совсем другое чувство, чем прежде. — Она пытливо поглядела ему в лицо, потом сказала: — Но у тебя такого чувства нет.

— У меня оно есть, Вики...

— Нет, — мягко сказала она. — Ты так говоришь, чтобы не обидеть меня, но ведь это не поможет. Это ребячество, Дэви.

— Вики, — в отчаянии воскликнул Дэви. — Я не знаю, что тебе сказать!..

— Тогда ничего и не говори

Дэви отвернулся.

— Не могу сказать о том, что меня мучает. Боюсь, получится слишком глупо. Даже пошло.

Вики молча ждала.

— Это все из-за Кена, — почти шепотом заговорил Дэви, не решаясь смотреть ей в лицо. — С тех пор как ты вернулась, я только и жду, что у тебя с ним все начнется сначала. В те вечера, когда мы с тобой не встречаемся, а он уходит из дома, я еле удерживаюсь, чтобы не сесть

в машину и не обрыскать весь город — в полной уверенности, что где-нибудь я найду вас вдвоем. Тысячу раз я хотел рассказать тебе обо всем, но я знал — стоит мне заговорить, и я погиб. Потому что — так мне кажется — разговор на эту тему — гораздо большая интимность, чем все то, что было между нами. Ну вот, теперь я все тебе выложил!

— Дэви! Если я тебе что-то скажу, ты мне поверишь?

— Я не могу поверить, что у тебя все прошло, — упрямо заявил Дэви. — Ты, вероятно, думаешь, что в тебе уже ничего не осталось от прежней Вики, которая любила Кена, но я-то отлично знаю, что ты все та же. Ведь это происходило на моих глазах, Вики! Да, да, и пожалуйста не смотри на меня так! Это происходило на моих глазах, и все время я был так влюблен, что видеть тебя было для меня пыткой. Так что ты мне не старайся объяснить, что такое любовь и чем она отличается от безумия. Я большой специалист в этой области.

Вики молчала, однако в глазах ее уже не было выражения горькой обиды. Но не было в них и нежности. В памяти Дэви на мгновение всплыл образ Вики, с царственной надменностью выходившей из вагона в тот день, когда она вернулась из Филадельфии, и сейчас ему снова показалось невероятным, что он когда-то смел прикасаться к этой девушке.

— А я ведь никогда и не уверяла тебя, будто во мне не осталось никакого чувства к Кену, — спокойно сказала она. — В конце концов, он первый человек, который впустил меня в свою душу. Наверно, в моей жизни будет очень немного людей, которых мне доведется узнать так хорошо, как я знаю его. Поэтому Кен может обращаться со мной так, как никогда не посмеют другие, и в глубине души я должна буду признать, что он имеет на это право. Но это вовсе не значит, что я все еще люблю его. Как мне доказать тебе это? — беспомощно воскликнула она. — Ну, хочешь, запри меня с ним в комнате?

— Не будь дурочкой.

— Не будь *ты* дурачком,— возразила Вики.— Либо ты веришь мне, либо нет. Ты всегда говорил Кену, что бывают случаи, когда стоит пойти на риск. Так вот, я и есть для тебя этот самый риск. Решай: да или нет.

Дэви хмуро взглянул на нее и отвернулся.

— Для меня это еще не самый большой риск, — не сразу сказал он.

— Спасибо.

— Нет, я не то хотел сказать. — Дэви заговорил тихо, как бы в раздумье: — Перед твоим приходом я обдумывал способ доказать Бюро патентов оригинальность нашего изобретения. Если я прав, мы в конце концов получим патент. Но самое для нас главное — это разделаться с Броком, сегодня, теперь же, сию минуту, пока Стюарт не знает, что мы хотим снова подавать заявку. Разделаться с Броком — значит пойти на большой риск, и решать это надо немедленно. Между этим и тем, о чем мы с тобой сейчас говорили, существует какая-то связь.

— Какая же?

— Не знаю, — сказал Дэви. — Просто я сейчас смотрю совсем иначе на то, что до твоего прихода мне казалось немыслимым риском.— Он протянул к ней руку.

— Значит, ты *веришь* мне, — проговорила Вики. — О Дэви, ради бога!..

— Да, — сказал Дэви. Вики прижала его голову к своей груди и погладила по лицу; он закрыл глаза. — Кажется, верю.

6

Дэви вернулся домой в первом часу ночи; Кен, к его удивлению, еще не спал и дожидался его в конторе.

— Где ты пропадал? — набросился он на брата. — Я тебя разыскивал всюду! Я, кажется, придумал, как нам опротестовать отказ.

— Ты звонил Стюарту? — неожиданно резко спросил Дэви.

— Я звонил в контору, но тебя там не было.

— А домой ты ему звонил?

— Да, а что?

— Ты с ним разговаривал?

— Я только спросил, нет ли там тебя.

— Но ты не сказал ему, что нашел выход?

— Нет, — медленно ответил Кен. — Хотел было сказать, но решил сначала проверить все это вместе с тобой.

— Я тоже кое-что придумал, но сперва расскажи, что у тебя.

— Ну так вот — наш основной довод должен заключаться в том, что принцип электронного разложения изображения вовсе не оригинален даже у того типа из фирмы «Вестингауз», на которого ссылается Бюро патентов; эта идея стала общественным достоянием с тех пор, как истекли сроки патента, полученного тем русским...

— А я шел другим путем. По-моему, надо подчеркнуть, что важен не принцип разложения, а то, *как* мы разлагаем изображение.

— Значит, фактически у нас с тобой один и тот же подход к делу,— торжествующе заявил Кен. — Этот тип из фирмы «Вестингауз» нейтрализует поверхностный заряд. Мы же нейтрализуем *пространственный* заряд. Мы разлагаем потенциальное поле, а он использует силовое поле. Как ты думаешь, сумеем мы доказать эксперту, что это коренным образом отличается одно от другого?

— Что ж, будем долбить свое, ничего другого не остается. Но, между нами говоря, гораздо более существенная разница заключается в другом: того типа поддерживает Вестингауз, а нас — никто.

— На худой конец у нас есть Брок.

— У нас нет Брока. Мы откупились от него меньше чем полчаса назад. Вот где я был, когда ты не мог меня найти.

— Что, что?

— Мы с ним разделались. Ты же хотел этого, не так ли?

— О боже мой! — в ужасе воскликнул Кен. — Ведь нам отказано в патенте, и это совершенно меняет дело! Мы не в таком положении, чтобы хорохориться! А как насчет радиоустановок для авиации?

— Это тоже отменяется.

— Господи, — беспомощно произнес Кен. — Что ты наделал? Даже в самом лучшем случае — если мы сумеем опровергнуть возражения экспертизы — нам придется выдержать долгую борьбу за патент. Где мы добудем на это денег?

— Только не у Брока. Ни при каких условиях. Наша работа представляется ему бездонной ямой, и неужели ты думаешь, что он позволил бы нам вбухать в нее деньги, полученные за радиоустановки?

— Можно было бы сделать это одним из условий нашего договора.

Дэви покачал головой.

— Он все равно не выполнил бы своих обещаний. И нам пришлось бы вести с нашим компаньоном Броком такую же ожесточенную борьбу, как с Вестингаузом. Я уже думал об этом. И как только я понял, что у нас есть выход, я решил пойти на риск. Я позвонил Броку и спросил, нельзя ли мне сейчас зайти к нему. Он сошел с лестницы в старом купальном халате. Я сказал, что, судя по всему, он разочаровался в нашем изобретении и мы с тобой это понимаем и что отказ Бюро патентов,

вероятно, явился для него последней каплей, переполнившей чашу. Он не стал этого отрицать. Тогда я сказал, что все это нам с тобой здорово неприятно, и поскольку мы рассчитываем и впредь вести дела в нашем городе, то хотим помочь ему возместить убытки. Я предложил выкупить его пай по десяти центов за доллар, и он тут же согласился. Он опять считает нас славными малыми. И теперь мы снова сами себе хозяева.

— Десять центов за доллар! Брок вложил в наше дело пятьдесят тысяч долларов, значит мы должны выплатить ему пять тысяч! И к тому же нам надо есть, надо добиваться патента. А у нас нет ни гроша. Черт бы тебя побрал с твоим риском! Кто кого перехитрил, спрашивается?

— Никто. Предположим, я не пошел бы к нему. Что бы мы тогда делали? Денег от Брока нам больше не видать, а он сидел бы у нас на шее всю жизнь, раз уж наше дело не выгорело. Счастье еще, что нам удалось получить свои паи, ибо мы с тобой уверены, что все-таки добьемся успеха. А он считает, что ему повезло, раз он может получить с нас хотя бы пять тысяч, ибо он так же уверен, что у нас ничего не выйдет. Брок не годится нам в компаньоны. Хотя бы только потому, что он в нас не верит. Какого черта, в самом деле, он вложил деньги на свой страх и риск! Мы честно делали все от нас зависящее, чтобы не подвести его. Ему от нашей работы мало радости, но ведь и нам тоже.

— Ну хорошо, теперь мы сами себе хозяева — с чем же мы остались? Где мы возьмем денег для Брока? На что мы будем жить?

— Я и это уже обдумал. Придется снова открыть гараж, Кен. Будем опять тянуть ту же лямку — накачивать покрышки, менять масло,— а по ночам и в свободное время станем, как прежде, работать над изобретением. Марго обещала присылать нам пятьдесят долларов в неделю. Мы будем отдавать их Броку. Теперь ты знаешь, почему я пропадал весь вечер.

Кен уставился на брата, медленно покачивая головой.

— Ты совсем спятил, Дэви! Но волей-неволей я вынужден тебя поддерживать. И все-таки я надеюсь, что Брок к утру передумает. Нет, вы только поглядите на него! — вдруг взорвался он. — Погубил и меня и себя и сидит с таким видом, будто завоевал весь мир! Что за сэндвичи принесла тебе Вики? С львиным сердцем, что ли?

Дэви слегка улыбнулся, но его глаза потемнели от ликующего торжества, и только жалость заставила его удержать вертевшиеся на языке слова; которые были сущей правдой: «Она дала мне съесть *твое* сердце, Кен».

В эту ночь Дэви спал беспокойно. Он словно несся под уклон, стремясь поскорее пробежать темный туннель сна, чтобы выполнить какое-то ему самому не известное обязательство. Эта спешка продолжалась до утра и, когда он проснулся, превратилась в непреодолимую тягу тотчас же взяться за работу. У него было множество идей как насчет предстоящего открытия гаража, так и насчет изобретения.

Во время завтрака он не давал Кену покоя — казалось, нетерпеливое стремление поскорей взяться за новое дело было для него слишком тяжким грузом, и он не мог снести его один. В банк они явились задолго до прихода первых клиентов.

— Мы хотели бы как можно скорее закрепить наше соглашение, мистер Брок, — сказал Дэви. — Пока никто из нас не передумал.

Брок молчал, постукивая пальцами по стеклу, покрывавшему стол. Дэви глядел на него, пряча за невозмутимым выражением лица волнение, трепетавшее в нем, как флаг, стремившийся улететь по ветру. Дэви догадывался, что, с одной стороны, столь неожиданное предложение кажется Броку подозрительным, но, с другой стороны, Стюарт заверил

его, что заявка на патент — дело безнадежное. По всей вероятности, Брок позвонил адвокату вчера ночью, как только ушел Дэви.

— Как же вы рассчитываете выплатить эту сумму? — спросил, наконец, Брок.

— Мы будем платить вам по пятьдесят долларов в неделю в течение двух лет, — сказал Дэви. — Мы хотим снова открыть гараж, а сестра будет нам помогать деньгами. Видите ли, мы с Кеном не намерены сдаваться.

— Вы все еще надеетесь, что у вас что-нибудь выйдет? — на Брока снова нахлынули сомнения.

— Мы уверены, что выйдет, если только мы найдем время и деньги для работы.

— Деньги? — Брок постучал пальцами по столу, затем, видимо, укрепившись в своем решении, покачал головой. — Нет, — твердо сказал он. — При ваших темпах, чтобы закончить работу, вам понадобится весь монетный двор Соединенных Штатов. Достаточно и того, что я даю вам возможность выкупить паи. Я попрошу Чарли Стюарта составить надлежащие документы. Должен сказать, что вам, друзья мои, эта сделка необходима для восстановления вашей репутации. Люди переменят мнение о вас, когда узнают об этом.

— Какое мнение? — резко спросил Кен.

— Ну, знаете, ходят слухи — разумеется, несправедливые, — будто ваша работа — сплошное надувательство и будто вы выдаиваете деньги из компаньонов и недурно наживаетесь. — Он произнес это тоном небрежной объективности, словно стараясь убедить их в справедливости несправедливых слухов. — В конце концов, ведь никто не *видел* результатов вашей работы...

— Но кто распускает такие слухи? — требовательным тоном спросил Кен. — Не забывайте, мистер Брок, мы никогда не просили у вас поддержки. Ведь вы первый...

Брок поднял руку.

— Кто распускает слухи — мне неизвестно. В таком городе, как наш, сплетни лезут из-под земли. Собственно говоря, у вас есть и немало сторонников. Они скажут, что я гнусный старый скряга, который сейчас, когда вы потерпели крах, выжимает из вас последние гроши. Ваши сторонники непременно так скажут, хотя сумма, которую вы собираетесь мне выплачивать, — сущая ерунда по сравнению с тем, сколько вы получили. Не думайте, что мне было легко выдержать объяснение по этому поводу с моими компаньонами.— Брок явно считал их чересчур наивными, — как будто они не понимают, что для Тэрстона внесенная им сумма представлялась лишь дополнительной оплатой отчаянного кутежа в Милуоки. — Если хотите знать, — продолжал Брок, — я согласился на это только для того, чтобы дать вам возможность восстановить свое доброе имя как в глазах ваших противников, так и сторонников.

— И я должен был все это выслушивать! — негодовал Кен, выйдя из банка. Не помня себя от ярости, он шагал очень быстро. — Ну нет, умрем, а доведем это дело до конца! Идем к Стюарту и сейчас же начнем составлять ответ Бюро патентов.

— Мы не покажемся Стюарту на глаза, пока договор о прекращении деловых отношений с Броком не будет скреплен подписями и печатью, — сказал Дэви. — День или два будем сочинять ответы у себя в сарае. Так что будь добр, придай лицу другое выражение и немножко понизь тон. Для всех окружающих мы с тобой — мистер Неудачник и его брат.

Но когда братья вернулись в свой старый сарай, где им ничего другого не оставалось делать, как ждать, их злобно-оптимистическое

настроение стало постепенно улетучиваться. Кен молча стоял у окна и, точно произнося про себя гневную речь, сжимал и разжимал кулаки, а Дэви уныло бродил между стеллажами, на которых стояли приборы. Ему стоило только оглядеться вокруг, чтобы день за днем вспомнить всю свою жизнь за последние годы. Каждый этап работы был чудом упорства, интуиции и творческой энергии. А все вместе это оказалось пока что полной неудачей.

Дэви побрел в контору.

— Мы с тобой сделали ошибку, послав заявку только на один патент, — сказал он Кену. — В процессе работы мы состряпали, по крайней мере, двадцать оригинальных изобретений. И каждое можно применить десятью различными способами, не считая того, который избрали мы. Нам следовало бы записывать все это. И пока мы будем разбирать мастерскую, давай-ка перепишем все, что у нас есть. И сделаем это сейчас, пока мы не увязли в возне с гаражом.

— Этот гараж стоит у меня поперек горла! — сказал Кен. Он обернулся к Дэви и беспомощно развел руками. — На словах все как будто прекрасно и благородно, но по сути дела это же сумасшедшая затея. Одно дело, когда мы учились в университете. Но теперь эти гроши — просто капля в море. Мы будем стараться получить основной патент; тут без Стюарта нам не обойтись, а он не станет возиться с нами задаром. Ты хочешь подать еще двадцать заявок — на это понадобятся еще деньги. Сверх того, нам нужно покупать оборудование, чтобы работа над изобретением двигалась вперед.

— Что же ты предлагаешь?

В глазах Кена вспыхнули огоньки; он чуть-чуть усмехнулся.

— Слушай, ты пошел к Броку один и договорился с ним без моего участия. Теперь моя очередь действовать самостоятельно. — Кен поднял телефонную трубку и назвал номер. — Мистера Торна, пожалуйста... Мел? Это говорит Кен... Что слышно от этого сукина сына, вашего хозяина? Как ему нравится, что его акции пикируют носом в землю?.. Акционеры должны радоваться, что он смылся! Я звоню вам по делу, Мел, старина. Сколько самолетов вы сейчас выпускаете?.. Ну, не станут же все отменять заказы только потому, что этот сумасшедший бросил вас на произвол судьбы... У меня есть идея, которая может оказаться полезной для вас. Что, если вы спросите ваших нервных клиентов, не желают ли они иметь на самолетах радиоустановку для двусторонней связи? Такой же первоклассный экземпляр, какой был на «Соколе», а если заказ будет большим, мы сделам вам скидку...

— Если б это слышал Брок! — возмущенно воскликнул Дэви.

— Запросы посылайте только по почте! — сказал Кен, не глядя на брата. — А еще лучше — я сейчас приду к вам и мы потолкуем. У нас тут идет перемена декораций. А вы успокойтесь. Все эти отмены заказов и суматоха с акциями — ерунда. Без этого мерзавца вы будете делать еще лучшие самолеты. Я сейчас приеду к вам, старина.

Он повесил трубку и, не снимая руки с аппарата, улыбнулся Дэви.

— Ну, теперь давай заключим с тобой договор, братишка. Ты будешь добывать патенты, а я займусь радиоустановками и буду тебя финансировать.

— Где же ты возьмешь денег для начала, Кен? У Брока ты не выудишь ни цента. Он взбесится, когда узнает об этом...

— Пусть себе бесится, буду очень рад. Я попрошу у Мела аванс под каждый заказ. Бедняга, судя по голосу, ему кажется, что на него обрушился потолок. Дэви, пойми ты, ради бога, — мы теперь знаем, что такое деньги. Не забывай, за короткий срок мы истратили пятьдесят тысяч долларов. Я теперь могу произнести «десять тысяч долларов»

с такой же легкостью, с какой когда-то говорил «девяносто восемь центов». Вчера ночью, когда ты явился домой со своей блестящей идеей, я готов был тебя убить. А теперь я сам — повелитель мира. Хочешь съездить со мной к Мелу?

— Нет, — улыбнулся Дэви. — Это уж твоя область. А у меня своя работа.

Дэви смотрел в окно на Кена, шагавшего к машине, и заметил, как высоко, решительно, почти весело тот вскинул голову, отъезжая от дома. Это потому, что Кену бросили вызов, подумал Дэви. Человек по имени Брок сказал ему, что он вовсе не Кен, и теперь Кен хочет доказать, что он — это он. Все еще улыбаясь, Дэви грустно покачал головой.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Шесть недель, с конца зимы до начала весны, пролетели для Дэви и Кена однообразной вереницей дней, заполненных беспрерывной работой. У Дэви едва хватало времени поднять глаза и улыбнуться разрумянившейся от холода Вики, которая приходила в мастерскую каждый вечер. Кен чаще всего даже не замечал ее появления. Работая за своим столом, специально приспособленным для сборки деталей, он точно отрешался от всего окружающего. Он уговорил Мела Торна заказать ему радиоустановки с двусторонней связью для пяти самолетов — это было все, что осталось на заводе от лавины требований, которую смыл хлынувший затем поток отказов. Вместе с заказом Кен ухитрился получить семьсот долларов в виде аванса, что дало Дэви возможность вплотную заняться составлением заявок на их многочисленные изобретения.

За хлопоты, связанные с получением патентов, Стюарт запросил гонорар в сто двадцать долларов ежемесячно. Сумма была непомерно велика, но Дэви согласился, потому что только он один знал, какой объемистой будет пачка заявок, когда Вики напечатает их на машинке.

Вики печатала только по вечерам — она опять работала в книжной лавке Зейца, куда вернулась после того, как Мелу пришлось уволить половину нанятых Дугом служащих. Вики печатала, не жалея ни времени, ни сил,— она понимала, что Дэви и Кен находятся в плену какой-то идеи; они как узники, которые стараются прорыть подкоп из камеры до того, как наступит день казни. И все же каждый раз, когда Вики видела, что нервы их начинают сдавать, она без малейших колебаний напускала на себя суровый вид и заставляла их устраивать вечером передышку. Но если даже ей удавалось вытащить их на ранний сеанс в кино, то, отсидев там часа два, они уже торопились домой, чтобы поработать еще хоть до полуночи.

К началу весны оба до того исхудали и извелись, что Вики стала уговаривать их хотя бы ночевать и есть в доме Уоллиса —там она сможет присмотреть, чтобы они питались как следует.

После апрельского дождя вечер был тихий и теплый. Они возвращались из кино; Кен вышел из машины у сарая, а Дэви поехал дальше — он решил отвезти Вики домой и потом опять сесть за работу.

— Кен ни за что не согласится, — медленно покачал головой Дэви.— Да и мне это кажется нелепым. В конце концов, мы таких вещей не делали, даже когда были детьми и голодали по-настоящему. А сейчас мы живем не так уж плохо.

— Скажи лучше — ухитряетесь не умереть с голоду,— возразила Вики.— Дэви, у меня сердце разрывается, когда я смотрю на тебя,— ты так плохо выглядишь!..

— Но ведь это только временно,— сказал Дэви.— Вот увидишь — немного погодя...

— Ничего я не увижу! Вы с Кеном долго не выдержите. Я не знаю, едите ли вы вообще, если не приходите к нам. Денег, что присылает Марго, вы почти и не видите. Они исчезают в ту же минуту, как вы их получаете.

— И слава богу,— сказал Дэви.— Зато Брок уже не сидит у нас на шее.

— Но ведь я получаю жалование. Позволь мне одолжить тебе денег.

— Нет.

— Тогда возьмите у дедушки — он же вам обещал помочь.

— Возьмем, когда будет нужно, Вики.

— Как будто сейчас вам не нужно! Но вы же никогда не попросите.

— Не беспокойся,— засмеялся Дэви.— Когда понадобится — попросим! И спасибо тебе за то, что ты обо мне беспокоишься.

Вики прижалась губами к его исхудалой щеке, и в глазах ее засветилась нежность.

— А я тебе не скажу спасибо за то, что ты заставляешь меня беспокоиться,— прошептала она.

Все это время Дэви и Кен ни на минуту не забывали о своей главной цели — каждый день они отводили два часа на работу над новым прибором. Обычно это бывало по утрам, но однажды вечером Вики застала Дэви и Кена ожесточенно спорящими по поводу какого-то теоретического положения.

— Мы делаем какой-то промах, когда собираем трубку,— утверждал Дэви.— Во всем остальном мы исключили возможность ошибки — значит, надо искать ее в нашей технике.

Вики села за машинку, а Кен и Дэви снова разобрали трубку на части, потом опять собрали ее, и так несколько раз, причем каждый из них все время следил за другим с придирчивым вниманием, потому что ошибка могла заключаться даже в таком пустяке, как недостаточно чистые пальцы. Весь вечер они были так поглощены работой, что никто из них даже не заговаривал с Вики, но около полуночи, когда она собиралась уходить, Дэви вдруг поднялся и пошел ее провожать.

— Слушай, ты сегодня не заметила никакой перемены?— спросил он. Голос у него был веселый, словно он ожидал похвалы.

— В распорядке дня?

— Да нет же,— нетерпеливо сказал Дэви.— Во мне. Смотри,— с выжидающей улыбкой он повернул к ней лицо в темноте.

— Я сегодня выпил целый литр молока,— объявил он, не дождавшись от нее ответа.— И каждый день буду выпивать по литру — из-за того, что ты мне вчера сказала. Теперь ты можешь не беспокоиться.

— О Дэви! — засмеялась Вики, привлекая его к себе; однако ей пришлось спрятать глаза, потому что до этой минуты она сама не сознавала, как ей хотелось плакать, глядя на его изможденное лицо.

На следующий вечер трубка на два часа была подвергнута интенсивному нагреву печи и одновременно — бомбардировке излучением высокой частоты, с таким расчетом, чтобы оно проникло сквозь стекло и достигло заключенных в нем металлических элементов. Нервы Кена еле выдержали два часа изнурительной жары, и сквозь стук машинки Вики слышала его протестующий голос.

В одиннадцать часов Вики отложила свою работу и, не спрашивая их согласия, принялась разогревать принесенный из дому ужин — суп и тушеное мясо.

— Сделайте перерыв и поешьте,— скомандовала она.

— О, на сегодня мы кончили,— отозвался Дэви.— Боже, до чего я хочу есть! Завтра вечером можем устроить пробу.

— Вот и хорошо. Поешьте и ложитесь спать.

Дэви взглянул на Вики, удивляясь ее непонятливости.

— Я говорю о приборе,— пояснил он.— На сегодня мы с ним покончили, теперь нужно браться за то, что мы должны были делать весь вечер. Только до часу,— умоляюще добавил он, заметив выражение ее лица.— Ровно в час мы кончим.

— Тогда я подожду,— сказала Вики.— Я не уйду домой, пока своими глазами не увижу вас в постели.

На другой вечер, когда Вики пришла в мастерскую, Дэви уже сидел в будке. Он предложил Вики посидеть с ним, пока Кен установит стекло с нарисованным крестом. Услышав радостное восклицание Вики, Кен бросился в будку посмотреть, что на этот раз вышло.

Видимость поразительно улучшилась. До сих пор братья довольствовались тем, что на экране проступал туманный силуэт широкого креста; сейчас же очертания его были так отчетливы, что Вики могла различить даже тонкие штрихи от волосков кисти, которой он был нарисован. Пятнадцать долгих секунд все трое молча упивались чудом, и за все это время изображение на светящемся экране ни разу не заколебалось.

— Что бы теперь сделать?— спросил Кен шепотом, словно боясь спугнуть эту живую ясность. — Давай поместим туда что-нибудь движущееся — все равно что, только, ради бога, давай попробуем! Скорее!

— Вынь стекло и поводи перед отверстием какой-нибудь длинной тонкой палочкой,— сказал Дэви.— Мы увидим только движущийся силуэт, но ведь он будет *двигаться,* черт возьми! Скорей, пока ничего не случилось!

Чтобы убрать стекло, Кену пришлось отвести в стороны раскаленные дуги. Он обжегся, но от волнения даже не заметил этого. Одна за другой дуги были водворены на место; Вики и Дэви сидели словно окаменевшие, боясь вздохнуть.

На ровно светящемся экране вдруг возникла темная черта. Вики увидела, как черта несколько раз подпрыгнула вверх и вниз — это были порывистые, судорожные движения, но все же движения, а не просто мелькание. Дэви хотел было позвать Кена, но тут вдруг на экран накатилась волна тумана, поглотившая темную черту.

— Что ты там делаешь?— со злостью крикнул Дэви.

— Двигаю отверткой. Ты ее видишь?

— А сейчас что ты сделал?

— Ничего. Вот я и сейчас ею двигаю. А что случилось?

— Ты больше ничего не трогал?

— Абсолютно ничего. Да какого черта, что там у тебя?

— Мы целую минуту видели движущееся изображение, Кен. А потом опять появился туман, густой, как всегда, и больше уже ничего не видно. Держи отвертку неподвижно.

На экране сквозь мрак проступила черта с острыми краями, но изображение было не более четким, чем в прошлые разы.

И все же чудо произошло, хоть оно и длилось недолго, и, следовательно, надо было продолжать эти бесконечные поиски. На этот раз цель была ясна — необходимо выяснить, что произошло, и добиться, чтобы мгновенье ослепительной четкости продлилось на часы, а затем и на все время, пока будет работать трубка.

В четверг Вики была свободна половину дня и из магазина отправилась прямо в мастерскую. Через полчаса после ее прихода зазвонил телефон. Вики испуганно вздрогнула и только тут поняла, что вот уже несколько месяцев, как она ежедневно бывает в мастерской, и за все это

время из внешнего мира сюда не проникали даже звуки. Она взяла трубку. Секретарша Брока попросила к телефону Дэви.

— Мистер Мэллори?— тоненьким голоском начала секретарша; она говорила таким тоном, будто чувствовала на себе холодный взгляд банкира, следившего за ней, пока она передавала слова, которые он заставил ее затвердить наизусть. — В сегодняшней почте не оказалось вашего чека. Мистер Брок спрашивает, был ли чек выслан вчера.

— Не оказалось чека?— Дэви испуганно оглянулся на Вики.

— Верно,— сказала Вики.— На этой неделе от Марго не было чека.

— Когда он должен был прийти?— спросил Дэви секретаршу.

— Ваша неделя кончается в четверг — значит, сегодня.

У Дэви был такой вид, будто небрежно произнесенные слова «ваша неделя» захлестнулись петлей вокруг его шеи. Как же поступит Брок, подумала Вики, если они не смогут заплатить во-время? Быть может, он потребует обратно весь свой вклад целиком, отказав им в праве выкупа? Они совершенно забыли, что Брок бдительно следит за ними, как следит за всем городом. У Дэви было испуганное лицо.

— Мистер Брок хотел бы, чтобы вы с вашим братом зашли к нему сегодня,— продолжала секретарша.

Дэви торопливо достал сберегательную книжку. Вики знала, что там значится только тридцать пять долларов, потому что, по чистой случайности, братья недавно оплатили несколько счетов. Дэви, сдвинув брови, прикрыл рукою телефонную трубку.

— Дэви!— мягко окликнула его Вики.

Дэви рассеянно взглянул в ее сторону, но увидел ее не сразу. Вики молчала, взглядом умоляя его доказать, что он считает ее частью своей жизни. И почти застенчиво он произнес:

— Вики, не сможешь ли ты одолжить мне пятьдесят долларов?

— Я с радостью дам тебе пятьдесят долларов, Дэви.

Дэви улыбнулся и снял руку с телефонной трубки.

— Передайте мистеру Броку, что сегодня мне некогда,— сказал он.— Конечно, если мистер Брок пожелает прийти сам, мне не нужно будет специально посылать к нему человека с деньгами.

— Но что случилось с Марго?— спросила Вики, когда он повесил трубку.— Она когда-нибудь задерживала высылку денег?

— Никогда. Должно быть, там что-нибудь неладно.

Он встал и хотел было позвать Кена, но раздумал. Вместо этого он снова взял телефонную трубку и продиктовал телеграмму на запад: «Все ли благополучно? Немедленно телеграфируй».

Вики уже стояла в пальто и шляпе. Она торопилась отнести деньги Броку, опасаясь, как бы Дэви не передумал.

2

Из всех присутствующих в номере гостиницы только Карл Бэннермен заметил, что Марго принесли телеграмму. Рассыльный постучал в дверь, вошел и, заметив, что здесь идет деловое совещание, на цыпочках прошел к Марго сквозь стелющийся дым дорогих сигар, пронизанный лучами солнца.

Три месяца полного пренебрежения к его особе поколебали в Карле все, кроме внешней самоуверенности; сегодняшнее совещание было как бы еще одним подтверждением того, что происходило с ним в последнее время. Здесь живо и со знанием дела обсуждались разные технические подробности, которые были недоступны его пониманию, и Карл чувствовал себя несчастным, очень усталым и никому не нужным. Только благодаря привычке ему удавалось сохранять понимающий вид; в душе

же Карл сознавал, что он — неудачник, что ему уже под шестьдесят и что настоящая жизнь прошла мимо.

Он наблюдал за Марго, читавшей телеграмму. Лицо ее стало напряженным, и у Карла мелькнула безумная надежда, что вот сейчас она встанет и объявит о какой-то катастрофе, такой разрушительной, что как бы ни были велики жизненные успехи всех присутствующих, отныне они ровно ничего не значат и всем придется начинать сначала. Но Марго сложила листок пополам и как ни в чем не бывало взялась за свой блокнот. Надежды Карла медленно погружались в невыносимо глубокие бездны мрака.

А ведь всего три месяца назад, когда он получил набросанную второпях служебную записку, радость его не знала границ. До тех пор, пока он не увидел слово «Голливуд», написанное рукою Волрата, он даже и не мечтал попасть туда, но с той минуты он стал совсем другим человеком. Его давно уже мучили внезапные приступы отвращения к самому себе, к своей фальшивой и жалкой жизни — в такие моменты он яростно внушал себе, что скоро наступит день, когда он в чем-то покажет настоящий «высший класс». И вот пришла минута, когда он понял, что надежда показать какой-то «высший класс», которую он пронес через всю свою жизнь, в сущности сводилась к мечте найти такое место, такой мир, где то, что он умеет делать, считалось бы почетным — где он сам считался бы «высшим классом». Ведь Голливуд — единственное место на земле, где иллюзия стала предметом производства, а создавать иллюзии — единственное, в чем Карл чувствовал себя великим мастером.

Он пустился вдогонку за Волратом и Марго через несколько дней после их отъезда, и везде, где бы он ни останавливался, без труда обнаруживал следы большого «каннигхэма». Сначала Волрат и Марго регистрировались в гостиницах каждый отдельно: м-р Волрат и мисс Мэллори. В одном городке штата Миссури они вдруг стали мистером и миссис Аткинс, но, по слухам, между ними произошла страшная ссора: миссис Аткинс, хлопнув дверью, выбежала из гостиницы и помчалась на вокзал; мистер Аткинс не сразу последовал за ней — он догнал ее на своей машине уже на полдороге и привез обратно. Следующие триста миль «каннигхэм» вез мистера и миссис Аткинс без всяких происшествий. Но в штате Юта м-р Волрат и мисс Мэллори поселились в отдельных номерах, и горничная рассказывала, что они почти не разговаривали друг с другом. В Фениксе м-ра и м-с Аткинс приняли за молодоженов, но, переехав пустыню и остановившись в большом голливудском отеле, м-р Волрат снял номер из пяти комнат, а его секретарша мисс Мэллори поселилась в отдельном номере этажом ниже. М-ра Волрата сейчас нет дома — что ему передать?

М-ра Волрата не было дома несколько недель, но его имя появлялось во всех газетах в связи с катастрофами, которые он вызвал, наводнив биржу акциями авиационного завода. В течение трех дней газеты печатали на первых страницах сенсационные сообщения о распродаже акций, так как некий сенатор потребовал объяснений, почему акции меньше чем за неделю упали на тридцать два доллара. Но Волрат не пожелал входить в объяснения, и когда шумиха утихла, о нем заговорили как о блестящем молодом финансисте, который нажил на этом деле шесть миллионов чистоганом.

Имя его теперь было окружено ореолом таинственности и успеха и начало появляться в газетах, посвященных кинопромышленности, которые Карл с жадностью прочитывал от доски до доски. Имя Волрата то и дело связывалось с громкими именами Ласки, Лэммля, Де-Милля, Шенка и Бэрли. Ходили слухи, будто он помолвлен с одной из самых неприступных голливудских актрис, а одна газета даже напечатала

интервью, якобы в виде исключения данное ее корреспонденту: рассказ о том, как всемирно известная кинозвезда и молодой смельчак-финансист нашли друг в друге родственные души; теперь они намерены поселиться в кремовом особняке и обзавестись детьми, как обыкновенные смертные. Опровержения были краткими, но исполненными достоинства.

Неделя проходила за неделей, а м-ра Волрата все еще было невозможно застать дома, и Карл со все возрастающим отчаянием звонил Марго по телефону, пока наконец они не встретились, чтобы вместе позавтракать. Карл был удивлен происшедшей в Марго переменой. Она загорела, волосы ее были подстрижены короче и спускались на шею мягкими локонами, но в глазах застыло напряженное выражение.

— Вы мне только одно скажите,— допытывался Карл.— Волрат знает, что я еще жив?

— Карл,— с раздражением сказала Марго,— вы ведь исправно получаете жалованье, не так ли?

— Но это же смешно, малютка,— этот малый делает для меня то, чего никто никогда не делал. Можно подумать, что я тут как сыр в масле катаюсь, а на самом деле я мечусь, точно волк в клетке.

— Ну, сейчас всем нелегко.

— Нет, вы поймите! Сбылось то, о чем я мечтал тридцать лет, а толку никакого. Значит, тридцать лет ухлопаны впустую. Но знаете, что, по-моему, тут самое неприятное?

— Нет, не знаю.

— Страдает моя гордость, вот что. Я думал, наконец-то я буду делать то, что лучше всего умею, а этот сопляк каждую субботу бросает мне несколько долларов и говорит: «Вот тебе подарочек, на, ешь!» Это очень обидно.

— Почему же вы не уйдете?

— А почему вы не вздохнете, наконец, свободно? Черт его знает, что за человек этот Волрат — кто с ним работает, тот никогда не бывает веселым. Даю вам слово — я ничуть не сержусь на него за аферу с акциями. У меня было своих полтораста акций. Шепни мне кто-нибудь, что он хочет разгрузиться таким манером, я бы во-время сбыл их за четыре с половиной тысячи. Но, в конце концов, плевать — ведь это же только деньги.

— Ну ладно, ладно. Чего же вы, собственно, хотите, Карл?

Карл уставился на Марго.

— Ей-богу, я и сам не знаю... Ну, скажем, *уважения.* Да, именно — хочу, чтоб он меня уважал.

— Этого вы не дождетесь, — отчеканила Марго. — А еще чего?

— Вы, кажется, тоже не очень-то счастливы, детка,— сочувственным тоном сказал он.

— Наоборот, совершенно счастлива. У меня есть все, о чем может мечтать женщина.

— Ну, полно вам! Ваш голос выдает вас с головой. Вы вроде меня — получили все, что хотели, а толку мало.

— Нет, я не вроде вас, потому что когда я приду к убеждению, что толку мало, я просто уйду, и все.

— Ну, а я не ухожу. Я еще покажу этому молодчику!

Как немного он мог «показать» кому-либо, он начал понимать, когда попал в небольшой кинотеатрик, где шла картина с участием Нормы Ширер. Усевшись на свое место, Карл сначала чувствовал себя профессионалом и выискивал в картине разные детали, о которых читал в статьях о кино; впрочем, очень скоро, увлекшись сюжетом, он забыл обо всем и, как зачарованный смотрел на экран. Когда Норма Ширер

заплакала, он тоже потихоньку всплакнул и подумал: «Если б она только знала, какую понимающую душу могла бы найти во мне!»

Когда зажегся свет, Карл вздрогнул и заморгал — сейчас в его воображении развертывался другой фильм такого содержания: несколько лет спустя; внушительный кабинет Карла Бэннермена, хозяина американских развлечений. Входит Норма Ширер, попрежнему обворожительная, совсем еще не увядшая, хотя она давно уже перестала быть звездой первой величины. Ее красивые губы шевелятся, сияющие глаза затуманены слезами; на экране возникает надпись: «Карл, Карл, что же мне теперь делать?»

Почтенный магнат с печальными глазами медленно встает из-за стола и долго смотрит на стоящее перед ним прелестное создание. Лицо его задумчиво. Губы шевелятся.

Надпись: «Знаете ли вы, сколько времени я ждал этой минуты, Норма?»

Ее лицо крупным планом. Она качает головой — нет, она никогда не думала, что... Потом снова его лицо — он вспоминает, перед ним встает далекое прошлое.

Надпись: «Норма, когда я впервые приехал в этот город и еще никому не известный, с исстрадавшейся душою, зашел однажды вечером в какое-то маленькое кино...»

Лицо титана исчезает в наплыве. Из затемнения возникает маленькое кино, он сидит среди публики, глядя на экран, где появляется кинозвезда в расцвете своей чарующей красоты. Ее лицо похоже на трагическую маску, она прикладывает к щеке розу, потом в отчаянии роняет ее на землю. Голова ее никнет — на этом фильм кончается. В зале вспыхивает свет, и великий магнат — тогда еще безвестный человек — медленно встает с места. Публика спешит к выходу, его толкают со всех сторон, но каждый в этой толпе, присмотревшись к нему, понял бы, что, несмотря на скромный костюм, это человек необычайный. Он шевелит губами, как бы произнося про себя некую клятву. Он останавливается и закуривает сигару...

Карл громко вздохнул — маленький толстый человечек очнулся от блаженного сна. В пламени вспыхнувшей спички медленно растаяла дымка фантазии, застилавшая его глаза, и он как бы со стороны с беспощадной ясностью увидел себя — толстого коротышку с важной поступью, умеющего обманывать себя так, как ему никогда не удавалось обмануть других. Он, незадачливый простачок, не имеет и никогда не будет иметь никакой цены в глазах окружающих.

Вызов к Волрату, как всегда, властный, даже испугал его своей неожиданностью. Гостиная пятикомнатного номера, где жил Волрат, с темными дубовыми балками на потолке, красными гобеленовыми занавесями и резной железной решеткой у камина, была обширна, как театральное фойе. Кроме Волрата, в гостиной было еще трое мужчин; судя по наполненным пепельницам, они находились здесь уже давно. Волрат поздоровался с Карлом непринужденно, как будто они виделись несколько часов назад.

— Садитесь и слушайте, Карл, а потом мы спросим вашего совета. Дайте-ка я вас познакомлю.

Двое из трех мужчин посмотрели на Карла с вежливой враждебностью. Несмотря на свои элегантные костюмы и, очевидно, влиятельное положение, они походили на банковских кассиров из маленького городишка, которые больше всего в жизни боятся чем-нибудь не угодить своему деспотически властному директору. Директором банка был для них третий, безупречно корректный суховатый человек лет за шестьдесят, с серыми слезящимися глазами, глядевшими как будто сквозь прорези

маски из влажных осенних листьев. Все сравнения с маленьким городишком выскочили из головы Карла, как только он услышал его имя — это был Перси Бэрли, человек, который вытеснил самого Гриффитса.

Бэрли сидел с невозмутимо спокойным видом, слегка переплетя пальцы, — казалось, все ходившие о нем слухи были хорошо ему известны и нисколько его не беспокоили — ни якобы нераскрытое убийство на его яхте, ни самоубийство одной из его звезд в самом расцвете карьеры. Карл тихонько, почти робко опустился на стул, ибо находиться в присутствии Бэрли было все равно, что предстать перед лицом Смерти.

Разговор, прервавшийся с приходом Карла, через минуту возобновился — два нервных джентльмена заметались и затрещали, словно две бусины на шнурке, протянутом между Волратом и Бэрли. Карл уже придумал скромный отказ на случай, если к нему обратятся с вопросом: «Очень жаль, друзья, но я ничем не могу быть вам полезен»,— и все же он чувствовал себя отвратительно.

Кроме Марго, здесь была еще одна стенографистка. Марго сидела с холодным, замкнутым видом. Ничто не изменилось в ее лице, когда она прочла телеграмму.

— Ну, Карл, теперь слово за вами.— Услышав свое имя, Карл подскочил на стуле.— Что *вы* об этом думаете?

Карл провел кончиком языка по губам.

— Очень сожалею, — произнес он, к своему удивлению, весьма развязным тоном,— но я ничем не могу быть вам полезен.

— Это почему же?— голос Дуга стал резким.

— Потому что... потому что вы занимаетесь совсем не тем, что я называю зрелищами. А в кино я ничего не смыслю.— И опять у него не получился виноватый тон — в словах звучало сдержанное неодобрение. Последние три месяца сломили его дух, но не изменили манеру держаться. Он казался себе устрицей, водянистым, дряблым комочком, съежившимся внутри непомерно большой раковины; но, робко выглянув из-за своей брони, он не увидел презрения в устремленных на него глазах. И тут он снова услышал свой бойкий голос:— Это вовсе не значит, что мои интересы ограничиваются, так сказать, более привычными развлечениями — я некоторое время проработал на радио, а это ведь дело совсем новое; и больше того: я застраховался на будущее с помощью одного средства связи, которое еще разрабатывается в лаборатории. Но поймите, мистер Бэрли и вы, джентльмены, каковы бы ни были средства, старые принципы остаются в силе. И я держусь этих принципов. Поэтому я называю себя «зазывалой».

Все это было чистой импровизацией. Карл видел, что они заинтересованы, и интуитивно угадал, что слово «зазывала» явилось червячком, на который они клюнули.

— «Зазывалой»,— повторил он.— И существует только одно настоящее зрелище, мистер Бэрли и джентльмены,— цирк.

— Прошу прощения, мистер Бэннермен.— Это сказал худощавый человек средних лет в роговых очках, которые придавали его взгляду нервно-интеллигентное выражение, но Карл, прошедший выучку Чарли Хэнда — «Руки-в-брюки», почуял в его словах вызов и слегка расширил глаза.— Никто не отрицает, что цирк — великолепное зрелище, но не можем же мы ставить только «Паяцев»...

— Принципы, молодой человек,— сказал Карл, останавливая его жестом.— Принципы — вот, что мы сейчас обсуждаем. Насколько я понимаю, вы, должно быть, из драматургов...

Глаза за стеклами очков растерянно моргнули — драматург привык считать, что его имя известно всем. Карл в приступе жестокости от души

надеялся, что этот тип — один из тех, кто получил Пулитцеровскую премию.

— «Зазывалу», молодой человек, мало заботит настроение людей на сцене. «Зазывалу» интересует настроение людей в зале — в *любом* зале. Разрешите мне доказать вам, что театр — это не главное...

— Не главное! Боже мой, но ведь Софокл...

— Разве вы пишете ваши пьесы, как Софокл? Театр — это мода, мальчик мой, а моды часто меняются. А публика не меняется, и цирк тоже.— Он улыбнулся так, что теперь любой выпад со стороны драматурга показался бы просто вспышкой раздражения.— Все мои знания я приобрел в аспирантуре при Арене. И так как я знаю, о чем говорю, мистер Бэрли, то могу с полной ответственностью заявить, что затея, о которой вы с Дугом толкуете, никуда не годится. В ней нет ни на грош того, что называется искусством зрелища.

— Погодите минутку, Карл...— быстро сказал Волрат.

И снова Карл поднял руку. «Ты думал, что можешь обойтись без меня, ну, так я же тебе покажу, сукин сын!»

— Позвольте мне рассказать вам о цирке, и вы поймете, что я имею в виду. Там все обосновано. Возьмите парад-антре — яркие краски, музыка, костюмы, целая толпа неправдоподобно красивых людей прямо из сказочного мира. И такая большая толпа — это самое важное, заметьте,— что кажется, будто в этом сказочном мире больше людей, чем в мире настоящем, ей-богу! Процессия идет по арене, все улыбаются, и каждый сидящий в зале думает, что эти улыбки предназначены ему — именно ему, поймите, а не жалкому замухрышке, сидящему рядом. И вот зрелище начинается. Один за другим выходят герои всех сортов и мастей: силач, фокусник, укротитель львов, даже клоун. Каждый из них — герой чьей-нибудь мечты. И наконец появляется самый главный герой — канатоходец. Все ваши киногерои, кроме разве Фербенкса, перед канатоходцем — ничто. Вы только представьте себе. На него устремлены десять тысяч пар глаз. Десять тысяч пар легких перестают дышать. Десять тысяч сердец замирают. Все прожекторы наведены только на него. Он делает первый шаг, как бы пробуя ступить по воздуху. Вот он чуть-чуть покачнулся... потом сделал второй шаг... Боже мой, да ведь он шагает прямо по вашим натянутым нервам! А женщины — да есть ли на свете более прелестные и нежные героини, чем наездницы, скачущие на лошади без седла? А теперь сравните все это с тем, что делаете вы. Где у вас краски, музыка, трепет, мечта? Ваши люди даже не богаты! Кто герой ваших киноисторий? Что он — силач, фокусник или канатоходец? Нет, он просто симпатичный малый, ну и плевать на него! Каждый зритель считает его всего-навсего симпатягой, а вовсе не героем мечты.

— Отлично. — Бэрли заговорил впервые за все время; его, казалось, позабавила речь Бэннермена.— Вы нам доказываете, почему наши сценарии не хороши, хотя каждый из них стоит тысяч пятьдесят. Каким же, по-вашему, должен быть хороший сценарий, мистер Бэннермен?

— Я не писатель, мистер Бэрли. Я — зазывала. Писатель из меня такой же, как канатоходец.

— Все равно, у вас должны быть какие-то идеи.

Карл насторожился. Первая заповедь Чарли Хэнда — «Руки-в-брюки» гласила: «Никогда не старайся превзойти простака в знакомом ему деле,— попробуй найти приманку, на которую он клюнет».

— Разрешите мне сделать маленький эксперимент, мистер Бэрли,— сказал он.— Если вы оглянетесь на свою жизнь, может быть, вы вспомните что-нибудь такое, что вам хотелось иметь больше всего на свете — без тени надежды, что желание ваше когда-либо сбудется?

Бэрли задумался, и лицо его чуть-чуть подобрело.

— Пожалуй, пони. Пони с разукрашенным седлом.

«Дитя бедных родителей», — подумал Карл.

— Ладно,— сказал он вслух.— Представьте себе нищего, оборванного мальчугана; его смышленая мордашка прижалась к железным прутьям высокого забора, огораживающего богатое поместье. Он смотрит, как богачи садятся на лошадей, которых держат под уздцы грумы. Всадников должно быть много — это у нас будет вроде парада-антре. Но наш маленький оборвыш глядит не на всадников — он не сводит глаз с пони под красивым седлом, и на этого пони никто не садится — никто. Видите вы этого мальчишку и то, на что он смотрит, мистер Бэрли?

Бэрли кивнул; и тогда один из мужчин, тот, что постарше, поторопился сказать:

— Да, это впечатляет...

— И тут из дома выбегает девочка с золотыми локонами и вскакивает в седло,— кисло произнес драматург.

Карл искоса взглянул в его сторону. Он действительно хотел заставить девочку вскочить в седло, но теперь она этого не сделает. Никаких девчонок с золотыми локонами он в свой сценарий не пустит.

— Какая там еще девочка, нет,— сказал он.— Речь идет о мальчике и об этом пони. Он повернулся к Дугу.— Ну, а теперь вы скажите, чего вам когда-то хотелось так сильно, как мистеру Бэрли — пони?

При других обстоятельствах Дуг осадил бы Карла, молча передернул плечами, но добродушие Бэрли оказалось заразительным.

— Мне хотелось такого, чего за деньги не купишь,— сказал он.— Я знал, что могу получить любую вещь, стоит мне попросить. И желания мои постоянно менялись. Одно время мне казалось, что я хочу быть великим художником. Отец мой, после того как напал на залежи нефти, стал покупать все, что, по его мнению, должен иметь богатый человек, но кто-то ему сказал, что он не может быть причислен к категории больших людей, пока не обзаведется картинами старых мастеров. Тогда отец пошел к Давину и взял меня с собой. И вот, некоторые картины до того поразили меня, что я, помню, еле сдерживал слезы, и тут мне захотелось стать художником. У меня, бывало, руки ныли, так мне хотелось написать что-нибудь прекрасное, но получалась самая обыкновенная мазня. Тогда я вообразил, что хочу быть композитором...

— Мне нравится история с живописью,— перебил его Карл и обернулся к Бэрли.— Вы все еще видите вашего мальчишку? И этого пони на лужайке? Знаете, почему седло пустует? Богатый мальчик, которому принадлежит пони, тоже, оказывается, стоит у той же самой железной решетки, но его заслоняет от маленького оборванца большой каменный столб. А богатый мальчик смотрит из-за решетки на картину, которую бедный мальчик положил у ограды — он несет ее отцу, еще не признанному и умирающему с голоду художнику...

— Что ж, это впечатляет, — повторил джентльмен с седыми волосами.— Значит, так: вы даете средним планом лужайку — точка зрения аппарата от дома. Но кадр обрамлен с одной стороны столбом, так что видно только бедного мальчика, глядящего с улицы. Следующий кадр — тоскующее лицо мальчика. Для пущего драматизма даем крупным планом его лохмотья. Перебивка: из-за спины мальчика — общий план: дом, конюшни и всадники, исполненные сознанием своего богатства. Это видно по тому, как они улыбаются друг другу и совершенно не обращают внимания на грумов, которые поправляют стремена, подпруги или как там эти штуки называются. Панорамный план через толпу к пони. Затем опять крупным планом мальчик. Он любуется этим пони. Потом опять — пони и толпа. Всадники оглядываются по сторонам. Грум пожимает плечами — его спросили, где маленький владелец пони. Все раздосадованы.

Общим планом покатая лужайка и столб — он уже в середине кадра. Видна маленькая одинокая фигурка, глядящая в объектив. Потом быстрая перебивка и план богатого мальчика, который смотрит сквозь решетку; на лице его почти такое же выражение, как и у бедного мальчика. Перебивка туда и обратно. Один мальчик смотрит во двор, другой — на улицу. На что смотрит богатый мальчик? На картину! Даем несколько кадров подряд, чтобы создать иронический контраст. Дальше — оба мальчика замечают друг друга...— тут он запнулся, исчерпав сюжет.— Черт возьми, мне это нравится!

— Мне тоже понравилось бы, если б тут была интрига, — заметил драматург.— Каждый дурак может сочинить одну сцену. Человек медленно направляет револьвер в другого, публика сидит, затаив дыханье. Ну, а дальше что? И что было до этого?

— Тут совсем другое дело,— холодно произнес Бэрли.— Тут нет револьверов и нет мелодрамы. Более того, в первом же эпизоде заложено зерно дальнейшего сюжета. Два славных мальчугана, принадлежащих к противоположным полюсам общества, и каждый из них имеет то, о чем мечтает другой...

— И каждый влюбляется в сестру другого.

Карл действительно собирался влюбить каждого в сестру другого, но услышав это, поторопился изменить сюжетный ход.

— Ничего подобного, — сказал он, вспоминая чувства, вызванные в нем картиной с участием Нормы Ширер.— Они становятся друзьями, вырастают и влюбляются в одну и ту же девушку. Для бедного мальчика — она сказочная принцесса, которая сочувствует его мечте строить железные дороги, как ее отец. Для богатого она — единственная, кто сочувствует его мечте стать великим художником, хотя его родители презирают художников и хотят, чтобы он продолжал фамильное дело. В ней сочетается как бы два разных характера, понятно? И вот она порхает то туда, то сюда — совсем как прелестная цирковая наездница... между прочим, она и есть цирковая наездница!

— Может получиться отличная роль,— нехотя согласился писатель.— Только никакая здешняя актриса не сумеет в один день изобразить на лице два разных выражения. Вам придется снимать каждую часть ее роли подряд — сначала с одним героем, потом с другим.

— Ну, план съемок... — начал было седовласый режиссер.

Но Карл заметил, что Дуг и Бэрли погрузились в угрюмое молчание. Они поглядывали друг на друга с явным недружелюбием. Вновь обретенная самоуверенность Карла мгновенно растворилась в страхе, однако тут же его озарила догадка. Господи Иисусе, они же завидуют друг другу!

— Но девушка умирает,— быстро заговорил он.— И неизвестно, которого же из двух она любила.

— Вы хотите сказать, что каждый воображал, будто она любит только его?— осведомился Бэрли. Такое решение задевало его самолюбие.

— О нет, нет, — заверил его Карл. — Как раз наоборот. Каждый думает, что она любит другого. Но они узнают правду только в эпилоге... Карлу очень нравились мягко, словно через дымку снятые эпилоги, которые как бы заменяют слова: «И так они жили до самой смерти в счастье и довольстве». Эпилог развертывается в поместье бедного мальчика, ставшего миллионером; у него красавица-жена. Богатый мальчик, теперь знаменитый художник, приезжает к нему в гости и тоже с красавицей-женой. Старые друзья любуются закатом. Инженер-миллионер уходит в дом и приносит фотографию умершей девушки. Он протягивает ее художнику. «Вот,— говорит он.— Я хотел отдать ее тебе много лет на-

зад. Она любила тебя». Художник грустно качает головой и открывает крышку часов. Там — портрет девушки. «Нет, она любила не меня, а тебя. Я понял это под конец». Они грустно улыбаются, и обоим становится легче на душе. Они обмениваются фотографиями, и мы знаем, что девушка всегда будет жить в их сердцах.

— Нельзя ли сделать все это чуточку сентиментальнее?— сухо спросил писатель.

— Нет, мне нравится именно так,— сказал Бэрли.— А вам, Дуг? Конечно, любой дурак мог бы найти тысячу недостатков в этом сценарии, но я говорю об общем настроении.

Дуг медлил с ответом, и Карл внезапно понял, что и сценарий, который обсуждался вначале, и этого драматурга выдвигал Дуг. По сути дела, подумал Карл, он подложил Дугу порядочную свинью.

— Что ж, мистер Бэрли,— сказал Дуг,— я уважаю ваше мнение, и мне нравятся идеи Карла. Однако мне хотелось бы увидеть более разработанный сценарий. Что вы скажете, Уилбер?— обратился он к писателю.— Не взялись бы вы сделать из этого законченное либретто?

— Надо подумать,— холодно сказал писатель.— Может быть, у мистера... э-э...

— Бэннермена,— подсказал Карл.

— ...у мистера Бэннермена есть еще какие-либо предложения?

— Нет,— ответил Карл.— Я же вам сказал, что я не писатель. Я — зазывала.

— Но вы будете работать с Уилбером, не правда ли, Карл?

Карл, улыбаясь, затряс головой.

— Нет, но я охотно просмотрю готовый сценарий — в качестве своего рода инспектора,— с хорошо разыгранной наивностью заявил он, и Бэрли кивнул.

Совещание закончилось; Волрат остался чрезвычайно доволен Карлом, но Карл изнемогал — и не столько от напряжения, сколько от ощущения холодной пустоты. Больше всего его угнетало сознание, что он надул и Бэрли и Волрата.

Да, он нашел место, где сумел показать «высший класс», но и это было основано на надувательстве. И нет такого места на земле, где его успех был бы вполне законным,—нет и не будет, он теперь убедился в этом.

Карл понял, что он, как те, ставшие рабами своей мечты, простаки, над которыми он издевался всю жизнь, тоже является блаженно-одурманенной жертвой своей глупой фантазии. А сейчас он очнулся и с тоской вспоминал о пролетевшем сне. Он улыбался, прислушиваясь к разговору этих влиятельных господ; он с серьезной важностью кивал, когда они обращались к нему за советом,— но все это было безрадостно. Ему захотелось поскорее узнать, где идет какая-нибудь картина с участием Нормы Ширер. Сейчас у него было самое подходящее настроение, чтобы посмотреть душещипательный фильм.

3

Дуг считал, что совещание прошло необыкновенно удачно. Вначале его раздражала нагловатая самоуверенность Карла, тем более, что вытащить Уилберфорса на побережье оказалось поистине мучительным делом. Ежедневные телефонные переговоры с Коннектикутом, где жил писатель, стоили Дугу больших усилий — приходилось не показывать виду, как его бесят то легкомысленные, то плаксивые отнекивания Уилберфорса. Уилберфорс был бесспорно талантлив, но в его упорных отказах Дугу чудился вызов. Дуг отлично знал, что каждый разговор с ним писатель

представляет в лицах своим приятелям, изображая Волрата типичным для Голливуда меднолобым дельцом; и это еще больше укрепило Дуга в его решении во что бы то ни стало вынудить у этого человека согласие.

Более того, престиж Уилберфорса мог разжечь интерес Бэрли, а Дуг нуждался в Бэрли, потому что тот обладал возможностями распространения кинокартин. И только в последнюю минуту Дуг, спохватившись, вызвал Карла. Он полагал, что Карл будет на все отвечать одобрительными кивками, и беседа плавно потечет по намеченному руслу.

Неожиданный оборот дела понравился Дугу гораздо больше, чем ему показалось вначале. Бэрли, делец до кончика ногтей, терпеть не мог бойких импрессарио и бурные темпераменты. Однако, несмотря на свойственную Карлу манеру держаться — смесь напыщенности и развязности, граничащей с грубостью,— он сумел целиком завладеть своей аудиторией, и это придало ему цену в глазах Бэрли.

Но больше всего Дуг был доволен тем, что с писателя сбили спесь, хотя Дуг должен был признаться себе, что это несправедливо, потому что первоначальный вариант сценария отличался гораздо большим вкусом и тонкостью, чем нелепая стряпня Карла; а впрочем, какого черта — если писателю это не по душе, пусть убирается к себе в Коннектикут и прибавит этот эпизод к своей коллекции анекдотов о нравах Голливуда. Но Дуг знал, что писатель не уедет. Ему, по всей вероятности, нужны деньги — что ж, пусть этот индюк заработает их ценою своего попранного самолюбия!

Дугу стало весело при мысли, что этот случай является еще одним доказательством его почти сверхъестественного везенья. Он покачал головой и рассмеялся — какие бы планы он ни строил, всегда случается что-то такое, в результате чего итоги превосходят все его ожидания.

Взять хотя бы эту затею с авиазаводом. Дуг готов был поклясться на целой кипе библий, что, покупая захудалый заводишко, он меньше всего рассчитывал получить огромную прибыль. Он честно намеревался выпускать самые лучшие самолеты, какие только возможно. И ему это удалось. Вся страна убедилась в том, что ему это удалось.

Но завод ему надоел, вот и все; а если человеку надоедает дело, в которое он вложил свои собственные деньги, то разве он не имеет права поддаться порыву и плюнуть на все? Право же, не было никаких оснований к тому, чтобы акции поднялись так высоко. Это, черт возьми, наверно, было подстроено в конторе какого-нибудь воротилы там, на Востоке. Он опять-таки готов поклясться, что не представлял себе, какую магическую силу приобрело его имя после авиасостязаний и что его уход из дела вызовет катастрофу. Ну что ж, тем хуже для молососов, которые толпами валили к нему на завод. Все это представлялось Волрату ясным как день — ему надоело возиться с заводом, и благодаря этому он сорвал куш в шесть миллионов долларов. Можно ли было упустить такой случай?

Дуг закрыл дверь в коридор и с довольным видом обернулся, раскинув руки, но поздравлять его было некому. Марго распахнула настежь все окна и теперь вытряхивала из пепельниц окурки. Другая девушка, которую он до сих пор почти не замечал, склонясь над своими записями, делала какие-то пометки. Почувствовав рядом с собой Дуга, она робко подняла глаза.

— Сколько вам нужно экземпляров, мистер Волрат?

— Спросите мисс Мэллори. Она здесь хозяйка,— засмеялся Дуг.

Но Марго не была расположена к шуткам, и Дуг поморщился — по ее быстрым, точным движениям он догадался, что ссоры не миновать.

— Один экземпляр для нас, один для мистера Бэрли,— сказала

Марго, постукивая пепельницей о край корзинки для бумаг. — Уилберфорсу вы тоже, наверно, захотите дать экземпляр?

— Конечно,— согласился Дуг.— И, пожалуй, хватит. Что вам заказать на завтрак, Марго?

— Ничего,— ответила она, как бы не замечая его стараний отвести надвигающуюся грозу.— Мисс Норс, можете взять это все в мою комнату и там перепечатать.

— Почему ей нельзя печатать здесь?

Марго вскинула на него глаза.

— Потому что вы всегда говорите, что вас раздражает стук машинки, особенно после совещания.

— О, ну ладно. Ладно.— Дуг вздохнул; она поймала его на слове. Впрочем, сцены, которые устраивала Марго, значили для него все меньше и меньше. Трата времени — вот что удручало его больше всего.

— Что ж, дел у меня сейчас больше нет,— оживленно заговорил он.— Пожалуй, пойду завтракать.

— Ну и прекрасно.

Марго догадалась, что он хочет сбежать,— Дуг понял это, и инстинкт подсказал ему, что надо уходить немедленно. Но вопреки внутреннему голосу он остановился у двери и шутливым тоном спросил:

— С каких пор в нашем маленьком хозяйстве появилась эта крошка?

— Мисс Норс?— Марго замялась, потом взглянула ему прямо в глаза.

Сердце Дуга замерло; черт его дернул задержаться. Он взялся было за ручку двери, но слова Марго заставили его остановиться.

— Я готовлю ее взамен себя.

— О господи, ты опять собираешься уходить?— еле сдерживаясь, спросил он. Им вдруг овладело бешенство.

— Не беспокойся,— сказала Марго.— Это в последний раз.

— Ах, так? Отлично. Тогда пусть это произойдет сейчас же.

— Это произошло уже две недели назад,— ответила Марго.— С тех пор я не брала у вас ни цента.

Рука Дуга, лежавшая на ручке двери, бессильно упала. С чего он взял, что может хладнокровно относиться к таким сценам, смутно удивился он. Ничего на свете ему так не хотелось, как иметь силы послать ее к черту и тут же уйти из комнаты, а заодно и из ее жизни.

Он вспомнил тот день, когда впервые увидел Марго, и свое необъяснимое внутреннее сопротивление ее обаянию. Чутье тогда подсказывало ему, что дело тут не кончится обычной связью, но у него, к сожалению, не хватило рассудка прислушаться к внутреннему голосу. Но как бы сильно Марго ни волновала его когда-то, теперь все прошло — она ему надоела. Никогда он уже не услышит от нее ничего неожиданного, никогда ее восхищение не будет радовать его, как прежде, и близость уже не принесет им новых радостей. Ни в душевных, ни в физических ее свойствах — в ее ласках, в ее запахе, ее уме — он не откроет для себя ничего нового. И все же, будь оно все проклято, он не может прогнать ее или даже дать ей уйти, пока эта давно минувшая буря не замрет совсем, перейдя в полный штиль.

— Чего ты хочешь от меня, Марго? — взмолился он. — Мне, наверно, полагается спросить «почему», или «что еще случилось на этот раз», или «чем я провинился»? Черт, мне до смерти опротивели всякие извинения и оправдания. Да и к чему они? Я такой, как есть — хороший или дурной. Я поступаю так, как поступаю — хорошо или плохо. Я не могу перемениться, даже, если б и захотел.

— Я знаю, — спокойно сказала Марго, и он понял — его горячность ошеломила ее до того, что она даже перестала злиться. — Я все это

знаю, Дуг. И поэтому я ухожу. Мне больше нечего тебе предложить. Даже на уловки я уже неспособна.

— Да никаких уловок и не было, Марго.

— Были, Дуг, — твердо сказала Марго, не глядя на него. Голос ее звучал глухо.— Я могла довести тебя до бешенства, или завлечь тебя, или мучить так, что тебе на время начинало казаться, будто ты без меня жить не можешь. Мне все это удавалось потому, что я достаточно хорошо тебя знаю. Я не оставляла тебя в покое... я хотела, чтобы ты женился на мне. Должно быть, такая мысль засела у меня в голове с самого начала. Разумеется, тогда я была влюблена в тебя, а ты в меня... Ведь когда-то ты был влюблен в меня, правда?

— Ты сама знаешь, что да. А теперь — я и сам не могу понять, но только...

— Я вовсе не собираюсь тебя осуждать, — искренне сказала Марго. — И если я злилась, то не на тебя. Просто я устала придумывать одну пошлую уловку за другой и уверять себя, что поскольку это делаю я, то никакой пошлости тут нет. Вот почему я вычеркнула себя из платежной ведомости, — добавила она и насмешливо улыбнулась. — Особа, которая столько раз грозилась уйти, не заслуживает уведомления за две недели вперед.

— Ты получила телеграмму во время совещания,— вдруг вспомнил он. — Это как-нибудь связано с твоим решением?

— Никак. Я пришла к этому решению две недели назад, а телеграмма получена сегодня. Это от Кена и Дэви. Они давно ничего не получали от меня и беспокоятся, вот и все. А дела у них идут отлично, просто отлично!

— Марго! — отчаянно выкрикнул он ее имя в страшной тревоге, которая нападала на него каждый раз, когда кто-нибудь хотел уйти от него прежде, чем он сам предлагал расстаться. — Неужели нельзя ничего придумать, чтобы ты осталась со мной? Неужели из всех существующих способов ладить друг с другом для нас с тобой не годится ни один? Ведь ты мне нужна как помощница!

— Тебе никто не нужен, Дуг, — возразила Марго. — Обыкновенная картотека тебе вполне может заменить мои услуги. Тебе нужен только один человек — ты сам, и всегда и всюду он у тебя на первом плане.

— Марго! — предостерегающим тоном произнес Дуг. — Ты сказала, что не будешь меня осуждать.

— Я и не осуждаю. Ведь ты сам сказал, что не можешь быть иным. И все-таки ты не такой, каким тебе хочется быть. По-моему, ты даже сам толком не знаешь, каким хочешь быть!

— Никаким. Меня устраивает то, что есть, — бросил Дуг. Он отошел к окну, но томительность ожидания, как невидимая ниточка, тянула его к Марго, — как будто он когда-то давно совершил тайное, до сих пор не раскрытое преступление и теперь убедился, что кто-то все время об этом знал. Что это было за преступление, он не знал и сам, но сейчас с трепетом ждал неведомой и страшной кары. Ему страстно хотелось услышать, что она еще скажет,— быть может, он поймет из ее дальнейших слов, что эти намеки — только совпадение; и в то же время ему не менее сильно хотелось, чтобы этот шантажирующий его голос умолк навсегда. — Меня устраивает то, что есть, — повторил он.

— Ладно, — вяло произнесла Марго. — Пусть будет так.

Дуг стоял у окна и делал вид, будто смотрит на залитую солнцем улицу; наконец он почувствовал, что больше не может выдержать ее молчания.

— Ну что ж, продолжай! — вдруг крикнул он, резко обернувшись

к ней. — Или это еще одна пошлая уловка, чтобы выбить у меня землю из-под ног?

Марго подняла голову и с искренним удивлением взглянула ему в лицо.

— О чем ты говоришь?

— О себе. Ты сказала...

— Но ты же не хотел слушать.

— Я хочу, чтобы ты все сказала! — Он стукнул кулаком по спинке кресла. — Говори, Марго! Говори!

Марго покачала головой, и он впервые увидел в ее серых глазах неподдельное, безграничное сочувствие. Так могла бы смотреть женщина много старше его, женщина, которой понятны все терзавшие его страхи.

— Ты считаешь меня неудачником, — настаивал он.

— Я этого не говорила, Дуг.

— Но ты так думаешь. И это правда, Марго, это правда! — простонал Дуг. Наконец-то он сбросил стальные латы, которые давно, сколько он себя помнил, стискивали ему грудь. — Каждое утро я встаю с таким чувством, будто за мной гонятся. Среди ночи я вдруг просыпаюсь, как от толчка. Я должен спешить, спешить, спешить, потому что если я чего-то не сделаю, я умру. Но что, Марго, что я должен сделать? И почему, если мне это не удастся, я погибну? Скажи мне, ради бога! — крикнул он. — Я непохож на других людей. Я лучше их. Но как мне доказать это другим, чтобы убедить и самого себя? Всюду вокруг я вижу людей, в которых есть нечто такое, что делает их особенными. Мел Торн знает самолеты так, как мне никогда в жизни их не знать. Возьми хоть этого болвана Уилберфорса, возьми Карла — или даже твоих братьев... То, что в них есть, — это как медаль, которую видно каждому. А у меня нет никакой медали, Марго.

— Неправда, Дуг, есть! — Она подошла к опустившемуся на стул Волрату и прижала к груди его поникшую голову. — У тебя есть талант, и очень редкий. Ты умеешь угадывать способности в людях. Для любого другого Мел Торн — просто опустившийся ветеран войны, несчастный забулдыга. И один только ты распознал, что в нем что-то есть, и вытащил на свет его способности, хотя он и ненавидит тебя за это. Ты вдохнул в него волю, которой он никогда бы не нашел в себе, если б не ты. Карл — ты же знаешь, что представлял собой Карл: ничтожество, жалкий бродяга, — но у него есть одна-единственная способность, и ты поставил его на такое место, где он может быть полезен и будет полезен!

Волрат прижался головой к груди Марго и обнял ее за талию. Знакомое тепло ее тела дало ему такую блаженную уверенность в себе, что никакие слова не шли ему на ум — он весь отдался ощущению этой уверенности, он наслаждался ею и набирался новых сил для борьбы с самим собой. Ему захотелось навсегда удержать Марго при себе. Ему хотелось, чтобы она всегда была возле него по утрам, когда он просыпается, — при ней его не мучила бы эта потребность куда-то спешить. Ему хотелось ощущать ее рядом с собой в темноте, чтобы ее сочувственные руки возвращали ему покой. Она — единственный человек, которому он вслух признался в чем-то сокровенном, и она, его судья, оправдала его, а страшное преступление оказалось вовсе не преступлением — по крайней мере, по ее законам.

— Останься со мной, девочка, — прошептал он. — Останься.

— Нет, Дуг, — мягко сказала Марго. — Это только сейчас ты так настроен. А через неделю...

— Через неделю будет то же самое. Давай поженимся, детка. Нам давно следовало бы это сделать. Прошу тебя...

— Не проси... — голос ее оборвался; еле сдерживая слезы, она отошла от него. — Слишком поздно... ах, боже мой, слишком поздно!..

Дуг быстро встал, вспыхнув от досады,— в такой момент, когда ему необходимо сочувствие, она навязывает ему свои горести! Но нежность к ней все-таки пересилила, и ему удалось успокоить Марго — теперь она снова станет на страже, не подпуская к нему никаких страхов. Без нее он никогда не будет чувствовать себя спокойно. Он прижал Марго к себе и шептал ей какие-то слова, порожденные долгой близостью, и он был очень терпелив с нею, потому что действительно обладал способностью заставлять людей делать то, что удавалось им лучше всего, — если видел в этом выгоду для себя.

4

Деньги, о которых Дэви намекнул Марго, были высланы ему по телеграфу почти немедленно, без объяснения причин задержки. На следующей неделе деньги пришли во-время, а через несколько дней была получена телеграмма: «Мы с Дугом обвенчались сегодня утром. Медовый месяц на Гавайях. Скоро напишу. Целую. Марго».

Дэви держал телеграмму двумя пальцами — руки его были влажны от пота, потому что снова пришло лето и наступила жара. Июльское утро вливалось снаружи волнами монотонных то нарастающих, то замирающих звуков — мимо по булыжной мостовой с грохотом проносились машины. Дэви положил паяльник и вытер вспотевшее лицо тыльной стороной руки. Он хотел было улыбнуться, но тут же ощутил глухую и необъяснимую печаль, как будто кто-то шепнул ему, что он никогда больше не увидит сестру.

Но ведь глупо же огорчаться, сказал он себе; об этом браке так мечтала Марго, да и он сам хотел, чтобы она вышла замуж. Однако до сих пор он не понимал, что, желая счастья Марго, он бессознательно считал, что брак ее совершится, только когда они с Кеном достигнут настоящего успеха и разница между ними и Волратом не будет такой огромной, как сейчас.

Без всяких предисловий он протянул телеграмму Кену. Тот стал читать; на мгновение наступила тишина, и звуки лета опять ворвались в полутемную мастерскую, которая, с тех пор как ушли техники, стала походить на пустынную пещеру.

— Спасибо, что хоть удосужилась известить, — сухо сказал Кен и скомкал телеграмму.

— Ну что ты, Кен, будь же справедливым. Она занята по горло и все-таки не забывает аккуратно высылать нам деньги.

— Она просто откупается от нас, — сказал Кен. — Вот так же иногда звонишь девушке, которая тебе давно безразлична, для того чтобы она не считала тебя свиньей. Мне от Марго нужно только одно — чтобы она высылала нам деньги, пока мы не заплатим долг Броку. А на все остальное мне наплевать.

— Чего же ты, собственно, сердишься? Признаться, мне тоже как-то не по себе, но какое мы имеем право? Разве мы ждали, что она выпишет нас к себе на свадьбу? Разве мы вообще чего-нибудь ждали?

Кен передернул плечами и нагнулся к своим инструментам.

— Я уже давно ничего от нее не жду. — Он поднял на Дэви очень спокойный взгляд. — Слушай, Дэви. Ты, Марго и я были крепко дружны между собой; мы были по-настоящему близки. И никакие ее возлюбленные не мешали нашей дружбе. Но появился Волрат — и все кончилось. С тех пор мы с тобой брошены.

— Нет, она все еще с нами.

— А ты все еще обманываешь себя! — Кен швырнул на стол скомканную телеграмму. — У нас больше нет сестры, малыш, и ты еще вспомнишь мои слова. «Скоро напишу»! Как же, дожидайся!

Дэви позвонил Вики и сообщил ей новость. Вики заволновалась.

— Дэви, — воскликнула она, — мне пришла в голову замечательная мысль...

Дэви обернулся к Кену.

— Вики предлагает пойти куда-нибудь вечером и отпраздновать свадьбу Марго.

Кен презрительно хмыкнул.

— Кен, ну перестань...

— Никуда я не пойду.

— Послушай...

— Я сказал — не пойду! — Губы Кена были твердо сжаты. — Я помню, как я приглашал тебя пойти со мной и Вики, когда мы с ней ходили по вечерам гулять, — ты тогда злился, как черт. Оставьте меня в покое, прошу вас! — вдруг закричал он. — Сегодня вечером я хочу быть один!

Дэви грустно поглядел на брата, потом, прикрыв трубку рукой, чтобы не слышала Вики, сказал:

— Тогда и я никуда не пойду, и давай будем весь вечер работать. — По его голосу трудно было догадаться, чего ему это стоило. — У меня есть одна идея.

— Ты же назначил свиданье, — бросил Кен. — Ну и иди себе.

— Я предпочитаю остаться с тобой дома, — настаивал Дэви, и когда Кен ничего ему не ответил и даже знаком не выразил ни согласия, ни отказа, он понял, что это будет самым разумным.

— Хелло, Вики, — сказал он. — Это ты здорово придумала, но нам с Кеном сегодня нужно работать.

— Это Кен так хочет? — не сразу спросила она. — Я тоже могу прийти поработать.

— Видишь ли, мы будем обсуждать одну идею...

— А я буду печатать, — сказала Вики. — Я не буду разговаривать.

— Я позвоню тебе завтра, — докончил он, словно не расслышав обиды в ее голосе.

Он повесил трубку, ненавидя себя за беспомощность, и, обернувшись, увидел, что Кен сидит неподвижно.

— Я роюсь в памяти, — медленно произнес Кен, — и не могу припомнить случая, чтобы я из-за тебя не пошел на свидание. О, черт, прости меня, Дэви.

— Ну ладно, оставь. Нам с тобой нужно обмозговать одну идею.

— Какую там идею? — Кен сделал такую скептическую гримасу, что Дэви рассмеялся.

— Поговорим о нашей трубке, — сказал он. — У нас с тобой в голове ведь ничего другого нет, не так ли?

Они отметили свадьбу Марго, пообедав за прилавком кафетерия, вместо того чтобы готовить обед дома. Дэви все время надеялся, что вот-вот войдет Вики. Он скучал по ней. Нехорошо, что он позволил отстранить ее.

— Я, пожалуй, сознаюсь тебе, — наконец сказал Кен. — С меня довольно. Пора нам взяться за ум. Если через шесть месяцев мы не найдем решения, то к черту всю эту затею! Шесть месяцев, Дэви, а потом мы либо ищем себе работу, либо всерьез беремся за радиоустановки для самолетов. Кругом полно выгодных дел, и нечего нам с тобой перебиваться кое-как, словно у нас нет выбора.

— Как ты можешь так говорить — ведь еще немного, и наш прибор будет работать!

— Черта с два!

— Нам только надо додуматься, почему в тот раз трубка работала отлично всего одну минуту. Я все-таки могу поклясться, что все дело в вакууме.

— Это и есть та гениальная идея, о которой ты говорил? — холодно спросил Кен.

— Не смейся, Кен, подумай об этом. Мы выкачали весь воздух внутри трубки, включая и тонкий слой молекул воздуха, которые обязательно оседают на всякой внутренней поверхности. Мы запаяли трубку, и все-таки, черт возьми, во время испытания она действовала так, будто внутрь попал воздух. А проникнуть он мог только одним путем.

— Воздух не мог проникнуть снаружи. Ты нигде не найдешь даже самого крохотного отверстия.

— Вот об этом я и говорю. Должно быть, пузырьки молекул воздуха попали внутрь стекла и металла в процессе работы, когда материал был расплавлен. Может, наши рабочие температуры настолько высоки, что могут протолкнуть эти оставшиеся пузырьки сквозь твердую поверхность, вроде того как в нагретой воде подымаются пузырьки воздуха. Надо придумать, как это проверить.

— Ладно, — согласился Кен. — Можно заняться этой штукой, только помни, Дэви, шесть месяцев — это крайний срок. Я говорю всерьез.

Они пошли домой и, еще не успев открыть дверь, Дэви услышал стук пишущей машинки. Вики сидела в конторе одна, за машинкой; рядом на столе, как всегда, высилась стопка бумаг. Когда они вошли, Вики не прервала работы и не подняла головы. Дэви и Кен переглянулись; Кен первый отвел глаза. Он ничего не сказал, задумчиво прошел к своему рабочему столу, снял пиджак и шляпу и надел комбинезон. Дэви вошел в контору.

Вики с минуту молчала, видимо, поглощенная своей работой.

— Я пришла потому, что мне захотелось поработать, — сказала она наконец. И только тогда подняла на него глаза. — Это ничего?

— Конечно, — ответил Дэви. — Я рад, что ты все-таки пришла.

Это было сказано таким тоном, что Вики бросила на него благодарный взгляд.

— Где вы обедали? — грустно спросила она.

— В кафетерии. Мне было тоскливо без тебя.

— И мне без тебя было тоскливо. Без вас обоих. Я чувствовала себя так, будто передо мной захлопнули дверь.

— Мне ужасно неприятно, Вики. Ты ведь знаешь.

— Знаю, Дэви. Как ты думаешь, Кен очень сердится, что я пришла?

— Сердится? Нет. Должно быть, ему стыдно.

— Что мне ему сказать, чтобы как-то уладить все это?

— Боюсь, будет еще хуже.

— Нет, надо что-то придумать.

К двери подошел Кен.

— Я готов, Дэви.

— Кен, — сказала Вики. — Я...

— Не надо ничего говорить, Вики, хорошо? Мне только жаль, что у вас не хватило ума сразу пойти с нами.

— А мне жаль, что у вас не хватило ума пригласить меня.

Кен криво усмехнулся.

— Знаете, если б у меня хватало ума, я не был бы таким, какой я есть.

Вики засмеялась, и мир был восстановлен. Она повернулась к Дэви.

— Сегодня не будешь заниматься патентами?

— Нет, — сказал Дэви. — Мы хотим еще раз вскрыть трубку.

Вики протестующе подняла обе руки.

— Я не могу этого видеть. Каждый раз, когда вы беретесь за трубку, у меня останавливается сердце. Ну что ж, вскрывайте, только я пристроюсь с машинкой где-нибудь подальше, чтобы не видеть вас.

Стекло было специальностью Кена, и в его движениях чувствовалась ловкость искусного мастера. Он взял треугольный напильник и быстрым движением прочертил круг по стеклянному отростку трубки, служившему для откачки воздуха. Потом чрезвычайно осторожно сделал надлом. И вот наступил критический момент: легкое шипенье, струйка пара и тихое «крак» — четкая трещинка поползла по стеклу вдоль круговой наметки и замкнулась — в эту секунду братья затаили дыхание, ибо если бы стекло треснуло неровно, вся трубка разлетелась бы вдребезги.

Но трещина оказалась ровной, воздух с легким вздохом устремился внутрь, и трубка была благополучно вскрыта — теперь ее можно снова запаять под вакуумным насосом.

Вдруг в тишине раздался нарастающий стук пишущей машинки, и Дэви понял — Вики все это время сидела не шевелясь, пока не убедилась, что вскрытие трубки прошло благополучно. Он улыбнулся про себя, тронутый ее беспокойством.

Потом послышалось тяжелое прерывистое постукивание насоса, выкачивающего воздух, — унылый дергающий звук, который мог бы вызвать инстинктивный ужас у человека, обладающего сильным воображением и представившего себя внутри этого маленького стеклянного легкого. Когда давление упало почти до одной миллионной доли атмосферы, была пущена в ход печь высокочастотного нагрева. Целый час в трубку поступало тепло за счет теплопроводности и излучения. Теперь давление в трубке было сведено к одной десятимиллионной атмосферы, и им приходилось делать измерения таким же способом, каким астрономы измеряют вакуум межзвездного пространства.

— Что теперь? — спросил Кен.

— Закрой трубку и присоедини электроды, как при включении. Через час или около того мы снова измерим давление.

— И что же мы тогда узнаем?

— То, что будет через час. Твой шестимесячный срок еще только начинается.

Через час с четвертью, измерив давление, они обнаружили в трубке присутствие воздуха — правда, еле уловимое, но все же несомненное,— однако он никак не мог просочиться снаружи. И это бесконечно малое количество воздуха мешало четкости изображения и делало трубку непригодной.

— Ты победил, — сказал Кен. — Воздуху там больше, чем могло остаться на внутренних поверхностях. Давай пропускать в нее тепло целый день — посмотрим, что получится.

— Давай уж поджаривать ее целую неделю, — отозвался Дэви. — Лучше перебрать, чем недобрать.

— Ну что ж, — с горечью согласился Кен. — Время — это единственное, чего у нас вдоволь, малыш.

Однако он был неправ.

Никогда и нигде во всей вселенной время не бывает прямой, бесконечной полоской, тянущейся без извивов из маленьких тикающих машинок, которые носят с собой люди; время — это вьючное животное, которое имеет шпоры и пришпоривает само себя.

В беспредельном пространстве, где царят мрак, взрывы и безмол-

вие, время движется спиралями и зигзагами, то и дело возвращаясь обратно и следуя путями, еще более запутанными, чем космический хаос. И в человеческой жизни время тоже представляет собой поток, в котором есть стремнины, водовороты и даже притоки, так что человек может жить не в одном только ритме — в чем-то время для него бежит быстро и бурно, а другая часть его жизни протекает медленно и безмятежно. Ритмы эти можно различить только ретроспективно. В каждый данный момент человек слышит только ровное тиканье зубцов, движущихся в механизме, где тугая пружинка, разворачиваясь, заставляет крохотные зубчатые шестеренки с обманчивой точностью отщелкивать одну секунду за другой.

Почти полгода Кену и Дэви казалось, будто время движется с плавной медлительностью. Но, подобно реке, которая незаметно ускоряет свое течение задолго до отвесного порога, ход жизни приближал их к новому повороту судьбы, который был определен далеко отсюда — в одном из вашингтонских правительственных учреждений и в технической конторе на восемнадцатом этаже чикагского административного здания. И первой приметой, вроде плывущего по воде листка, который течение начинает нести все быстрее, явилось сообщение от Чарлза Стюарта, адвоката, Административное здание штата, Кэпитол-сквер, Уикершем.

5

Со своими клиентами в городе Уикершеме, а также с адвокатами противных сторон Чарли Стюарт разговаривал холодным скрипучим голосом, и даже когда он машинально впадал в свой «перекрестно-допросный» тон, то и в грубой, придирчивой прямоте чувствовалось надменное презрение культурного человека, который старается добиться толку от прирожденного болвана, сидящего на свидетельской скамье. Но когда Чарли случалось встретить какого-нибудь своего бывшего однокашника, ныне практикующего в Чикаго, Миннеаполисе или даже в Милуоки, он начинал говорить врастяжку, как говорят в простонародье. Даже выражение «мне сдается» с непривычной легкостью слетало у него с языка в обществе подтянутых столичных жителей.

— Так вот, — говорил он, произнося это, как «тык-вот», — сдается мне, что в такой дыре, как Уикершем, живешь вроде более независимо. У нас есть свои богачи и свои бедняки, как в больших городах, но наши бедняки не так бедны, чтобы приставать к вам на улицах, а наши богачи не так богаты, чтоб их нельзя было послать к черту.

И каждый раз, высказывая это утверждение, он почти верил своим словам, ибо вдали от Уикершема им овладевало тревожное ощущение, что он не властен над своим другим «я», у которого был такой громкий голос и манеры, словно у какого-нибудь мужлана. Порою он впадал в другую крайность и становился чопорным, сухим и молчаливым. Разъезжая по незнакомым городам, он испытывал приятное возбуждение и часто лежал без сна в номере какой-нибудь недорогой гостиницы, глядя на темный потолок, где, как и в его мозгу, мелькали отсветы жизни, бурлящей снаружи, на невидимой улице. Однако с некоторых пор Чарли Стюарт уже не доверял себе ведение каких-либо дел далеко от дома.

Дома он знал свое место и никогда не обольщался — разве только позволял себе тешиться невинной мечтой, что в один прекрасный день станет губернатором штата. Дома он никогда не говорил вслух и даже не думал о том, что «богачи не так богаты, чтоб их нельзя было послать к черту». Все дела велись для Брока, а если они не имели прямого отношения к интересам банкира, то велись с его разрешения.

Ни один человек в городе, кроме служащих банка, не мог общаться с Броком непосредственно и ежедневно; но, по крайней мере, раз в две недели можно было встретиться с ним в клубе или заглянуть к нему в кабинет, потолковать о том, что делается на белом свете, и в дружеской беседе выведать у Брока, что произошло со времени последней такой встречи.

Разумеется, среди жителей городка были такие, что гордились своей независимостью, но рано или поздно наступал день, когда каждый из них являлся в банк в качестве просителя, и там, несмотря на всю свою независимость, долго-долго ждал на виду у всех, пока м-р Брок занимался более срочными делами. Нет, Чарли Стюарт никогда не пошлет Брока к черту, потому что Чарли держал ухо востро и никогда не пытался прыгнуть выше своей головы. Он, как большинство его сограждан, покупал себе черные костюмы фабричного пошива. Он ездил в черном шестицилиндровом «бьюике». Он носил черные ботинки на шнурках и плотные, длинные зимние кальсоны. Он имел недурную практику и не нуждался в средствах. Его первой серьезной ошибкой в жизни было то, что он согласился взять в клиенты Дэви Мэллори и его брата после того, как они порвали с Броком.

В клубе или во время игры в гольф, в банке или в своей конторе при каждом удобном случае Чарли Стюарт пространно объяснял, что он и понятия не имел, какую свинью готовились подложить ему эти юные ловкачи. Дэви просил его взяться за ведение кое-каких дел, связанных с получением патентов, и договорился насчет гонорара; и что же, черт возьми, Дэви сразу же так завалил его работой, что если б не данное им слово, он бы отослал назад по почте весь этот ворох бумаг. Вот, ей-богу, какие бывают случаи!

В течение нескольких недель, потребовавшихся на то, чтобы превратить описания изобретений в заявки на патент, Чарли казалось, что в его контору вторглись два заговорщика, которые и его самого безжалостно превратили в инструмент для осуществления своего плана завладеть всем миром. Дэви и Кен усаживались по обе стороны его письменного стола и проверяли каждое написанное им слово. Особенно Дэви, обнаруживший поразительную способность улавливать все юридические тонкости. И Чарли подолгу сидел, держа карандаш в руке, пока Дэви и Кен обсуждали между собой какую-нибудь фразу, стремясь добиться большей точности. Мысли юношей приобрели такую же ясную подвижность, как и их исхудалые лица — оба они производили впечатление вечно голодных, озлобленных и одержимых людей. Когда последняя заявка была готова, они наконец оставили Чарли в покое — словно заговорщики уже начинили бомбами замедленного действия всю землю вокруг и теперь сосредоточили свою лихорадочную деятельность где-то в другом месте.

Чарли пришлось оправдываться перед Броком. Ведь он дал слово, а они каждую неделю аккуратно уплачивают ему гонорар. Что же ему остается делать? Его худое очкастое лицо выражало неподдельное отчаяние.

Брок просто пожал плечами — из самолюбия банкир никогда не выказывал недовольства, — но Чарли Стюарт понимал, что он вне себя от злости на братьев Мэллори, и особенно на Дэви, потому что они не сдались ему и вдобавок без всякой помощи с его стороны получили заказ от авиационной компании Волрата, которая после финансовых потрясений как-то ухитрилась стать на ноги. Чарли очень тяготился своими клиентами. Он разговаривал с ними не иначе, как грубоватым, чуть ли не оскорбительным тоном, словно каждую минуту ожидал, что

Брок случайно заглянет в его контору и воочию убедится, как относится ко всему этому Чарли Стюарт.

Узнав из местных газет, что Марго Мэллори обвенчалась в Калифорнии с Волратом, Чарли на какое-то время заколебался, но длилось это недолго. И не только он — даже Брок стал отзываться о братьях Мэллори несколько мягче; но неделя шла за неделей, а по братьям Мэллори не видно было, чтобы Волрат снабжал их деньгами. Дэви одевался так же, как и прежде, питался так же, как и прежде, и так же работал — и Кен тоже. В конце концов в городе больше всего стали судачить о том, что Кен не желает признавать этот брак. Многим это нравилось, особенно тем, кого Волрат уволил с работы, и тем, кто потерял деньги, вложенные в акции его предприятия.

И вдруг, только Чарли стал было привыкать к мысли, что братья перестали посягать на его контору, как вся эта проклятая история началась сначала. Вернувшись из четырехдневной поездки по штату, Чарли с трудом открыл свою дверь — она была буквально забаррикадирована изнутри пакетами из Бюро патентов, наваленных грудой дюймов в десять вышиной. Он тотчас же подошел к телефону и вызвал Дэви.

— Зайдите ко мне, — сказал он. — Бо́льшая часть материала возвращена для дальнейшей обработки. Основное ваше изобретение признано годным, и, насколько я понимаю, вам выдано два патента.

В трубке наступило полное молчание, и Чарли даже подумал, что их разъединили.

— Вы говорите, по двум заявкам из последней огромной кучи выданы патенты? — Голос Дэви звучал глухо и удивленно.

— Только не спрашивайте меня, которые; в одной что-то насчет колебательного контура — помню, вы говорили, что это идея Кена, — а в другой... сейчас... ага, вот... она называется «Параллельные схемы многоэлементных трубок как метод наблюдения за синхронным действием разнообразных приборов». Это вам что-нибудь говорит?

— Не валяйте дурака, — еле слышно отозвался Дэви.

— А что, собственно, вас удивляет? — возмутился Чарли. — Зачем же вы тратили мое время и свои деньги, если не надеялись на нечто подобное?

Голос Дэви был очень тихим и словно издали доносился в трубку, но вдруг жестокий заговорщик, ловкий следопыт, рыщущий в дебрях юридической фразеологии, закричал, как растерявшийся от радости мальчишка:

— Кен, слушай! Мы — настоящие профессиональные изобретатели! Мы наконец добились!..

Однако всего неделю спустя Чарли уже держался так, словно не осмеливался беспокоить братьев Мэллори такой мелочью, как телефонный звонок. Он приехал к ним без всякого предупреждения, и когда он вышел из «бьюика» и перешагнул порог мастерской, манеры его стали совершенно иными.

Дэви писал что-то в рабочей тетради, а Кен на другом конце мастерской возился с каким-то внушительного вида прибором, который, видно, включал в себя и печь, так как в помещении стояла нестерпимая жара. Дэви не слышал, как вошел адвокат, но через секунду поднял голову, и Чарли понял, что этот исхудавший смуглый молодой человек гораздо старше того мальчика, для которого он когда-то устраивал встречу с университетскими профессорами.

— Присядьте, мистер Стюарт. Мы все никак не выберем время заняться заявками, — сказал Дэви.

— Что ж, после того, что я вам скажу, вы, вероятно, сумеете найти время. Прежде всего, позвольте спросить, известна ли вам фирма, име-

нуемая «Электромэтик корпорейшен»? — Чарли достал из внутреннего кармана полученное сегодня утром письмо и взглянул на гриф. — Она находится в Чикаго.

— Да, — ответил Дэви, глядя на адвоката со сдержанным любопытством. — Эта фирма делает электрические приборы для точных измерений. А что?

— Они хотят заключить с вами договор. Вот, они прислали мне предложение насчет одного из этих новых патентов. Они имеют в виду вашу схему параллельных трубок.

— Они хотят *купить* ее? — Дэви даже приподнялся. Кен, стоявший на другом конце мастерской, обернулся в их сторону.

— Они предлагают три тысячи пятьсот долларов за право распоряжаться этой штукой по своему усмотрению. А вы во сколько ее цените?

Дэви поглядел на него, потом стал читать письмо.

— Кен, иди сюда, прочти-ка это! — крикнул Дэви и сел за стол. Быстро подсчитав что-то на клочке бумаги, он сказал: — Четыре тысячи семьсот сразу, с тем, что мы сохраняем неограниченное право использовать эту схему в своей работе.

— Господи, — Кен медленно перевел дух. — Не меньше двадцати тысяч, Дэви, если она вообще чего-нибудь стоит!

— Как это ты высчитал? — засмеялся Дэви.

— По-моему, самая подходящая цена. А ты-то откуда взял четыре тысячи семьсот?

— Я подсчитал, сколько мы еще должны Броку, прибавил гонорар мистера Стюарта и стоимость нескольких месяцев работы. Я не исхожу из расчета стоимости плюс прибыль. Я хочу получить ровно столько, сколько нам нужно, чтобы спокойно продолжать работу.

— Это просто безумие, — заволновался Кен. — Так считать нельзя. Ведь фирме явно нужна эта проклятая штука, или, может, там задумано какое-нибудь изобретение, для которого она необходима. Тут-то их и надо подцепить, Дэви. Ведь сам посуди...

— Кен прав, — вмешался Стюарт. — Невозможно определить, сколько стоит такая вещь. Только люди из фирмы «Электромэтик» имеют об этом представление, хотя мне все-таки непонятно, как они определяют ее стоимость. Но можно поручиться, что раз они предлагают три с половиной тысячи — значит, это минимальная сумма.

— Знаете что, постарайтесь понять меня по мере сил, — нетерпеливо сказал Дэви. — Я вовсе не хочу, чтобы нам заплатили как можно меньше. Но время сейчас важнее для нас, чем что бы то ни было. Пять тысяч долларов через неделю могут значить для нас гораздо больше, чем сто тысяч после двухлетних переговоров. Это вестингаузовское изобретение ставит перед нами жесткие сроки, и теперь главное для нас — не отстать. Мы не должны забывать, что вот это — наше кровное детище, — сказал он, указывая на прибор. — Сколько бы и за что бы мы ни получали денег — все уйдет на него!

Кен взглянул на Дэви и вдруг широко улыбнулся.

— Вы слышали, что сказал мой брат, мистер Стюарт, — это наша твердая позиция, — сказал он, и в его тоне Чарли узнал ту резкую надменность, которая не так давно звучала в его собственном голосе, когда он разговаривал с братьями Мэллори; однако адвокат не выказал ни возмущения, ни покорности. Не считая первой заявки на основной патент, которая все еще находилась в процессе доработки, наготове было еще двадцать других. Если эта первая заявка с его помощью принесет братьям Мэллори десять тысяч долларов и если он так же успешно поведет дело в отношении других заявок, то в руках этих мальчиков

будет дело, которое принесет двести тысяч долларов — а быть может, и гораздо больше.

В маленьком городишке ни один здравомыслящий человек не пошлет к черту того, у кого есть деньги или возможность разбогатеть. Не пошлет, если хочет сохранить свою независимость в масштабах городка.

— Я приложу все усилия, — сказал Чарли сухим и безразличным тоном; мысленно же он был занят самыми беспощадными расчетами. Молодые люди тоже казались спокойными, но молчали они потому, что были ошеломлены. Идя к машине, адвокат услышал за своей спиной громкий, недоверчивый смех Дэви, пораженного неожиданной победой, но Стюарт слишком близко наблюдал этого юношу за работой, и теперь уже никакие мальчишеские выходки не могли ввести его в заблуждение. В первый раз за двадцать лет, войдя в свою контору, он не устремился к телефону, чтобы позвонить Броку. Нет, он подождет, посмотрит, что будет дальше.

6

Над землей стояла тихая и теплая летняя ночь, и только в маленькой открытой машине, быстро летевшей по шоссе с приподнятым передним стеклом, шумел и бился о лица пассажиров веселый темный ветер. Дэви, Кен и втиснувшаяся между ними Вики мчались по ночному шоссе со скоростью семьдесят миль в час, неизвестно куда и зачем, опьяненные радостным возбуждением.

— Говорите, куда ехать! — кричал Кен. Руки его, державшие руль, были сжаты в кулаки, словно для драки. — Назовите любое место, и я вас туда домчу в одну секунду! Иначе будем ехать всю жизнь!

Темный ветер унес с собой хохот Дэви и Вики. Кто бы что ни сказал, все казалось невероятно остроумным и вызывало взрыв веселья, граничащего с неистовством. Повороты и спуски шоссе, струи ночного воздуха, с силой пролетавшие мимо, — все приводило их в бурный восторг. Как влюбленных, которые целуются до боли, а потом смеются от нежности, их сейчас переполняла восторженная радость. Нынешний вечер знаменовал собою начало бесконечного блаженства.

Дэви казалось, будто они с Кеном бросили одну из своих идей высоко в воздух, и вот она разлетелась на тысячи точно таких же идей, которые, как роса, упали на мир и предстали глазам людей в виде сокровищ. И где-то, всего в нескольких сотнях миль к востоку, в ночной тьме, покрывшей континент, есть место, где недавно упала одна такая росинка, и сейчас — сегодня, в эту самую минуту в некоей комнате для совещаний на высоте двадцати двух этажей над поздним шумом театрального разъезда какие-то люди обсуждают эту идею, признавая ее несомненную ценность.

— Давайте поедем в Чикаго и будем гудеть перед окнами той конторы, пока вам не заплатят, сколько вы хотите! — предложила Вики.

— А потом махнем в Голливуд! — подхватил Кен. — Купим машину длиною в милю и промчимся через имение Марго!

— Я все-таки считаю, что следовало бы послать ей телеграмму, — сказала Вики. — Нет, я серьезно говорю. Ее это обрадует.

— Я тоже говорю серьезно, — заявил Кен. Машина с шумом промчалась сквозь темный туннель низко нависших веток; листья мелькали в свете фар, как крутящиеся хлопья зеленого снега. — Мы врежемся прямо в дом... — его зловещие интонации вызывали в воображении расколовшийся пополам роскошный особняк, выбитые стекла, летящие балки и куски штукатурки, — и проедем его насквозь, а Дуг будет сидеть верхом на радиаторе, как украшение. Эй, у нас кончается бензин!

— Обратитесь в гараж братьев Мэллори, — засмеялась Вики. — У них самый замечательный бензин на свете!

— Они уже прикрыли свою лавочку, — начал Кен, но тут раздался пронзительный скрежет шин по асфальту, приятно защекотавший нервы. В темноте машина круто обогнула осторожно ползущий «фордик»; в нем мелькнули два бледных удивленных лица. — Эти Мэллори, говорят, стали богатыми и знаменитыми. Да плевать на бензин! Наша машинка полетит вперед на одном воздухе!

И все, точно пьяные, снова залились хохотом — сейчас машина казалась им частью их самих, а они-то не сомневались, что могут лететь вперед хоть целую вечность.

И когда машина стала сбавлять скорость, это вызвало у них лишь новый взрыв смеха. Захлебывающееся лопотанье мотора показалось им очень смешным, потом машина сделала несколько последних судорожных рывков — и это тоже было неожиданно и комично. Немного прокатившись по инерции, машина остановилась, и они как бы сразу окунулись в ароматную ночную тишину, насыщенную влажным запахом травы и чуть слышным стрекотаньем насекомых. Стремительная гонка кончилась, и они благополучно прибыли в никуда.

Впрочем, Дэви было совершенно безразлично, летят ли они вперед или стоят на месте — он унесся мыслями в Чикаго, где их ждала слава и почет. Там ими восхищаются — он чувствовал это даже на расстоянии.

Через несколько минут на дороге запрыгали желтые огоньки «фордика». Кен со стоном вышел из машины — придется просить, чтобы его подвезли до ближайшей бензоколонки. Ветхий рыдван остановился, те же бледные лица недоверчиво и осуждающе уставились на Кена; он пробормотал какие-то слова, после чего был впущен внутрь старомодной высокой кареты, подрагивающей в такт пыхтению мотора. Еще минута — и «фордик», подскакивая на ходу, двинулся по шоссе, светя красным огоньком, словно налитым кровью глазом, вскоре, впрочем, скрывшимся в темноте.

Темнота, теплая, душистая и таинственно глубокая, казалась плотной, как густая жидкость. Вики откинулась назад, положив голову на спинку сиденья, и притянула к себе Дэви.

— Дэви... Дэви, милый, — сказала она просто, как бы в виде утверждения.

Он прошептал ее имя.

— Я тебя люблю, — сказала она. — Я тебя очень люблю.

Дэви прижался головой к ее плечу.

— Дэви... — медленно, как сквозь сон, сказала Вики — она явно хотела о чем-то спросить, и он молча ждал, но голос ее замер; она так и не решилась произнести слова, чуть не вырвавшиеся у нее под влиянием порыва.

— Дэви, — немного погодя сказала она точно таким же тоном. — Что же теперь будет?

— Кен вернется с бензином.

— Нет, я не о том.

— Мы поедем домой, — спокойно сказал он, намеренно уклоняясь от ответа на ее невысказанный вопрос. — Поедем домой и сядем за работу. Через несколько дней будет готова наша новая трубка, и если на этот раз повезет, мы получим движущееся изображение.

— А *потом?* — Тон ее был настойчив, но в нем появился оттенок грустной иронии.

— Ты хочешь сказать — в случае, если нам это удастся?

— Нет, я вовсе не это хочу сказать. Вам это, конечно, удастся. Ну, хорошо, скажи мне, что будет *после* того, как испытание пройдет удачно.

— Ох боже мой, — вздохнул Дэви. Он был целиком захвачен своими мыслями. — Не знаю, что со мной будет. Либо я буду настолько взбудоражен, что сойду с ума, либо просто свалюсь от усталости. — Глаза его были широко открыты и напряженно смотрели в темноту; сейчас он как бы стремился рассказать миру о чем-то, самом сокровенном. — Только бы это вышло! Ведь для меня тут дело не в деньгах, Вики, я за деньгами не гонюсь. Твой дед мне однажды сказал, что есть такой особый инстинкт — тяга к творчеству; считается, что это свойственно только художникам, но такой инстинкт заложен почти в каждом человеке. И когда он заставляет тебя что-то создавать, какая же это, должно быть, великая и чистая радость! Но сколько ни надейся — делу не поможешь! Столько раз мы бывали совершенно уверены, что следующее испытание все изменит! Но господи, господи, если только это выйдет...

— Что тогда? — тихо спросила Вики.

Дэви засмеялся и, обняв ее, пожал плечами.

— Будем продолжать работу, вот и все. Ведь это самое главное, не так ли?

Она молчала, и он почувствовал в ее молчании затаенный вопрос.

— Что с тобой, Вики?

— Ничего. — Она не шевелилась, и глаза ее были закрыты. Но потом и она, в свою очередь, ощутила настойчивость его встревоженного взгляда и посмотрела на него. Глаза ее казались глубокими, словно ей хотелось открыть перед ним всю свою душу. Но, глядя на нее, Дэви видел, как прозрачность уступала место неохотной сдержанности и взгляд ее становился непроницаемым. — Просто я так и не спросила тебя, о чем хотела, — сказала она.

— О чем же?

Вики медленно и чуть-чуть грустно улыбнулась.

— Мне незачем спрашивать, — мягко сказала она. — Ты мне уже ответил.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Ровно четверо суток Дэви и Кен держали электронно-лучевую трубку в невероятно раскаленной атмосфере двойной печи. При каждом соприкосновении с обжигающими волнами тепла крошечные пузырьки оставшегося воздуха, преодолевая атомные расстояния, продвигались к поверхности, затем пробивались сквозь нее, и их мельчайшие массы рассеивались в вакууме внутри стеклянной оболочки.

Каждые четыре часа печь выключалась. Когда трубка остывала до комнатной температуры, братья выключали также и насосы. Прерывистый стук внезапно затихал, и в наступившей тишине они измеряли давление. Затем трубку в течение двух часов заставляли работать вхолостую, после чего еще раз измеряли давление. Разница в этих показаниях при обычной рабочей температуре записывалась, и снова начинали постукивать насосы, выкачивая воздух, и включались печи, которые еще четыре часа обдавали трубку потоками раскаленного воздуха. День за днем, круглые сутки такие циклы повторялись снова и снова, и Кен и Дэви спали лишь урывками, приспосабливаясь к распорядку работы.

Разница в давлении становилась все меньше и меньше, и с каждым разом Дэви все тверже убеждался, что они на правильном пути. Когда прошла половина четвертых суток, можно было с уверенностью сказать,

что в трубке не осталось посторонних газов и она вполне пригодна для практических целей.

День подходил к концу, но Дэви догадался об этом только по косым лучам солнца, проникавшим в окна мастерской. Он потерял счет дням, потому что время измерялось только шестичасовыми циклами нагревания и измерений, а записи в рабочей тетради свидетельствовали о том, что прошло шестнадцать таких циклов. Дэви и Кен сильно осунулись, побледнели, глаза их смотрели сурово и сосредоточенно. Лица у обоих всегда были напряженные, возле губ появились старящие их складки. Они слишком много курили и слишком мало ели и спали, и это изнурило их вконец. Они выглядели одинаково и испытывали одинаковые ощущения, потому что общность цели спаяла их воедино. Стоило только Дэви взглянуть на верстак, у которого стоял Кен, как Кен тотчас же выбирал из кучи инструментов именно тот гаечный ключ, который был нужен брату, и стоило только Кену похлопать себя по карманам, как Дэви тотчас бросал ему сигарету.

Каждый мечтал найти какой-нибудь предлог, чтобы сделать передышку, но любая помеха разозлила бы их обоих. Дэви в последний раз измерил давление и, раскинув руки, потянулся.

— Все в порядке? — спросил Кен. Дэви молча кивнул.

Вопрос Кена и утвердительный кивок Дэви означали, что пришло время запаять лучевую трубку и подвергнуть ее решающему испытанию.

Только к семи часам вечера они разобрали высокочастотную печь и построили первоначальную передающую схему.

Кен и Дэви ничего не ели с десяти часов утра и не вспомнили бы об этом, если б не пришла Вики с горячим супом в судке, кофе в термосе и пакетом сэндвичей.

— Здесь просто нечем дышать, — сказала она. — Неужели вы думаете, что и вы можете жить в вакууме?

— Я тысячу раз тебе объяснял, что вакуум вовсе не значит отсутствие кислорода... — начал Дэви, но Вики перебила его:

— Плохой воздух — это плохой воздух, — заявила она. — И мне все равно, как ты его ни назови. Сейчас я открою окна.

Через полчаса все трое втиснулись в темную будку. Все рукоятки были повернуты, напряжение доведено до рабочего уровня. На экране очень медленно стали проступать очертания креста, они становились все отчетливее, пока наконец рисунок не стал виден во всех своих деталях так четко, как никогда. Потом отдельные части рисунка превратились как бы в мозаику — словно крест был вышит мелкими стежками. Целую минуту все трое не отрывали глаз от креста, и целую минуту изображение оставалось ясным — чуть заметные колебания ничуть не искажали его пропорций. Вики даже не замечала духоты в тесной будке, где едва умещались все трое.

Дэви первый нарушил молчание.

— Давай уйдем на пять минут и потом посмотрим, не наползет ли туман.

— Лучше будем сидеть здесь по очереди,— сказал Кен: ему не хотелось выходить из будки. — И если появится туман, мы будем точно знать, когда.

— Сиди, если хочешь, — ответил Дэви. — Но ведь не в том дело, *когда* появится туман. Будет ли он вообще — вот что важно.

— Я, пожалуй, тоже останусь, — сказала Вики.

Дэви поглядел на нее и на Кена при тусклом свете экрана. Желание остаться в будке было понятным и, очевидно, вполне невинным, но в нем, как скрытая инфекция, вдруг ожили прежние подозрения. Сколько раз за последние месяцы он совершенно спокойно оставлял Кена

и Вики наедине; однако сейчас его словно осенило, он как бы ясно увидел их сердца, их мысли, их тайное влечение друг к другу.

Сердечный товарищеский союз, объединявший всех троих, вдруг распался, будто его и не было. Да его и в самом деле никогда не было — Дэви сейчас понял это.

И сразу же в памяти его всплыли сотни доказательств, ясных до ужаса: жесты, взгляды, замаскированные ссоры влюбленных — как в тот вечер, когда они узнали о свадьбе Марго и когда Кен не пожелал, чтобы Вики присоединилась к ним,-- все это лишь подтверждало, что между ними был тайный заговор. Ибо если даже они сами не сознавали, что происходит, то он, Дэви, наконец заметил то, чего боялся всегда. И сейчас, в это короткое, быстро промелькнувшее мгновение, он увидел все и ненавидел себя за свою проницательность.

Он молча вышел из будки, боясь, что в голосе его прозвучит подчеркнутая беззаботность или, наоборот, плохо скрытая угроза. Снаружи, в залитой светом тихой мастерской, поблескивали на полках строгие ряды радиоламп, которые, казалось, жили своей особой, далекой от всего земного жизнью; все они изобретены людьми, но не сохранили в себе даже частицы человеческого тепла — каждой лампе предопределена только техническая функция, которую она неуклонно выполнит, как бы ни была коротка ее жизнь. В эту минуту Дэви остро почувствовал их неживое безразличие.

От двух самых дорогих на свете людей его отделяла всего лишь тонкая фанерная перегородка, но целую пропасть между ними создавал внутренний голос, нашептывавший ему, что все, чем он владел, принадлежит по праву его брату, и должно быть отдано Кену беспрекословно, по первому же его требованию.

Дэви слышал их приглушенные голоса, потом неясный шорох. Разум подсказывал ему, что они просто усаживаются поудобнее, но тайное предчувствие, оказавшееся сильнее рассудка, заставляло его воображать, что этот шепот означает признания в неизменной любви и что сейчас они — в объятиях друг друга.

Послышался голос Кена, не приглушенный поцелуем, хотя подозрительность внушала Дэви, что это только притворство.

— Тумана пока нет. Сколько времени прошло?

Дэви взглянул на секундомер. Три минуты. Теперь уж вряд ли что-нибудь изменится.

Дверь будки открылась, и вышла Вики. Дэви впился в нее глазами, боясь найти признаки, подтверждающие его подозрения. Но ни пожатие украдкой встретившихся в темноте рук, ни интимное прикосновение к плечу, ни влюбленная улыбка, отвечающая на просящий взгляд, — ничто не оставило внешних следов и сохранилось, очевидно, лишь в сокровенном уголке души. Вики остановилась у двери, закрыв лицо руками, чтобы глаза привыкли к свету; в эту минуту она показалась Дэви совсем иной — на нее словно упал леденящий отсвет возможной измены. Все в ней сейчас было фальшивым, лживым, недобрым; и хотя она еще так недавно шептала Дэви ласковые слова, создавая видимость страсти, за этой видимостью все время скрывалось сплошное лицемерие.

Вики потерла глаза, как заспанный ребенок, и, заметив пристальный взгляд Дэви, рассмеялась.

— Так мелькает, — сказала она. — А Кен все время поворачивал ручки — у меня даже голова закружилась.

— Ничего, привыкнешь, — ответил Дэви, борясь с желанием притянуть ее к себе и спросить в упор: «Скажи правду — ты меня любишь?»

Он отвел от нее глаза и, чуть повысив голос, позвал Кена.

— Кен, выходи. Я хочу поставить вольтовы дуги по-другому и посмотреть, что нам даст отраженный свет.

Появился Кен, и Дэви захотелось, чтобы Вики немедленно ушла. Она все испортила, нарушив его внутреннюю связь с Кеном, а связь это была не только драгоценна сама по себе, но и необходима для работы. Только полное слияние поможет им обоим преодолеть усталость.

Они наметили, как расположить дуги, и выключили их, чтобы дать остыть, а потом передвинуть.

— Они будут остывать минут десять, не меньше, — сказал Кен.— Я пока выйду на воздух. Пойду куплю сигарет, чтобы не слоняться без дела.

Дэви только кивнул; он ждал, что Вики скажет: «Я тоже пойду». Он был уверен, что она скажет это или что-нибудь другое, что будет для Кена предлогом взять ее с собой. Но секунды шли, Кен уже перешагнул порог и исчез в темноте летней ночи, а Вики так ничего и не сказала. По мастерской медленно расплывалась тишина.

— Почему ты на меня так смотрел?— негромко спросила Вики.

Дэви застыл на месте, делая вид, что поглощен работой.

— Как? — спросил он, глядя на переключатель, который держал в руках.

— Ты знаешь как, ты очень хорошо знаешь.

— Нет, не знаю.

— Ты смотрел так, будто ненавидишь меня.

Теперь уже пришлось взглянуть ей в лицо, но он сказал:

— Что за бред!

— Да, это действительно бред. И я знаю, о чем ты думал. Ты ревновал, потому что я осталась в будке с Кеном. Ты думал, что мы там целуемся.

— Неостроумно.

— А я и не думаю острить.

Минуту назад ревность заставила Дэви увидеть ее как бы в новом свете. Сейчас она стала для него просто непостижимой.

— Слишком часто, — продолжала Вики, — у тебя начинается этот бред. Я ведь всегда это чувствую. Ты сразу становишься каменным. Я много об этом думала и все старалась понять, откуда у тебя такое отношение к Кену. И, кажется, я поняла.

— Знаешь, лучше не надо копаться в моей душе.

— Если ты сам не хочешь заглянуть в свою душу, значит, это должен сделать кто-то другой. Однажды ты сказал мне слова, которые засели у меня в голове. Скажи, пожалуйста, долго еще ты намерен пресмыкаться перед Кеном за то, что он спас тебе жизнь, когда вы убегали с фермы?

Дэви стоял как вкопанный, и только губы его раскрылись, как бы в немом протесте; он был ошеломлен, даже испуган тем, что она оказалась способной на такую жестокость.

— Как ты можешь говорить такие отвратительные вещи!

— Почему отвратительные? — возразила она. — Я ведь ни в чем не упрекаю Кена. Но я знаю — многие мои поступки объясняются тем, что так поступать мне хотелось в детстве. А сколько своих поступков я сама не могу объяснить!

— Почему ты сказала, что ни в чем не упрекаешь Кена? — очень спокойно спросил Дэви, не сводя с нее глаз.

— Потому что это правда, и потому, что я знаю, как ты сердишься, если тебе кажется, что кто-то смеет его осуждать. Ты бы меньше сердился, если б мы разбирали твои собственные недостатки.

— Я не желаю говорить об этом, — отрывисто сказал Дэви. — И во всяком случае, ты неправа.

— Вот ты и доказал, что я права. Ты ведешь себя так, будто Кен во всех отношениях лучше тебя, будто все, что у тебя есть, принадлежит Кену. Ты так *ведешь* себя, но на самом деле ты этому не веришь. По крайней мере, какая-то часть тебя в это совсем не верит. В тебе живут как бы два человека — младший брат Кена, который обожает его, и старший брат Кена, который знает все его недостатки.

— Ты делаешь из меня целую толпу.

— Два человека могут показаться толпой, если они постоянно между собой воюют.

— Я с собой не воюю, если ты это имеешь в виду.

— Да, именно это я и имею в виду. И любит меня старший брат Кена, а младший не может поверить, что я способна разлюбить Кена. Рано или поздно тебе придется решать, какой из этих людей настоящий ты. Нельзя же всегда жить, раздваиваясь.

Дэви молчал.

— Даже сейчас, — продолжала Вики, — я не знаю, кому я все это говорю, младшему брату или старшему — ведь они такие разные, что ты разрываешься надвое. Но мне ведь тоже нелегко. Помнишь тот вечер, когда мы сидели в машине и я так и не спросила тебя, о чем хотела?

— Помню, — отозвался Дэви.

— Ты заметил тогда одно очень странное обстоятельство?

— Что-то не помню ничего странного.

— Да, ты, конечно, не помнишь, зато я помню. Ведь ты так и не попытался узнать, о чем я хотела спросить! Даже не будь мы с тобой так близки, ты должен был бы поинтересоваться хотя бы из любопытства!

— Я считал, что если ты захочешь, ты сама скажешь.

— Нет, — сказала Вики с печальной и мудрой улыбкой. — Ты не стал расспрашивать потому, что и так все знал. По крайней мере, знала та твоя половина, которую я люблю; другой Дэви дрожал от страха при мысли, что может как-нибудь изменить Кену, — он-то и заставил тебя прикусить язык и молчать. Ах, Дэви, — взмолилась она, — будь тем Дэви, которого я люблю!

— Перестань, — резко приказал он. — Вместо того, чтобы разбираться во мне, ты лучше себя спроси кое о чем. Куда ты, собственно, клонишь? Ты хочешь сказать, что я, такой, как есть, тебе уже не нравлюсь; что ты можешь любить только вожака — человека, который всегда и во всем впереди. Так не вини же меня за то, что я не такой, какой тебе нужен. Если ты стараешься пощадить мое самолюбие, то лучше не трать понапрасну времени. Почему ты не скажешь прямо, что ошиблась во мне? И ты не должна чувствовать себя в чем-то виноватой. Все объясняется очень просто—ты любишь Кена и всегда любила только его.

Он увидел в ее глазах глубокую молчаливую жалость и мгновенно ощутил жгучий стыд, ибо, вспылив, тут же понял, что уже не верит тому, что говорит. Он дал волю долго сдерживаемому гневу, и теперь слова были для него только завесой, за которой он старался съежиться, скрыться от Вики. По выражению ее глаз он понял, что прятаться незачем, и все же остался за этой завесой, закрыв лицо руками, — он казался себе абсолютным дураком, но в то же время верил любви в глазах Вики, глядевших на него с пониманием, которое было так необходимо его истерзанному сердцу.

2

В мастерской воцарилось накаленное молчание, и как раз в эту минуту вошел Кен, рассеянный, ничего вокруг не замечающий. Дэви понял, что эти несколько минут были для Кена просто паузой среди напряженнейшей работы, глотком свежего воздуха перед тем, как снова погрузиться в пучину. Для Дэви в эти же минуты произошел резкий перелом, который, казалось, оборвал его связь даже с близким прошлым. Его как будто вырвали из прежней жизни и насильно сделали обитателем страшной страны смятения. Однако разбираться в своих переживаниях было некогда — Дэви пришлось взяться за работу, как будто ничего не произошло.

Когда вольтовы дуги были установлены по-новому, Дэви ушел в будку, чтобы как-то справиться с новым чувством, которое надо было подавить в самом его разгаре — с бешеной злостью на себя, смешанной со стыдом, ибо он уже осознал, что Вики говорила правду.

Он тупо уставился на пустой светящийся экран, где постепенно проступали темные очертания, и вдруг нить его мыслей прервалась, дыхание почти замерло. Удивление вытеснило в нем все другие чувства — на экране появились очертания человеческой руки; пальцы ее были чуть пригнуты к ладони, потом быстро распрямились, и движение это было бесконечно женственным. Рука на экране повернулась, секунду помедлила и исчезла из виду, и снова перед его глазами мерцал пустой экран, и только неудержимо колотилось сердце.

Когда к нему вернулась способность говорить, он крикнул: — Вики, что ты там сделала?

— Ничего.

— Но ты держала руку возле трубки?

— Я только сделала вот так, — послышался ее далекий удивленный голос, и через секунду на экране, как воплощение волшебной сказки, опять возникла рука, более крупная, чем в жизни, но мучительно знакомая — ведь столько раз эти пальцы гладили его волосы, ласкали лицо, дотрагивались до его губ.

Казалось, ее рука протянута к нему с такой проникновенной нежностью, какой он еще не знал. Стоявший между ними прибор представлял для него нечто гораздо большее, чем скопление проводов, сеток, стекла и металла. Ее рука, проходя через всю эту массу стекла и металла, касалась ее, словно Вики ощупью пробиралась к той неведомой стране, которая была так дорога Дэви. После него и Кена она была первой, кто отважился пойти по этому длинному, извилистому пути, и поэтому имела право присоединиться к товариществу первооткрывателей этой страны.

Узы, связывавшие Дэви с этой нереальной страной, состояли из множества нитей. Он с любовью создавал ее в уме, а потом укрощал, совершенствовал и подчинял себе, пока не добился возможности использовать ее именно так, как было задумано. Он любил вложенный в нее труд, любил и ту умственную работу, в которой участвовал другой человек, пробивавший вместе с ним дорогу в эту неведомую область. Они ведь не ограничивались прилежным наблюдением — они, как могущественные боги, передвигали темные горы так, как им было нужно, они останавливали и даже переворачивали водопады из звезд.

Там, в стране электрической ночи, простиравшейся за экраном, они с Кеном в течение трех лет были единственными человеческими существами, и вот женская рука тянется к нему оттуда, в одно мгновение преодолев бесконечные расстояния. Сейчас Вики стала ему ближе, чем когда-либо, и у него вдруг перехватило горло — так он был растроган.

Он глядел на экран, задыхаясь от любви, потому что все, что было ему дорого, сейчас как бы слилось воедино.

— Можно убрать руку? — крикнула Вики. — Дуги очень уж горячие.

Дэви выбежал из будки, почти ничего не видя на свету, и так любовно обнял ее за плечи, что она сделала удивленное лицо. Ведь всего несколько минут назад он, казалось, вычеркнул ее из своей жизни.

— Я видел твою руку, — сказал он. — Боже мой, я видел, как ты шевелила пальцами!

Он хотел притянуть ее к себе, но Вики вздрогнула от его прикосновения — она обожглась о вольтовы дуги. Тогда Дэви взял ее руку в свои и держал с огромной нежностью — он был так переполнен чувством, что даже не мог выразить его словами.

3

Часов около одиннадцати обнаружились неполадки в одной из схем, но теперь у Дэви и Кена было достаточно доказательств того, что сейчас они в десять раз ближе к окончательному успеху, чем когда-либо. Однако даже при таком колоссальном увеличении чувствительности прибора ни одно живое существо не могло бы пробыть больше минуты в том слепящем, жарком свете, без которого они пока не могли обойтись. Почти при всех испытаниях движущимся объектом был стальной шарик, качавшийся, как маятник, на конце проволоки, — но все же они смогли передавать на экран *движения*; и даже человеческие движения, правда, только если испытание было недолгим, и хотя впереди предстояла огромная работа, все же они, по крайней мере, могли быть уверены, что их мечта начинает осуществляться.

Дэви во что бы то ни стало хотел проводить Вики домой. Он вышел из мастерской в слабо озаренную звездами темноту, но когда его обдало свежестью летней ночи, он вдруг почувствовал, как он обессилел.

— Я дойду одна, — уговаривала его Вики.

— Давай посидим вот на этой ступеньке и выкурим пополам сигарету, — умоляюще сказал он. — А потом можешь идти.

Вики опустилась рядом с ним на шероховатую гранитную плиту, положив на колени забинтованную руку. Она склонила голову на плечо Дэви, а он прижал ее к себе, ощущая полное внутреннее умиротворение.

— Вики, — медленно проговорил он немного погодя, — давай решим, когда мы поженимся. Ведь давно пора.

Вики выпрямилась и слегка отодвинулась от него. Он не сразу сообразил, что в эти минуты, пока они оба молчали, и настроение ее и мысли были совсем другими, чем у него.

— Дэви, — начала Вики, и хотя в голосе ее звучали мягкие нотки, он догадался, что она про себя уже что-то решила, и боялся услышать это решение.— Больше всего на свете я хотела бы жить с тобой и быть возле тебя все время...

— Вики!.. — он произнес ее имя, словно умоляя остановиться, не говорить того, что он боялся услышать. И в голосе его была такая нежность, что Вики заколебалась — но только на секунду.

— Нет, — с отчаянием сказала она. — Тебя сбило с толку то, что сегодня произошло. Сейчас все кажется чудесным, но ведь несколько часов назад ты меня ненавидел, Дэви. Я это видела, и мне было страшно.

— Вероятно, людям не дано любить все время, и если они делают вид, что это не так, они лгут.

— Я тебя никогда не ненавидела, — просто сказала Вики.

— Слушай, Вики, ты знаешь меня вдоль и поперек. Но ты сказала, что во мне есть такое, что ты любишь, и такое, чего ты не любишь. Вики, поверь мне, я хочу быть только таким, каким ты можешь любить меня, но я не смогу, если ты не будешь рядом со мной и не подскажешь, что я должен для этого делать.

— Я никогда не говорила, что хочу сделать из тебя другого человека, — быстро сказала она.

— Вики, мы любим друг друга, — о чем же тут рассуждать? Вот уже сколько времени я тебя боюсь. Я тебя ревную. Я горжусь тобой и схожу по тебе с ума... Были минуты, когда я думал, что мне безразлично, увижу я тебя когда-нибудь или нет. Вот и получается, что мы с тобой давно уже поженились.

— Ах, Дэви, я этого так хочу!

— Так что же тебе мешает? Рискни.

— Вот сейчас ты говоришь точ-в-точь, как Кен!— засмеялась Вики.

Но Дэви с улыбкой покачал головой:

— На такого рода риск Кен никогда не был способен.

4

Наутро Дэви проснулся, переполненный искрящейся радостью и с таким ощущением, будто отныне мир будет всегда послушен его воле. Готовя завтрак, он ходил по кухне, и все, вплоть до мелочей, казалось, подтверждало его новое положение. Вещи — кастрюльки, яйца, ложки — словно сами прыгали ему в руки, как жонглеру, обладающему сверхъестественной ловкостью. Когда кофе был готов, Дэви, прежде чем разбудить Кена, пошел к телефону и дал телеграмму Марго: «Получили движущееся изображение. Полный успех. Женюсь на Вики. Целую. Дэви». Он повесил трубку и не успел еще убрать руку, как телефон зазвонил — видно, так велика была та волшебная сила, которую ощущал в себе Дэви, что даже аппарат затрепетал и ожил при одном его прикосновении.

Волшебство распространилось и на Чарли Стюарта — в строгом голосе адвоката появились непривычная для уха Дэви теплота и приветливость.

— Ну, кажется, я неплохо потрудился для вас, мальчики мои. Добыл вам пять с половиной тысяч. На восемь сотен больше, чем вы просили и на две тысячи сверх того, что они предлагали. И они не отбирают у вас эту штуку насовсем. Они платят за исключительное право пользования. А вы сохраняете все ваши права.

Сидя у себя в конторе, окна которой были открыты на зеленеющую под утренним солнцем Кэпитол-сквер, Стюарт упивался сознанием своей маленькой, не выходящей за пределы Уикершема независимости и был чрезвычайно доволен собой; Дэви понял, что он ждет от него похвал. А в это утро щедрость давалась Дэви легко — он чувствовал себя всемогущим, как бог.

— Это замечательно, мистер Стюарт!

— Да ладно, зовите меня Чарли.

— Чарли...— сказал Дэви и засмеялся; с другого конца провода ему ответил смех адвоката, немного смущенный, но чем-то очень обаятельный.

— Я сразу же заломил двадцать тысяч; смотрю — они не бросили трубку,— тут я понял, что не сделал ошибки.

— *Двадцать* тысяч?

— Ну да, чего ради мы будем дешевить свой товар? Но они представили веские доводы. Уж вам-то лучше, чем кому-нибудь, известно,

что никакой патент не может считаться действительным, пока он не утвержден судом. А такой процесс стоит больших денег, и если фирма его проиграет, расплатившись с вами и оплатив судебные издержки, она не только лишится дохода, но и понесет крупные убытки. Вот я и рассчитал, что поскольку это для нас не главное, то лучше возьмем, сколько дадут, зато и ответственность будет меньше.

— Правильно,— подтвердил Дэви, обнаружив, к своему удивлению, что ему скучно слушать Стюарта. Он почти чувствовал, как адвокат всей своей тяжестью налег на телефонный аппарат, устраиваясь поудобнее, чтобы долго и со вкусом поболтать и немножко посплетничать.

Еще раз поблагодарив Стюарта, Дэви под каким-то предлогом отделался от него и повесил трубку, но улыбка не сходила с его губ. Мир, который так долго поворачивал к ним спину, равнодушный, рассеянный мир вдруг обернулся к ним лицом, и теперь все смотрели на него и Кена, улыбаясь их удаче. Сердце Дэви замирало от счастья.

— Кен! — крикнул он.— Кен! — и, услышав сонное бормотанье, закричал еще громче:— Мы получили деньги — пять тысяч пятьсот!

— Что-о?

— За параллельную схему — пять с половиной тысяч долларов!

Не успел он докончить, как на пороге появился Кен в расстегнутой и смятой пижаме. Всклокоченные волосы придавали ему мальчишеский вид.

— Звони Броку!— через секунду выпалил он.— Скажи ему, пусть получает все деньги сразу и убирается к черту! Скорей звони ему, подлецу!

— Сначала я позвоню Вики.

Дэви взял трубку, и опять, словно его прикосновение наэлектризовало аппарат, раздался продолжительный звонок.

— Кен,— сказал Дэви.— Сегодня никакой осечки быть не может. Этот звонок означает деньги. Вот увидишь.— Он приложил трубку к уху.— Хелло!

Телефонистка с междугородной станции пропела, что их вызывает из Милуоки м-с Дуглас Волрат; потом в трубке защебетал веселый голос Марго,— даже на расстоянии чувствовалось, что она сияет от счастья. Она сообщила, что находится сейчас на пути в Нью-Йорк, куда через несколько дней приедет Дуг. Не могли бы Кен и Дэви подъехать в Милуоки, чтобы повидаться до отлета самолета? Она решила весь путь на восток проделать по воздуху.

— Я послал тебе телеграмму минут пять назад,— перебил ее Дэви.— У нас замечательные новости!

Таким же захлебывающимся голосом он сообщил ей об опыте, о Вики, о продаже патента и только потом сообразил, что Кен впервые слышит о том, что они с Вики решили пожениться. Он быстро обернулся, но лицо Кена было невозмутимо.

— Это Марго?— спокойно спросил Кен.— Где она сейчас?

Он взял у Дэви трубку и заговорил с сестрой подчеркнуто вежливым, холодным тоном.

— Хорошо,— произнес он под конец так, словно речь шла о каком-то официальном деловом предложении.— Мы выедем через полчаса и к завтраку будем там.

Он прошел в кухню, избегая смотреть на Дэви, с таким видом, будто ему пришлось нарушить данный себе когда-то обет. Дэви заметил его сдержанность и молча стал собираться в дорогу, оторвавшись от этого занятия только для того, чтобы позвонить Вики и рассказать ей о событиях.

— Мы, наверно, к вечеру вернемся,— сказал он.— Я тебе тогда позвоню.

Почти всю дорогу Кен молчал. Он сидел за рулем — человек в броне из кожи и стали, человек без возраста, с ничего не выражающим лицом.

— Значит, ты женишься,— заметил он наконец.— И давно это вы надумали?

— Мы договорились вчера вечером.

— Когда же это будет?

— Мы еще не решили.

— А вы вообще что-нибудь решили?— спросил стальной человек.— Где вы будете жить, на что и как?

— Нет, мы говорили совсем о другом.

Потом они молча проехали пятьдесят извилистых миль, насыщенных утренним солнцем, жарким ветром и гулом мотора. Над городом повисла синеватая дымка, на центральных улицах среди сутолоки машин пришлось то и дело переключать скорости, ползти черепашьим шагом, останавливаться и ждать в бензиновом голубом дыму. Наконец Кен поставил машину в двух кварталах от гостиницы «Бельведер», и, только выключив зажигание и опустив ключ в карман, он продолжил и закончил этот краткий разговор словами:

— Что ж, в случае чего дай мне знать.

5

Дэви никогда не отдавал себе отчета в том, как хороша Марго, пока не увидел ее в вестибюле гостиницы «Бельведер». Она стремительно побежала навстречу братьям, похожая на трепещущий шелковый флаг. На ней было платье цвета беж, совсем без рукавов, и черная шляпа из такой тонкой плетеной соломки, что круглые поля казались почти прозрачным дымчатым ореолом, а конусообразная тулья напоминала о сказочных колдуньях. Длинные, до локтей, перчатки на ее протянутых руках сияли безупречной белизной. Весь ее облик говорил о том, что она принадлежит к тем баснословно богатым людям, которых обыкновенный смертный видит разве только мельком, в окне машины, и даже здесь, в самом большом отеле столицы одного из центральных штатов, она резко выделялась среди окружающей обстановки.

Марго схватила братьев за руки. Она поворачивала свое загорелое, нежное, как цветок, лицо то к одному, то к другому, как бы щедро делясь переполнявшим ее счастьем.

— Ох, до чего хорошо видеть вас снова!— воскликнула она.— Так непривычно жить без вас. Мне все кажется, что это только временно. Дэви, значит, ты наконец женишься! И испытание прибора прошло удачно! Вы проголодались? Я хочу пойти куда-нибудь вместе с вами. Куда бы нам отправиться?

Ее движения были стремительны и порывисты, при каждом жесте и повороте от нее исходил тонкий аромат. Мужчины останавливались и смотрели ей вслед.

Марго повела Дэви и Кена в ресторан — высокий зал с дубовыми балками на потолке — и, сев между братьями, принялась выбирать по карточке завтрак для всех троих, словно все еще чувствовала себя ответственной за то, чтобы мальчики были накормлены досыта.

— И непременно овощи,— заключила она, протягивая карточку метрдотелю.— Дайте нам шпинату и моркови. Благодарю вас.— Марго засмеялась.— Ручаюсь, что вы не ели овощей с тех пор, как я уехала!

Ах да, чтоб не забыть... — Она открыла черную лакированную сумочку и, достав небольшую серую бумажку, протянула ее было Дэви, потом с нарочитой небрежностью сунула в руку Кену. Пока Кен разглядывал чек, Марго старательно затягивала ремешок сумочки, но Дэви заметил, что она украдкой следит за выражением лица Кена.

— Десять тысяч долларов,— медленно произнес Кен.— Что это, собственно, значит?

— Это вам обоим,— сказала Марго.— От меня. Дуг открыл на мое имя текущий счет, и я могу распоряжаться деньгами, как хочу. Это для вас, а остальное пойдет на платья, о которых я мечтала всю жизнь.

Кен протянул ей чек.

— Мы не возьмем, Марго. Твой Дуг имел полную возможность вложить деньги в наше дело, но не пожелал. А теперь мы не желаем пользоваться его деньгами за его спиной.

— Во-первых, это деньги мои, и я могу делать с ними что угодно. Во-вторых, он хочет участвовать в вашем деле.

— Знаю я, как он хочет!

— Ты неправ, Кен. Когда ты к нему обратился, его это не интересовало. А теперь интересует. Он узнал, что один банковский синдикат в Сан-Франциско субсидирует точно такую же работу.

— То есть какую?— резко спросил Дэви.— Как это надо понимать?

— Такую же, какую делаете вы. Не расспрашивай меня, потому что я больше ничего не знаю. Но я сказала Дугу, что вы, должно быть, далеко опередили тех изобретателей, иначе я бы уже знала...

— Господи!— пробормотал Дэви.— Неужели ты не помнишь никаких подробностей?

— Знаю только, что цель у них такая же, как и у вас, и все основано не на механике, а на электронике. В конце концов, надо было ожидать, что у вас появится целая куча подражателей.

— Конечно, раз они не твои братья — значит, подражатели... Пойми, Марго, ведь сейчас невозможно определить, подражатели они или нет,— пояснил Дэви.— Вот увидим, кому Бюро патентов присудит первенство, тогда и узнаем. И у нас так и не было случая проверить последний ответ Бюро патентов. Мы уже обнаружили, что где-то на востоке, в фирме «Вестингауз», кто-то работает над таким же изобретением, но у нас совершенно разные методы. А теперь, оказывается, еще и в Калифорнии затеяли то же самое... Ух, меня даже в дрожь бросило! Черт его знает, сколько еще людей идет по тому же пути!

— Надо бы проверить это,— безразличным тоном заметил Кен.

— Вам совершенно нечего волноваться,— сказала Марго.— Кроме того, Дуг уже наводит справки.

— Дуг?— недоверчиво спросил Дэви.

— Я же тебе говорю, что он заинтересовался этим. Постойте, у меня есть чудесная идея. Дуг должен приехать в Нью-Йорк через десять дней или через две недели. Когда будет твоя свадьба, Дэви?

— Мы еще не назначили дня.

— Тогда устрой ее через две недели. К тому времени я смогу вернуться из Нью-Йорка. Пусть Дуг подождет меня в Уикершеме, и мы оба будем на твоей свадьбе. Давайте хоть на свадьбе соберемся все вместе. И вы сможете показать Дугу, что у вас есть.

— Одно с другим не имеет ничего общего,— медленно сказал Дэви.— Если Дуг — пожалуй, я могу теперь называть его так,— если Дуг интересуется нашим изобретением, то давай об этом и поговорим. И, разумеется, вы будете приглашены на мою свадьбу, какая бы она ни была. Кстати, Кен, положи, пожалуйста, чек в карман.— Дэви с непо-

колебимой твердостью выдержал взгляд брата.— Мы принимаем его с благодарностью.

Кен очень медленно сложил бумажку и, не глядя на сестру, сунул в карман.

— Спасибо, Марго,— спокойно сказал он.

— Ты все-таки поговоришь с Вики?— обратилась Марго к Дэви.

— Я спрошу ее,— сказал он.— Но вот эти изобретатели в Сан-Франциско... У них, видно, хорошо поставлено дело, вот что меня тревожит. Как тебе кажется, Кен?

Кен покачал головой.— Я об этом не думаю,— произнес он.— Я вообще ни о чем сейчас не думаю.

Сидя рядом с Марго, он выглядел бледным, осунувшимся и усталым. В исходившем от нее аромате, в вызванном ею потоке воспоминаний броня из кожи и стали лопнула и распалась на лоскутья и проржавевшие обломки.

6

Простившись с Марго, Кен стал таким задумчивым и молчаливым, что Дэви счел за лучшее сесть вместо него за руль. Уже перевалило за полдень и стоял зной, как всегда в разгаре лета. Дэви постарался как можно скорее выбраться из города. Некоторое время дорога шла вдоль озера, его безмятежная прохладная синева простиралась на несколько миль, вплоть до терявшихся в солнечной дымке песчаных обрывов на том берегу.

— Давай сделаем привал и выкупаемся,— предложил Дэви.— Жара просто убийственная.

Кен смотрел в одну точку, лицо его застыло, и живыми казались только глаза, полные тоскливого раздумья.

— Иди. Я подожду.

— А ты не хочешь купаться?

— Нет,— сказал Кен и взглянул на брата с глубоким упреком, словно тот предложил ему сплясать у постели умирающего.— На кой черт мне это купанье!..— вдруг вспылил он.

Машина бежала по пышущей зноем дороге, Дэви правил, а Кен сидел рядом в яростном смятении, которого не мог выразить словами, и мерно постукивал себя кулаком по ладони. Это движение напоминало автоматический, заряженный электроэнергией механизм, который, пока не кончится заряд, отстукивает ритмичные удары по одному и тому же месту. Душевная боль, вылившаяся в это движение, была так заразительна, что Дэви не удержался и крикнул:

— Ради бога, возьми себя в руки, Кен!

— Веди машину,— сдержанно отозвался Кен,— остальное тебя не касается.

В Мэшекене, где дорога проходила по раскаленной солнцем главной улице, между двумя рядами торговавших машинами гаражей, Кен тронул Дэви за руку и знаком велел остановиться у гаража Макинтоша. Не произнеся ни слова, Кен вышел и захлопнул за собой дверцу — по его виду Дэви решил, что он сейчас же вернется. Но потянулись нескончаемые минуты под палящим солнцем, которое отражалось яркими полосами и дробилось блестящими точками в зеркальных стеклах витрин по обе стороны неглубокого каньона-улицы, а Кен все не появлялся.

Через четверть часа в гараже Макинтоша переднее стекло витрины растворилось, и в тот самый момент, когда в душе Дэви шевельнулись дурные предчувствия, на солнце блеснул лоснящийся сигарообразный кузов черно-желтого гоночного «оуберна», который съехал по скату на улицу; за рулем сидел Кен. Он резко остановил машину поперек тротуа-

ра и, пока Макинтош с механиком прикрепляли к буферам таблички с временным номером, сидел, уставившись прямо перед собой, словно поглощенный каким-то тайным видением. Потом он повернулся и взглянул на Дэви. В глазах его все еще стояла тоска, но губы изогнулись в полунасмешливой, полузастенчивой улыбке. Дэви выпрыгнул из машины и пошел к гоночному «оуберну».

— Я приметил его еще по пути туда,— сказал Кен.— Немного подержанный. Новый стоит две тысячи пятьсот. Я купил за две сто.— Он машинально перевел скорость — его одолевала настоятельная потребность двигаться.— Вот, наконец, деньги Марго приобрели реальность,— медленно сказал он и добавил:— Только так их и надо тратить, чтобы снять с них проклятие. Теперь я ничего не имею против — можешь получить по чеку деньги, заработанные ею в постели.

Вместо того чтобы ударить его, Дэви быстро отошел к своей машине и дрожащими руками взялся за руль. Меньше чем через пять минут сзади, из знойного марева, до него донеслось низкое гуденье; оно становилось все громче и громче, и наконец мимо с гулом промелькнули черно-желтая ракета, бледное лицо и вихревая струя воздуха. И оттого, что Кен мчался с такой неистовой скоростью, вся злость Дэви как бы сразу иссякла. Полтора часа он ехал домой в ледяном одиночестве, и это было самое тоскливое чувство, которое он когда-либо знал.

У стоявшей перед сараем новой машины все еще был такой вид, будто она, волоча за собой клубы пыли, мчится прямо в пекло, но Дэви только мельком взглянул на нее и прошел мимо. Кен сидел в конторе, уставясь невидящим взглядом на стопку отношений из Бюро патентов, лежавшую там уже две недели. Он держал в руке верхнюю пачку бумаг, но не перевернул даже первой страницы, и каемка пыли на следующей пачке осталась нетронутой. Он, как напроказивший ребенок, старался изобразить прилежание.

— Прежде чем двигаться дальше, надо бы привести в порядок наши патентные дела,— негромко сказал он.

Дэви ничего не ответил и прошел мимо, твердо ступая на каблуки.

— Я продам эту проклятую машину,— продолжал Кен таким же тоном.—Я сделал глупость. Деньги нам нужны.

Дэви наконец поднял на него глаза.

— Ничего,— сказал он немного погодя.— По крайней мере, ты облегчил себе душу, и мы теперь можем идти дальше.

— Мне такая машина не нужна,— заявил Кен.

— Ты будешь ездить на этой машине,— медленно произнес Дэви с такой горечью, что голос его дрогнул.— Ты будешь ездить на ней, а когда не будешь ездить, повесь ее себе на шею и носи! И никогда не забывай про эту машину, потому что в этой машине — вся разница между мной и тобой!

Он повернулся к Кену спиной и подставил голову и руки под струю холодной воды из крана, потом стал надевать рабочий комбинезон. Разрыв с Кеном он ощущал почти физически, как глубокую рану в теле, такую болезненную, что было трудно сидеть за столом напротив Кена и делать вид, будто занят чтением. Но разрыв нанес рану не только ему — краешком глаза Дэви видел, что Кен тоже страдает.

— За что ты меня наказываешь?— не вытерпел Кен.— Я же сказал, что продам ее.

Дэви даже не взглянул на несчастное лицо брата.

— Это как тебе угодно,— сказал он.

Кен стукнул кулаком по столу.

— Бездушный негодяй!— крикнул он.— Ну да, я свалял дурака! А с тобой разве этого не бывает? Ты и Марго — вы оба холодные, как

рыбы! Ну что, спрашивается, я такого сделал?— И Кен рывком поднялся со стула.

— Как по-твоему, куда должны были пойти эти две тысячи сто?

— Я же сказал, что продам машину! Я же твержу это все время!

— Но ведь ты все-таки ее купил! Две тысячи сто долларов! И это при том, что мы не можем себе позволить даже новую заплату на штаны! Прежде чем думать о новых покупках, мы должны уплатить Броку, уплатить Чарли Стюарту и разделаться с сотнями старых долгов, о которых мы даже не говорили в последнее время. И если хочешь знать,— закричал Дэви, вскакивая и колотя себя в грудь,— надо подумать и о моей женитьбе! Что *мне* прикажешь делать? Устраивать себе дом в твоей паршивой торпеде? Там даже нет заднего сиденья, чтоб использовать под кладовую!

— Я ее продам!— взревел Кен.

— Да кто, кроме тебя, станет покупать такую дребедень?

— Господи, да неужели ты не можешь понять, какое чувство вызывают у меня эти деньги? Ведь это осквернённые деньги. На них следы пальцев Волрата. Помнишь, как неделю назад мы с тобой обалдели от радости, когда узнали, что за нашу работу предлагают деньги, а ведь *как* мы работали! А она попросту берет из денег, данных ей «на булавки», и швыряет нам чек на сумму, вдвое больше той, в какую оценили нашу работу.— Сдавленный голос Кена упал почти до шепота.— Когда Марго, такая изящная и нарядная, протянула мне этот чек, я готов был убить ее. И себя тоже. И тебя, если хочешь знать. Мне просто необходимо было выбросить хоть часть ее денег на ветер — только чтобы снять с них проклятие!

— Сядь,— устало сказал Дэви.— Хватит об этом. Я всю жизнь был для тебя чем-то вроде мягкой подушки. Теперь — кончено. С этих пор ты будешь стоять на своих собственных ногах и сидеть на своем собственном заду. —Дэви задержался взглядом на лице брата чуть дольше, чем следовало бы, если б он хотел скрыть от Кена, что тот уже прощен и что рана уже зажила. Он взял убористо напечатанное официальное письмо и стал читать; но неспокойная совесть подсказала ему, что, хотя он уже освободился от бремени гнева и боли, Кен все еще испытывает страдание.

И голос Дэви стал почти ласковым.— Черт с ней, с этой машиной. Захочешь ее оставить — оставляй. Как-нибудь вывернемся.

— Ты больше не сердишься?— поколебавшись, спросил Кен.

Дэви слабо усмехнулся.

— Может, ты наконец заткнешься, и мы примемся за работу?

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

Гул голосов — смеющихся, кричащих, протестующих,— лязг тормозов и кассовых аппаратов, непрерывный стук машин, говорящий о том, что Америка за работой,— этот шум объемлет весь континент и, поднявшись высоко в воздух, грозовой тучей плывет на восток, к эпицентру всех штормов и бурь — Вашингтону. Здесь туча разражается ливнем над строгими фасадами правительственных зданий, потоки через двери проникают в комнаты и чуть не затопляют сидящих там клерков и их начальников. Осажденные мужественно расправляются с кипами бумаг, помеченных различными шифрами и буквами, передавая их из рук в руки,— они подлежат отправке до пяти часов и составят встречный поток официальных голосов, который, в свою очередь, поплывет над страной,

вливаясь в этот оглушительно громкий говор многомиллионного народа; итак, закончился еще один день, наполненный грохотом и гулом, и за этот день Америка стала богаче, похоронила своих мертвецов, храбро впустила в жизнь новорожденных и смазала свои гигантские машины, чтобы они сделали еще одно из тех конвульсивных движений, из которых и складывается жизнь. Вечер спустился на восточную часть Соединенных Штатов, и Вашингтон засверкал своими ярко освещенными монументами, лихорадочно готовясь к тому, чтобы наутро снова приступить к управлению страной.

В городе Вашингтоне на третьем этаже грязного серого здания, именуемого Бюро патентов правительства Соединенных Штатов Америки, имеется огромная комната, разделенная на квадратные клетки; и трудно было бы догадаться, что горы бумаг, возвышающиеся на письменном столе каждого эксперта, отражают лицо технической Америки, каким оно будет через несколько десятилетий, и путь, которым идет ее мысль. Здесь стоит церковная тишина, хотя бюро является ареной бурных споров и братоубийственной войны, которую ведут между собой промышленные предприятия. В каждом закутке за письменным столом сидит человек; и вот уже около двух лет один из этих экспертов ведет нескончаемый и беспощадный спор с братьями Мэллори — спор, в котором не произносится громко ни одного слова, в котором не бушует гнев, в котором царит полное согласие умов, а предметом его является вопрос о том, зря или не зря потрачены все эти годы, которые братья Мэллори целиком отдали работе.

За тысячи миль от Вашингтона Дэви, казалось, чувствовал упорное сопротивление эксперта, хотя и не представлял себе, как выглядит этот человек. Для него эксперт был просто мозгом, работающим в таинственной темноте за чуть приоткрытой дверью. Однако когда Дэви читал длинное письмо, в котором излагались причины отказа, и дошел до главного — утверждения, что изобретатели не оригинальны в своем труде, он как бы различил в этой темноте блеск очков без оправы и довольную улыбку на тонких губах.

Почти полтора года назад Мэллори впервые начали разговор о своем изобретении, сообщив эксперту о том, какой они соорудили прибор, каковы принципы его работы и почему их изобретение можно считать новым и отличным от всего, что когда-либо делалось до них. Они хотели получить постановление конгресса, дающее им исключительные права сооружать и продавать то, что они изобрели,— постановление, именуемое патентом.

Человек, сидящий в одной из клетушек, молча прочел их заявку и, поразмыслив месяцев восемь, ответил, что братья Мэллори в нескольких пунктах допустили ошибку. Кроме того, эксперт напомнил им, что некий человек в 1917 году изобрел нечто похожее на одну из частей их сложного прибора и использовал это в механизме, предназначенном для совершенно других целей; а кто-то другой в 1922 году применил схему, подобную той, которую построили они, для точно такой же цели. Таким образом, по причинам, изложенным выше, претензии, перечисленные в пунктах 1—12 включительно, удовлетворены быть не могут; а поскольку вся заявка в целом содержит всего двенадцать пунктов, педантично продолжал эксперт, она отклоняется полностью, и Бюро патентов не считает возможным просить конгресс Соединенных Штатов о принятии соответствующего постановления.

Этот первый официальный документ послужил толчком к разрыву с Броком; вскоре после того, как были подписаны документы о прекра-

щения всяких деловых отношений с банкиром, Дэви и Кен снова вернулись к разговору с человеком, сидящим в клетушке.

Этому человеку было указано на то, что он сам ошибается и что в пяти пунктах его возражений опущено главное. Братья подробно остановились на разборе этих пунктов. Что до приведенных экспертом возражений, то существует три причины, по которым изобретение 1917 года никоим образом не могло войти составной частью в изобретенный ими прибор и выполнять те функции, для каких этот прибор предназначен. Все эти три причины были изложены эксперту. Что же до ссылки на изобретение 1922 года, то при ближайшем рассмотрении оказалось, что эксперт ошибся и тут, увлекшись формой и забыв о функциях. Мэллори соглашались с тем, что диаграммы функций, возможно, и совпадают на бумаге, но объясняется это лишь условиями механического вычерчивания кривой. В электрическом же отношении между ними нет никакого сходства, и обе схемы были подробно описаны для сведения эксперта. В конце излагалась просьба удовлетворить заявки, изложенные в пунктах 1—12 включительно, и довести до сведения конгресса Соединенных Штатов тот факт, что все права на данное изобретение принадлежат братьям Мэллори.

Такой подробный ответ, повидимому, потребовал от эксперта весьма серьезных размышлений, и весь остаток зимы, а также всю весну 1929 года он выжидал. Но его вторичный отказ, который изучал сейчас Дэви, доказывал, что выжидал он не потому, что был поставлен в тупик или загружен другой работой, а просто потому, что он хотел подобрать такое оружие, чтобы можно было сразить их насмерть. Дело в том, что отвергнуть чью-либо заявку, сославшись на уже выданный патент, можно лишь в том случае, если этот патент уже год как зарегистрирован в книгах бюро; и вот за то время, пока эксперт ждал, сидя в своем закутке, истек годичный срок для четырех патентов, о которых он еще не мог упоминать в своем первом отказе, и теперь эксперт учтиво преподнес их братьям Мэллори.

Возражения, выдвинутые против их заявки, были составлены очень ловко и при первом чтении казались неопровержимыми. Даже перечитывая письмо вторично, Дэви был глубоко убежден в том, что отказ окончательный и вполне справедливый. И лишь читая письмо в четвертый или пятый раз, он начал замечать маленькие пробелы в доводах эксперта, похожие на трещинки в монолитной глыбе.

Из всего этого Дэви сделал, впрочем, один бесспорный вывод: не только они с Кеном работают в этой области. Другие люди в разных уголках страны жили все это время одной с ними мечтой. Эти люди работали в такой же безвестности, как и они, и, повидимому, с такими же взлетами и падениями — со своими Бэннерменами, со своими Броками, быть может, даже со своими Волратами.

Две из четырех схем, как явствовало из патентов, были весьма примитивны по сравнению со схемой Дэви и Кена и практически неприменимы — патент был выдан их изобретателям только за новизну идеи. По собственному опыту Дэви знал, что эти две схемы существуют только на бумаге и никогда не дадут хороших результатов на практике — они просто никуда не годятся. Но две другие схемы, которые привел в доказательство своего отказа эксперт, отличались изобретательностью и были так же тщательно продуманы, как и их собственная. Одна из этих схем представляла собой улучшение конструкции, уже запатентованной фирмой «Вестингауз» в 1922 году, а вторая была совершенно новым изобретением в этой области. Изобретатель этой последней схемы жил в Сан-Франциско, а под фамилией его стояло название синдиката, повидимому это была та самая группа, о которой говорила Марго. Схема была

придумана человеком на редкость одаренным, это несомненно, а размах проведенной им работы указывал на то, что в его распоряжении имеются большие средства.

Робинзон Крузо стоял, как громом пораженный, увидев на песке следы одного только Пятницы, а перед Мэллори неожиданно предстали целых два человека, вторгшихся в область, которую братья считали только своей, — и все-таки Дэви нисколько не испугался. Он все время подозревал, что может произойти нечто подобное. Кроме того, он почувствовал приятную уверенность в своих силах — ведь если еще кто-то работает над тем же, что и он, значит, это вовсе не бессмысленная затея; к тому же другие изобретения в таком виде, как сейчас, имеют мало общего с их работой. Если раньше у него и возникали сомнения в своих способностях, сейчас они полностью исчезли. Дэви чувствовал себя неуязвимым — как бы он сейчас ни поступил, успех обеспечен,— и все-таки что-то заставляло его быть крайне осторожным.

— А ты что думаешь на этот счет?— с расстановкой спросил он Кена.

— Какого черта, да мы всех их побьем!— сказал Кен; ссылки на уже существующие изобретения он воспринял как вызов, на который ему не терпелось ответить.— Если все ограничится только этим и других соперников у нас не будет, считай, что патент у нас в кармане.

Кен с мрачным удовлетворением посмотрел на свои стиснутые кулаки.

— Все выходит так, как мы задумали,— медленно произнес он, — словно осуществляешь чертеж, сделанный на кальке. И все эти умники, которые в нас не верят, будут читать о наших успехах и плакать. И Волрат первый. Вот сейчас я хочу, чтобы он был нашим партнером. Просто для того, чтобы посмотреть, как он будет вести себя в том единственном деле, где он никогда не сможет играть главную роль.

— А я думаю не о людях,— медленно сказал Дэви.— Я думаю о самом изобретении. По-моему, наша работа лучше всех — пока. Вот и все.

— Терпеть не могу этот твой многозначительный тон. У меня от него начинают мурашки бегать.

— И я не уверен, что она долго будет самой лучшей.

— Ох, бога ради, не нервничай!

— Стоит только взглянуть на эти патенты, и в голову приходит миллион способов улучшить их.

— Тем хуже для них. Пусть делают, как могут.

— Ты не понимаешь главного: можно придумать, как улучшить другие системы, но нашу собственную улучшить уже почти нельзя.

Впервые Кен не нашел, что ответить.

— Возьми, к примеру, придуманную у Вестингауза систему распыления точечных фотоэлементов на листе слюды. Если им удастся уменьшить и сблизить эти точки, изображение получится четким и ясным. Тут необходимо вмешательство химика, а фирма «Вестингауз» может нанять тысячу химиков для работы над этой проблемой. И решение ее — только вопрос времени.

Кен попрежнему молчал, и Дэви, выждав немного, продолжал дальше:

— Этот изобретатель из Сан-Франциско передвигает все изображение мимо крошечной щели, в которую попадает в данный момент только маленькая часть изображения. Ты сам говоришь, что, усовершенствовав усилительную схему, он сможет делать свою щель все меньше и меньше и получить отличное изображение. А у нас ведь совсем другая проблема. Мы не можем добиться четкости, потому что применяемая нами сетка недостаточно тонка, а сделать ее еще тоньше уже нельзя, хоть умри. Понимаешь, я хочу доказать тебе, что коренная разница между тремя

изобретениями состоит только в материалах и чисто механической технике, которыми пользовались изобретатели, то есть не в основной идее, а во внешних факторах. Конечно, наша работа сейчас — лучшая из всех и, по всей вероятности, будет лучшей в ближайшие пять-десять лет. А потом они нас обгонят, и тут уж мы ничего не сможем поделать.

— Значит, впереди еще пять-десять лет?— с явным облегчением усмехнулся Кен.— Да ты только представь себе, какую уйму денег можно заработать за пять-десять лет!

Дэви ничего не ответил. Он отвернулся и подошел к окну.

— Ты все-таки подумай об этом,— продолжал Кен.— Подумай, что мы сможем сделать, если у нас будет монополия на такую штуку в течение пяти или десяти лет!

— Я сейчас думаю, самое ли это для нас главное,— наконец произнес Дэви.

Кен изо всей силы ударил кулаком по столу.

— Довольно!— повелительно сказал он.— Мы сейчас достигли всего, чего хотели. Не время раскачивать лодку. Мы с тобой уговорились сделать эту работу, и мы доведем ее до конца. Осталось совсем немного — придумать, как нам управлять предприятием, которое будет стоить миллиард долларов. Ведь только к этому и сводятся все наши с тобой разговоры.

— Только к этому?

— Боже всемогущий, а к чему же еще?

— Вот это я и пытаюсь сейчас выяснить. Для меня лично,— сурово сказал Дэви,— миллиард долларов — пустой звук. Я произношу эти слова и чувствую — они никак не отвечают моим стремлениям и даже не волнуют меня. А вот если я спрошу себя, хочу ли я трудиться, чтобы создать прибор, который будет работать так, как мы всегда мечтали,— у меня просто замирает сердце. И тогда что из того, если в жизни не все получается точно по чертежу, который мы с тобой придумали пять лет назад! Что из того, если мы даже не получим монополию на наше изобретение! — Он внезапно расхохотался.— Ты же знаешь, мы с тобой можем прожить на куда меньшую сумму, чем миллиард или даже какой-нибудь несчастный миллион долларов!

— К чему ты клонишь?— с расстановкой спросил Кен. Губы его крепко сжались.— Почему мы не получим монополию на наши изобретения? Почему все не может произойти точно по нашему чертежу?— Он поднялся с места.— Черт тебя возьми, Дэви, ты, как видно, уже что-то решил! К чему ты клонишь, скажи, ради бога?

— Признаться, я сам не знаю. Я только пытаюсь представить себе, что будет через много лет...

— Да перестань ты!— прикрикнул на него Кен. Лицо его покраснело от злости.— Через много лет мы все будем лежать в могиле!

— Предположим, что мы получим патент на изобретение и будем иметь для разгона пять лет. А теперь скажи мне, миллиардер, что произойдет, если телевидение к этому времени коммерчески не оправдает себя? Или представь себе, что мы ввяжемся в тяжбу? Уж они такой возможности не упустят, будь уверен. Раз уж они поймут, что могут выдвинуть против нас обвинение в нарушении авторских прав и протянуть дело в суде, пока их лаборатории нас не обгонят, они сейчас же это обстряпают и будут стоять на своем, даже если тяжба обойдется им в миллион долларов. Ну что такое миллион, когда впереди куш в целый миллиард?

— Ты думаешь, я согласился бы взять в компаньоны Волрата, если бы у него не было денег, чтобы бороться за нас?

— А мне сейчас наплевать на Волрата!

— Ну, знаешь, пора наконец выяснить, на кого же тебе *не* наплевать.

— Я уже сказал тебе: главное для меня — продолжать работу.— Он смотрел Кену прямо в лицо.— И я готов сейчас же полностью изменить план действий. С этой самой минуты! Мы должны добиваться патента, но дальнейшую работу над нашим прибором надо немедленно прекратить. Будем считать его просто экспериментом. И с этого дня начнем работу над усовершенствованием *их* изобретений — да так, чтобы обогнать всех. Мы же с тобой можем это сделать! И, таким образом, мы будем совершенствовать ту единственную систему, которая, как мы знаем, может дать результаты уже сейчас и которую можно улучшать и дальше.

— Ты совсем с ума сошел!— разъярился Кен.— Ты все выбрасываешь на свалку — и во имя чего? Единственно, чего мы добьемся,— это патентов на улучшение чужого изобретения. А основные права попрежнему останутся у них. Мы не сможем и пальцем двинуть без их разрешения.

— А они не смогут и пальцем двинуть без нашего. И только такая работа сможет дать нам наибольшее удовлетворение. Такой ли уж я сумасшедший? Спроси-ка себя, что заставляет тебя вставать спозаранку, бежать в мастерскую и трудиться по пятнадцать часов в сутки — и так день за днем? Ведь ты это делаешь не из-под палки — значит, любишь свое дело! А почему?

— Всякий раз, как я поворачиваю рычаг, всякий раз, как я слежу за стрелкой на циферблате, я знаю, что приближаюсь к чему-то огромному...

— Ладно, к чему же именно? — не отставал Дэви.

Кен сказал очень просто:

— К богатству, к такому количеству денег, что даже неизвестно, куда их девать.

— Ерунда,— сказал Дэви.— Может быть, тебе кажется, что ты так думаешь, но это неправда. И я сейчас тебе это докажу. Представь себе, что у тебя куча денег и ты можешь купить себе все, что хочешь, а куча все не уменьшается. Неужели ты перестанешь работать?

— Нет, почему же — работа доставляет мне удовольствие.

Дэви в отчаянии ударил кулаком по столу и заговорил страстно и возбужденно:

— Вот мы и вернулись к тому, с чего начали! *Почему* тебе нравится созидать что-то новое — такое, что никогда не существовало прежде? Как называется то стремление, которое движет тобой? Хоть раз в жизни посмотри на дело прямо, забудь о всяких рекламах и россказнях про головокружительные карьеры! Отчего ты чувствуешь, что рука у тебя точно приросла к инструменту? Почему ты любишь создавать? Почему ты гордишься своей работой, сознавая, что вложил в нее душу? Ради бога, попробуй наконец разобраться в себе. Что тебе доставляет самую большую радость в жизни?

— Деньги,— глухо сказал Кен.— И больше ничего.

— А зачем тебе нужны деньги?— спросил Дэви.

— Оставь меня в покое!— воскликнул Кен, мучимый противоречивыми чувствами. Он сделал движение, как бы желая убежать прочь.— Я все выслушал и ни с чем не согласен. Мы будем продолжать нашу работу, как и собирались.

— Я говорю об этом миллиарде долларов,— не отставал Дэви. Он схватил Кена за руку.— И ты ответишь на мой вопрос. Зачем он тебе?

Кен медленно поднял глаза на брата.

— Потому что, если хочешь знать, я одинок,— негромко произнес он.— Конечно, работа — прекрасная штука. Мы с тобой большие люди — изобретатели, инженеры, творцы, и все-таки мне этого мало. Мне

нужны люди, а людей-то в моей жизни теперь нет. Марго ушла из нее, и ты тоже. И не говори мне, пожалуйста, что мы с тобой попрежнему живем и работаем вместе. Мы просто стоим рядом — вот и все.— Он, не глядя, сунул в рот сигарету.— В мастерскую приходит Вики — и мне уже нет места. Ни в ее жизни, ни в твоей. Когда у меня будут деньги, я уеду далеко отсюда. Подальше от тебя, подальше от этого дома, где жила Марго...— Он осекся, стараясь овладеть своим голосом, но смотреть на Дэви был не в силах. Отвернувшись в сторону, он заговорил уже гораздо спокойнее:— И есть еще одна причина, почему именно ты не имеешь права говорить о том, чтобы плюнуть на всю нашу работу. Ты ведь женишься, и тебе будут нужны деньги. У вас появятся дети. Мы сможем получить патент лишь в том случае, если окажемся лучше других, — и мы сумеем быстро доказать наше преимущество. А что будет потом — уже неважно. Надо продолжать работу, как было решено, и мы добьемся всего, чего хотели. Ты, Марго и я — люди, созданные для счастливых концовок.

Дэви стоял неподвижно — ему нечего было сказать, ибо он вдруг понял, что, стараясь доказать одну истину, он нечаянно открыл Кену совсем другую. Наступившее молчание было тягостным для них обоих.

Через час почтальон вручил Дэви телеграмму, адресованную Д. и К. Мэллори для передачи м-с Дуглас Волрат.

Дэви разорвал конверт и прочел: «Приезжаю в четверг. Целую. Дуг.»

— Давно пора,— язвительно заметил Кен.

— Ты в самом деле хочешь его видеть?

— Я хочу видеть его деньги. Нам потребуется все, что он сможет нам дать, чтобы провернуть это дело побыстрее. И, ей-богу, мы своего добьемся!

Дэви медленно покачал головой:

— И все-таки не думай, что тебе удалось втереть мне очки, Кен. Рано или поздно тебе придется ответить на мои вопросы так, как отвечаю на них я. А не то этот камень свалится нам на голову, и мы не успеем даже отскочить в сторону!

— А я говорю, что мы будем держаться первоначального плана. До сих пор все шло благополучно. Ты мастер брать дальние прицелы — вот и рискни сейчас остаться с нами.

— Нет,— сказал Дэви.— То, о чем я говорю, только кажется дальним прицелом. Для меня все это близко и ясно. Я могу спорить с тобой сколько хочешь, но сейчас ты должен согласиться со мной только в одном: ты не будешь договариваться с Дугом Волратом ни о чем, пока мы не обсудим все это между собой.

Кен промолчал, но хотя он и не ответил «нет», Дэви почувствовал, что они так и не пришли к соглашению.

2

Самолет, которым управлял Волрат, описывал круги над Уикершемом перед посадкой. На посадочной площадке горячий ветер гонял крохотные вихри пыли. Сверху они казались крутящимися каплями воздуха, превратившегося в студенистую массу. Даже с высоты трех тысяч футов было неприятно глядеть на царившее внизу смятение.

Вверху же стояло безветрие, так что самолет, не меняя курса, приблизился к городу с восточной стороны и, промчавшись над заводом, с гулом пошел на посадку. Аэродром был весь в ухабах и зарос травой — он как бы снова постепенно превращался в пастбище. Вокруг не видно было ни одного самолета, и Волрат тщетно всматривался, не бежит ли кто-нибудь ему навстречу. Завод выглядел точно таким, каким он его

оставил, но на площадке, где раньше всегда стояло не меньше сотни автомобилей, теперь виднелось всего пять-шесть. Волрат нажал педаль акселератора и, подрулив к зданию, проехал вдоль окон конторы. Куда запропастился Мел Торн? Какого черта никто не выходит?

Из окон на него уставились два-три знакомых лица, но никаких признаков суматохи Волрат не заметил. Раздраженный и злой, он выключил мотор и распахнул дверцу кабины. В ту же секунду из дома, сощурившись от солнца, неторопливо вышел Мел Торн в легкой рубашке, без пиджака.

— Наконец-то! — проворчал Дуг. — Вы что там, вымерли все, что ли?

Мел помог ему подложить под колеса чурбашки, но это была обычная услуга, в которой ни один летчик не откажет другому.

— А чего же вы, собственно, ждали? — спросил Мел. — Флагов?

Дуг обернулся, удивленный непривычным для него тоном.

— Какая муха тебя укусила, Мел?

— Ну, знаете, будь я проклят! — медленно сказал Мел, глядя ему в лицо. — Уж такого я не ожидал! Вы врываетесь сюда, будто ваше имя на вывеске еще что-то значит! Разрешите вам сказать, что завод носит имя Волрата только по той простой причине, что у фирмы нет денег на краску для новой вывески.

— Что случилось с тем военным заказом? — резко спросил Дуг.

— С каким военным заказом, позвольте спросить?

— Перестань! Об этом заказе шли переговоры еще при мне. И все было уже налажено. Вам оставалось только довести дело до конца.

— Переговоры шли, пока вы не дали тягу. Но как только вы повернули нам спину, все пошло к чертям. Да об этом заказе, будь он проклят, они больше и не заикались. Эти господа сделали вид, будто никогда о нас и не слыхали. Когда вы, молодой человек, хотите развязаться с тем, что вам надоело, вы делаете это с блеском!

Дуг вздохнул и огляделся.

— Мэллори еще не приехали? Они собирались встретить меня и отвезти в город. — Он взглянул на Мела и вдруг рассмеялся. — Что ж, ты так и не впустишь меня в контору?

Мел пожал плечами.

— Входите, — сказал он. — Можете подождать внутри.

Завод казался совершенно заброшенным. Среди бездействующих станков почти терялся единственный самолет, который находился в процессе сборки; голоса нескольких рабочих эхом отдавались в пустых стенах и поэтому казались неестественно громкими.

— Вот этот самолет мог бы в два счета обогнать «Сокола», если бы мы его когда-нибудь доделали до конца. Я знаю, если б я мог лететь на нем в сентябрьских состязаниях, наши дела сразу пошли бы в гору. Но самолет никогда не будет закончен, так что и говорить об этом нечего.

Они вошли в контору. Мел налил в картонные стаканчики виски Дугу и себе. Стаканчики явно уже были в употреблении. Мел быстро выпил виски и налил себе еще.

— Недели через две, — сказал он, — шериф опечатает завод. Между прочим, директор завода — я.

— Я и рассчитывал, что ты будешь директором.

Мел криво усмехнулся.

— Директором этой мертвецкой?

— Когда я уезжал, здесь было не так, Мел. Не сваливай вину на меня.

— А кто же виноват, как не вы? Слушайте, распродавать акции можно по-разному. Нашлось бы немало людей, которые постепенно раскупили бы их, и без всякой суматохи. Вы бы и так набили себе карман. Но выбросить все сразу на открытый рынок — это был наилучший способ сшибить нас с ног. И это могли сделать только вы, потому что ни у кого

не было столько акций, сколько у вас. Черт возьми, люди, которые имели несравненно меньше вашего и еще меньше вашего интересовались тем, что мы тут делаем, — и те вели себя куда осторожнее! Все думают, что вы устроили ловкую аферу и что это было обдумано заранее. Но я-то знаю, что это вовсе не так.

— Очень рад, что хоть вы это понимаете.

— О, я слишком долго работал с вами, поэтому не верю, что вы на это способны. — На его покрытом шрамами лице вдруг появилось выражение горькой злобы. — Я-то знаю — вы даже не понимали, что делаете. Я давно уже жду случая сказать вам это. Те, кто пытается разгадать ваши планы, всегда остаются в дураках, потому что и разгадывать-то нечего — у вас не бывает никаких планов. Вас просто заносит то в одну, то в другую сторону, а так как вы при этом всегда располагаете большими деньгами, то неизбежно наживаетесь на любой своей затее. Вы не особенно умны и не особенно глупы — вы просто богаты. В этом все дело. Вот что я хотел вам сказать.

Дуг поглядел в свой наполовину опорожненный стакан.

— Мне очень жаль, Мел. Я, конечно, должен был предупредить вас, чтобы вы успели во-время продать свои акции.

— Боже, до чего вы бываете глупы! Четыре года назад, когда вы подобрали меня на Брайант-сквер и я рассказал вам о своей идее насчет нового самолета, — слышали вы от меня тогда хоть слово насчет денег? Я придумал, как построить самолет усовершенствованной конструкции, и говорил только об этом. Вот и все. А наживать на этом деньги — это уж вы придумали.

— Давайте, я куплю все ваши акции по тридцати долларов за штуку. По такой цене я продавал свои.

— Теперешняя цена им — тридцать центов, и то никто не берет. Только за эту цену я и могу их продать. Если я получу с вас по тридцать долларов за штуку, я не смогу смотреть в глаза двумстам человекам в этом городе, хотя со многими я даже не знаком. А, да ну их к черту, эти акции! Вы даже не понимаете, о чем я говорю. — Он залпом выпил свое виски и налил еще. — Как идут ваши голливудские дела.

— Неплохо, только я этим больше не занимаюсь.

Мел поднял на него глаза. — Вы уже кончили картину?

— Ее еще только начинают. Но все в порядке. Я продал свой пай.

— С немалой выгодой? — любезно спросил Мел.

— Как всегда, — улыбнулся Дуг.

— А что Карл? Он тоже участвовал в сделке?

— Нет, его там куда-то пристроили — так я думаю. Во всяком случае, они сказали, что попытаются. Вы же знаете, какие теперь времена.

— Уж будьте уверены, знаю. А что если его никуда не пристроили?

— Пожалуйста, не распускайте нюни, Мел. Ни один человек не работал у меня только из любви ко мне. Все работали потому, что я платил, и платил хорошо. А когда работа кончена, какой еще может быть разговор?

— Разумеется, только дело тут не в работе. Если человек вам нужен, вы всегда высасываете его мозги и вынимаете душу, потому что вы покупаете не его труд, вы покупаете его мечту.

Дуг покраснел, но улыбка не сошла с его лица.

— Ну что ж, тем лучше!

— Для вас — да, но не для тех, кто имеет с вами дело. Вон идут братья вашей жены. Это что, очередной трамплин для нового разбега? Я слышал, они вполне для этого созрели.

— Трудно сказать наперед, Мел. — Дуг встал и направился к двери. — Ну что ж, повторяю — мне очень жаль. Насколько я понимаю, те-

перь я должен просить у вас разрешения оставить мой самолет на поле.

— Можете оставить, — сказал Мел, тяжело поднимаясь со стула — начинало сказываться действие виски. — Пусть себе стоит сколько угодно.

Дуг все еще медлил у двери.

— Может быть, я все-таки могу для вас что-нибудь сделать? Куда-нибудь рекомендовать? Имейте в виду, я всерьез предлагаю купить ваши акции по тридцати долларов.

Мел словно не заметил протянутой руки.

— Нет, благодарю. Постойте, у меня есть к вам просьба. Одна-единственная. Пожалуйста, никогда ничего для меня не делайте. Ни хорошего, ни плохого. Просто оставьте меня в покое. Раз и навсегда. Идет?

Впервые за все время Дуг взглянул на него с некоторым смущением.

— Вы как будто боитесь меня, Мел. И здорово боитесь.

— Пожалуй, да, — ответил человек, который хотел только одного — делать самолеты как можно лучше. — Я боюсь вас до смерти.

3

Послеполуденный зной, казалось, остановился и повис в воздухе перед самыми окнами дома Дуга Волрата, не решаясь проникнуть внутрь. Длинные занавеси то слегка надувались от легкого, еле заметного ветерка, то бессильно опадали снова. Кен и Дэви еще никогда не бывали в этом доме; они сидели вместе с Дугом у огромного, облицованного гранитными плитами камина, в которых как бы скопилась вся оставшаяся в мире прохлада — прохлада нежилых домов. Сторож открыл окна только сегодня утром. Артур, который должен был навести в доме порядок, еще не приехал — он перегонял сюда с побережья новый «дьюзенберг». Мебель стояла в чехлах, а ковры были свернуты.

Три молодых человека приехали сюда прямо с заводского аэродрома и сидели в ожидании вестей от Марго — долетев до Чикаго, она должна была позвонить или дать телеграмму, чтобы Дуг вылетел в Милуоки и встретил ее на городском аэродроме.

Несмотря на прохладу, в комнате стояла гнетущая атмосфера невысказанных вопросов и беспокойных мыслей. Дэви думал о том, что мог сказать Мел Дугу, пока тот ждал их на заводе. Дуг то и дело погружался в угрюмое молчание, которое прерывал только, чтобы обратиться к Кену или Дэви с каким-нибудь не относящимся к делу вопросом. Ответов он, казалось, даже не слышал. Такое невнимание возмущало Кена, ибо, несмотря на вчерашнюю стычку с Дэви, он был не в состоянии скрыть свои истинные чувства к Волрату. В присутствии зятя он инстинктивно прикрывался своей защитной броней. Он с чопорным видом сидел в покрытом белым чехлом кресле, как бы считая ниже своего достоинства глазеть по сторонам, в то время как Дэви, внутренне более настороженный, чем Кен, даже не пытался скрыть удовольствие, оглядывая просторную и уютную комнату.

— Да, это славный дом, — сказал Дуг, обращаясь к Дэви. — Впрочем, на расстоянии мне казалось, что он хорош только по сравнению с другими домами в Уикершеме. — Легонько встряхивая бокал, где лежали кусочки льда, он обвел глазами комнату. — Но сейчас он оказался для меня приятным сюрпризом. Налить вам еще?

— Нет, спасибо, — сказал Дэви и приподнял бокал, показывая, что он наполовину полон.

— А вам? — Дуг повернулся к Кену, и Дэви понял, что назвать Кена по имени ему так же трудно, как Кену произнести имя Дуга.

Дуг нарочно выждал, пока Кен встретится с ним взглядом. — Налить вам еще?

— Немножко, — кратко ответил Кен.

— Ладно.

Дуг склонился над бутылками и, сделав коктейль, протянул бокал Кену.

— Вам, должно быть, интересно услышать об этих изобретателях на Западном побережье, о которых меня просила разузнать Марго, — сказал Дуг. — Я навел самые подробные справки — кто они, откуда, какого рода делом занимались прежде. Внешне эта группа производит хорошее впечатление. Их финансируют солидные, консервативные в своих убеждениях люди. Юридическая сторона дела поставлена хорошо, так что заявка на патент, должно быть, солидно обоснована.

— Все это нам уже известно, — категорическим тоном сказал Дэви, желая прекратить этот разговор, но Дуг ухватился за его слова:

— Значит, вы уже сталкивались с ними?

— Нам ничего не стоит одолеть их, — угрюмо сказал Кен, словно решив ради делового разговора побороть острую неприязнь к зятю.

Дуг, почувствовав это, заколебался, но счел за лучшее пока ни на что не обращать внимания.

— Скажите откровенно, стоящая ли это работа — с технической точки зрения?

— Очень стоящая, — ответил Кен. — Но наша еще лучше.

— По крайней мере — пока, — спокойно добавил Дэви.

Дуг перевел взгляд с одного на другого, ища признаков скрытого несогласия между ними, но ни Кен, ни Дэви не стали распространяться на эту тему.

— Кроме изобретателей из Сан-Франциско у вас нет других конкурентов? — спросил Дуг.

— Налейте мне еще, — сказал Дэви. — Нам повезло, что эти бутылки не сперли в ваше отсутствие.

— Есть еще одна группа, — ответил Кен, — и, пожалуй, самая сильная из всех — она работает в фирме «Вестингауз».

Дуг задумчиво нахмурился. Он словно и не замечал явных стараний Дэви перевести разговор на другое.

— Значит, есть уже три разных системы. Скажите мне вот что: могут ли все три развиваться самостоятельно или одна из них должна вытеснить остальные?

— Может, мы поговорим об этом в другой раз? — нетерпеливо приподнялся Дэви.— С минуты на минуту позвонит Марго, и, кроме того, слишком жарко, чтобы обсуждать деловые вопросы.

— Мы не обсуждаем никаких вопросов — мы просто выясняем обстановку, — возразил Кен и повернулся к Дугу. — Хорошо, я отвечу на ваш вопрос о трех системах. Я убежден, что могут существовать все три, если договориться об общем типе передачи. Могу добавить, что, по мнению Дэви, какая-нибудь система рано или поздно вытеснит другие.

— В результате соревнования за качество или посредством финансового давления?

Дэви со злостью взглянул на брата. Еще не так давно он беспрекословно признал бы главенство Кена, даже если б ему пришлось подавить внутренний протест. Сейчас он вспыхнул от возмущения, чувствуя, что Кен его предал, но разговор зашел так далеко, что отмалчиваться было неловко.

— Дело вот в чем, — сказал он. — В техническом отношении каждую из трех систем можно усовершенствовать, заимствуя кое-что у других. Но

если судить по тому, что происходит в промышленности, то вряд ли можно себе представить, чтобы три разных синдиката дружески объединили свои силы и сообща добивались патента. Ведь все это связано с очень большими затратами. В результате после длительной борьбы один синдикат поглощает другие. И трудно угадать заранее, который из них победит — тот ли, у кого больше прав на патент, или тот, у кого больше денег.

— Да, конечно, тут можно только получить все или ничего, — согласился Дуг. — Но, боже мой, ставки так велики, что стоит пойти на риск. Однако вы неправы, считая, что победа зависит только от патентов или денег. Есть еще один фактор — участвующие в борьбе люди. В конце концов, каждый синдикат или корпорация состоит из живых людей, и до какой-то степени фирма является отражением личности директора, его достоинств и недостатков. Взять хотя бы эту группу из Сан-Франциско. Я сказал — *внешне* они производят хорошее впечатление, но, по моим сведениям, внутри организации у них идут трения — личные трения, и если их не зажмет в кулак суровая рука какого-нибудь энергичного директора, то дело непременно кончится плохо. Но мне кажется, никто их в кулак не зажмет, и в конце концов эта группа распадется. Так мне подсказывает чутье.

— А у вас верное чутье? — спросил Дэви.

Дуг развел руками.

— Такое же, как всегда, — просто ответил он и взглянул на ручные часы, повернув их к себе циферблатом. — Марго должна уже приближаться к Чикаго. Это дело пятнадцати минут. Хотите отложить разговор или будем продолжать, пока она не позвонит?

— Давайте продолжать, — сказал Кен.

— Ладно, тогда перейдем прямо к делу, — согласился Дуг. — Так каковы же будут наши деловые взаимоотношения?

— Может, *вы* нам это скажете? — предложил Дэви.

— Все зависит от ситуации, — пожал плечами Дуг, не совсем удачно пытаясь скрыть свою настороженность. — Скажу вам прямо — меня это очень интересует. Но давайте начнем с фактов. Кому сейчас принадлежат паи вашей компании?

— Нам, — ответил Кен. — Акции мы выкупили все до одной. Да еще десять процентов принадлежат Бэннермену, но это по частному соглашению.

— Бэннермену? — протянул Дуг, как бы с трудом припоминая это имя. Дэви сразу ощутил прилив неприязни к Дугу — всего за несколько дней Бэннермен стал в его глазах таким же ничтожеством, как и Мел Торн. — Вы говорите о *Карле* Бэннермене? Что ж, это важная деталь. Насколько я понимаю, вам понадобится поддержка и средства какой-нибудь крупной корпорации...

— Мы никому не уступим руководства,— резко заявил Дэви.— И вы правы — сейчас не время для такого разговора.

— Вам ничего не придется уступать, — сказал Дуг. — Вы сольетесь с группой, которой вы нужны как гарантия на будущее. И ничто не мешает вам сохранить свою индивидуальность в пределах этого объединения.

— Точнее, — потребовал Кен.

— Пожалуйста. Я говорю о новом объединении, центром которого будет радиокомпания «Стюарт—Джанни». Ее продукция имеет хороший сбыт, и акции ее за последние три года поднялись с семнадцати до пятидесяти пяти пунктов. В прошлом году в радиокомпанию влились фирмы «Радиолампы Диксона» и «Морган-радио». В этом году она рассчитывает поглотить целую сеть мелких и несколько крупных самостоятельных

радиостанций. Полгода назад они спрашивали, не хочу ли я войти в долю. Я не захотел. А теперь, может, и захочу. Захочу, если мы — в первый раз говорю «мы» — придем к какому-нибудь соглашению.

Кен взглядом попросил у Дэви совета, но тот не пришел к нему на помощь и промолчал. Кен понял этот безмолвный упрек, лицо его стало суровым, и он упрямо повернулся к зятю.

— Какое соглашение вы имеете в виду? — спросил он.

Дуг на секунду задумался, потом нетерпеливо передернул плечами, как бы отмахиваясь от вопроса, который сам же задал.

— Дэви прав. Поговорим об этом после, когда приедет Марго. Я не хочу начинать подробное обсуждение и потом прерывать его на середине. Она может позвонить с минуты на минуту. — Он снова взглянул на часы. — Наверно, ее сейчас соединяют с нами.

Кен откинулся на спинку кресла, не в силах скрыть ощущение, что его попросту отпихнули в сторону. Сейчас между обоими братьями и зятем возникла отчужденность, и каждый чувствовал, что остальные нанесли ему обиду. Это враждебное чувство было неглубоким, но не мимолетным. Их ничто не связывало, кроме Марго.

Зазвонил телефон, стоявший возле Дэви, и Дуг кивком указал ему на трубку.

— Просят вас, — сказал Дэви Дугу. — Лично. Вызывает Хилсайд, штат Пенсильвания.

— Хилсайд? — недоверчиво усмехнулся Дуг. — Кто может звонить мне из Пенсильвании? Держу пари, что это Марго. Нашла же место где приземлиться! — добавил он, вставая. Он улыбался, но, видимо, был недоволен, и братья молча глядели на него, когда он взял аппарат из рук Дэви.

Дуг выслушал какое-то сообщение, и вдруг лицо его побелело — он был ошеломлен, словно не веря, что с ним может произойти такая невероятная вещь. Дэви подумал, что никогда еще не видел такого трагического, помертвевшего от ужаса лица, какое было у Дуга в эту минуту, а потом, когда до него стал доходить смысл вопросов, которые задавал Дуг прерывающимся, глухим голосом, та же боль, что он увидел в глазах Дуга, хлынула в его сердце — гнетущая, нестерпимая боль, — и затем он уже перестал думать о том, как выглядит сейчас каждый из них — он, Кен или потрясенный горем человек у телефонного аппарата.

4

Та же убийственная жара, что стояла в Уикершеме, больше недели держалась в восточных штатах, захватив Мичиган, Иллинойс, пенсильванские сталеплавильные города и даже дачные места в Поконосе. В Атлантик-сити на набережной скоплялись толпы народа, а океан был гладким, как стекло. Даже на севере, в Огенквите, говорили, что штат Мэн не запомнит такого лета. Тяжелая духота нависла над материком, от Каталины до Бермудских островов. В Нью-Йорке термометры показывали девяносто четыре градуса по Фаренгейту, и в воздухе не чувствовалось ни малейшего ветерка. Две судоходные реки и океанский залив, окружающие узкий стальной город, посылали в него тонны пара, от которого все становилось клейким на ощупь. Однако Марго не замечала никаких неудобств — она была в таком восторге от своей первой вылазки в Нью-Йорк, что не чувствовала ничего, кроме пьянящей радости.

Она так долго мечтала об этой поездке, так долго жаждала ее, что могла заранее разработать во всех деталях программу предстоящих удовольствий. Еще задолго до приезда она предвкушала посещение магазинов, театров, тайных кабачков, отелей — даже отеля «Плаца», где она

сейчас укладывала вещи, готовясь к отъезду. Она могла бы представить себе, как ослепительно хороша и элегантна Пятая авеню в свете солнечного дня, но совсем не ожидала, что Нью-Йорк окажется городом тропического блеска, и в то время как измученные нью-йоркцы томились и сникали от жары, Марго, свежая и бодрая, вихрем носилась по сверкающим, как драгоценности, улицам, которые являются сердцем Нью-Йорка. Она была Северной принцессой, попавшей в Багдад.

Она приехала сюда как миссис Дуглас Волрат, и друзья Дуга, собираясь засвидетельствовать ей свое почтение, готовились быть снисходительными и оказывать ей всяческое покровительство — вплоть до того, чтобы ограждать ее от собственного презрения, если они почувствуют таковое. Но Марго давно уже научилась как следует одеваться и умела говорить именно то, что надо, хотя ее сердце ёкало при каждом новом знакомстве. В Голливуде она чувствовала себя менее чужой, чем здесь, ибо, хотя обитатели киногорода обладали громкими именами, они в Калифорнии, как и в жизни, были перелетными птицами.

Мужчины и женщины, сопровождавшие ее в скитаниях по Нью-Йорку, отличались уверенностью и той непринужденностью в обращении, которая приобретала совершенно уничтожающий оттенок, когда дело касалось тех, кого они не считали «своими», и, наоборот, была чрезвычайно лестной для всех, кого они решали принять в свой круг. Марго, можно сказать, стояла на верхушке внешней крепостной стены, ясно видимая всем королям и королевам, и воины этой блестящей цитадели пока что не пустили в нее ни одной стрелы.

Ее нисколько не удивил оказанный ей прием, так как в глубине души она была радостно уверена, что отныне может иметь все, чего только не пожелает. Все, о чем она издавна мечтала, наконец сбылось; и она, в свою очередь, выполнила все обещания, которые когда-либо давала себе и своим братьям. Она сейчас обладала неукротимой силой, которая нисходит на человека, когда оправдываются усилия всей его жизни. Мир для нее был полевым цветком — стоит только протянуть руку, чтоб сорвать его.

Все платья, которые ей хотелось иметь, и все подарки были уже куплены, и теперь в затененных и все-таки жарких комнатах номера-люкс она поджидала лимузин, который отвезет ее в аэропорт. Дуг, наверно, уже в Уикершеме, а она будет там завтра, если самолет придет по расписанию. Говорят, что эти большие новые самолеты — просто чудо. Марго нетерпеливо взглянула на золотые с брильянтами часики, и тотчас же, словно этот признак неудовольствия царственной особы заставил придворных заспешить, раздался телефонный звонок, и ей доложили, что машина подана.

Чемоданы снесет коридорный; Марго взяла только новую красную сумочку — единственный кричащий предмет в ее туалете. Она небрежно держала ее в руках, хотя еще неделю назад, до того, как Марго приехала в Нью-Йорк и одержала над ним победу, яркокрасная сумочка показалась бы ей вещью совершенно немыслимой. Но продавец в магазине Марка Гросса уверял, что в Париже уже носят красные сумки и что в самом скором времени яркие цвета станут такими же привычными, как черный, коричневый или беж. Она решила, что сумка стоимостью в девяносто пять долларов не может вызвать презрительной усмешки, и купила ее; а когда сумка перешла в ее собственность, то стала ей даже нравиться. Марго торопливо переложила в нее деньги — больше тысячи долларов, которые она не успела истратить, губную помаду, пудреницу, пачку сигарет, зажигалку, несколько безделушек, которые могли или, вернее, когда-то обещали пригодиться, и, наконец, свой единственный талисман — старую любительскую фотографию, изображавшую ее и братьев у дверей гаража.

Какие все они юные на этом снимке и какой у них старомодный вид! Она стоит посредине и смеется, Кен вскинул голову и скорчил надменную гримасу, а Дэви — какое серьезное лицо у Дэви! В те времена у них не было ровно ничего, одни только мечты. Но какие богатые мечты, подумала Марго, для таких бедных детей! Ну что ж, теперь все сбылось; и она и мальчики получат то, о чем они всегда мечтали. Марго была так счастлива, что ей хотелось сладко плакать от невозможности закричать во весь голос: «Я счастлива! Я счастлива!» — и выразить хоть малую долю той безумной радости, которая сейчас бурлила в ней. Снова и снова она повторяла про себя: «Я добилась! Я добилась!»

Она не могла дождаться, когда же наконец начнется этот полет туда, где сбудутся все обещания, данные себе и братьям. В Уикершеме она ступит на землю, неся в руках самые ценные подарки, какие только могло представить ее воображение, и наиболее ценным из них будет то, что Дуг поможет им добиться полного успеха. И все это сделала она, та самая девочка, которая не так давно, стоя ночью на коленях у постели, в нижней юбочке, заменявшей ей ночную рубашку, исступленно шептала двум жалким, оборванным мальчуганам: «Только подождите! Наступит время, когда у вас будет все, чего вы хотите, — я добьюсь этого!»

«И я добилась! — думала Марго. — Я дам все, о чем они мечтали, и даже больше того!»

И словно для того, чтобы она вконец измучилась от нетерпения, один за другим начались телефонные звонки — друзья Дуга хотели пожелать ей счастливого пути. Каждый раз, положив трубку, она устремлялась к двери, и новый звонок заставлял ее возвращаться. Третий раз она взяла трубку уже со смехом. На четвертый раз попросили к телефону м-ра Волрата. Едва Марго успела сказать, что его здесь нет, как в трубке послышался взволнованный голос Карла Бэннермена:

— Я буду говорить с нею, хелло, Центральная! Я буду говорить с нею! Хелло, это Марго?

— Карл, я не знала, что вы в Нью-Йорке.

— Какой черт в Нью-Йорке! Я все еще тут. Где хозяин?

— Он ждет меня в Уикершеме. Что-нибудь случилось?

— Да вы что, шутите? Слушайте, скажите хоть вы — зачем он это сделал?

— Что именно? Карл, я тороплюсь на самолет.

— Разве вы не знаете, что он продал дело Бэрли? И слова никому не сказал. Даже не попрощался. Слушайте, я заявил, что хочу работать, но работы для меня больше нет. Меня выставили, и все. Господи, неужели он не сделал никаких распоряжений насчет меня?

— Не знаю, Карл.

— Не может быть, чтобы он вам ничего не говорил!

— Уверяю вас, я ничего не знаю. Он и о продаже акций мне ничего не сказал. Должно быть, он решил это внезапно — позвонил туда, и все. Мне очень жаль, Карл. Я поговорю с ним.

— Пожалуйста, детка! Я, конечно, куда-нибудь приткнусь, но мне очень хотелось бы остаться здесь.

Марго казалось, что это говорит какой-то незнакомый, жалкий и испуганный человек с голосом Карла Бэннермена, и ей вдруг стало грустно. Впервые она подумала о том, что Карлу уже за пятьдесят, словно возрастом можно было объяснить то, что с ним происходит.

Грусть не оставляла Марго и когда она спускалась вниз на лифте — грусть, вызванная каким-то тяжелым предчувствием. Садясь в машину, Марго была очень задумчива.

Лимузин скользил по Парк-авеню, забитой машинами до отказа, потом по прямым улицам-ущельям, каждый конец которых упирался в го-

лубое небо, словно город был выстроен на высоком плато. Затем — переправа на пароме, и соленый запах нагретой солнцем воды, и бесконечное шоссе, которое извилистой ниткой тянулось по равнинам Джерси и наконец отлого спустилось к аэродрому в Ньюарке.

Всю дорогу Марго твердила про себя, что она богата, молода и что вся ее будущая жизнь ясна, как эти дали, простиравшиеся за передним стеклом большой черной машины. Все, что ее сейчас окружало, было как бы залогом того, что отныне ее никогда не коснется нужда, и постепенно на душе у нее становилось легче.

Серебряный трехмоторный самолет с рифлеными боками был готов к отлету, и шестнадцать пассажиров уже сидели на своих местах. Безошибочное чутье мгновенно подсказало Марго, что она находится в особом обществе, члены которого узнают друг друга по невидимым ярлыкам и этикеткам. Идя вслед за стюардессой по наклонному проходу между креслами, Марго чувствовала на себе оценивающие взгляды.

Она незаметно улыбнулась, вдруг поняв, что действительность намного превзошла ее давнюю заветную мечту о том, чтобы продолжить ту незабываемую поездку с родителями в пульмановском вагоне и совершить путешествие к счастью, обставленное всеми атрибутами роскоши. Много лет мечта о такой поездке была для нее олицетворением всего того, к чему она стремилась, — и вот сбылось даже это, и к тому же в обстановке, далеко превзошедшей все ее мечты, ибо лететь в этом огромном новом самолете было гораздо романтичнее, чем ехать в купе любого вагона.

Наконец дверь захлопнулась, и большой «фоккер-форд», описав над аэродромом круг, взмыл кверху; покрытый дымкой Манхэттен промелькнул внизу и остался где-то позади — самолет, кружа в воздухе, устремился на запад, в ясную летнюю голубизну. Марго села поудобнее, восхищаясь мощным самолетом, — жаль, что его делал не Дуг. «Вот чем ему следовало бы заняться по-настоящему, — подумала она, решив при случае сказать об этом Дугу. — Именно в пассажирских, а не в скоростных военных самолетах будущее авиации, — скажет она ему. — И как бы это было кстати для Мела Торна!»

За час до Филадельфии из левого мотора вдруг вырвался язык голубого пламени, и самолет вздрогнул; пассажиры привстали, ожидая аварии, но вскоре снова раздался ровный, монотонный гул мотора, и все опять уселись на места, — одни переглядывались, другие, делая вид, что они люди бывалые, даже не поднимали глаз.

Марго снова погрузилась в свои размышления, но характер их сразу изменился. Мысли ее потекли совсем в другом направлении, как будто от минутного испуга слетело все внешнее благополучие и остался только мрак, надвинувшийся на нее после разговора с Карлом Бэннерменом. Ее вдруг охватило нетерпение, и она стала нервничать.

Она снова подумала о том, что Дугу следует заняться авиазаводом, но теперь эта мысль приобрела совсем иной оттенок. Непременно надо будет отвлечь его внимание чем-нибудь в этом роде, как только он согласится финансировать работу ее братьев. И тогда она уговорит Дуга передать ей пай и возьмет дело в свои руки. Это же вполне естественно, скажет она Дугу, она всегда была очень близка с братьями, а кроме того, у нее трезвый, деловой склад ума. А Дуг пусть занимается авиацией, которая, в конце концов, интересует его больше всего...

И вдруг нить ее мыслей оборвалась, их разметал и вытеснил нарастающий страх: а что если Дуг уже встретился с Дэви и Кеном и в эту самую минуту разговаривает с ними без ее участия? Тогда между ними непременно вспыхнет раздор.

Но тут эту нетерпеливую тревогу заслонила собой еще более страшная мысль: Дуг может оказаться очень опасным для ее братьев. Рано или

поздно он поступит с ними точно так, как с Мелом Торном и Карлом Бэннерменом. Ничто на свете его не остановит, и нет никакой возможности предугадать его намерения. И Марго волей-неволей пришлось наконец признать истину, от которой она все эти годы довольно успешно пряталась: Дуг — чрезвычайно опасный человек.

Тревога жгла ее все сильнее и превратилась в панику. Ей так страстно хотелось выполнить данное когда-то братьям обещание, что она нарочно закрывала глаза на то, какую цену потребует с них за это Дуг. Ничто не могло поколебать ее любви к Дугу — она была слишком предана ему, несмотря на все его недостатки; она даже позволила себе поверить в то, что при ее посредничестве он и ее братья через несколько лет смогут работать в дружном единении. Положим, Кена или Дэви не так легко раздавить, как Мела или Карла, но она даже не станет уверять себя, будто они смогут выстоять против Дуга, если его хищные интересы и безжалостная воля двинутся на них, как колесница бога Кришну. Никто еще не смог устоять против Дуга, никто, думала Марго со все возрастающим страхом.

Если Дуг прилетел в Уикершем еще утром, то, быть может, в эту минуту между ними происходит ссора. Она почти явственно слышала ожесточенные голоса, язвительные упреки, презрительные слова и злобные обвинения. «Скорей, — шептала она скрытому от нее глухой перегородкой пилоту. — Ради бога, скорей!» А самолет скользил в небе по невидимому спиральному спуску, снижаясь над окраиной Питтсбурга, который сверху казался распростертой на земле грозовой тучей.

Марго, взволнованная, вышла из самолета. Ей не сиделось на месте. Ее одолевало искушение разыскать телефон и позвонить в Уикершем, но она отвергла эту мысль, боясь опоздать на самолет. Когда пилот дал сигнал к посадке, она первая взбежала по лесенке.

Через двадцать минут после вылета из Питтсбурга левый мотор опять взревел, как в тот раз, потом снова утих, но это затишье было обманчивым, так как вдруг трижды, одна за другой, вылетели струи пламени.

И наконец, через какую-то долю секунды, показавшуюся вечностью, мотор оторвался от крыла и медленно, как бывает во сне, рухнул вниз, и по широкому ланжерону поползли неровные языки желтого огня. Самолет накренился вправо и с минуту летел на боку, и Марго соскользнула со своего места в проход, думая только о том, что платье ее будет наверняка испорчено. Потом самолет выпрямился и тут же круто пошел вниз; пассажиры, сбившись в кучу, покатились по проходу и сгрудились у двери кабины пилота.

«Как мы, должно быть, смешно выглядим», — смутно подумала Марго. Она лежала на куче барахтавшихся тел, все еще сжимая в руке сумочку. Она мельком увидела пронесшееся мимо иллюминатора облако — это было похоже на отвесный спуск лифта с неба на землю...

Со странной ясностью, как бы со стороны, она поняла, что ей становится жаль себя — где-то в животе у нее нарастала боль, не слишком острая, но быстро перешедшая в леденящую тоску, какой она еще никогда не знала. Через несколько секунд она, вероятно, умрет — невозможно поверить, но это жестокая правда. Она не могла шевельнуться — ощущение отвесного падения парализовало ее, и она впервые осознала, что вокруг нее раздаются крики, плач и проклятия. Слава богу, подумала она, среди пассажиров нет детей; и неожиданно почувствовала досаду на тех, кто копошился под нею. Тише, хотелось ей крикнуть, мы все в одинаковом положении. Никому не выбраться отсюда! Внезапно из глаз ее хлынули слезы, потому что она не хотела умирать. О боже, это, наверно, будет так больно! Бедный Кен... бедный, бедный Кен!

Фермер застыл на месте, глядя на падающий серебряный факел, и первая мысль, пришедшая ему в голову, была о том, что самолет рухнет на его кукурузное поле. Будь она проклята, эта засуха, — огонь пожрет все в одну минуту: целый год работы и прошлогодние сбережения вспыхнут и сгорят дотла, как кусок старой, пожелтевшей газеты, годами валявшейся на жарком чердаке. Ну что ж, по крайней мере, он подаст в суд на авиакомпанию. Хоть чем-нибудь донять этих разъевшихся сволочей!

Раздался удар, еще более громкий, чем он ожидал, и, что было особенно страшно, послышался треск, будто какой-то великан крушил все вокруг. Фермер оцепенел, ожидая, что сухие кукурузные стебли вот-вот поглотит надвигающийся вал огня. Но, должно быть, самолет рухнул где-то дальше, наверно, среди холмов. Ну, спасибо хоть за это — и тут фермер неожиданно почувствовал прилив горького разочарования. Только сейчас он осознал, что всю свою жизнь ждал и надеялся на какую-нибудь ужасную катастрофу, которая разразится над ним, уничтожит все его неудачи, ошибки, вечный поток несчастий, тоску, а заодно и его самого. А, будь оно все проклято, снова и снова повторял он, почти не сознавая, что бежит на ферму, где был телефон, а по щекам его текут слезы.

5

Весь первый день после сообщения о катастрофе Дэви прожил словно в беспокойном сне, окруженный какой-то странной тьмой, сам не понимая, то ли он среди навязчивого кошмара на короткие мгновения приходит в себя, то ли временами погружается в забытье, притуплявшее мысли о страшном приговоре, вынесенном ему нынче днем. И только ужас утраты был реальным.

Этот первый день был нестерпимой пыткой, ибо Дэви все время не оставляла безумная надежда: вот-вот зазвонит телефон, и окажется, что никакой катастрофы не было, что Марго жива и все так же весела, жизнерадостна и прелестна, как тогда, когда он видел ее в последний раз.

Он был растерян, потрясен. До этой минуты он всегда жил с ощущением, что нет пределов тому, чего он может достичь в жизни, а окрыляющее сознание успеха, пришедшее во время последнего опыта, вселило в него уверенность, что жизнь всегда будет такой, как сейчас. Ссоры с Кеном объяснялись только тем, что у них разное представление о наилучшем и вернейшем пути к той цели, которой они рано или поздно достигнут, и тогда жизнь станет еще ярче, а все они будут вечно молоды, вечно прекрасны и преисполнены надежд. И вот впервые он вдруг ясно увидел тот предел, который неизбежно ждет каждого, несмотря ни на какие успехи.

В гибели Марго не было никакого смысла: эта гибель ничего не доказывала, ничему не поучала, никому не принесла выгоды, даже не явилась расплатой, — смерть, нелепая во всех отношениях, кроме того, что это была смерть. Она подтверждала только один реальный факт: всех впереди ждет смерть; когда-нибудь неизбежно наступит конец всему.

Как ни тяжело было Дэви, он понимал, что для Кена, который двигался, как оглушенный, и только временами через силу делал вид, что занят работой, ожидание, пока привезут тело Марго, было беспросветным мраком. Все утро Дэви придумывал для него какие-то занятия, стараясь создать видимость, что Кен ему необходим, но пальцы Кена вскоре переставали двигаться, и он сидел, уставясь куда-то вдаль, с застывшим и изможденным лицом.

У Дэви дело шло не лучше, работа потеряла в его глазах всякое значение, хотя он обладал преимуществом, которого был лишен Кен, —

после похорон у него начнется другая жизнь. Вики провела у них всю ночь, и Дэви впервые видел, как она прикасается к его брату, говорит с ним, держит его руку и сидит с ним рядом, и не ощущал в себе ревности, за которую ему всегда бывало так стыдно.

— Никогда еще мы с тобой не были так близки, — сказал ей Дэви, когда Кен под вечер задремал на диване. Дэви сидел напротив нее у заваленного бумагами стола; протянув руку, он накрыл ладонью пальцы Вики. — Даже это, — прошептал он, пожимая ее руку, — даже это сближает нас с тобой больше, чем все, что было между нами раньше. Я часто говорил себе, что ты не любила меня, когда я был так сильно в тебя влюблен, и что, когда ты меня полюбила, я уже был другим. Мне казалось, что мы с тобой шагаем не в ногу. И я думал, что так и пройду всю жизнь не в ногу с тобой...

— Не много же счастья от такой любви, — заметила Вики.

— Я и не надеялся, что буду счастливым, — сказал Дэви. — Я хотел быть с тобой на любых условиях. Но сейчас все так, как если бы мы полюбили друг друга в одно и то же время.

На следующий день он и Кен встретились с Волратом у гробовщика. О том, чтобы устроить отпевание в доме Волрата, не могло быть и речи, и было решено сделать это в церкви. То есть решали Дэви и Дуг. Кен не произнес ни слова. Готовность Дуга во всем советоваться с ними была лишь замаскированным предложением дружбы, которое Дуг затруднялся высказать словами; поэтому встреча была большим испытанием для Дэви, который с чувством неловкости видел, что Дуг подавляет готовую вырваться мольбу. Расстаться с ним у дверей было все равно, что повернуться спиной во время разговора. Дэви предложил ему пойти посидеть с ними в мастерской, и лицо Волрата просветлело; но он тут же сдержанно отказался, словно повинуясь тайному приказу властной силы, которая с некоторых пор стала ему ненавистна.

Ночью Кен, оцепеневший от горя, неожиданно разразился припадком ярости. Он медленно перелистывал составленные Дэви заявки на патенты и вдруг, стукнув кулаком по пачке бумаг, вскочил со стула с искаженным от отчаяния лицом.

— На кой черт все это! — выкрикнул он. — На кой черт строить планы и надеяться, когда все равно ничего не выходит или надежды сбываются так, что тебе после этого жить не хочется! Все время воображаешь, что если план грандиозен, а желание достаточно сильно, то уж наверняка не попадешь впросак. И каждый раз шлепаешься в лужу на потеху людям! Ты, я, Волрат, Марго — это же сплошной анекдот! И смешнее всего мы с тобой.

— Почему?

— Потому что вся наша работа, все наши замыслы совершенно бессмысленны. Даже методы, которым нас учили, — чистая ложь. Мы якобы можем решить любую проблему, планируя все заранее, проверяя каждый шаг, прежде чем сделать следующий. А в жизни так никогда не бывает. Все происходит с бухты-барахты, случайно — и хорошее, и плохое. Человек ни над чем не властен. Мы воображаем, будто что-то создаем, а к чему все это сводится? И если нам удается довести работу до конца, то это просто потому, что мы сами внушаем себе, будто кончили ее. А ведь никакой работе нет конца, разве что происходит полный крах и остается только плюнуть на нее. Вот как бывает в жизни: затяжной прыжок в никуда — падаешь, а на лице дурацкая счастливая ухмылка, потому что думаешь, что все-таки куда-то попадешь. А как долго длится прыжок? Долю секунды, а потом конец — и глупой ухмылке и всему на свете.

— Слушай, Кен, через несколько недель, через несколько месяцев мы...

— Успокоимся, ты хочешь сказать? — с горечью спросил Кен. — Ты опять себя обманываешь. На самом деле ты думаешь, что немного погодя мы забудем эту гнусную правду, которой сейчас заглянули в лицо. Мы опять сможем погрузиться в мечту так, чтоб падать было удобнее. Но то, что нам открылось сейчас, — это подлинная действительность, и такой она будет всегда, хотим мы этого или нет. В жизни человека важна только та минута, которая уже наступила, но еще не прошла, и кто ею не пользуется сполна, тот осел!

— Не говори так! — резко остановил его Дэви.

— Ты тоже думаешь, как я, Дэви, только боишься признаться в этом. Ты не можешь не думать так.

— Это просто паника, Кен, — твердо возразил Дэви. — Хорошо, допустим, человек состоит из ощущений и потребностей, но ты забыл об одной не менее важной вещи — о могучем, сладостном стремлении созидать — все равно что: идею ли, новую машину, дом, платье или растение, выращенное из семени, но созидать именно так, как ты замыслил. И если людей лишают такой возможности, им чего-то не хватает в жизни, даже если они сами не вполне понимают, в чем дело. Мне однажды сказал об этом старик, и я поверил ему, потому что теперь знаю это по себе. И ты тоже знаешь.

— Ты не понимаешь, о чем я говорю, — страдальчески поморщился Кен.— Меня угнетает то, что, повидимому, как ни старайся, как ни торопись,— человеческой жизни не хватит, чтобы завершить работу. Бог мой, у меня просто ноют руки, — выкрикнул он. — У меня просто голова кругом идет — столько я вижу вещей, которые еще надо сделать. Но мы не успеем. Мы ничего не успеем!

— Успеем!

— Нет, — в отчаянии сказал Кен. — Ты вот толковал о завтрашнем дне, но это слишком далекий прицел. Ты сейчас понимаешь, как нелепо надеяться на завтрашний день?

— Нет, это правильно, Кен. Правильно, несмотря ни на что.

— Для думающей машины — да, — возразил Кен. — Для того, у кого есть только мозг и никаких чувств, никаких эмоций. Но не для человеческого существа. Я утверждаю это и говорю тебе напрямик — я с этим никогда не смогу примириться. Наша жизнь слишком коротка, чтобы мы могли получить от нее хоть какое-то удовлетворение. Если ты еще настаиваешь на том, чтобы выбросить всю нашу работу на свалку и начать сначала, так давай разделимся сейчас же. Но я тебя предупреждаю, Дэви, я теперь все вижу яснее, чем ты. Давай держаться нашей прежней линии. Противники наши серьезнее, чем нам представлялось. Что ж, если мы привлечем Волрата, перевес будет на нашей стороне. И тогда той компании из Сан-Франциско против нас не устоять. Угодно сочетать наши идеи с их идеями? Ладно, пусть они приходят к *нам*, и *мы* возьмем у них то, что нам подойдет. Мы можем их заставить. Мы можем нанять так много лаборантов, что нас никто не обгонит!

— И ты думаешь, мы сможем работать с Волратом?

— А почему бы и нет? Работали же мы с Карлом Бэннерменом, а потом с Броком...

— И в конце концов порвали с ними обоими. Волрат работал с Мелом Торном и Карлом Бэннерменом и превратил их в марионеток. Я боюсь Дуга, Кен. Нам такие непокладистые еще не попадались.

— Ну, и таких, как мы, тоже не часто встретишь. Дэви, — умоляюще произнес Кен, — будь со мной, малыш! Не бросай меня!

— Кен, ты делаешь ошибку.

— Ты в этом не уверен — я по голосу слышу: ты говоришь слова, которым сам не веришь.

— Только из-за Марго.

— Вот из-за Марго-то я окончательно убедился, что я прав!

Дэви порывисто встал, словно пытаясь спастись от брата.

— Сейчас не время говорить об этом.

— Нет, именно сейчас. — Кен схватил Дэви за руку, спеша воспользоваться тем, что тот заколебался. — Сейчас, пока нет никаких поводов, чтобы снова впасть в самообман. *Сейчас*! Ты хочешь бросить меня, Дэви, и мне становится страшно!

— Я не брошу тебя — мы будем вместе, что бы ни случилось.

— В ту ночь, когда мы удрали с фермы, Дэви, я потерял тебя из виду в лесу. Потом я услышал плеск и чуть не умер — я почему-то сразу почувствовал, что сам ты не сможешь выбраться...

— Почему ты думаешь, что я могу это забыть? — медленно спросил Дэви. Сердце его билось редкими, тяжелыми ударами, дыхание почти остановилось, словно чья-то рука грубо придавила глубоко скрытый сердечный нерв.

— Дэви, пока я бежал к тебе, я больше всего боялся, что останусь один. — Сжав кулаки, Кен умолк, потом крикнул: — Дэви, никогда больше не заставляй меня испытывать этот страх!

Дэви медленно опустился на стул, стискивая и разжимая пальцы. Бремя горечи было слишком тяжким, и он сам не узнал своего голоса, мертвого и тусклого.

— Хорошо, Кен, пусть все будет по-твоему.

Гроб прибыл с ночным поездом; Дэви вместе с Кеном и Дугом ожидал его на вокзале. В ту секунду, когда длинный блестящий ящик опускали вниз из товарного вагона, смерть Марго стала для Дэви достоверной реальностью, от которой уже не спрячешься, сколько ни отводи глаза. Фоторепортеры озаряли вспышками душную, клейкую темноту. Вики не отходила от Дэви, обеими руками держа его руку, и даже сейчас, стоя с низко опущенной головой, он чувствовал страстную потребность в ней, в ее жизнеутверждающей теплоте.

Гроб поставили на катафалк; Дуг сказал, что похороны назначены на одиннадцать часов утра, и ушел. Дэви, Вики и севший между ними Кен поехали домой; все трое точно оцепенели от изнеможения. Кен сразу же бросился на постель и в ту же минуту заснул, словно лишился сознания. Дэви вышел в темную контору и с трудом разглядел сидевшую на диване Вики.

Он стал возле нее на колени и зарылся лицом в ее платье.

— Я останусь с тобой на всю ночь, — проговорила она, гладя его по голове.

На другое утро в церкви, где в этот день предполагали венчаться Дэви и Вики, шла заупокойная служба по Марго. С разрешения Дуга отпевание было отложено на десять минут, до прибытия губернатора. Нью-йоркские друзья Дуга телеграфировали, что приедут на похороны с чикагским поездом в 10.48 утра, но поезд опоздал на несколько минут.

О катастрофе, происшедшей уже три дня назад, газеты писали как о национальном бедствии, и со вчерашнего вечера Дуг был прощен. Уикершем принял это трагическое событие чрезвычайно близко к сердцу — среди заполнившей церковные скамьи толпы никому не известных людей бросались в глаза несколько политических деятелей, которые после строгого отбора на специальных собраниях двух главенствующих партий были делегированы на похороны в знак уважения к одному из виднейших граждан штата. Дуг публично утвердил свое гражданство, выразив настойчивое желание, чтобы Марго была похоронена в Уикершеме,

хотя Дэви почувствовал в этом жесте скрытый смысл — ему казалось, что Дугом движет упрямое желание хоть в чем-то одержать победу над смертью, дав возможность Марго закончить начатое путешествие.

Даже в полутемной ризнице, наедине с молодыми людьми, Дуг сохранил властные манеры. Пришел Нортон Уоллис — его попросил об этом Дэви. Он сел, взяв Вики за руку, но держался отчужденно.

До начала службы являлись какие-то докучливые люди, очевидно, питавшие самые добрые намерения; они пожимали руку Волрату и невнятно бормотали соболезнования. Дуг представлял Дэви и Кена то как своих шуринов, то как братьев Марго и очень часто — без тени смущения — как *своих* братьев. Ему, вероятно, казалось, будто он ведет себя с выдержкой и достоинством, но глаза на этом бесстрастном лице были глазами потрясенного ребенка, а учтивые слова благодарности он произносил словно в трансе. Оглянувшись, Дэви поразился тому, какими юными выглядели Кен и Вики — как испуганные дети в черной одежде, потихоньку взятой у старших.

Никому не известные люди вереницей потянулись через полуоткрытые двери к церковным скамьям. У них были напряженные лица и вытаращенные глаза, они шли на цыпочках и переговаривались торжественным шепотом. Дэви заметил несколько знакомых лиц — это были девушки из нью-йоркского универсального магазина, где работала Марго, и даже несколько завсегдатаев Пэйдж-парка, на сей раз надевших крахмальные воротнички и темные костюмы.

Вдруг из этой процессии в ризницу хлынул вихрь еле сдерживаемого возбуждения, светлых красок и непривычного изящества — это приехали с востока друзья Дуга. Они пожимали ему руки с горячностью, которая казалась почти наигранной по контрасту с благопристойной сдержанностью людей, наполнивших церковь. Дэви, Кена и Вики оттерли в сторону, и Дуг стал главным лицом на похоронах и как бы единственным, кто горевал по Марго. Не успел он представить братьев своим друзьям, как помощник гробовщика шепнул ему, что губернатор уже прибыл и сидит на четвертой скамье справа. Дуг кивнул. Приезжие друзья удалились, и Дуг обернулся к тем, кого считал своими близкими, но и они отдалились от него, снова став маленькой, обособленной семьей.

Всю дорогу до кладбища четверо молодых людей ехали в полном молчании. Нортон Уоллис, извинившись, отправился домой. Похоронный обряд оказался очень недолгим, в расширенных глазах Кена не было слез, и ни разу не изменилось старческое выражение его застывшего лица. День был жаркий, и земля, вынутая утром, уже стала сухой, потеряла свой запах, но Дэви казалось, что отовсюду веет тленом, и короткая передышка, которую он дал себе этой ночью, уже стерлась в его памяти.

На обратном пути они опять почти все время молчали. Кен был подавлен горем. Дуг сидел поникший и смиренный — он словно был поражен тем, что его громкое имя, его покровительство, его воля оказались бессильными против смерти. Один раз он еле заметно покачал головой, как бы удивляясь и не веря происшедшему. Пальцы его рассеянно теребили маленький летный значок в петлице пиджака.

— Ради бога, перестаньте! — вдруг воскликнул Кен, даже не обернувшись в его сторону. Дэви и Дуг не сразу поняли, о чем он говорит. — Каждый раз, как вы дотрагиваетесь до этого проклятого пропеллера, я снова вижу тот самолет и катастрофу... Неужели вы не можете с ним расстаться?

Несколько секунд длилось неловкое молчание, потом Дуг тихо произнес:

— Марго была моей женой, Кен.

— Так какого же черта вы ее не уберегли? Зачем позволили ей лететь?

— Вы считаете, что виноват я? — медленно спросил Дуг.

— Если б она не полетела, она сейчас была бы с нами.

Пальцы Дуга впились в плечо Кена с такой силой, что Дэви увидел, как они побелели в суставах.

— Слушайте, мальчик, — почти шепотом сказал Дуг. — Она — единственная женщина, которую я любил и буду любить до конца жизни. Я знаю, что она значила для вас, и только поэтому я не вышвырну вас из машины. Вы сами не знаете, что говорите.

— Отлично знаю, — возразил Кен. — Не воображайте, что вы такая уж загадочная натура. Устроили такой спектакль, как вам хотелось, и играете в нем главную роль. Сзади едет процессия в тридцать машин, чтоб доказать, как вы убиты горем; сам губернатор, и конгрессмен, и мэр города, и полдюжины полицейских на мотоциклах смотрят, как вы проливаете слезы. В газетах появятся фотографии: Знаменитый Асс, Обездоленный Авиационной Катастрофой. В котором часу вы покидаете город, чтобы начать следующий эпизод в жизни Волрата — Покорителя Вселенной?

Дуг обернулся к Дэви в гневной растерянности, и только тут Дэви впервые почувствовал всю глубину его страдания. То, что Дуг не стал отвечать Кену в том же духе, было вызвано не только желанием соблюсти внешние приличия. В глазах его была тоска и смиренная мольба — Дэви даже не подозревал, что этот человек способен на такие чувства.

— Успокойся, — приказал Дэви брату. — Отложим этот разговор до того, как приедем домой.

— А где наш дом? — с горечью спросил Кен.

— У меня, — медленно сказал Дуг. — Пока мы не переедем в Чикаго или пока Дэви не женится, мой дом будет домом для всех нас. Ее нет, но мы будем жить и делать все так, как она хотела. С этих пор мы с вами должны во всем быть заодно. Когда мы немножко придем в себя, займемся финансовыми делами. Мы теперь не только компаньоны, мы — братья.

— Ох, оставьте вы это! — с горьким презрением воскликнул Кен. — Мы с Дэви во всем заодно только потому, что мы всю жизнь работаем вместе — мы привыкли друг к другу...

— Вы и ко мне привыкнете, — устало, но очень настойчиво сказал Дуг. — Я знаю, чего хотела для вас ваша сестра, и позабочусь, чтобы все это сбылось. За это я отвечаю перед ней. — Он говорил абсолютно искренне, и Дэви понял, что если Дуг играет роль, то он же и является своим самым доверчивым зрителем. Однако где-то в подсознании Дэви маячили лица Мела Торна и Карла Бэннермена; так со старых избирательных плакатов, которые годами висят на телеграфных столбах, смотрят вылинявшие фотографии кандидатов, давно провалившихся на выборах; лица их, приукрашенные фотографом, были запечатлены в пору расцвета надежд, а сейчас потускнели под дождями, снегом и летним солнцем, исполосованы струйками ржавчины от гвоздей, и все же давно угасшие надежды оставили на них стойкий, ничем неизгладимый след. Но для Дуга старых избирательных плакатов не существовало — новая кампания захватила его целиком.

— Она мечтала о свадьбе Дэви, — продолжал Дуг, — и мы отпразднуем эту свадьбу. Она собиралась поддерживать вас в борьбе против «Вестингауза», и мы с вами скоро начнем бой.

— Люди вступают в армию как рядовые, а не как генералы, — сказал Кен. — Вы будете поддерживать нас в борьбе, а не командовать нами.

На щеках Дуга выступила краска, а губы крепко сжались, но Дэви вмешался прежде, чем он успел ответить.

—Мы можем работать вместе только при одном условии, — сказал

он, инстинктивно ухватившись за неожиданную мысль — И только при этом условии я останусь с тобой, Кен. В любой созданной нами организации, корпорации или компании главой, президентом или старшим компаньоном должен быть *я*. У меня такое чувство, что мы только чудом можем довести дело до конца, и я не могу никому из вас доверить эту работу.

Вики сидела с побелевшим лицом.

— Всем вам... всем вам должно быть стыдно! — вырвалось вдруг у нее. — Ведь мы едем с похорон Марго!..

— А о ком же, по-твоему, мы все время говорим? — оборвал ее Дэви. Сейчас он был непоколебимо спокоен. Он отвернулся от нее и посмотрел на Кена и Дуга с суровой серьезностью, которую не смягчил даже его горько-беспечный тон. — Ну, братья, как же вам будет угодно? Можно провести выборы хоть сейчас.

6

Дэви и Вики решили обвенчаться через две недели после похорон. Откладывать свадьбу было нельзя, так как в связи с переговорами о создании новой компании возникло множество срочных дел. Дуг, казалось, очнулся от транса, в который повергло его горе, и стал развивать лихорадочную деятельность. Он уговорил Вики поступить к нему на службу в качестве личного секретаря, а она, в свою очередь, наняла себе еще двух помощниц. Дуг устроил контору в своем доме и поставил еще три телефонных аппарата. Он постоянно разговаривал с Нью-Йорком и Чикаго и предпочитал посылать не письма, а телеграммы, чтобы не терять времени зря. Через четыре дня он объявил, что их постоянная резиденция будет в Чикаго, а на другой день сообщил Дэви, что они оба должны ехать в Нью-Йорк, где предстоит встреча с несколькими банкирами; от Куна и Леба получены чрезвычайно заманчивые предложения. Кену было поручено собрать все оборудование мастерской, упаковать и отправить в Чикаго на Норт-Мичиган-авеню, где для них готовили лаборатории.

— Нам придется пробыть в Нью-Йорке недели две, — сказал Дуг. — Можете использовать это время для своего медового месяца.

— Надо будет поговорить с Вики.

— Я с ней уже говорил, — спокойно авторитетным тоном старшего брата заявил Дуг. Побратавшись с Кеном и Дэви, он взял под свое крыло и Вики, причем опекал ее гораздо больше, чем их. Он впадал в почти нравоучительный тон, рассказывая Дэви о многообещающих задатках, которые он обнаружил в этой девушке. И это, больше чем что-либо другое, заставляло Дэви призывать на помощь все свое терпение.

— Послушайте, Дуг, — не выдержал он наконец. — Вы напрасно расписываете мне Вики. Я и сам все знаю.

— Я ведь не указываю вам, что в ней хорошо и что плохо. Я только говорю о том, что я в ней заметил.

— Дело не в том, указываете вы или нет. Я просто не хочу говорить о ней. Ни с кем. Когда вы узнаете меня поближе, вы поймете, что в этом отношении, больше чем в любом другом, я совершенно безнадежен. Я не люблю говорить о людях, которые мне дороги, и когда другие заводят о них разговор, у меня внутри словно все окаменевает. Я никогда и ни с кем не пускался в болтовню о Кене — разве только говорил: «Кену нужно то-то» или «Кен пошел туда-то». То же самое и в отношении Марго и Вики. Так что не вызывайте меня на такие разговоры. И слушать, что говорят другие, для меня так же невыносимо.

По лицу Дуга было видно, что его больно задел такой отпор.

— Каждый человек имеет право судить о другом, — сказал он.

— Я всегда сужу близких мне людей, — ответил Дэви. — Но я сужу их про себя, и дальше меня это не идет. Я совсем не хотел дать вам щелчок по носу, Дуг. Быть может, когда-нибудь я не смогу разговаривать и о вас.

Дэви было совершенно ясно, что Дуг ничуть не изменился и что рано или поздно его привычка властвовать непременно даст себя знать. Но Дэви не собирался противоречить ему ни в чем, кроме самого главного. Он предпочел бы венчаться в городской ратуше, но Дуг опередил его и заказал службу в церкви, «как пожелала бы Марго».

В день свадьбы Кен и Дэви с раннего утра возились в мастерской, упаковывая прибор и рабочие записи. В одиннадцать часов явился Нортон Уоллис, а с ним сияющая Вики в светлосером костюме. Их сопровождал Дуг; у него был торжественный вид человека, сознающего свою ответственность за всю семью.

— Вам бы следовало поторопиться, — сказал он, взглянув на ручные часы. — Я нарочно назначил свадьбу на одиннадцать тридцать — поезд на Милуоки отходит в двенадцать пятнадцать, и вы как раз на него поспеете.

— А если священник подождет пять минут — что из того? — запальчиво спросил Кен. Он был уже почти одет и только сверху накинул рабочий комбинезон. Оставалось надеть воротник, галстук и пиджак, но его раздражала не встречающая отпора властность Дуга.

— Ничего, — холодно ответил Дуг. — Подождет, и все.

Дуг, как заметил Дэви, тоже вовсе не был склонен принимать вызовы, не касающиеся самого главного. Наступила минута настороженного ожидания — отныне все трое крепко связаны вместе, а будущее казалось запутанным мотком бесконечных нитей, которые предстоит распутать. Каждый из них сознавал опасности и отдавал им должное, и хотя у всех троих были противоположные цели и твердая решимость не уступать, каждый стремился к объединению с другими, чтобы общими силами бороться за победу. Все было против них — и сила конкурентов, ведущих осаду снаружи, и столкновение интересов внутри цитадели, а их ресурсы ограничивались молодостью и энергией; но даже молодость — если она означает ощущение, что смерть еще далека,— уже перестала быть порой беспредельных надежд.

Наступила минута, когда каждый из них дождался полного свершения своей давней мечты,— и потому это была минута величайшей растерянности. Мечта — это тень, падающая на экран, но когда экран отодвигают, показывается лицо действительности, покрытое рубцами горя, борьбы, разочарований и компромиссов.

Вики тоже ждала. Она была самой спокойной из всех, ибо однажды уже проделала путь сквозь туманную дымку мечты к полному разочарованию, а с тех пор ушла далеко вперед и теперь без особых упований терпеливо ждала, что еще принесет ей судьба, с инстинктивной решимостью как-то подчинить жизнь своей воле и повернуть ее к лучшему. Возле нее стоял старик, который как бы молчаливо свидетельствовал о том, что она действительно сильна.

Дэви улыбнулся ей и, нарушив напряженную тишину, швырнул на стол папку, которую он держал в руках.

— Никому не придется нас ждать, — добродушно сказал он. — Мы совсем готовы и к свадьбе, и к путешествию, и ко всему на свете. Идем!

Н. Михальская

Роман Димитра Димова „Табак"

Большие книги имеют свою историю. С полным правом это можно сказать и о романе современного болгарского писателя Димитра Димова «Табак». Роман Д. Димова — одно из наиболее значительных и ярких произведений болгарской литературы последних лет, и у него есть своя история.

В 1951 году болгарские писатели познакомились с первой, а в 1953 году — со второй редакцией этого романа. В скором времени книга выйдет на русском языке.

История создания романа «Табак» представляет принципиальный интерес, так как она непосредственно связана с характерными явлениями литературной жизни народно-демократической Болгарии, с общими путями развития современной болгарской литературы.

Роман «Табак» создавался в обстановке общественного подъема и больших достижений во всех областях жизни Болгарии в условиях строительства социализма. Целый ряд значительных произведений появился в Болгарии за первые годы народной власти. Романы Гуляшки и Вежинова, стихотворения Радевского и Багряны, повести Мартинова и рассказы Даскалова, очерки Фурнаджиева — все это характерные и значительные явления современной болгарской литературы. В новых книгах широко отражены события Отечественной войны и партизанское движение, героическая борьба болгарского народа против фашизма и его дружба с русским народом. Особое внимание писатели уделяют теме творческого труда рабочих и крестьян, строящих новую жизнь.

Вместе с тем болгарские писатели проявляют живой интерес к историческому прошлому своей родины, и в первую очередь к тем событиям, которые произошли в стране в течение трех-четырех десятилетий, предшествовавших освобождению Болгарии и превращению ее в народно-демократическую республику.

В романах Г. Белева «Новые люди» и «Красная заря» изображаются борьба рабочих и социалистическое движение в Болгарии перед первой мировой войной. Событиям этого же периода посвящен роман «Простые люди» Г. Караславова, являющийся первой частью задуманного писателем монументального произведения о жизни Болгарии в период 1914—1944 годов. Об антифашистском Сентябрьском восстании 1923 года рассказывается в «Септемврийцах» Е. Коралова. Тяжелая жизнь народа в период господства фашизма отображена в романах П. Спасова и К. Белева. Обращаясь к прошлому своей родины, болгарские писатели стремятся раскрыть внутреннюю закономерность исторического развития, осмыслить события, приведшие к созданию народно-демократической республики.

Именно в таком плане написаны лучшие романы последних лет — «Простые люди» Караславова и «Табак» Димова.

Георгий Караславов изображает в своем романе жизнь болгарского крестьянства накануне и в период первой мировой войны. Писатель стремится раскрыть роль народа в исторических судьбах Болгарии. В центре внимания Г. Караславова простые люди Болгарии, их жизнь, те изменения, которые происходят в их сознании и взглядах.

В несколько ином аспекте подошел к изображению прошлого Димитр Димов. В его романе «Табак» основное внимание направлено на обличение лагеря капитализма. И сильная сторона этого романа заключается прежде всего в последовательном разоблачении антинародных сил, их предательской деятельности по отношению к народу.

Роман Д. Димова представляет собой большое полотно, посвященное жизни Болгарии 30-х и первой половины 40-х годов. Действие романа начинается сразу же после мирового экономического кризиса 1929 года и завершается в конце второй мировой войны. Писателя интересуют события, непосредственно предшествовавшие войне и созданию народно-демократической республики. И в этом отношении роман «Табак» представляет собой предысторию тех событий, к изображению кото-

рых обращаются многие современные болгарские писатели.

Роман заканчивается картинами гибели старой, капиталистической Болгарии и описанием первых дней жизни Болгарии освобожденной. С большой художественной убедительностью показывает Димов неизбежность наступления новой эпохи в жизни страны. Уже в первой редакции роман отличался широтой охвата жизненных явлений, правдивостью и художественным мастерством в их воспроизведении.

Две непримиримые силы показывает в своем новом романе Димитр Димов — буржуазию и рабочих. Он изображает жизнь рабочих табачных фабрик, подвергавшихся наиболее жестокой эксплуатации, и рассказывает о путях обогащения табачных магнатов.

Картины ужасающей нищеты рабочих кварталов сменяются в романе описанием нечеловеческих условий труда на фабриках, принадлежащих крупнейшей в стране табачной фирме «Никотиана». Фабрика убивает рабочих. Туберкулез уносит сотни людей. Раздражение, злоба и ненависть зреют в сердцах мужчин и женщин, на крови которых богатеют собственники. Жертвами могущественной «Никотианы» становятся не только рабочие, занятые на предприятиях, но и крестьяне, у которых фирмы скупают табак за бесценок. Крупные монополии подчиняют своему влиянию жизнь страны; подобно огромному спруту с тысячами щупальцев охватывают они одну за другой все отрасли хозяйства.

Правдиво и тонко рисует Д. Димов образы людей, связанных своей деятельностью с миром «Никотианы». В романе появляются образы капиталистических хищников, дельцов, предпринимателей, крупных и мелких собственников. Главное место среди них принадлежит Борису Мореву. Наглый и беспринципный карьерист, Борис Морев «медленно, упорно и молча карабкается вверх», не останавливаясь ни перед чем. Обладая практической сметкой и находчивостью, он легко завоевывает доверие начальства. Начав с должности мелкого канцелярского служащего, он вскоре становится главным экспертом фирмы, а затем, после женитьбы на дочери капиталиста Спиридонова, — полным владельцем «Никотианы».

История головокружительной карьеры Бориса Морева — это в то же время история разложения его личности. Единственное искреннее чувство в его жизни — юношеская любовь к Ирине Чакар — исковеркано и уничтожено стремлением к наживе. Страх перед будущим, ощущение своей обреченности толкают Бориса к пьянству. В тридцать шесть лет Борис Морев похож на старика, сгорбленного «под тяжестью миллионов килограммов закупленного и перепроданного табака, с нездоровым и опухшим лицом и мешками под глазами, с испуганным взглядом мутных, налитых кровью глаз». Смерть Бориса, совпавшая с гибелью капиталистической и рождением новой Болгарии, символизирует крушение старого мира. В тот момент, когда хоронят владельца некогда могущественной «Никотианы», по всей стране звучат слова: «Смерть фашизму!»

Борис Морев принадлежит к той части крупной болгарской буржуазии, которая служила интересам германского империализма; не случайна прямая связь Морева с гитлеровцами.

Сложен, интересен образ Ирины. В начале романа — это молодая, не знающая жизни провинциальная девушка. Ирина умна. Ее не может удовлетворить пустое, хотя и вполне обеспеченное существование в доме ее отца — полицейского Чакара. Ирина стремится к знаниям, к большой, содержательной жизни. Но вот она знакомится с Борисом Моревым. Так же как и Ирина, Борис еще только мечтает о счастливом будущем. Он не имеет ни средств, ни определенных занятий. Но он привлекает Ирину своей силой, энергией, уверенностью в себе и своих возможностях. Зарождающаяся в душе Ирины любовь к Борису вырастает в очень сильное, всепоглощающее чувство. Оно продолжает жить в ней и тогда, когда Борис покидает Ирину и женитьбой на Марии Спиридоновой «устраивает» свою жизнь. Однако Ирина проявляет большую силу воли и выдержку. Она едет учиться в столицу и мечтает посвятить себя научной деятельности в области медицины. Занятия увлекают ее. Хорошо и просто чувствует она себя в среде своих новых товарищей — студентов. Случайная встреча с Борисом, теперь уже преуспевающим дельцом, ломает все планы и надежды Ирины. С новой силой пробуждается ее любовь, она всецело захватывает Ирину. Ни положение, ни богатство Бориса вначале ничего не значат для нее. Большое благородство проявляет Ирина по отношению к жене Бориса — сошедшей с ума Марии, доживающей свои дни в великолепном особняке. Но постепенно, связав свою судьбу с Борисом Моревым, Ирина утрачивает все то лучшее, что было присуще ей. Борис делает Ирину соучастницей своих темных дел. Он «отравил ее душу и умертвил в ней способность радоваться жизни». Ирина не находит в себе сил, чтобы после окончания войны начать жизнь заново.

Образы Бориса и Ирины очень удались Д. Димову. С большой убедительностью, психологически обоснованно показывает писатель неизбежность моральной деградации, вырождения и гибели тех, кто, связав свою жизнь с буржуазией, всецело подчиняет себя интересам ее антинародной политики. И в этом умении давать углубленный психологический анализ чувств, настроений, поступков героев проявилась одна из наиболее сильных сторон художественного мастерства Д. Димова. Нам понятно, почему происходит падение Ирины, писатель заставляет поверить нас в то, что спасти эту умную и обаятельную женщину, ставшую пассивной жертвой

мира «Никотианы», уже ничто не может. Ее самоубийство, о котором становится известно в конце романа, не воспринимается как нечто неожиданное, оно обосновано всей ее предшествующей жизнью.

С большим мастерством рисует Д. Димов повседневный быт своих героев. Неприкрашенное изображение жизни Бориса, Ирины и многих других людей их круга подчинено основной задаче романа — обличению буржуазной среды.

В гораздо меньшей степени удались писателю в первой редакции романа образы передовых рабочих, коммунистов. И потому в монументальном по своему характеру романе Д. Димова, основанном на очень большом материале, включающем в себя несколько сюжетных линий, именно те главы, которые посвящены описанию жизни рабочих, деятельности партии, партизанского движения, оказались как бы лишенными идейно-художественного центра.

Д. Димов стремился изобразить всю сложность обстановки, сложившейся в 30-е годы в болгарском рабочем движении. В коммунистической партии идет борьба с левосектантскими элементами. Атмосфера идейных разногласий передана в сцене нелегального партийного собрания накануне стачки. В горячих спорах между левосектантом Луканом и Максом Эшкенази, который вместе с рабочим-табачником Шишко занимает правильную позицию, раскрывается острота внутрипартийной жизни тех лет. Захватывают своей напряженностью сцена рабочей демонстрации, эпизоды стачки, во время которой проявляются мужество рабочих-табачников, присущее им чувство классовой солидарности.

Однако политическая борьба, столкновение взглядов и убеждений в первой редакции романа переданы недостаточно убедительно. И происходит это потому, что за словами Макса, Лукана и многих других персонажей трудно почувствовать присущую каждому из них индивидуальность. Высказываемые ими принципы и взгляды отнюдь не вытекают из их характеров, своеобразие которых осталось нераскрытым писателем.

В процессе работы над романом у Димова была благодарная возможность показать передового народного деятеля. Во всяком случае, образ его вполне отчетливо вырисовался уже в первой редакции романа. Речь идет о Павле Мореве. Он — коммунист, и жизненный путь его противопоставляется пути его брата — Бориса. Но если образ Бориса раскрыт всесторонне, то образ Павла в первом варианте романа лишь намечен писателем и глубоко не разработан.

Выход в свет романа «Табак» был воспринят в Болгарии как большое событие. Роман получил широкое признание со стороны читателей и вызвал большие споры в среде болгарской критики. Во время трехдневного обсуждения романа в Союзе болгарских писателей, а затем на страницах печати были высказаны совершенно различные мнения о романе Д. Димова, в том числе и мнения резко отрицательные.

П. Зарев и другие критики, осуждавшие роман, исходили из догматического представления о том, что метод социалистического реализма не может успешно раскрываться в обличении антинародных сил. Димова упрекали и в том, что, сосредоточив основное внимание на таких персонажах, как Борис и Ирина, он изобразил их людьми, задумывающимися над жизненными вопросами, людьми с богатой интеллектуальной жизнью. Прежде всего это относится к образу Ирины. Ирина — глубоко мыслящая и культурная женщина, которая живет в буржуазной среде и в то же время во многом возвышается над нею. Трагическая судьба Ирины, ее переживания, большое обаяние этой женщины вызывают симпатию со стороны читателей. А это, по мнению некоторых критиков, неуместно при изображении отрицательных персонажей.

Всесторонний анализ и принципиальная критика романа были даны в редакционной статье газеты «Работническо дело» — центральном органе Болгарской коммунистической партии. Газета отметила большое идейное, художественное и воспитательное значение романа Д. Димова, справедливо названного в редакционной статье гордостью современной болгарской литературы, радостной победой автора и всей болгарской литературы на пути овладения методом социалистического реализма. Д. Димов, как писала газета, стоит на народных позициях и ненавидит буржуазный мир. Он резко осуждает лагерь эксплуататоров, лагерь фашизма и противопоставляет ему героический народ, борющийся рабочий класс Болгарии.

Резкое осуждение получила позиция тех критиков, которые оценивают литературное произведение исходя из отвлеченных догматических схем. Газета «Работническо дело» писала: «В таком способе рассматривать литературное произведение без всякой связи с развитием действительности и общим ходом литературы нет ни капли правильной партийной политики, он является прямо противоположным методу социалистического реализма.

Такие критики окарикатуривают социалистический реализм и превращают его в сухую и окостенелую догму, которая не имеет ничего общего с живым и многообразным ростом литературы».

В условиях народно-демократической Болгарии большое положительное значение имеют не только книги на современные темы, но и те произведения, в которых с верных идейно-художественных позиций показано капиталистическое прошлое страны. Такие книги многому учат, многое помогают понять. К числу этих книг принадлежит и роман «Табак». Нельзя счи-

тать обращение к теме прошлого ошибкой писателя, отступлением его от метода социалистического реализма. Идейность писателя может проявляться не только в обрисовке передовых героических личностей, но и в обличении антинародных сил. И, разумеется, художник не только вправе, но и должен показывать людей из враждебного лагеря правдиво, без упрощения, психологически убедительно.

Газета «Работническо дело» утверждала: «В этом романе Димитр Димов, как ни один другой болгарский писатель ни до, ни после 9 сентября 1944 года, раскрыл, и притом с большой художественной силой, всю гнилость господствующего тогда капиталистического класса... Как никто другой в болгарской литературе до сих пор, Димитр Димов раскрыл, что буржуазная, грабительская власть, алчное стремление к богатству опустошают человеческую личность, что противопоставление своих интересов интересам народа в какой бы то ни было степени и форме неминуемо ведет к духовному вырождению, к потере смысла жизни и к гибели».

Поддержав все то лучшее, что присуще роману Д. Димова, газета «Работническо дело» отметила и его слабые стороны. Наиболее значительная из них — недостаточная разработанность положительных образов.

Дискуссия вокруг романа «Табак» была своевременной и нужной. В процессе этой дискуссии потерпели поражение неправильные, вульгаризаторские представления некоторых литературоведов о методе социалистического реализма. Партийная критика, творчески воспринятая Д. Димовым, помогла ему в его дальнейшей работе над романом.

В своей статье «Как я переработал роман» Д. Димов писал: «При переработке я ввел новые образы, расширил описание нового мира и его борьбы, старался подчеркнуть во многих местах рабочую солидарность. Новые эпизоды и герои, по моей авторской оценке, которая вовсе не является мерилом, включаются не только внешне, но и органически в композиционное единство произведения».

С этой авторской оценкой можно вполне согласиться.

Разумеется, Д. Димов сохранил во второй редакции романа то, что было в нем главным и наиболее ценным: широкое, реалистически полнокровное изображение вражеского лагеря, психологически тонкую обрисовку людей из буржуазной среды, и в первую очередь Бориса и Ирины. Вместе с тем он постарался изобразить авангардные силы болгарской нации полнее, чем прежде, без того налета сухости, схематизма, который был присущ образам революционеров в первой редакции книги.

Д. Димов ввел в повествование совершенно новый образ — Лилу, который, по авторскому замыслу, противопоставлен Ирине как тип человека-борца, активного участника освободительной борьбы. Лила — дочь рабочего Шишко, коммунистка, всецело посвятившая себя делу партии. В ранней юности Лила училась вместе с Ириной в школе, но затем жизненные пути этих двух женщин расходятся. Путь Лилы — сложный путь борьбы, конспирации, преодоления ошибок и заблуждений, свойственных ей как временной сторонице курса, проводимого левосектантами. Товарищи ценят и уважают Лилу как стойкого и верного делу партии борца. После ранения и длительной болезни ее посылают учиться в Советский Союз. Об этом периоде жизни Лилы в романе не рассказывается. Во время войны Лила — боец партизанского отряда. Образ Лилы помог автору более углубленно раскрыть передовые силы народа, лучшие черты национального характера.

Однако не все удалось Димову в образе Лилы. Этот образ раскрывается преимущественно средствами авторского повествования, он мало виден в непосредственном действии. Особенно это относится ко второй части романа — к периоду работы Лилы в партизанском отряде. Д. Димов как бы забывает о своей героине и не делает ее активной участницей событий. Меньше всего удались Димову сцены, в которых Лила показана в ее отношении к Павлу Мореву. Писатель здесь невольно принижает свою героиню, рисуя ее человеком аскетически сухим.

Настоящую жизнь вдохнул Д. Димов в образ Павла Морева, который в первом варианте романа являлся лишь эпизодическим. Образ Павла — большая удача Д. Димова. Подобно тому как Лила противопоставляется Ирине, Павел не только по убеждениям, но и по характеру является антиподом своего брата — Бориса Морева.

Участник антифашистского Сентябрьского восстания 1923 года, Павел Морев — опытный партийный работник, стойкий коммунист, ведущий борьбу против сектантства в партии. Характер Павла обрисован в романе всесторонне. Особый лиризм присущ этому образу. Павел тонко понимает красоту природы. Его любовь к Лиле — большое и красивое чувство.

Важное значение приобретают в романе сцены встречи Павла с Борисом. Победа нового над старым раскрывается тут с большой художественной убедительностью.

Все же образ Павла и здесь не во всем удался автору. В период обострения внутрипартийной борьбы Д. Димов выключает своего героя из действия. Павел надолго покидает Болгарию. Лишь через несколько лет возвращается он на родину. Устранив Павла на продолжительное время от участия в событиях, Д. Димов тем самым лишил читателя возможности представить себе процесс идейного роста Павла и формирование его характера. И это тем более ощутимо, что в главах,

посвященных описанию партизанской борьбы, Павел (так же как и Лила) появляется изредка, действует мало.

Во второй редакции роман «Табак» стал во многом ярче, интереснее. Введение новых образов и сцен, органически включенных в общую ткань этого романа, обогатило повествование. Образы положительных героев дали писателю возможность более полно отразить жизнь и закономерности ее развития.

Роман Д. Димова написан в духе лучших традиций реалистической болгарской литературы. Многое сближает его с романом Ивана Вазова «Под игом», и прежде всего эпический размах в изображении судеб народа и родины, умение противопоставить миру угнетателей здоровые начала народной жизни.

История романа Д. Димова «Табак» — поучительный эпизод литературной жизни народно-демократической Болгарии. Писатель взялся за трудное дело, проявил творческую смелость. Моральная поддержка, оказанная ему партийной печатью, и поддержка со стороны широких кругов читателей помогли ему довести свою работу до успешного завершения.

Иван Кашкин

Перечитывая Хемингуэя

Всякий чуткий художник вольно или невольно отражает и противоречия и поиски, а подчас и заблуждения своего времени. Остро и мучительно выразил их в своем творчестве и Эрнест Хемингуэй.

Яркий и своеобразный талант делает Хемингуэя явлением большой значимости, но его попытки на многое не смотреть или, во всяком случае, о многом не думать ограничивают и обедняют его творческие возможности. Хемингуэй не может или не хочет понять, где источник мертвой воды, цепенящей мир, в котором он живет. Даже когда Хемингуэй чувствует и изображает проявления социального зла, он, такой зоркий в остальном, все же остается слеп и терпим к причинам, породившим это зло. Мастер частных решений, Хемингуэй как художник одерживал ряд тактических побед, но, не осмысленные верно определенной целью, они часто приводили его в стратегический тупик.

Творчество Хемингуэя, прикованное к одному кругу вопросов, возвращалось все к тем же проблемам, он медленно и упорно раскрывал их в конкретных образах, чтобы, так и не добившись полной ясности, снова вернуться к ним с другой стороны и взглянуть на них глазами все того же лирического героя, по-своему и под разными именами отражающего разные этапы творческой биографии писателя и его поколения.

Хемингуэй не может не ощущать смерть в самой гуще жизни буржуазного Запада, и смерть была первой большой темой социального порядка, естественно возникшей в ранних романах и рассказах Хемингуэя из опыта первой мировой войны. В начале 30-х годов интерес Хемингуэя к внезапной, насильственной смерти отдельного человека приобретает экспериментальный, навязчивый, а подчас и болезненный характер.

Смерть как тема современного декаданса — это пропасть, которая поглотила не одно писательское дарование. Хемингуэй долго взбирается по самому краю обрыва, и не раз казалось, что нога его скользит, еще миг — и он сорвется, но каждый раз его выручала тяга к реальной жизни, его воля к труду, его способность к общению с простыми людьми. Конечная цель ему неясна, даже насущные задачи он не решает, но важно уже то, что в его произведениях опять и опять ставятся большие проблемы. Это и оздоровляющая, вдохновляющая роль труда ради большой цели, а в связи с этим и вопрос о том, как достичь такой цели с честью, не потеряв лица. Это и борьба отдельного человека и целого народа за достойную жизнь и сплочение вокруг большой задачи честных людей разных стран, а в связи с этим мысль о необходимости отдать жизнь за большое дело и о праве человека отнять жизнь у другого. Это и проблема внешнего поражения и внутренней борьбы в моральном плане, временного поражения и конечной победы в историческом плане.

В столкновении с этими проблемами, в мужественном преодолении трудностей и сомнений шаг за шагом уточняется и сменяется самое представление о смысле жизни. При этом борьба простых людей за достойное существование служит как бы образцом простого и цельного отношения к вопросам жизни и смерти и для гораздо более сложных и противоречивых героев Хемингуэя.

I

Первым в ряду лирических героев Хемингуэя стоит Ник Адамс. На всю жизнь с детских лет, проведенных среди лесов и рек родного Мичигана, заложены в Нике трудовые задатки и простое, открытое отношение к людям. Но Ник рано начал смотреть на мир зоркими глазами будущего писателя и рано разглядел лицемерную фальшь социальных отношений, проявившуюся и в семье его отца, врача маленького американского городка Оук-Парка. Воспоминания об этом проглядывают и звучат под сурдинку во многих произведениях Хемингуэя. И креп-

че всего врезались в память Ника черты беспощадной жестокости жизни: самоубийство в «Индейском поселке», линчевание негра, жестокие эпизоды американского быта книги «В наше время», встреча с «убийцами», после которой Ник тоскливо говорит: «Уеду я из этого города». Но Хемингуэй так и не дал широкой картины американской провинциальной жизни, и творчески неисчерпанные воспоминания эти обременяют его память и посейчас.

Едва окончив школу, 17-летний Хемингуэй сейчас же уходит из дома и вместо всякого колледжа его первым университетом становится репортерство в канзасской газете. Однако при первой возможности он бежал и отсюда добровольцем-санитаром на войну «за спасение демократии», а попал летом 1918 года на фронт в Италии, где стал свидетелем бесцельной бойни в рядах чужой армии, в чужой стране, за чужие и чуждые интересы. Здесь впервые раскрылся Хемингуэю страшный мир, где все конфликты хотят решать войной, открылся и основной закон этого волчьего мира — война всех против всех.

«Уходишь мальчиком на войну, полный иллюзий собственного бессмертия. Убьют других, не тебя. А потом, когда тебя серьезно ранят, ты теряешь эту иллюзию и понимаешь, что могут убить и тебя». Так было с самим Хемингуэем, так стало и с его героями. Война показала Хемингуэю смерть без покровов и героических иллюзий. «Абстрактные слова, такие, как «слава, подвиг, жертва» или «святыня», были непристойны рядом с конкретными названиями рек, номерами полков и датами». Непристойны потому, что они действительно были лживы в данной обстановке, и потому, что подчеркнуто антигероичны и этические и эстетические установки антивоенной книги Хемингуэя о «сознательно уклоняющемся» лейтенанте Генри. В романе «Прощай, оружие!» Хемингуэй вместе с «непристойными» словами вызывающе отрицает и самый подвиг, хотя на деле сам он, тяжело раненный, вынес из огня раненого рядом с ним итальянца. Так же как сам Хемингуэй, ранены австрийской миной и его двойники — Ник Адамс и лейтенант Генри. Они также внутренне переживают при этом и смерть и второе рождение, лишаются наивной мальчишеской веры в собственное бессмертие и начинают вглядываться в страшное лицо смерти, которая возникает для Хемингуэя как закономерное социальное явление капиталистического мира. Даже на фоне массовой бойни выделяется тупая и жестокая расправа полевой жандармерии с отступающими: из-под Капоретто — этот прообраз фашистских методов устрашения. И это только частное проявление страшного волчьего мира. «Когда люди столько мужества приносят в этот мир, мир должен убить их, чтобы сломить, и поэтому он их и убивает. Мир ломает каждого, и многие потом только крепче на изломе. Но тех, кто не хочет сломиться, он убивает. Он убивает самых добрых, и самых нежных, и самых храбрых — без разбора. Если ты ни то, ни другое, можешь быть уверен, что и тебя убьют, только без особой спешки...»

Лейтенант Генри уже понимает, что не стоило умирать в этой войне, но как и для чего жить, он еще не знает. Заключив «сепаратный мир» в чужой стране, оторванный от родных корней, одинокий, потерявший последнее — свою любимую, он уходит под дождем к себе в отель, а потом неизвестно куда...

Кончилась эта, первая война. Мертвые похоронены, надо начинать жизнь снова. При этом возможен был выбор разных путей. Был путь Барбюса и Джона Рида, но на этот путь тогда встали немногие. Большинство же сверстников Хемингуэя были сломлены, каждый по-своему. Многие молодые американские интеллигенты 20-х годов оказались развеянным по всему миру потерянным поколением. Опустошенные, потерянные для жизни, они не оставили заметного следа в искусстве. Иные из них быстро сгорали в пьяном угаре, иные возвращались домой к «хорошей жизни» богатых бездельников, которую тщетно старались опоэтизировать такие певцы этого поколения, как Скотт Фитцджеральд и Майкл Арлен. Однако другие западные интеллигенты поколения 20-х годов тоже ощущали свою потерянность, хотя и в другом смысле. Вместе со своим поколением они были вырваны из жизни ураганом первой мировой войны, мучительно ошутили надлом корней, стали чужаками дома и действительно были потеряны именно для этого уклада. Они выразили в литературе смятение честных интеллигентов 20-х годов, которые не принимали и критиковали буржуазную действительность, особенно ясно вскрытую для них войной, но, оторванные от народа и опутанные идеалистическими заблуждениями, не могли найти выхода из тупика. Одни очень скоро физически ушли из жизни (недаром так много было среди них самоубийц и просто рано умерших), другие, выкрикнув свое проклятие этому миру, отшатнулись от него и замкнулись в броню реакционной традиции или же ушли в псевдоинтеллектуальный затвор, подобно Олдингтону, который после «Смерти героя» написал «Все люди враги». Третьи, переболев, возвращались, как Арчибальд Маклиш, в среду, от которой они пытались было бежать в сферу «левого» искусства.

Хемингуэй был связан с потерянным поколением, но его путь был сложнее. Краткая побывка «дома» только подчеркнула его отчужденность и надолго замкнула его в круг пережитого в военные и послевоенные годы. Это заставило его весь предметный мир пропустить сквозь свое творческое восприятие. Это сузило круг наблюдения, но обострило силу показа. Хемингуэй остро, разумом и плотью,

ощутил потерянность и пустоту своего поколения, может быть, мучительнее всех пережил это и выразил с наибольшей силой. Найдя опору в своем творчестве, Хемингуэй не сломился. Многие нити связывали его с покинутым миром, но он все же не пошел в барщину, оставшись, так сказать, на оброке, на положении терпимого до времени блудного сына. Долгие годы он живет в Европе, репортерствует, учится своему писательскому делу в Париже. Годы напряженной работы, горы рукописей, груды рассказов, отправляемых в редакции и возвращаемых редакциями, и наконец — успех. Таким успехом был роман Хемингуэя «И встает солнце» (1926 год), в английском и русском изданиях названный «Фиеста».

Эпиграфом к этому роману Хемингуэй поставил известное место из Экклезиаста о «суете сует». Некоторые читатели, выхватив из всего контекста эпиграфа только этот пессимистический вздох, увлеченные вместе с героями ярким образом Брет Эшли, восприняли эту книгу лишь как повествование о туристах, скучающих на празднике чужого народа. Хемингуэй получил всемирную известность как певец именно этих погибших людей потерянного поколения. В этой книге и в примыкающих к ней рассказах Хемингуэй ближе всего соприкасается с упадочным мироощущением некоторых своих никчемных персонажей и этим дает пищу для снобистской хемингуэевщины. Однако это книга и о мужестве и труде и писателя Барнса и матадора Ромеро. В «Фиесте» Джек Барнс ищет то, ради чего стоит жить искалеченному войной человеку, и ему кажется, что достаточно видеть землю и людей и писать о них. Но о ком писать? О гуляках, которые думают лишь о том, чтобы пить, есть, любить, стрелять дичь, ловить рыбу, заниматься боксом и ездить по всему свету? Сам Хемингуэй перепробовал все это и ради того, чтобы написать об этом с полным знанием дела. Сам он — очень земной человек и знает толк как в тяготах труда, так и во многих радостях жизни, но он очень чуток к суррогатам этих радостей, и они ему претят.

К потерянному поколению главный герой книги писатель Джек относится по формуле: ты меня породило, я тебя и убью, показав тебя таким, как ты есть. Джеку легко, когда он может вырваться из этой среды в горы, в Бургете, — половить форелей, на море — выкупаться, в редакцию — поработать: «По всей улице люди шли на работу. Приятно было идти на работу. Я пересек авеню и свернул в редакцию». Джеку легко, когда он глазами художника видит людей и землю Испании и может творчески закрепить это навсегда. Недаром сам Хемингуэй, делая упор на другое место того же эпиграфа: «Род проходит и род приходит, а земля пребывает вовеки», — писал своему редактору, что ему дела нет до сует и до своего поколения и что книга эта не столько сатира, сколько трагедия и главное действующее лицо там Земля, которая пребудет вовеки.

В послевоенные годы Хемингуэй побывал репортером на Генуэзской и Лозаннской конференциях, и, когда прочие буржуазные корреспонденты кричали только о красной опасности, Хемингуэй объективно описывал в своих корреспонденциях стычки народа с фашистами. Тогда же он бичующе отзывался о «всеевропейском шарлатане» Муссолини, рекомендуя читателям взять его фотографию и получше в нее вглядеться. Потом Хемингуэя послали на греко-турецкую войну. Одним из первых свидетельств рождения писателя было то, как в скупые рамки телеграфного языка своих корреспонденций он сумел вместить и жизненные детали и художественные обобщения.

Позднее Хемингуэй подчас старался подавить в себе репортерскую неуемность, как нечто мешающее писательской работе. Он знает по собственному опыту, какие рубцы может оставить репортерская поденщина американской газеты, требующая от репортера «забыть сегодня то, что было вчера», и притом забыть во всех смыслах. Но былой репортер жив в писателе Хемингуэе. Именно эти вылазки в жизнь обогащают писателя опытом и возвращают его к большим современным темам.

Но это было впереди, а сейчас нужно было оплатить долг лейтенанта Генри, свести последние счеты с войной, и Хемингуэй пишет о событиях десятилетней давности, о смерти всего дорогого, о «сепаратном мире» лейтенанта Генри. Получилась по-своему наиболее лиричная и цельная из его книг — «Прощай, оружие!». Но за нею для самого Хемингуэя началась полоса примирения, «сепаратного мира» с теми богатыми бездельниками, которых он только что показал в «Фиесте», — поездки на бой быков в Испанию, на охоту в Африку, рыбная ловля, оседлость на Флориде и творческая заминка на целых семь лет.

Начало 30-х годов. Кризисные годы. Значительная часть буржуазных американских писателей обращается к социальным темам, но Хемингуэй очень медленно реагирует на этот поворот к действительности. Он сначала сторонится социальных потрясений, пишет очерковые книги «Смерть после полудня» и «Зеленые холмы Африки», в которых закрепляет и свои мысли о мастерстве; он собирает в сборники старые рассказы и добавляет к ним новые, весьма мрачные психологические этюды о людях потерянного поколения. Но все эти размышления наедине приводят его к мысли, что лишь когда «стараешься поменьше думать — все идет замечательно».

Смерть вовсе не загадка для лирического героя Хемингуэя. Война сорвала со смерти все покровы, лишила ее всякого ореола, и вовсе не нужно, чтобы мертвец раскрывал «загадку смерти», как это

делает Гойя в офорте «Ничто, — Говорит он» (Nada — Ello Dirà).

У Хемингуэя смерть тоже часто именуется тем же испанским словом «ничто», и, как бы под стать офорту Гойи, Хемингуэй в рассказе «Чисто, светло» создает не менее страшный земной его аспект: опустошенность мертвенного равнодушия, образ «сидячего» мертвеца и не менее нигилистическую, чем у Гойи, формулу «Отче Ничто». Это конец всего, за ним черная пустая пропасть, вечное небытие. Так на всех путях перед Хемингуэем стала смерть во всех ее обличьях. Но он ищет утверждения жизни во всех ее видах — и через единение с природой, и в надежде на то, что останешься навсегда в тобою созданном произведении искусства, а позднее и в моральной победе подвига, который увековечит тебя в памяти людей.

Уже став писателем мировой известности, Хемингуэй писал в 1935 году: «Жить в действии для меня много легче, чем писать. У меня для этого больше данных, чем для того, чтобы писать. Действуя, не задумываешься. Как бы трудно ни приходилось, тебя держит сознание, что иначе ты поступить не можешь и что ответственность с тебя снята». И в самом деле, он чаще всего действует просто как чувствует, как велит ему совесть, не мудрствуя лукаво, не поддаваясь всяческим софизмам, и в своих действиях он чаще всего разумен и тверд. Но когда жизнь ставит перед ним большие вопросы, требующие решения, тогда всплывает в нем человек, несущий в себе яд потерянного поколения, человек, ушибленный жизнью. Он знает о ней или чувствует в ней много страшного. Он старается не думать об этом, но молчать ему неимоверно трудно, и на помощь приходит разговор с собой средствами искусства: «От многого я избавился, написав об этом». Действительно, восстанавливая равновесие, Хемингуэй иной раз намеренно вызывает в сознании героев ночные кошмары, чтобы, закрепив на бумаге, избавиться от них. Не всегда выдерживает такую нагрузку герой, да и читателю нелегко бывает ориентироваться на этом поле боя.

Однако мало вытеснить кошмар, нужно еще что-то поставить на его место, и опорой для Хемингуэя становятся поиски непреходящих ценностей в труде, в морали, в творчестве. Для этого ему надо было вернуть и то, что было утеряно в числе прочего, — веру не только в создание искусства, но и в его создателя — человека. Хемингуэю долго пришлось прорываться к жизни и к людям из своего тупика.

* * *

Еще первая мировая война показала Хемингуэю, как обманутые высокими лозунгами люди зря отдавали жизнь за спасение займов Моргана и за его военные сверхприбыли. Позднее, работая газетным поденщиком на миллионеров-издателей, он ближе присмотрелся к богатым и понял, что это скучные, эгоистичные люди, которые живут потом и кровью других. Он рано разглядел широко расползшуюся ложь. С детства его окружала фальшь человеческих отношений, на фронте оболванивала ложь трескучих фраз о доблести и жертве, и там же он понял, что ненавистную ему войну порождают именно те, кто лжет и обманывает народ. В газетной работе его возмущала ложь военных и других фальсификаций, в литературе отталкивала купленная ложь писак, вроде его писателя Гордона. Он смутно почувствовал, если и не понял, ложь буржуазного уклада. Все это подводило Хемингуэя к этическим проблемам в социальном плане.

Симптомом внутреннего протеста был рассказ «Снега Килиманджаро» (1936 год). Сколько бы ни утешал себя умирающий писатель Гарри, что он был только соглядатаем в стане богатых, скучных людей, от которых он уйдет, когда о них напишет, на самом деле он заложник в стане тех, с кем он бражничает, охотится, разговаривает об искусстве. Слишком поздно он понимает, что заплатил дорогой ценой — гибелью и физической, и моральной, и творческой. Смерть писателя Гарри — это как бы образное очищение от скверны: он сбрасывает с себя отмершую кожу, но выхода в жизнь для него все еще нет. А жизнь напоминала Хемингуэю о себе, врывалась в его флоридское уединение.

Когда в 1935 году ураган захлестнул на узкой прибрежной полосе Флориды лагерь ветеранов, занятых там на общественных работах, Хемингуэй в числе первых бросился спасать уцелевших, подбирать трупы погибших (а их было много — сотни трупов) и тут же послал в прогрессивный журнал «Нью мэссиз» негодующий протест: «Кто убил ветеранов войны во Флориде? Кто послал их на флоридские рифы и бросил там в период ураганов? — спрашивал он. — Кто виноват в их гибели?.. Богатые люди, яхтовладельцы, как, например, президент Гувер, не ездят на флоридские рифы в период ураганов. Кто послал их сюда? Надеюсь, он прочел это, — как он себя чувствует?.. Ты мертв, брат мой. Но кто бросил тебя в ураганный период на рифах? Кто бросил тебя туда? И как теперь карается человекоубийство?»

Это выступление стало зерном, вокруг которого сложился роман «Иметь и не иметь» (1937 год). Здесь мир имущих — богатые хозяева яхт и их подручные, Джонсон, Гаррисон и другие, своими подачками духовно умерщвляют писателя Гордона, заставляя его лгать, чтобы жить. Они же, прямо или косвенно, обрекают на гибель неимущих: ветеранов, загнанных в рабочий лагерь, рыбака Гарри Моргана, которого Хемингуэй только после своего возвращения в 1937 году из Испании приводит к новому и горькому для писателя выводу: «Человек один не может ни черта!»

Самая «раздерганность» формы и «Снегов Килиманджаро» и романа «Иметь и не иметь» отражает искания, смятение и шатания буржуазной литературы середины 30-х годов. Буржуазные американские критики отрицательно отнеслись к роману, но и они должны были признать, что это убедительный диагноз социального неблагополучия и распада.

Хемингуэй, казалось, понял, что богатые не только скучные, но и жестокие, страшные люди, которые зубами и когтями будут отстаивать свое право на угнетение тех, кого они и за людей не считают. В романе «По ком звонит колокол» (о котором еще пойдет речь впереди) испанский крестьянин спрашивает у антифашиста американца: «А крупных собственников у вас нет?» — «Есть, и очень много», — отвечает тот. — «Значит, несправедливости тоже есть?» — «Ну, еще бы! Несправедливостей много». — «Но вы с ними боретесь?» — «Стараемся — все больше и больше. Но несправедливости много...» — «Тогда вам придется воевать, так же как нам».— «Да, нам придется много воевать».— «А много в вашей стране фашистов?» — «Много таких, которые еще сами не знают, что они фашисты, но придет время, и им станет это ясно». — «А разве нельзя расправиться с ними, пока они еще не взбунтовались?» — «Нет. Расправиться с ними нельзя. Но можно воспитывать людей так, чтобы они боялись фашизма и сумели распознать его, когда он проявится, и выступили на борьбу с ним».

Когда в 1936 году Муссолини вкупе с Гитлером, а в их лице мировой фашизм, обрушились на республиканскую Испанию, Хемингуэй на аванс, взятый им под гонорар военного корреспондента, снарядил санитарные машины для республиканцев и сам поехал на фронт. Это были для Хемингуэя годы большого душевного подъема, который закреплен и в его очерках «Американский боец», «Мадридские шоферы», и в сценарии «Испанская земля», и в пьесе «Пятая колонна», и в яркой речи на II Конгрессе американских писателей, в которой он сказал, что фашизм — это ложь, изрекаемая бандитами, и писатель, примирившийся с фашизмом, обречен на бесплодие...

Хемингуэй, знавший разные войны, увидел, что это «совсем другая», особенная, справедливая война ради жизни на земле.

Еще отчетливее стало лицо врага. В «героях» Герники и Гвадалахары он узнавал тех, кто разгуливал раньше в форме карабинеров при Капоретто или в черных рубашках абиссинского похода. Там сын Муссолини хвастался, что, летая над беззащитными деревнями, он расстреливает людей из пулемета, на что в начале 1936 года Хемингуэй отозвался памфлетом «Крылья над Африкой»: «Сынки Муссолини летают в воздухе, где нет неприятельских самолетов, которые могли бы их подстрелить. Но сыновья бедняков всей Италии служат в пехоте, как и все сыновья бедняков во всем мире. И вот я желаю пехотинцам удачи, желаю, чтобы они поняли, кто их враг и почему».

Если в «Иметь и не иметь» еще только встает задача, как простому человеку прорваться к другим простым людям, то гражданская война в Испании указывает Хемингуэю этих людей.

Яснее стало здесь лицо товарищей по оружию и друзей. Это были простые, мужественные люди и одновременно писатели — Ральф Фокс, Матэ Залка, Людвиг Ренн, Йорис Ивенс, бойцы батальона Линкольна. Люди, вставшие за справедливое дело республики, любили жизнь, но, не задумываясь, отдавали ее. По новому переосмыслились здесь слова, когда-то казавшиеся «непристойными», особенно слово «подвиг». Теперь оно выражало то, что должно было выражать. Здесь Хемингуэй позволил наконец своим героям дать выход чувствам в тех обстоятельствах, в которых прежняя поза напускного бесстрастия была бы натянутой, неестественной. Разговаривая с «Американским бойцом» и с «Мадридскими шоферами», рисуя в романе «По ком звонит колокол» партизан Эль Сордо, и Ансельмо и Андреса, Хемингуэй, должно быть, не без изумления убеждался, что и его лирические герои — Филипп Ролингс, Роберт Джордан — вовсе не такие уж замкнутые, эгоистичные люди, что они способны подписать договор на «пятьдесят лет необъявленных войн», а на время этой войны могут даже идти в ногу в общем строю с коммунистами. Он убеждался, что и Джордан и Ролингс — оба по природе своей анархо-индивидуалисты — все же, хоть на время, обуздали свое своеволие. И даже в таком романе, как «По ком звонит колокол», при всех его идеологических ошибках и художественных недостатках отражен, хотя и в субъективном, а часто и в ошибочном преломлении, определенный участок борьбы с фашизмом. Для организации взрыва стратегически важного моста заброшен через фронт в отряд испанских партизан подрывник — американский волонтер преподаватель колледжа Роберт Джордан. Мост взорван ценою жизни многих партизан и самого Джордана, но жертва эта фактически бесполезна, потому что замысел республиканского наступления раскрыт и оно срывается. Однако поняв, что каждое, даже самое мелкое, порученное ему дело — это звено длиной цепи, что, скажем, взрыв моста может многое значить, может стать поворотным моментом больших событий, а ведь если победим здесь, победим везде,— поняв это, Джордан стал способен на подвиг.

Здесь, в Испании, Хемингуэй нашел наконец настоящие слова для того, чтобы полным голосом сказать о победе над смертью. Вот вожак партизан Эль Сордо на холме, окруженном фашистами. «Если надо умереть, — думал он, — а умереть надо, — я готов умереть. Но мне не хочется. Умереть — это слово не значило ни-

чего, оно не вызывало у него никакой картины перед глазами и не внушало ему страха. Но жить — это значило — нива, колеблющаяся под ветром на склоне холма. Жить значило — ястреб в небе, жить значило — глиняный кувшин с водой после молотьбы, когда на гумне пыль и мякина разлетаются во все стороны. Жить значило — крутые лошадиные бока, сжатые шенкелями, и карабин поперек седла, и холмы, и долина, и река, и деревья вдоль берега, и дальний край долины, и горы позади». Так перед смертью встает перед Эль Сордо все то, чем он жил: труд, радость, свобода. Он умирает сознательно, не закрывая глаза на смерть, но уносит с собой такое ощущение полноты жизни, что можно смело сказать, что он живой до конца, живой и перед лицом смерти.

«В молодости ты придавал смерти огромное значение, — говорит Хемингуэй в сценарии «Испанская земля», — теперь не придаешь ей никакого значения. Только ненавидишь ее за людей, которых она уносит».

Мертвенность того, о чем писал раньше Хемингуэй, порождала и в области художественного выражения некоторую связанность темой, вызывала скованность речи. Люди ранних вещей Хемингуэя замкнуты. Их разговоры — это своего рода «внутренний диалог», судорожное усилие не дать волю словам, при котором каждый говорит для себя, подавая реплики на собственные мысли; но разговаривающие так поглощены однородными заботами, что прекрасно друг друга понимают с полуслова. Травма сказывается в напряженной навязчивости, с которой фиксируются простейшие действия, в неотступном анализе все тех же переживаний. Они обступают писателя, давят, ему надо избавиться от них, чего он и старается добиться, написав об этом с максимальной ясностью. И первый шаг на этом пути — это четкое закрепление внешнего мира и внешних действий, которым Хемингуэй заслоняется от необходимости думать (описательные страницы в рассказах о профессиональной деятельности, охоте, спорте, военном деле). Если заслониться все же не удается, тогда в лирическом монологе он опять-таки старается избавиться от навязчивых мыслей точной фиксацией переживаний.

После войны в Испании сам стиль Хемингуэя стал живее. Исчезает судорожная напряженность, речь льется шире и свободнее, разговоры героев сразу понятны не только разговаривающим, но и людям со стороны, все становится естественнее и человечнее. Может быть, находишь здесь меньше специфических хемингуэевских приемов, но больше простого зрелого реалистического мастерства.

В 1939 году Хемингуэй писал: «Пока идет война, всегда думаешь, а вдруг тебя убьют, и ни о чем не заботишься. Но вот меня не убили, значит, надо работать. И, как вы сами, должно быть, понимаете, жить труднее и сложнее, чем умереть, а писать так же трудно, как и всегда. И теперь мне надо снова писать, и я постараюсь писать как можно лучше и правдивее, пока не умру. А у меня такое чувство, как будто я никогда не умру».

Если раскрыть в общем контексте смысл этих строк, то можно понять их так: писатель, соприкоснувшись с героикой жизни, чувствует в себе силы закрепить это навсегда, и прежнее безрадостное, стоическое требование «Do or die!» («умри, но сделай!») сменяется для него не менее категоричным: «Не умру, пока не сделаю!»

Когда из всех бойцов Интернациональных бригад в Испании остались только те, кто вместе с Матэ Залкой, Фоксом и Корнфордом были похоронены в ее земле, Хемингуэй в начале 1939 года написал скорбное и просветленное обращение «Американцам, павшим за Испанию» и направил его опять-таки в журнал «Нью мэссиз». В этом некрологе звучали надежды на будущее, на народ Испании и ее землю, которых «нельзя покорить, ибо земля пребудет вовеки и переживет всех тиранов». Этот непосредственный отклик сводится к простой, но трудно давшейся Хемингуэю мысли: «Пусть вы погибли, не победив, но жертва ваша не напрасна и все равно победа за вами». Хемингуэй, казалось, нашел то, за что стоило отдать жизнь.

* * *

Иногда Хемингуэй показывает, что человек не выдержал проверки; и подчас он чрезмерно долго на этом задерживается. Но в нем нет недоверия и презрения к человеку. Он любит и по-своему сдержанно жалеет своих героев. Но в одном отношении он к ним безжалостен: он желает для них того, что обозначает как «good luck», то есть хочет для них настоящей, хорошей жизненной удачи, а вместе с тем трудовой, трудной, пусть даже и трагической судьбы. У Хемингуэя обычно победитель не получает ничего, терпит поражение, и в этом обнаруживает себя ущербный характер его гуманизма. Полнокровный, оптимистический гуманизм, будь то гуманизм Горького или Гюго, это вера в светлое будущее человечества, это путь через испытание к победе. Таких гуманистов объединяет ясная цель, которая зовет победить хотя бы ценой жизни. Гуманизм Хемингуэя — это безрадостный, стоический гуманизм, гуманизм внутренней победы ценой неизменного поражения.

В романе «По ком звонит колокол» гибнут, но гибнут совсем по-разному, и Эль Сордо, и Джордан. Эль Сордо, и не формулируя, знает, за что ему предстоит умереть. Он не хочет умирать, но знает, что так надо. И на этом для него кончаются все вопросы — начинается его трудовой подвиг. На холме, со своими партизанами он работает, уничтожая франкистов, как работал в поле, уничтожая сорняки и думая о том, чтобы сорняков осталось поменьше. Джордан тоже пытается

выработать в себе такое же отношение — быть хотя бы перед лицом смерти похожим на Эль Сордо и Ансельмо: «Брось думать, твое дело сейчас взрывать мосты». И он тоже работает при взрыве моста, но дальше все идет совсем по-другому. «Колокол» был написан уже после поражения, и Джордан наделен был обычными чертами хемингуэевского лирического героя. Он думает все о том же: о долге, выполнение которого означает для него смерть. Автор вполне мог бы и не убивать Джордана, но Джордан внутренне обречен, сам это знает и занят устроением своей собственной смерти. Он умирает не только ради Испании, не только ради спасения любимой девушки Марии, но и по внутреннему велению долга, ради себя. И умирает не сразу — долго, мучительно готовясь к смерти. Он пришел сюда не отнимать жизнь, а отдавать свою. Страшный мир не сломил Джордана, не принудил его к сделке со своей совестью, как Гарри Моргана. Джордан уходит из жизни моральным победителем, но так и не став участником общей победы или поражения. Сражался он в рядах, а умирает опять-таки один.

Вспомним, какой цельный образ жизни уносит с собой Эль Сордо. А что значит жизнь для Джордана? Ее трудно охватить в одном образе. Это и отвлеченное представление: «мир — хорошее место, за которое стоит сражаться». Это и мысли о книге, которую он хочет написать, но ведь всякие бывают книги, иные приводят на распутье или в тупик. Это и как бы заготовки для будущей книги — звуки, краски, запахи жизни: «Ночь была ясная, и голова у него была ясная и холодная, как ночной воздух. Он вдыхал аромат еловых веток, хвойный запах примятых игл и более резкий аромат смолистого сока, проступившего в местах среза... Вот такой запах я люблю. Такой, и еще запах свежескошенного клевера и примятой полыни, когда едешь за стадом, запах дыма от поленьев и горящих осенних листьев. Так пахнет, должно быть, тоска по родине — запах дыма, встающего над кучами листьев, которые сжигают осенью на улицах в Миссуле. Какой запах ты бы выбрал сейчас? Нежную траву, которой индейцы устилают дно корзин? Прокопченную кожу? Запах земли после весеннего дождя? Запах моря, когда пробираешься сквозь заросли дрока на побережье в Галисии? Или берегового ветра, когда в темноте подплываешь к Кубе? Он пахнет цветущими кактусами и диким виноградом. А может быть, выберешь запах поджаренной грудинки, утром, когда хочется есть? Или утреннего кофе? Или яблока, когда вгрызаешься в него зубами? Или сидра на давильне, или хлеба, только что вынутого из печи? Ты, должно быть, проголодался, подумал он, и лег на бок и снова стал смотреть на вход в пещеру при отраженном снегом свете звезд». Это и еще многое другое, сложное, противоречивое, раздробленное, омраченное безрадостным стоицизмом бесполезной жертвы.

Лишь только наступило поражение и борьба прервалась (как это многим тогда казалось, надолго) — и вот уже почва уходит из-под ног вчерашнего бойца. Хемингуэей не видит, ради чего стоило бы сохранить жизнь Джордану. Он не представляет того нового мира, в котором Джордану еще пришлось бы мучительно искать себе места.

* * *

Хемингуэй тяжело перенес и крах надежд в Испании и предательское отношение некоторых кругов Америки к победе над фашизмом во второй мировой войне. Фактически опять в Америке честный боец-победитель не получил почти ничего, а плоды победы пожинали корыстные дельцы вроде «крестоносцев», показанных Стефаном Геймом. Хемингуэй снова укрылся, на этот раз среди простых людей Кубы, снова замкнулся в себе, и опять перед ним возникает смерть. Но, действительно, еще рано умирать тому, кто сказал себе: «Не умру, пока не сделаю!» За это время снова, и не раз, возникала опасность новой войны, несправедливой войны ради смерти на земле. Словом, все уже как будто преодоленное снова вставало грядущим кошмаром, призраком самоубийственных побед и конечного поражения.

Смерть в последних двух повестях в значительной мере перестает быть социальным фактом, отражением смерти всего уклада, и становится опять участью отдельного человека как неизбежная судьба. В такой смерти опять очень мало героики, но опять упор на том, чтобы умереть как следует, умереть стоя. Обе послевоенные повести Хемингуэя написаны опять о побежденных. И на запах тления, как стервятник, слетает злой рок («bad luck»).

Хемингуэй давно уже работает над большим романом. В конце 40-х годов, находясь в Италии, он серьезно заболел. Под угрозой смерти он прервал работу над романом и поспешил закрепить на бумаге впечатления недавно закончившейся войны. Результатом была вышедшая в 1950 году повесть «Через реку и к тем деревьям», которая не оправдала десятилетнего ожидания читателей и глубоко разочаровала многих, следивших за развитием творчества Хемингуэя.

Полковник Кентуэлл, который по самой своей профессии «жил со смертью почти всю свою жизнь», еще бодрится, но знает про свой смертельный недуг и в свои пятьдесят лет чувствует себя стариком. Может быть, рано состарила его как раз последняя война. По приказу ненавистных ему тыловых генералов-политиков он зря уложил в лобовых атаках весь свой полк. Военный приказ есть приказ, он его выполнил, но воспоминание об этом стало для него неотвязной мукой. Получив отпуск, он едет из Триеста в Венецию по

местам былых боев на Пьяве, под Фоссальтой, где тридцать лет назад он сражался в обличье Ника Адамса и лейтенанта Генри и где был тяжело ранен. Опоры он ищет в последней любви к девятнадцатилетней венецианке Ренате, которую он сам называет «дочкой». Он мучительно сожалеет, почему не встретил ее раньше, когда он мог на ней жениться, быть счастливым и дать ей счастье и вырастить пятерых сыновей. И все кончается скоропостижной смертью на обратном пути из отпуска к повседневной лямке солдата.

В этой малозначительной, вообще говоря, книге много по-хемингуэевски четких описательных страниц. Запоминаются сцены охоты, прогулки по Венеции, ветер Венеции. И, вероятно, если бы раньше эта возможность не была использована другим, повесть можно было бы назвать проще и выразительнее: «Смерть в Венеции». Но тогда и книга должна была быть другой.

Последняя повесть «Старик и море» (1952 год) открывается все тем же мотивом поражения. Для рыбака Сантьяго пришла полоса неудач, когда и его старый залатанный парус из мешковины кажется флагом вечного поражения. Сознание старика, еще ясное в работе, уже затуманено дымкой старости, и от этого ему по-своему легче. «Ему теперь уже больше не снились ни бури, ни женщины, ни великие события, ни огромные рыбы, ни драки, ни состязания в силе, ни жена». Осталась только забота о насущном хлебе, разговоры с мальчиком о бейсболле, да в грезах — львы далекой Африки. Старик еще не сдается. В погоне за большой рыбой он заплывает даже дальше, чем это было для него по силам. Он упорно и безнадежно защищает пойманную рыбу ст акул, но сквозь это привычное для него упорство рыбака звучат новые нотки. Раньше Хемингуэй неоднократно повторял свою излюбленную мысль, что если уж ты ввязался в драку, то надо победить, пусть на деле победа и оборачивается у него обычно внешним поражением. Старик по-новому варьирует эту мысль Хемингуэя: «Человек не для того создан, чтобы терпеть поражение. Человека можно уничтожить, но его нельзя победить». Но тут же сказывается и противоречие. У старика появляется необычный для Хемингуэя фатализм: «Я тебя убью, рыба, или ты меня убьешь — не все ли равно?» А вслед за этим появляется и возвеличение стариком той самой «большой рыбы», которая его может доканать.

Все здесь глуше, примиренней, мягче, чем в прежних книгах. Старик живет в ладу со всеми простыми людьми округи, все его любят. Бывало, что Хемингуэй писал об уязвимости и слабостях сильных людей; здесь он пишет о моральной силе дряхлеющего старика. Он не осложняет внутреннюю победу старика ни комбинациями боксера Джека, ни профессиональной гордостью матадора Гарсиа, ни вынужденным преступлением Моргана. Здесь больше веры в человека и уважения к нему, но сама жизнь сведена к узкому, непосредственному окружению одинокого старика.

Характерно, что здесь больше, чем где бы то ни было, у Хемингуэя стирается резкая грань между тем простым человеком, к которому влечет писателя, и его же лирическим героем. Раньше Хемингуэй мыслями и чувствами был прежде всего с тем интеллигентом, который честно идет в бой, но в чужой для него войне и со всем грузом сомнений. Теперь какую-то часть своих мыслей и чувств он уделяет и Сантьяго. По сравнению с прежними простыми людьми Хемингуэя Сантьяго — сложная фигура. Тогда как даже двойники писателя старались не думать, он, Сантьяго, на протяжении всей повести размышляет о многом. От начала до конца книги он ведет разговор с рыбой и с самим собой. Он, как и автор, обсуждает проблему мужества, мастерства. Старика преследует полоса неудач, но он не поступится своим мастерством рыбака, он будет ловить только «большую рыбу» и будет ловить как следует. В его сознание просачивается то ощущение неотвратимого поражения, которое свойственно было скорее Джордану, а не Эль Сордо. Он грезит о том, о чем мог бы грезить охотник на львов Хемингуэй. Словом, если образ Сантьяго и теряет в цельности, зато он становится богаче, разнообразнее. Он несет большую нагрузку, и мастерство Хемингуэя в том, что все это целостно воспринимается при чтении.

Старик тянется за поддержкой к молодости. Чудесный мальчик, опекающий старика, — это не просто предмет наблюдения, каким был мальчик из рассказа «Ожидание», не просто слушатель, которому отец рассказывает о днях своего детства («Отцы и сыновья»). Мальчик для старика — это реальная поддержка, это опора его старости, без которой старик беспомощен, обречен на прозябание. Раньше для героев Хемингуэя (кроме первого из них — Ника Адамса) как бы не существовало смены поколений и самой проблемы будущего. Раньше герои Хемингуэя если и вели с кем-нибудь скупые разговоры, то основой все же были внутренние монологи, разговоры с собой. Теперь у старика есть кому передать свой опыт и свое мастерство, и в этом смысле книга открыта в будущее. Хемингуэй как бы возвращается к тому, с чего начал, но совсем по-новому. Род проходит и род приходит, но не только земля, а и человеческое дело пребывает вовеки не только в собственных созданиях искусства, но и как мастерство, передаваемое из рук в руки, из поколения в поколение.

И хотя в книге речь идет о старости на самом пороге угасания, но здесь никто не умирает. Победа, хотя бы моральная, достигнута здесь не ценою жизни.

В повести «Старик и море» намечается попытка обойти тупик послевоенных тягостных противоречий, обратившись к общечеловеческой теме, почти абстрагированной от текущей действительности. Это тема мужественного труда ради «большой», но узкой цели, которую Хемингуэй пока определяет только как «большую рыбу». Осязательное, реалистическое изображение маленького клочка, частицы жизни как точки, к которой приложены большие силы, заставляет прислушаться к этой вещи, но реализм ее в значительной мере ослаблен туманной многозначительностью, которая уже дала повод для диаметрально противоположных аллегорических толкований. Поэтому «Старик и море» можно рассматривать и как большую заявку писателя, который ищет для новой книги свою «большую рыбу» — большую и жизненную тему.

Пока что обе послевоенные повести — все же лишь разговор вполголоса, и, во всяком случае, едва ли это итог размышлений Хемингуэя над послевоенной действительностью.

«Через реку» — по сути своей фрагментарная книга, «Старик и море» — это тоже, как сообщает американская критика, фрагмент или набросок к большому, еще не напечатанному роману. Это более или менее ценные и отшлифованные этюды, вещи проходные, вне зависимости от их литературных качеств. И хотя качества эти неоднородны, в обоих чувствуется возврат к более напряженной ранней манере. В «Через реку» — это опять пространная невнятность диалогов, натянутый невеселый юмор. А в «Старике» опять стучит навязчивость техницизма, бесконечного внутреннего диалога, и выделяются чужеродные импрессионистические вкрапления.

Мастерство Хемингуэя этим не снимешь, оно остается большим мастерством. Важнее то, что на большие вопросы, поставленные послевоенной жизнью, Хемингуэй пока не отзывается. Молчание это в условиях разнузданной милитаристской истерии хотелось бы считать формой протеста ветерана, уже сказавшего однажды «прощай» оружию и не торопящегося сказать новое, не менее веское слово. Пока он отделывается только беглой репликой. Так, когда в 1954 году Хемингуэй вернулся на родину из Африки после долгой отлучки и в бесчинствах сенатора Маккарти распознал все ту же тень фашизма, он резко высмеял Маккарти.

После сотрясения, вызванного двумя авиационными катастрофами в Африке, Хемингуэя будто бы тревожат всякие дурные сны. Причем этот вид сотрясения, добавляет Хемингуэй, вызывает у него сны о грубой силе. В этой связи приходит ему на ум и такая мысль: уцелел ли бы в Африке среди диких зверей сенатор Маккарти, лишенный здесь своей депутатской неприкосновенности? Тут сам он будто бы выходит на ночную охоту и вдруг видит сенатора Маккарти тоже с охотничьим копьем. «Вы на кого охотитесь? — спрашивает сенатор. «На шакалов», — будто бы отвечает Хемингуэй. «А я на крамольников!.. Я ополчился на всех врагов истинно американского образа жизни!» «А я на шакалов», — отвечает ему во сне Хемингуэй и довольно ядовито напоминает Маккарти о судьбе другого фашиствующего сенатора, Хью Лонга, который метил в диктаторы, а кончил плохо. «Да, плачевна его судьба, — соглашается республиканец Маккарти, — хоть он и был демократ». «Тут я подумал, — пишет Хемингуэй, — что, может быть, я был невежлив, непатриотичен, негостеприимен, и сказал ему во сне: «Если вы стышете здесь живых крамольников, которых еще не сожрали гиены, то я пришлю носильщиков, и вы доставите их в Найроби, конечно, если только мои носильщики смогут сработаться с вашими подручными». На этом кончается сон и вымышленный разговор охотника за шакалами с охотником за крамольниками.

Не приходится преувеличивать значения этой шутки, но с Хемингуэем уже не раз бывало, что в дни затишья он оставался молчаливым сторонним наблюдателем, а в решительные для него моменты оказывался на линии огня.

Это не забывают и его бывшие товарищи по оружию. В январе 1954 года разнеслись слухи, что Хемингуэй, находившийся в это время на охоте в Центральной Африке, погиб. Многие газеты, в том числе и лондонская «Дейли уоркер», опубликовали некрологи. Затем выяснилось, что, перенеся две авиационные катастрофы, в промежуток между которыми он считался без вести пропавшим, Хемингуэй все же уцелел. В те же дни был выпущен на поруки до пересмотра дела видный американский коммунист и бывший политический руководитель батальона имени Линкольна, сражавшегося в Испании, Стив Нелсон, ранее приговоренный к двадцати годам строгого тюремного заключения, что для пожилого и больного человека равнялось смерти. И вот в нью-йоркской газете «Уоркер» была опубликована статья еще одного ветерана-интербригадовца, писателя-коммуниста Джозефа Норса, озаглавленная «С благополучной посадкой, Хемингуэй!» «Я вовсе не сентиментален, — писал Дж. Норс, — но два человека, которые были дороги многим из нас в Испании, эти два человека вернулись к жизни в один и тот же день... В 55 лет рано вам умирать, и, несмотря на вашу окладистую седую бороду, вы вовсе не стары — ни по годам, ни по темпераменту...» «Помните вы то утро 1 мая 1937 года, — обращался Норс к Хемингуэю, — когда мы вместе ехали к фронту на Эбро. На каком-то горном перевале нас обогнал большой украшенный цветами грузовик, набитый юнцами, распевавшими песни в честь праздника. И вот на крутом вираже бешено мчавшаяся машина опрокинулась у нас на глазах, придавив своих пассажиров. Вы в то же

мгновение выскочили из автомобиля и стали подбирать умерших и перевязывать раненых. По вашему выражению, вы были «на своем месте» — так заботливо и умело вы делали перевязки. И я помню ваше лицо, когда у вас на руках умерла совсем юная девушка лет семнадцати с розой в волосах. И еще помню — некий важный корреспондент, имени которого я здесь не назову, расхаживал среди трупов и делал заметки для той корреспонденции, которую он накропает в тот же день. У него был довольный вид человека, который после скучного дня наконец-то напал на хорошую тему. Вы посмотрели на него и обозвали сукиным сыном... У нас с вами и тогда были разногласия, но мы оба стояли обеими ногами на земле, вместе оказывая помощь тем, кто в ней нуждался. Вы не спрашивали меня о моих политических взглядах, мне в тот момент и в голову не приходило спросить о ваших. Одно я знал: вы были не на стороне того издателя-миллионера, редакция которого ждала ваших рассказов».

2

«Задача писателя неизменна, — сказал Хемингуэй в своей речи на II Конгрессе американских писателей, — она всегда в том, чтобы писать правдиво и, поняв, в чем правда, выразить ее так, чтобы она вошла в сознание читателя как часть его собственного опыта». Как же он сам понимает правду искусства?

Еще в 1934 г. Хемингуэй писал: «Все хорошие книги похожи друг на друга тем, что они *правдивее того, что было на самом деле,* и когда прочитаешь, то чувствуешь, что все это случалось с самим тобой и поэтому стало частью тебя: все хорошее и плохое, взлеты и раскаяния и горе, люди и места и какая тогда была погода. И если ты можешь сделать так, чтобы донести это до сознания других людей, тогда ты писатель. И нет на свете ничего труднее, чем сделать это». В 1942 году он развил ту же мысль: «Правда нужна на таком высоком уровне, чтобы выдумка, почерпнутая из жизненного опыта, *была правдивее самих фактов*». *Правдивее фактов* — это добавочный элемент того авторского отношения, которое при известных условиях и на известном уровне делает факт явлением искусства. Здесь как будто намечается правильное решение: не ограничиваться натуралистической точностью показа, но добиваться реалистической верности, в которой правда искусства правдивее фактографического правдоподобия. Однако Хемингуэй далеко не сразу пришел к пониманию этого и далеко не полностью осуществляет это в своей художественной практике.

В начале творческой деятельности Хемингуэя (Париж, 20-е годы) писатели-декаденты внушали Хемингуэю, что правда — это абсолютная объективность, по-флоберовски бесстрастная, что настоящая простота — это примитив. Некоторое время Хемингуэй прислушивался к этим советам и на первых порах даже щеголял подчеркнуто объективным примитивом, огрубленной тематикой, нарочитым лаконизмом и угловатостью диалога. Живую ткань ясной и четкой прозы Хемингуэя и до сих пор местами стягивают старые рубцы. На своем пути Хемингуэй перепробовал много новых для своего времени находок: намеренное косноязычие, недоговоренные, рубленые реплики, лаконически пространный — весь на повторах и подхватах — подтекст диалога, бесконечные периоды внутренних монологов, закрепляющих пресловутый поток сознания, — словом, все то, за что снисходительно похваливали Хемингуэя мэтры декаданса. Однако и у Хемингуэя это чужеродный нарост, а оторванные от живой ткани произведений Хемингуэя все эти экспериментальные «находки» могли прискучить в перепевах его многочисленных подражателей, как некий новый бездушный штамп хемингуэевщины. Он иногда примерял эксцентрический наряд лишь для того, чтобы его отбросить, а подражатели еще долго рядились в его обноски.

Это стало ясно и самому Хемингуэю, когда он взглянул на себя и на жизнь глазами своего писателя Гарри.

Он неоднократно повторял: «Все, что я хочу, — это писать как можно лучше», иной раз добавляя: «и как можно скромнее» или: «и как можно проще». Хемингуэй упорно и сознательно ставил себе цели и последовательно работал над их достижением. «Сначала надо изучить то, о чем пишешь, потом надо научиться писать», — и он знает, о чем пишет, на деле испытав труд охотника, рыбака, солдата, спортсмена, писателя. «Я знаю только то, что видел», — говорит Хемингуэй. И вот он старается видеть то, что на самом деле видишь, а не то, что представляется тебе сквозь привычные очки предвзятости. Старается чувствовать то, что на самом деле чувствуешь, а не то, что полагается чувствовать в подобных случаях. Старается изображать то, что действительно видел, не довольствуясь условными литературными и всякими иными штампами.

Хемингуэй прошел долгий путь к мастерству. По дороге он сбрасывал самые разнообразные узы и шоры, освободился от различных увлечений. Он попробовал и отбросил так называемый телеграфный язык. Все меньше у него стучит натуралистическая запись лаконически пространных разговоров; на смену изобильным техническим терминам бокса, боя быков, рыбной ловли пришло умение показать военную операцию, скажем, взрыв моста, так что это может служить наставлением, но понятно всякому без специального словаря. Словом, все отчетливее выяснялась для Хемингуэя необходимость реалистического отбора. И когда это ему удается, то поражаешься, какими скупыми, но точно

выверенными средствами достигнуты поставленные автором цели.

У Хемингуэя учились некоторые английские, французские и особенно итальянские писатели и деятели кино: среди них такие, как молодой Олдридж, Итало Кальвино, Г. Грин и др. Но скоро многим из них становится ясным, что учитель их далеко не безупречен. Когда его методом они попытались изобразить всю сложность и противоречивость жизни, сразу сказалась зыбкость и уязвимость и его метода и его мировоззрения. Прогрессивный итальянский писатель Итало Кальвино в своей интересной статье «Хемингуэй и мы» (1954 год) признает, скольким он обязан Хемингуэю, но одновременно видит и «предел возможностей Хемингуэя», понимает ограниченность и порочность его мировоззрения и жизненной философии, которую он определяет как «жестокую философию туриста». Волны безнадежного пессимизма, холодок отчужденности, растворенность в беспощадно жестоком жизненном опыте — все это порождает в Кальвино «недоверие, а порой и отвращение». Самый стиль раннего Хемингуэя начинает казаться ему узким и манерным. Джеймс Олдридж в ранних своих греческих повестях, в военных рассказах, в «Охотнике» пользуется интонацией Хемингуэя, но в «Дипломате» он вырывается на простор большой темы, а в последнем своем романе «Герои пустынных горизонтов» даже внутренне полемизирует с Хемингуэем, стремясь ставить и разрешать большие проблемы и пользуясь при этом иными художественными средствами.

В чем же дело? Хемингуэй достиг высокого художественного уровня, окружающее он видит простым глазом ясно и четко, но дали подернуты дымкой, а достижениям оптики он, кажется, не доверяет, видимо, боясь аберрации. Но не обследовав эти далекие горизонты, не определишь и данной точки, как бы ясно она ни была описана. Хемингуэй хочет писать правдиво, но у большой правды жизни, у реалистической правды искусства, тоже очень широкие горизонты. Это — явления, исторически обусловленные, живые, динамические, это — правдивое изображение существенных черт действительности в их взаимодействии и развитии. Такая правда предполагает оценку каждого частного случая в свете целого и исходя из правильно понятого целого.

Но Хемингуэй, судя по одному высказыванию, как будто считает, что это удел, или, вернее, предварительное условие лишь для тех, кто хочет спасать мир: «Пусть те, кто хотят, спасают мир, если только они способны увидеть его ясно и как целое. Тогда какую часть ни возьмешь, она будет представлять мир в целом, если только это сделано как следует». Как раз на это обычно не способен не только Хемингуэй, но и многие из писателей буржуазного Запада. Как раз они чаще всего берут какую-нибудь часть, иногда при этом захватывают глубоко, но обычно в отрыве от целого, в статике, вне исторических и социальных связей. И, как бы признавая это, Хемингуэй словно выделяет для писателя какое-то свое особое дело: «Самое главное — жить и делать свое дело, и смотреть, и слушать, и учиться, и понимать. И писать, когда у тебя есть, о чем писать». Но как писать — это остается неясным, потому что требование «понимать» остается нераскрытым. Хемингуэй не преуменьшает трудностей своего дела: «Нет на свете дела труднее, чем писать простую, честную прозу о человеке. Сначала надо изучить то, о чем пишешь, потом надо научиться писать. На то и другое уходит вся жизнь. И обманывают себя те, кто думает отыграться на политике. Это слишком легко, все эти поиски выхода слишком легки, а само наше дело непомерно трудно». Неправота последнего утверждения настолько ясна, что не стоит его оспаривать. Да! Вещи, рассчитанные надолго, невозможно создавать вне времени, вне «политики» (понимая, разумеется, под этим словом не мелкое политиканство, а большие вопросы, определяющие жизнь миллионов людей), на каком бы высоком профессиональном уровне они ни стояли. Если есть в произведении большая правда жизни, она включит в себя *всю* правду со всей ее светотенью. Если большой правды нет или в ней замолчено что-то существенное, то и *вся* правда легко превращается в «абсолютную», объективистскую правду, которая сводится иногда к эклектическому набору малых правд и неправд.

Увидев победу цельного человека над смертью в социальном плане, сам автор еще не обрел ощущения полноты и цельности жизни. Если трагическая героика и побеждает морально, то ведь это только часть жизни. Видимо, что-то неладно в самом подходе Хемингуэя. Очень многое в жизни остается им не только не показанным (этого нельзя и требовать), но и не учтенным.

По многому видно, что Хемингуэй любит жизнь, свою страну, но «странною любовью». Его страшит то, что она «быстро старится» в руках корыстных эксплуататоров. Его лирический герой американец хотя бы в мыслях повсюду носит с собою «горсть родной земли» и нигде не забывает самый запах родной Миссулы. То, что Хемингуэй почти не живет на родине и молчит о ней, то, что простых и мужественных людей он ищет в Испании, на фронтах Италии и Франции, наконец, на Кубе,— все это можно понимать как неприятие им многих сторон американской действительности. Но молчание остается молчанием. Оно двусмысленно уже тем, что может быть истолковано по-разному. Недаром сам Хемингуэй сказал о своем писателе Гарри: «Людям, с которыми он знается сейчас, удобнее, чтобы он не работал». И, во всяком случае, этим молчанием Хемингуэй очень суживает ту часть

мира, которую он отражает в своем творчестве, как бы далеко он ни забредал в своих скитаниях по свету.

* * *

Для понимания Хемингуэя особенно важна этическая основа его творчества, его своеобразный этический кодекс. Много было таких кодексов, и, как бы они ни назывались: рыцарская честь, буржуазная респектабельность, солдатская верность или, как у Хемингуэя, «честная игра» спортсмена, — все они оказывались условными. В малом, в простейших случаях такой моральный кодекс неоспорим. Кто возразит против порядочности, честности, верности долгу, внутренней собранности? Но стоит автоматическое соблюдение этих жизненных правил приложить к большим требованиям жизни, как выясняется относительность и недостаточность этих критериев вне той обстановки и цели, ради которой они соблюдаются. Именно правила и пресловутое джентльменство «честной игры» внушают Хемингуэю объективистское беспристрастие. Именно правила такой игры предписывают: о друзьях говорить с оговорками и с усмешкой — они все стерпят,— а к врагам относиться с подчеркнутой галантностью. Именно эти правила требуют соблюдения абсолютной, абстрактной правды, которая часто не совпадает с большой правдой жизни.

Хорошо еще, что за условной «честной игрой» — в случае Хемингуэя — чувствуется простая человеческая честность, которая не позволит пойти на лицемерие, подлость, предательство, однако свое вредное влияние «честная игра» все же оказала и на творчество Хемингуэя.

Противоречие это распространяется и на эстетику Хемингуэя. Несомненно, что правда для него и есть красота, а некрасиво для него все неестественное — неженственность в женщине, немужественность в мужчине; все робкое, трусливое, уклончивое, нечестное. Красота для Хемингуэя— это все естественное, это красота земли, воды, рек и лесов, умных и чистых животных, четко действующей снасти, красота чистоты и света. Это красота старых моральных ценностей: простоты, честности, мужества, верности, любви, работы и долга художника.

И только ложно понятая объективистская, натуралистическая «правда» заставляет иногда Хемингуэя в чрезмерной пропорции фиксировать внимание и вводить в свои произведения заведомо неестественное, болезненное, ущербное как следствие *того,* что неестественное и страшно в самом себе как результат собственной травмы и ночных кошмаров и как, может быть, невольная, но дань веянию времени, декадентскому засилию в современной американской литературе.

Когда отходил на задний план ученик, скованный канонами Гертруды Стайн, именно тогда побеждал истинный реализм в творчестве мастера Хемингуэя. А рецидивы наигранного бесстрастия порождали у него натуралистическую пестроту и тесноту, в которой терялось истинное обличье такого простого и прямого писателя. Можно только пожалеть, что Хемингуэй попадал в эти тупики идеалистического и упадочного искусства.

И когда отвлеченные моральные правила, которые Хемингуэй приписывает излюбленным своим героям — спортсменам, охотникам и другим «честным» игрокам — он попытался перенести и в область широких социальных отношений, когда он взялся за тему большой социальной остроты и значимости, тогда особенно явно обнаружились сила и слабость его художественного метода. В романе «По ком звонит колокол» сильно и взволнованно описаны действия партизан, гибель отряда Эль Сордо, операция по взрыву моста, путь связного Андреса через фронт с донесением, величавые в своей простоте фигуры Эль Сордо и старого Ансельмо. В каком-то отношении и Роберт Джордан — это следующий шаг на пути развития лирического героя Хемингуэя. Для лейтенанта Генри все беспросветно. В «Иметь и не иметь» Гарри Морган так и умирает врагом всех, один со своим преступлением, умирает потому, что не удалась еще одна его *личная* попытка обеспечить себе кусок хлеба. Пусть сам он не раскаивается ни в чем, но это не дает ему ни фактической, ни моральной победы — ничего, кроме горького сознания бессильного одиночества. И главное, к конечному выводу Моргана — «человек один не может ни черта» — Хемингуэй все же подводит не одного из своих интеллигентов-индивидуалистов, а одного из тех простых людей, цельность которых влечет к себе Хемингуэя, но и для него самого пока недостижима. А «Колокол» начинается сразу с утверждения эпиграфа: «Нет человека, который был бы, как остров, сам по себе». Джордан замкнут и нелюдим, как все двойники Хемингуэя, но и в своем интеллигентском плане это уже не олдингтоновский герой, укрывшийся на одном из Островов Блаженных. Джордан идет к людям, сознательно борется «за всех обездоленных мира», и то, что умирает он все же один, это беда его и всех ему подобных. Сам по себе Джордан не хуже, а может быть, и человечнее прежних воплощений лирического героя, беда его в том, что нагрузка для него непосильна, он человек не на своем месте, он не типичен для обстановки, в которой от Хемингуэя ждали эпического разрешения темы. Эпиграфом к своему роману Хемингуэй поставил слова старого английского поэта Донна: «Нет человека, который был бы, как остров, сам по себе; каждый человек есть часть материка, часть суши; и если волной снесет в море береговой утес, меньше станет Европа, и так же, если смоет край мыса или разрушит замок твой или друга твоего; смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством; а потому не спрашивай никог-

да, по ком звонит колокол; он звонит по тебе». Но, может быть, навела Хемингуэя на самую мысль о колоколе эмблема знамени батальона Линкольна, где на фоне колокола изображен силуэт, напоминающий самого Линкольна, в испанской шапочке с кистями.

Не мог Хемингуэй, не мог его Джордан остаться равнодушным, остаться в стороне, когда на защиту простых и честных людей Испании стали стекаться со всех концов земли такие же простые, честные, мужественные люди. Не может и читатель оставаться равнодушным, когда колокол Хемингуэя звонит по Джордану, даже такому Джордану, как он есть, и даже если дребезжащий звук и обнаруживает, что колокол надтреснут.

В романе «По ком звонит колокол» нашли место некоторые впечатления и отклики очевидца и участника событий, а рядом его же последующие попытки оценивать события — обвинять и оправдывать с позиций весьма неверных. Непосредственные отклики и тут чаще всего бьют прямо в цель — по врагу; размышления и опосредствования чаще всего вкривь и вкось искажают те же события. Многие рассуждения Джордана и авторские поблажки и скидки на джентльменское отношение к врагу и вкрапление объективистского сора — все это замутняет книгу. Даже в отношении к фашизму: если попрежнему искренна и сильна у Хемингуэя ненависть к его проявлениям, то все так же слепа терпимость к его корням. Потому роман и вызвал в свое время суровую и в основном справедливую оценку бывших бойцов Интернациональных бригад и резкую критику прогрессивной печати.

* * *

Стремясь к правде, Хемингуэй всем своим творчеством, своими достижениями и провалами объективно подтверждает старую истину, что нет правды, кроме большой жизненной правды, и человек — мера ее. Для Хемингуэя бесстрастие «честной игры» — лишь напускная поза, оно оказывается мнимым. Писатель, поставивший себе целью высшую бесстрастность и абстрактную объективность, на деле не может подавить в себе человека, не может не преломить изображаемое сквозь призму собственного жизненного опыта Впрочем, в этом, как и во всем, Хемингуэй глубоко противоречив. Это человек, который тянется к цельности, простоте, ясности, но сам раздвоен, сложен, трагичен. По сути своей писатель-лирик, он обладает эпической силой изобразительности и заставляет себя быть бесстрастным. В малом (в своих непосредственных откликах) он сплошь и рядом проявляет понимание большой жизненной правды, а в большом (в своем социальном романе) идет на поводу малых правд и неправд.

Противоречива и самая тема его: это внезапная, насильственная смерть но и творческое бессмертие, достижимое только в социальном плане. Это не просто абстрактная смерть, но и конкретное проявление ее в живом человеке; это и поражение, когда оно ведет к внутренней победе. Это и сила, не находящая себе достойного применения, сила в пустоте,— все та же старая трагедия страстного служения слову в жестких рамках холодного мастерства. А ведь дело не только в виртуозном мастерстве. Для писателей масштаба Хемингуэя это нечто само собой разумеющееся.

«Сегодня,— писал Итало Кальвино,— через десять лет, которые прошли с начала моего ученичества у Хемингуэя, я могу подвести активный баланс». Ничего не прощая, но все поняв, такой же активный баланс могут подвести многие вдумчивые и доброжелательные читатели. Хемингуэй этого заслуживает. И вот почему.

Есть писатели — среди них и виртуозы своего дела,— которые умеют и могут писать о чем угодно и довольствуются этим; с них и спрашивать больше нечего. А есть другие, которые не могут не писать, должны писать всегда об одном, для них самом главном, которые взяли на себя этот обет, которые любят в жизни многое, «лишь бы только это не мешало работе», их писательской работе, но которые в то же время терзаются, когда, действительно не мешая, жизнь проходит мимо самой совершенной их работы. К таким писателям принадлежит и Хемингуэй.

Когда-то, в 1932 году, отдавая должное тем, кто берется «спасать мир», Хемингуэй как будто выделял особое, свое дело — работу писателя. Но ведь с тех пор сам он принимал участие в спасении мира от фашизма, сам он сочувственно приводил как слова Гарри Моргана: «Человек один не может ни черта», так и слова Донна: «Нет человека, который был бы как остров, сам по себе». Сам признавал, что, если звонит по ком-нибудь колокол, «он звонит и по тебе». А если продолжать и применить эту мысль к жизни, мир, в котором все мы живем, — это и твой единственный мир, в котором ты живешь и работаешь, и, дав погибнуть этому миру, ты не спасешь и свою работу. Ведь для кого она? И более того: хотя бы на словах отказавшись спасать мир, ты сузишь для себя возможность увидеть его ясно и как целое и обессмыслишь самую попытку научиться этому.

С 1932 года прошло много лет, и, надо думать, с тех пор многое стало ясно Хемингуэю. Хочется надеяться, что он опять выйдет из уединения белой башни своей фермы «Кругозор» на Кубе к большим общественным событиям нашей эпохи. А ведь возможности честного, не скованного заблуждениями таланта поистине необозримы.

И. Бернштейн

Без шефа

Роман Сватоплука «Ботострой без шефа» по своему сюжету непосредственно связан с первой большой повестью того же автора — «Ботострой» (1933 г.). Это вызывает желание сопоставить обе книги.

Роман «Ботострой без шефа», вышедший в 1953 году, написан в годы, когда Сватоплук работал в многотиражке бывших заводов Бати, преобразованных в народное предприятие «Свет». Это позволило писателю очень широко и живо показать ту борьбу за новое, в которой он сам принял участие.

Для чешского романа, говорящего о современности, стало своего рода традицией то, что завязка совпадает с майскими днями 1945 года, а кульминацией являются февральские события 1948 года (так построен, например, роман Бернашковой «Путь открыт», две части трилогии Ржезача). Книга Сватоплука принадлежит к тем произведениям, где судьбы людей по-настоящему органически связаны с общественными событиями. Естественно, что сюжетные коллизии, достигшие большого напряжения накануне 1948 года, находят свое разрешение в исторические февральские дни. Естественно и то, что победа народа, положившая конец попыткам врагов реставрировать домюнхенские порядки, привела к разгрому реакции и на Ботострое.

Роман «Ботострой без шефа» вышел в свет в тот период, когда чехословацкая литература начала сражаться против получившей значительное распространение теории и практики бесконфликтности, тенденции лакировки действительности. Эта книга сразу же привлекла внимание остротой раскрытия борьбы нового со старым — борьбы, принимающей многообразные формы. Действительно, основное качество романа Сватоплука — это смелость постановки важных и трудных вопросов общественной жизни, таких, которых еще мало касалась новая литература. Роман показывает, как и *какой ценой* завоевывается новое, и тем самым участвует в борьбе за новое.

Обстановка на освобожденном Ботострое между 1945 и 1948 годами была напряженной и сложной. Враги нового строя стремились помешать восстановлению заводов, имеющих громадное значение для хозяйства молодой республики. Однако еще важнее для них было другое — показать, что без Шефа, без его эксплуататорской системы комбинат не сможет давать продукцию.

В своей повести «Ботострой» Сватоплук очень глубоко вскрывает ту систему обмана рабочих, их духовного закабаления, которая существовала на предприятиях Бати. Рабочих на Ботострое обманывали видимостью высоких заработков, сводившихся на нет хитроумной системой штрафов; поощрялась всяческая конкуренция между рабочими. Эту звериную идеологию реакционеры стремятся насаждать и на новом Ботострое. Они делают все, чтобы создать легенду о рае, существовавшем якобы во времена Шефа. Сватоплук понял, что центральный участок фронта в сражении нового со старым — борьба за сознание и душу человека. Этим объясняется его пристальное внимание к духовному миру своих героев. С этим связана другая, новая для Сватоплука черта: он обретает умение изображать человека в развитии, в его противоречиях, в борьбе не только с внешними обстоятельствами, но и с самим собой. Писатель в этом романе достигает большей, чем прежде, глубины в изображении как положительных, так и отрицательных персонажей.

Сватоплук решительно отказывается от штампованного образа вредителя, все вражеские действия которого читатель может предсказать еще до того, как этот персонаж появляется на страницах книги и закуривает традиционные американские сигареты. Писатель пытается увидеть изнутри процесс превращения человека в активного врага нового строя. Интересно и свежо дан образ Иозефа Ланга, первого директора Ботостроя после освобождения страны. Психологически верно изображен в романе путь нравственной деградации этого некогда честного и сознательного рабочего-коммуниста, становящегося в конце

Турек Сватоплук, Ботострой без шефа. Перевод Юр. Молочковского, редактор Б. Шуплецов, Издательство иностранной литературы, 1955.

Ботострой — предприятия „обувного короля" Бати, названного в повести Шеф.

концов предателем интересов народа. Начав с небольших упущений, Ланг позволяет антинародным элементам, помогавшим ему утаить их, все больше и больше втягивать себя в преступные махинации. Он вынужден закрывать глаза на темные делишки ставшего ему необходимым мошенника и проходимца Андерле, специально подосланного к новому директору врагами. Ланг начинает принимать участие в спекуляциях, задуманных Андерле, и тем самым окончательно отдает себя в руки реакционных сил. Автор ставит директора Ботостроя, как и других действующих лиц, в исключительно сложные положения, и Ланг испытания не выдерживает. Причина морального падения Ланга прежде всего в том, что в поисках решения задач, вставших перед неопытным руководителем, он не сумел опереться на рабочий коллектив, на поддержку партии. Он противопоставляет себя рабочим, избегает партийной критики и в результате начинает перенимать методы управления, практиковавшиеся некогда Шефом. Он резко отделяет свои интересы от интересов рабочей массы, с которой раньше был тесно связан.

На этом примере Сватоплуку удалось показать всю трагичность судьбы человека, ставшего чуждым своему народу. Постепенно меняется весь его внутренний облик: Ланг, скитающийся в исторические февральские дни по пражским кабакам, — это человек полностью опустошенный, утративший цель жизни.

Показывая падение Ланга, Сватоплук ставит важный вопрос о моральном облике члена той партии, которая возглавляет борьбу народа за социалистическое преобразование страны. Писатель показывает, что коммунисты стоят во главе борьбы за новое на Ботострое, им верят, за ними идут простые, рядовые труженики. Именно потому так велика ответственность члена партии. «В «Ботострое без шефа», — пишет Сватоплук,— я стремился повысить уважение моих читателей к простым труженикам и отвращение к болтунам, показать настоящих коммунистов и тех, кто прикидывается коммунистами, продемонстрировать на жизненных примерах, что коммунист — это самый человечный человек, в лучшем, прекрасном смысле этого слова; кто перестает быть человеком, пусть даже он остается в рядах партии,— в действительности уже не коммунист».

Эта мысль продемонстрирована не только на жизненном примере Ланга. Работники райкома Киселы и Возка, так же как и Ланг, становятся орудием в руках Андерле и, оставаясь в партии, по сути дела перестают быть коммунистами и превращаются сначала в бездушных бюрократов, начетчиков, а потом в прямых пособников врага. Одним из первых в чехословацкой литературе Сватоплук с такой остротой поставил вопрос о вражеской агентуре внутри партии и об огромной нравственной ответственности коммуниста.

Принципиально новую трактовку получает в этом романе образ Шефа. Шеф, в котором как бы воплощена хищническая, враждебная человеку сила капитализма,— центральная фигура повести «Ботострой»; доведя до гротеска бешеную жадность Шефа, Сватоплук создал в повести образ большой обличительной силы. В «Ботострое», однако, гротескный характер этого образа был до известной степени связан с преувеличением его могущества, приобретающего дьявольский, сверхчеловеческий характер. Сын прежнего Шефа Якуб в романе «Ботострой без шефа» также изображен с большой силой сатирического обличения. Но здесь в основе комизма образа лежит кричащее несоответствие между тем иллюзорным представлением о Шефе, которое создают апологеты реакции, и реальным Якубом, скрывающимся где-то в Южной Америке от суда, ожидающего его на родине. Смешны, нелепы и беспочвенны претензии Якуба повернуть вспять историю своей страны, поэтому отвратительное и в то же время комическое впечатление производит его хвастовство перед влиятельными американскими бизнесменами, на помощь которых он рассчитывает. Жалки и гротескны его попытки изображать государственного мужа, его торги с буржуазным министром бенешевского правительства о дележе политической добычи. Даже в глазах действующих на его деньги агентов реакции он, Шеф, именем которого они клянутся, — просто-напросто «балбес». Якуб, так же как и его исторический прототип, надевает на себя маску «патриота», чтобы скрыть лютую ненависть к народу, предательство национальных интересов. Закономерно, что его планы «собственной операции», ради которой он тайно возвращается в Чехословакию в февральские дни, терпят крах, как и вся попытка реакционного переворота. В заключении романа он оказывается на скамье подсудимых, и народ выносит ему свой справедливый приговор.

Конечно, в этом романе Сватоплук уделяет меньше внимания образу Шефа, чем прежде в повести, и цель его тут другая: показать историческую несостоятельность и обреченность системы, господствовавшей прежде на Ботострое. Для разрешения этой задачи писатель нашел, как мы видим, и новые художественные приемы. Но ему все же не удалось довести их до той силы разоблачения, какой он достиг в повести «Ботострой».

Важное место во всем творчестве Сватоплука занимает тема «маленького человека» — одна из центральных тем в литературе буржуазной Чехословакии. Неслучайно один из романов, написанных Сватоплуком до освобождения, так и называется «Человечек». В своем прежнем творчестве писатель почти всегда изображал простого человека как «маленького человека», придавленного непосильной эксплуатацией, растерянного, неспособного к борьбе, готового довольствоваться даже тем немногим, что у него еще не отнято. В но-

вом романе герои как бы меняются местами. Нельзя назвать «маленьким человеком» никого из простых людей, изображенных Сватоплуком. Но по контрасту с созданной вокруг его имени легендой «маленьким человеком» оказывается новый Шеф-Якуб. Здесь Сватоплук как бы снова возвращается к свойственному ему в прошлом способу изображения «маленького человека» — к детальному показу ничтожных событий и мелких переживаний, но теперь он трактует их в сатирическом плане. Тем же методом показаны многие другие враги. Так, жалок, сер и как-то несоответственно своему официальному положению мал буржуазный министр, вступающий в контакт с Шефом и бывшим управляющим Ботостроя Шорфой.

Маленькими людьми оказываются все участники «штаба», руководящего происками врагов народно-демократического строя на Ботострое. И у темного политического дельца Корваса и у инженера Гомслки, готовящего взрыв электростанции, мечта о яркой жизни, стремление почувствовать себя «сверхчеловеком» сочетается с трусостью, беспочвенностью, отсутствием ясных убеждений. Трусливо совершают они и преступления, на которые толкает их ненависть к народу. Все они в полном смысле слова *маленькие человечки!*

Своеобразие в изображении отрицательных персонажей выделяет роман Сватоплука среди других произведений новой чехословацкой литературы.

В этом романе Сватоплук не только беспощадно обличает представителей эксплуататорского мира, но с большой художественной убедительностью показывает торжество народа, строящего социализм. Если в предшествующем творчестве писателя положительное начало всегда оказывалось подавленным, более слабым по отношению к силам зла и угнетения, то в этом произведении мы видим иную картину. Здесь впервые Сватоплук находит живые краски для изображения положительных героев.

Читая «Ботострой», невольно вспоминаешь художественное обобщение, созданное замечательным чешским писателем Карелом Чапеком — изображение ро́бота в драме «Р.У.Р.» В символическом образе механического существа, способного выполнять такую же работу, как человек, но лишенного человеческих чувств, интеллекта, творческой силы, Чапек глубоко вскрыл античеловеческую тенденцию современного капитализма — разделить людей на «существа работающие» и «существа живущие». Точно так же и ботостроевская система ставила себе целью превращение человека в автомат.

В «Ботострое» в сменяющих друг друга с лихорадочной скоростью эпизодах автор выхватывает из жизни такие образы, которые показывают торжество ботостроевской системы над трудящимся человеком и в то же время трагический для него результат этого торжества. В этой повести нет подлинного положительного героя. Изощренной капиталистической эксплуатации не противопоставлены силы, существовавшие в действительности. Когда Сватоплук в «Ботострое» изображал эксплуатируемого человека, его интересовала не столько индивидуальность персонажа, сколько те черты автомата, которые порождены всем режимом Ботостроя.

Герои «Ботостроя без Шефа» — обычные рядовые труженики, руками которых строится новое. Именно им уделяет теперь писатель основное внимание, с напряженным интересом пытаясь проникнуть в их душевный мир, показать сложный процесс рождения новых человеческих качеств. Однако именно здесь писателя ждали большие трудности, преодолеть которые ему не всегда удается с одинаковым успехом.

В романе «Ботострой без Шефа» мы снова встречаемся со старым знакомым, художником Прокопом. В конце повести Прокоп, уволенный с комбината, осознает многое и как будто вступает на новый путь. Однако дальнейшее направление его пути было тогда неясно читателю и, видимо, и самому автору. Прокоп, вернувшийся на освобожденный Ботострой в качестве редактора многотиражки, оказывается здесь, как и многие другие герои романа, в нелегком положении. Реакционеры в Национальном комитете добиваются запрещения инсценировки его книги «Кулак», обличающей методы Шефа, против него ведется интрига в редакции, откуда в конце концов удается его выжить, у него не всегда хватает выдержки, твердости, чтобы давать нужный отпор врагам, им овладевает отчаяние. Но Прокоп обогащается тем, чего не хватало ему в прошлом,— уверенностью в неминуемом торжестве сил прогресса. В своей борьбе против реакционеров на Ботострое, которую он ведет в газете, Прокоп не одинок. Именно рабочий коллектив добивается разрешения инсценировки «Кулака» и разоблачает интриги в редакции.

Образ Прокопа, вообще говоря, интересен. Но временами автор уделяет слишком много внимания автобиографическим моментам, с ним связанным, и это идет во вред композиционной стройности романа.

Нелегкий путь проходит в романе старый рабочий-коммунист Паздера. Он честно и настойчиво стремится разоблачить проходимца Андерле, и враги, пользуясь своими связями в низовой парторганизации, на время добиваются исключения Паздеры из партии. После февральских событий он становится директором Ботостроя. В романе намечен живой облик Паздеры, активного строителя новой жизни, по-хозяйски ощущающего свою ответственность, полного теплой сердечности по отношению к товарищам, ученикам, семье. Однако его образу временами не хватает полноты, жизненной конкретности.

В тех случаях, когда Сватоплук отходит от глубинного раскрытия психологии, он терпит неудачу; так произошло с образом

партийного руководителя Никодима, который произносит правильные речи, но сух и дидактичен и поэтому не волнует читателя.

Интересно показано становление нового сознания на примере бывшего партизана Трлицы. В поисках романтики, ярких переживаний этот отчаянно смелый, но не выносящий никакой узды человек нарушает свой долг члена революционного трибунала. И когда Трлица находит в себе силы сойти с опасного пути, на который его толкали враги, писатель не изменяет логике этого противоречивого характера, не заставляет Трлицу превращаться в идеального героя. Трлица и после того, как он осознал свою вину перед народом, действует по-партизански, берется в одиночку разоблачить заговор, в который его пытались втянуть. Может быть, этот удачный образ был бы еще значительнее, если бы автор иногда не жертвовал глубиной психологического анализа ради авантюрной занимательности.

В романе «Ботострой без Шефа» появляется новая для Сватоплука тема жизнерадостной молодости. Никогда еще Сватоплук не создавал таких обаятельных поэтических фигур, как задорная и решительная Анча, которая так неожиданно и так беззаветно полюбила бесшабашного Трлицу и так горько переживала его трагическую гибель. Очень запоминается образ швеи Стазки; по-своему типична судьба этой робкой деревенской девушки, которая вначале боится даже взглянуть на страшных «безбожников-коммунистов» — как бы не погубить свою душу! И Стазка старается не поднимать глаз от станка, затыкать уши, незаметно ускользать после работы домой. Но что ей делать, если под ее ловкими руками работа спорится лучше всех в цехе, если она любит свой труд, любит смех, жизнь, если она полюбила молодого коммуниста Енду Паздеру, если в ней слишком живо чувство справедливости, чтобы не понять, кто друзья простого человека, а кто враги?

По-новому звучит в романе важная для Сватоплука тема труда. Сватоплук в романе «Ботострой без шефа» показывает, как труд в новых условиях теряет свой механический характер, превращается в творчество, не отупляет человека, а, напротив, помогает ему раскрыть свое душевное богатство. Какой красивой, гордой, смелой предстает перед нами маленькая незаметная Стазка, когда она обгоняет в труде рабочих-мужчин и показывает саботажникам, как надо работать! Механический труд робота, как показывает Сватоплук, невозможен на новом Ботострое. И полный крах терпит попытка подменить соревнование индивидуалистической конкуренцией — попытка, на которую агенты Шефа возлагали большие надежды.

Писатель стремится не только нарисовать образы строителей нового, но и передать живой голос рабочего коллектива. В этом отношении он многого достиг. Так, сцены рабочих собраний, которые так любит изображать современная чехословацкая литература, у Сватоплука удачнее, чем у ряда других писателей, потому что он умеет показать в резких, коротких зарисовках ту страстную борьбу, в результате которой рождается единая воля коллектива. Но и Сватоплук не избегает в этих сценах растянутости и дидактизма. Вообще говоря, публицистичность — сильная сторона таланта Сватоплука, но иногда публицистический комментарий превращается в этом романе в длинные и излишние рассуждения по поводу происходящего. Так, например, сцены, где автор приводит Ланга в февральские дни 1948 года на Староместскую площадь в Праге и заставляет читателя ощутимо почувствовать всю горечь человека, оторвавшегося от торжествующего свою победу народа, делают излишним многое из того, что автор говорит от себя по поводу морального падения Ланга.

В буржуазной Чехословакии первая книга Сватоплука «Ботострой» была по требованию Бати конфискована. Роман «Ботострой без Шефа» пользуется в народно-демократической республике очень большой популярностью, ему была присуждена Государственная премия. С живым интересом встретил перевод романа советский читатель.

П. Топер

Рассказы Говарда Фаста

Издательство «Блю герон пресс», выпустившее в свет сборник рассказов Говарда Фаста «Тайная вечеря», отмечает, что из трех написанных им сборников рассказов это — лучший. Трудно выставлять отметки писателю, создавшему за два десятилетия литературной работы столько прекрасных книг, но заметим сразу, что новая книга по-настоящему заинтересует читателей Говарда Фаста и кое в чем удивит их.

В сборнике пятнадцать самостоятельных рассказов, и бо́льшая часть их — одиннадцать — посвящена Америке сегодняшнего дня. Таким образом, эта книга вновь подтверждает то изменение в тематике творчества Говарда Фаста, которое легко можно проследить на всем протяжении его творческого пути: получив ранее широкую известность как автор исторических романов и рассказов, он за последние

Howard Fast, The Last Supper, Blue Heron Press, New York, 1955.

годы в своих книгах «Пикскилл, США», «Подвиг Сакко и Ванцетти», «Сайлас Тимбермен» рассказал о процессах, идущих в американском обществе наших дней, больше, чем многие другие писатели США.

Первый сборник рассказов Говарда Фаста («Патрик Генри и киль фрегата») носит подзаголовок — «рассказы о молодой нации». Уже в годы его создания сложилась определенная манера Фаста-рассказчика: краткость изложения, динамичность диалога, стремительное развитие сюжета. Характерная деталь почти всех его рассказов: первая фраза не только знакомит нас с центральным действующим лицом повествования, но и сразу же, без предварительной экспозиции, вводит в самую гущу описываемых событий.

Сборнику «Патрик Генри и киль фрегата» свойственен приподнято романтический тон, заданный уже первым рассказом-легендой, который дал название всему сборнику. Думается, не случайно Говард Фаст часто обращался к повествованию от первого лица — от имени мальчика-подростка; это соответствовало его замыслу — показать жизнь «молодой нации» как нечто цельное и героическое, достойное легенд и славы. В критике не раз отмечалось, что в первом сборнике рассказов, как и в ранних романах, сказался несколько односторонний взгляд на годы «рождения нации», приводивший Говарда Фаста к идеализации буржуазной Америки прошлого.

Писатель, берущий сюжеты своих произведений из истории, находится в ином положении, чем тот, кто пишет о современном нам мире, — изображаемая действительность гораздо реже «поправляет» его, а наш собственный жизненный опыт гораздо меньше вносит коррективы в восприятие созданных им образов. Замысел писателя может быть хорош и благороден, хороши и благородны могут быть выведенные им герои и цели, за которые они борются; но при сопоставлении мира, созданного талантом и воображением писателя, с реальными историческими событиями, выясняется каждый просчет его замысла, каждая ошибка в его понимании истории.

Когда Говард Фаст рисует генерала Уэйна мудрым и привлекательным вождем американской армии (рассказ «Книгоноша»), мы верим ему «на слово». Должно было пройти много лет, чтобы сам Говард Фаст в последнем своем романе о той же эпохе — «Гордые и свободные» — изобразил генерала Уэйна как жестокого палача солдатского восстания (впрочем, и здесь сохранив его облику и его жестоким действиям ореол исторической справедливости, чего не было в реальной жизни).

Во втором сборнике Говарда Фаста, «Уход» и другие рассказы», вышедшем уже после окончания второй мировой войны, гораздо труднее обнаружить внутреннее единство, и не только потому, что наряду с историческими в нем есть рассказы из современной жизни. В этом сборнике под одним переплетом собраны рассказы, от которых тянутся нити к таким разным его книгам, как «Пикскилл, США», «Мои славные братья», «Тридцать сребреников», и есть такие, которые как бы выпадают из творчества Говарда Фаста, кажутся для него случайными; в сборнике не удается найти общую, определяющую идею. Современность входит в него рассказами о республиканской Испании и теми, в которых речь идет об американцах, вернувшихся с фронтов второй мировой войны: «Прибрежная дорога», «Луковичный суп», «Достоинство»; они полны неопределенного и смутного настроения, в них действуют люди, травмированные войной и неудовлетворенные тем, что нашли фронтовики, вернувшись на родину. Это настроение, впрочем, в рассказах сборника мало связано с общественной жизнью страны. В нем мало отразилась та бурная и страстная общественно-политическая деятельность, которую в эти годы с каждым днем все активнее, прямее, непримиримее и все с большим общественным откликом вел Говард Фаст.

И именно «Эпитафия Сиднею», прекрасный рассказ, ясно связанный с его общественной деятельностью, приковывает наибольшее внимание. Это, в сущности, даже не рассказ, а очерк о жизни и смерти американского коммуниста, человека, который никогда «не шел на сделку с совестью» и видел смысл жизни в том, чтобы всегда «находиться на передовой линии огня». Поражаешься не только силе и страстности авторского повествования, но и его продуманности и бескомпромиссности. Где-то здесь, в дни создания этого рассказа, произошел важный сдвиг в писательской судьбе Фаста; «Эпитафия Сиднею» помогает понять и те настроения и мысли о сущности человеческой жизни, с которыми Говард Фаст пришел в литературу, и его поиски опоры своим мыслям в современном ему американском обществе, и непреклонную, несколько жесткую определенность его творчества последних лет.

Третий сборник рассказов Говарда Фаста, «Тайная вечеря» — его последняя книга, вышедшая в конце 1955 года, — тоже, казалось бы, объединяет очень не похожие друг на друга рассказы.

Первый из них, давший название всему сборнику, написанный внешне бесстрастным тоном, рассказывает о преуспевающем бродвейском драматурге, получившем вызов в комиссию по расследованию антиамериканской деятельности, где он должен держать ответ за свою очень недолгую близость к передовому общественному движению тридцатых годов; он идет ужинать со своим старым другом, которого — как он уже решил — завтра предаст. А следующий за ним рассказ, под названием «Предок», похож по стилю на исторические рассказы Говарда Фаста,

хотя написан много сдержаннее и строже их, но сюжет его нов для Фаста: англичанин-пуританин времен Кромвеля, не желая мириться с издевательствами лендлорда-крепостника, поджигает его усадьбу и переселяется со всей своей многочисленной семьей в Америку.

Короткий третий рассказ — «Видение Генри Бэкстера» — очень злая и очень смешная сатира на американского миллионера, который построил себе убежище от водородной бомбы с запасом продовольствия и всего необходимого для жизни на много лет, а потом, поскользнувшись, упал и разбился насмерть. Этот рассказ, так же как и другой, «Сила позитивного мышления» — гротеск, поднимающийся до большого социального обобщения, заставляет думать, что постоянное обращение Говарда Фаста в последние годы к имени Марка Твена вызывается не только точкой зрения Фаста-исследователя, но и личными симпатиями Фаста-художника. Еще больше наводит на эту мысль «Кока-кола» — рассказ о том, как трое американских летчиков в годы второй мировой войны решили лучше погибнуть среди аравийских песков, чем выбросить за борт пустые бутылки из-под «кока-кола» — умная и веселая юмореска на очень невеселую тему, проникнутая какой-то особо человечной любовью к людям Америки и одновременно сарказмом по отношению к «кока-коловой цивилизации».

Совсем иной характер носит рассказ «По дороге домой», один из самых коротких в сборнике. Фабула его вся вмещается в один жизненный факт: однажды вечером рабочего Андерсона по дороге от завода до дома сопровождали два агента ФБР, предлагая ему «сотрудничество»; он отказался. Но смысл этого рассказа, написанного на одной трагической ноте, не в мгновенной зарисовке столкновения человека, непреклонного духом, с силами реакции; он гораздо шире: в речах агентов, сначала искушающих, затем запугивающих, перед нами встает картина того, какой ценой оплачивается стойкость в мире террора, что ждет в этом мире человека, отказавшегося стать «доброжелательным свидетелем». А рядом — написанный свободно и просто, как бы на основе дневниковых записей, рассказ «Христос в Куэрнаваке», посвященный Мексике и мексиканскому народу, его тяжелой судьбе и его пробуждению. Художественная «емкость» этого рассказа достигается совсем иными средствами, — свободной композицией, непринужденным введением многих действующих лиц, авторскими отступлениями; повествование ведется от первого лица, и раздумья рассказчика — за ним свободно угадывается сам Говард Фаст — придают всему рассказу необычайно острое ощущение нашей современности со всеми ее проблемами, противоречиями и борьбой.

И так до конца сборника открываешь все новые и новые приемы, все новые и новые авторские интонации. Но многообразие это иное, чем в сборнике «Уход». За каждым из этих столь не похожих друг на друга рассказов ясно чувствуется определенная, четкая точка зрения писателя на изображаемую им действительность, их пронизывает цельное авторское восприятие жизни; оно сплавляет в единую картину жизненные ситуации, изображенные в этих столь разных по манере рассказах.

Как и все последние книги Говарда Фаста, этот сборник вводит нас в гущу самых животрепещущих вопросов современности; опасность войны и возможности предотвращения ее, водородная бомба, колониальный гнет, преследования ФБР, политическая реакция и борьба с ней — герои сборника живут всем тем, что волнует сегодня американское общество.

И неслучайно, конечно, на обложке книги изображена фигура Иуды и весь сборник получил название по первому рассказу о предателе — «Тайная вечеря».

Максим Горький не раз говорил, что Иуда — один из тех «вечных» образов, которые еще живут и играют большую роль в буржуазном обществе. Это имя впервые появляется на страницах публицистики Горького в полемике с Леонидом Андреевым. В четвертом томе «Клима Самгина», вспоминая ту эпоху, Горький вывел поэта, который «одобрил в сонете известный, но никем до него не одобряемый поступок Иуды из Кариота». Клим Самгин, мозг которого механически регистрирует события жизни, отмечает при этом, что «в двадцатом веке Иуда весьма часто становится героем поэзии и прозы, героем, которого объясняют и оправдывают».

Для Говарда Фаста полемическое обращение к символическому образу предателя Иуды не ново — достаточно вспомнить пьесу «Тридцать сребреников», бывшую его ответом на ту, пользуюсь его словами, «эпидемию предательств», которая распространилась среди известной части американской интеллигенции в годы маккартистских бесчинств. Еще ранее им был написан рассказ под таким же названием, помещенный в сборнике «Уход». В сущности, его нельзя назвать рассказом — настолько необычен для русской литературы прием, которым здесь пользуется Говард Фаст. Он использует библейские мотивы (распространенные в американской литературе еще со времен первых переселенцев-пуритан и во многом потерявшие свой религиозный смысл) для того, чтобы раскрыть свое понимание предательства. Рассказ представляет собой письмо, которое один из сподвижников Христа пишет через несколько лет после его смерти. Автор письма сообщает о судьбе Иуды: легенда о том, что он удавился, не вынеся угрызений совести, ложна; ему было заплачено за предательство столько, что он смог стать богатым римлянином — и жить припеваючи. Иуда ни в чем не

раскаивается, ибо никогда ничего искренне не любил, не ненавидел, напротив, он убежден в правильности избранного им пути, он даже уверен в своем превосходстве над теми, кто не изменил своим идеалам. При встрече с автором письма он говорит: «Ты не понимаешь меня? Ты умеешь только ненавидеть. А я изменился. Я больше не живу в мире, где все только или белое, или черное...»

Итак, внутренняя опустошенность и равнодушие к людям, прикрытые искусственной сложностью, — вот сущность предательства. Кончается рассказ предостережением: не надо создавать вокруг этих «презренных тварей» таинственного и оправдывающего ореола трагической вины, надо говорить о них «всю правду».

Таким и описан Гарви Крейн в рассказе «Тайная вечеря» — с тем только отличием, что Иуда не вызывал у автора письма ни «любви, ни ненависти, ни презрения, ни страха, ни доверия», словно он принадлежал к другому миру, к которому лучше не прикасаться, а Гарви Крейн вызывает у Говарда Фаста и презрение и ненависть, какую вызывает враг, и эта ненависть ощущается с первой, внешне бесстрастной строки, до заключительной фразы: «Не без самодовольства Гарви подумал о себе — «*Гарви Крейн, Американец*».

Стремление разоблачить душевную опустошенность и внутренний эклектизм — наиболее ненавистное ему отношение к жизни — заставляют Говарда Фаста настойчиво обращаться к наиболее ему близкому и любимому типу, воплощающему другую крайность жизненного поведения, к людям героической цельности души, знающим свое место в жизни, не боящимся назвать белое — белым, а черное — черным. Это исконное для Говарда Фаста противопоставление раскрыто в прямом столкновении характеров в рассказе «Под крылом орла».

Ньютон, человек, примазавшийся к коммунистической партии, ни во что не верящий трус с душой мелкого жулика, добровольно приходит предлагать свои услуги ФБР.

— Вы член коммунистической партии? — спрашивает его представитель ФБР.

— Надо полагать, да, — неопределенно отвечает Ньютон, и в это мгновенье перед его умственным взором встает картина баррикадных боев — «может быть, в Париже, но может быть, в другом месте, где угодно», — и он видит высокого человека с длинным лицом и длинным подбородком, с желтыми от табака зубами, одетого в заношенный комбинезон; человек, спокойно сидя наверху баррикады, поет под пулями, — собирательный образ американского рабочего и революционера, которого «Ньютон не любит и которого боится» и чью песнь он силится и не может понять.

Но в последней книге Говарда Фаста нет рассказа о герое на баррикаде, герое, подобном Сиднею Гринспану, Николо Сакко, Бартоломео Ванцетти. В тех случаях, когда он описывает близких по духу и любимых людей, он ставит их в положения, исключающие прямое действие, яркий и героический подвиг. Он описывает американскую тюрьму, чтобы показать нелепость заключения в нее тех, кто верен лучшим американским традициям, нелепость издевательства над заключенными. Он выводит испанца-антифашиста — одна из самых близких и дорогих Говарду Фасту тем — и описывает его пятнадцать лет спустя после поражения республиканцев живущим в Мексике, где он, правда, самоотверженно помогает бедным, но владеет прекрасным домом, у него красивая жена, которая готовит «лучшие в мире» обеды. Даже в историческом рассказе «Путешествие в Бостон» Фаст заставляет состарившегося сподвижника Самуэля Адамса пройти в год смерти его кумира по Америке, где он, бунтарь и непоседа, не находит «ни одной гордо поднятой головы». И в рассказе «По дороге домой» автор подчеркивает героизм в будничном поведении человека. Андерсон на всем протяжении рассказа произносит только две фразы — он дважды посылает агентов ФБР к черту. Это рисует его характер яснее, чем длинные речи: перед нами человек, который не устрашится никаких бед. Но агенты ФБР нашептывают ему: «Героем быть прекрасно, но что ты станешь делать, когда твои дети будут голодать?» Это испытание, пожалуй, страшнее других, и вот Андерсон, отвергнувший все увещевания и угрозы, смотрит на свой дом, где живет его жена, его дети, — теплый, годами обжитой дом, куда он так любил приходить по вечерам и который он теперь сам разрушил своим отказом. Так кончается этот рассказ о человеке, оказавшемся способным на подвиг.

Говард Фаст принадлежит к художникам, в каждом, даже самом малом жизненном событии стремящимся обнажить его связь с основными линиями, которые проходят за пестрым разнообразием жизненных явлений. Натуралистическое изображение фактов никогда не привлекало его; он видит свою задачу в том, чтобы раскрыть их смысл с точки зрения исторических закономерностей, с точки зрения больших общественных судеб. Здесь кроется одна из причин удачи, которой достиг Фаст в новаторской по своему характеру книге «Дорога свободы». Это драгоценная черта его таланта; в современной мировой литературе мало художников, столь же смелых в творческих разведках в самую гущу общественной жизни. Слов нет, мыслитель подчас опережал художника, и иногда Говард Фаст шел слишком прямолинейным путем, минуя многие связи своих героев с действительностью и уменьшая тем самым реалистическое наполнение созданных им образов; может быть, поэтому философски-памфлетная книга о Сакко и Ванцетти

во многом художественно убедительнее романа о Сайласе Тимбермене.

Основную мысль своего нового сборника Говард Фаст недвусмысленно высказал дважды — в эпиграфе, взятом из Уолта Уитмена, и в заключительном произведении сборника, написанном в поэтической форме, итоговой «Коде» — «Поэт в Филадельфии» (она посвящена Лоуэнфелсу, современному американскому поэту, осужденному американской юстицией на тюремное заключение): надо ждать, придет день, когда в народе «созреют гроздья гнева»...

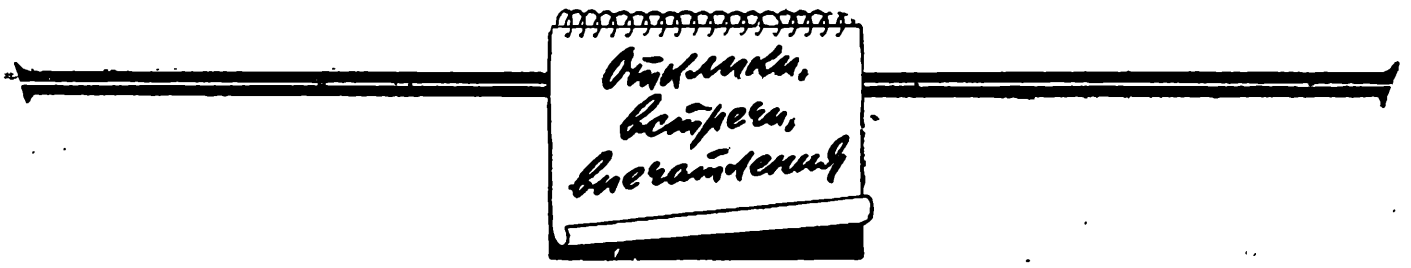
Тому, кто читал исторический роман Говарда Фаста «Гордые и свободные», бросится в глаза близость этих слов к основной идее этого романа. «Плод свободы еще не созрел», — говорит Джеми Стюарт, главный герой его, один из вожаков жестоко подавленного солдатского восстания. Это восстание было направлено против власти Конгресса и главнокомандующего Вашингтона, возглавлявших войну за независимость колоний — будущих Соединенных Штатов — от английской короны. Говард Фаст рисует это восстание как высший взлет революционной войны, как выступление широких масс за последовательную демократизацию общественной жизни, против складывающегося в Америке буржуазного государственного порядка — выступление, по его мысли, тогда преждевременное. И Джеми Стюарт, исходя из невозможности в те годы бороться за свои, народные интересы (отличные от интересов офицерства), безропотно дает себя высечь, а затем, подчиняясь чудовищному приказу генерала Уэйна, своими руками закалывает друга и товарища по борьбе. Мучения его мятущейся совести — Говард Фаст много говорит о них — не делают в глазах читателей его поступок менее предательским.

В сборнике рассказов «Тайная вечеря» нет и следа от подобной ложной коллизии, к которой автора привела небольшая, казалось бы, ошибка его исторической концепции; он не ставит своих героев перед искусственной и невозможной в жизни проблемой: что должен делать революционер, когда он сам знает, что сегодня еще рано открыто бороться за его идеалы? Реальная действительность, современная жизнь «поправила» автора. Сборник «Тайная вечеря» пронизан мыслью, что формы общественной борьбы так же исторически конкретны и так же неисчерпаемы, как исторически конкретна и неисчерпаема сама жизнь. И для героев его новых рассказов, как и для Говарда Фаста, в любой ситуации, как бы трудна и запутана она ни была, черное остается черным, белое — белым. Люди, выведенные им в рассказе «Христос в Куэрнаваке», которые силою трагических обстоятельств вынуждены «прятать свою надежду глубоко в груди», видят мир так же ясно и четко, как в те дни, когда они сражались на баррикадах.

Очень важно для понимания этого сборника то, что добрая треть входящих в него рассказов — сатирические. Первые книги Говарда Фаста не знали сатирического обличения, редко в них встречались и искорки юмора. Может быть, используй Говард Фаст оружие сатиры, в его книге «Кларктон» не было бы тех слабых мест, которые связаны с образом фабриканта Лоуэлла: стремясь развенчать идеализируемого буржуазной пропагандой американского бизнесмена, Фаст хотел раскрыть слабость Лоуэлла, показав его больную извращенную психологию, и впал в такую неправдоподобную и ложную психологизацию, которая запутала композицию и идею всего романа. В очерке «Пикскилл, США» иронические нотки помогают Фасту показать преступность фашистских банд, а в книге о Сакко и Ванцетти есть уже целые страницы, где тонкая и умная сатира разоблачает бесчеловечность тех, кто с тупой жестокостью обрек на смерть двух «красных», являющих собой высокий пример человеческого благородства и нравственного величия.

В сборнике «Тайная вечеря» выведена целая галерея представителей верхнего слоя американского общества — миллионер Генри Бэкстер, боящийся «русских бомб», и его «коллега» мистер Эглстон, разговаривающий по ночам с богом, их жены, модные шарлатаны-врачи — «аналисты» и не менее модные шарлатаны-ученые, сенатор из штата Миссисипи — тупое животное в роли «представителя народа» и т. д. Они по-настоящему смешны, ничтожны, исторически слепы и исторически обречены. Это та целенаправленная, активная сатира, о которой Говард Фаст говорил в своей книге «Литература и действительность». Он писал тогда: «Сатира — это использование иронии, насмешки или сарказма для разоблачения тирании, порока, глупости и тупоумия. Тем самым сатира — это прямая дорога к пониманию действительности». Появление сатиры у Фаста говорит о дальнейшем мужании его зрелого таланта.

Новый сборник рассказов Говарда Фаста — боевая, честная и мужественная книга. Не только романы, многие из которых хорошо известны по русским переводам, но и рассказы Говарда Фаста свидетельствуют о широте и многообразии творческих возможностей их автора.



Н. Гудзий

По Англии и Шотландии

Не так давно я в составе делегации деятелей культуры Советского Союза побывал в Англии и Шотландии. Мы отправились туда для участия в месячнике, организованном Обществом англо-советской дружбы, и в мероприятиях общества «Шотландия — СССР», отмечавшего десятилетие своего существования.

Ноябрь, проведенный нами в Великобритании, выдался ясный и теплый. Дожди и туманы, столь обычные здесь в это время года, редко досаждали нам. Стояли солнечные дни; большинство мужчин ходило полетнему, без пальто, женщины — в легких костюмах. Но зато в некоторых гостиницах, где мы останавливались, было довольно прохладно. Центрального отопления в них, как и в большинстве домов, нет, а традиционные камины, отапливаемые каменным углем, заменены электрическими. Чтобы включить их, обитателю номера нужно опустить в специальное отверстие монету. Рядом с таким камином на ночном столике почти во всех гостиницах лежит компактный томик с полным текстом библии на английском языке.

Каждый из членов делегации посещал те места и учреждения, какие соответствовали его интересам и его специальности. Меня, как университетского преподавателя-филолога, в первую очередь привлекали университеты Англии и Шотландии и, в частности, система преподавания в них русского языка и русской литературы. И русский язык, и литература включены в учебную программу восьми английских университетов: в Лондоне, Оксфорде, Кембридже, Бирмингеме, Манчестере, Лидсе, Ливерпуле и Ноттингеме, а также в двух шотландских: в Глазго и Эдинбурге.

В британских университетах руссистика обычно входит в общую систему славянской филологии, но студентов-руссистов здесь значительно больше, чем студентов, изучающих язык и литературу других славянских народов. Наряду с языком и литературой того или иного славянского народа изучается также история этого народа; ее обычно читает тот же самый преподаватель — в основном специалист по языку и литературе. Срок обучения студентов-филологов в британских университетах — три, изредка четыре года. Система преподавания руссистики в различных университетах Британии имеет свои индивидуальные особенности, но, как общее правило, студент, избравший в качестве своей основной специальности русский язык и литературу, на первых курсах изучает еще какой-либо иностранный язык и лишь в дальнейшем сосредоточивает все внимание на руссистике. Практическое усвоение русского языка и приобретение навыков в русском письме начинается с того, что студент еженедельно пишет по-русски небольшое сочинение на тему о прочитанном им произведении русского писателя или на свободную тему. Некоторые студенты имели возможность познакомиться с русским языком еще в средней школе, где его преподают иногда факультативно, в качестве необязательного предмета.

У меня не хватило времени для ознакомления со всеми британскими университетами, в которых студенты изучают руссистику, но я посетил университеты в Лондоне, Бирмингеме, Кембридже, Оксфорде, Глазго и Эдинбурге. В последних четырех я читал лекции, посвященные отдельным проблемам творчества Л. Толстого, а также древней русской литературе; на моих лекциях присутствовали, помимо студентов-руссистов, также профессора и преподаватели, которые специально руссистикой не занимаются. Читал я на русском языке, без переводчика, и у меня создалось впечатление, что студенты хорошо меня понимают, особенно в Кембридже и Оксфорде, где преподавание русской филологии имеет гораздо более давнюю традицию, чем в других британских университетах. Студентам были знакомы мой учебник и хрестоматия по древней русской литературе, причем большинство из них читало учебник в оригинале, хотя в 1949 году он и был переведен на английский язык.

В беседах с преподавателями и студентами я старался узнать возможно больше о том, как изучаются и преподаются в английских и шотландских университетах русский язык и русская литература. Эти беседы проходили в университетских каби-

нетах, где сосредоточены книги, журналы и газеты на русском, украинском и белорусском языках; в специальных, хорошо укомплектованных русскими и украинскими изданиями, лондонских, кембриджских и оксфордских библиотеках; в студенческих клубах, на дому у ряда преподавателей. Среди профессоров-филологов, у которых я был в гостях, многие специально русской литературой не занимаются, но живо ею интересуются. Так, например, профессор Редпас, читающий в Кембридже историю английской литературы и изучающий творчество Льва Толстого, просил меня прислать ему книги о Толстом, написанные Б. М. Эйхенбаумом. Профессор Рэнн, специалист по англо-саксонской филологии, интересуется современной русской поэзией; недавно в оксфордском славистическом журнале он напечатал статью о Борисе Пастернаке.

О тех требованиях, какие предъявляются к британским студентам, специализирующимся в области руссистики обычно не менее двух лет, можно судить по особым экзаменационным листам, где обозначены задания для письменных работ. Передо мной такие листы, отпечатанные в Лондонском, Оксфордском и Кембриджском университетах. В них предлагаются для перевода с русского языка на английский различные отрывки, начиная с текстов древнерусской литературы и кончая произведениями русских советских писателей. Тут фрагменты из «Слова о полку Игореве», из посланий Курбского к Ивану Грозному, из жития протопопа Аввакума и русских былин, а также отрывки из сочинений Гоголя, Льва Толстого, Достоевского, Лескова, из критических статей Добролюбова, из стихотворений Пушкина, Лермонтова, Есенина, Брюсова, из прозы Андрея Белого. Включены также и сложные по своей лексике и фразеологии отрывки из «Поднятой целины» Шолохова и «Русского леса» Леонова. Для перевода с английского языка на русский выбираются тексты, степень сложности которых постепенно возрастает.

В экзаменационных листах всех трех университетов содержится большое количество в общем сходных по своему характеру вопросов по русской литературе, русской истории и истории русского языка, на которые студент обязан дать краткий письменный ответ. Для примера назову несколько литературных тем, предложенных в Кембриджском университете: «Как использовали в своих произведениях фольклор Крылов, Кольцов, Некрасов или Блок?», «Определить на основе разбора первого «Философического письма» и «Апологии сумасшедшего», можно ли назвать Чаадаева пессимистом», «Дать критическую оценку «Очарованного странника» Лескова», «Оценить художественные достоинства «Моих университетов» Горького», «Проанализировать поэму Блока «Двенадцать» как произведение, отражающее борьбу старого и нового миров», «Дать сжатый критический анализ одной из поэм Есенина», «Охарактеризовать Белинского, Писарева или Добролюбова как литературных критиков, со специальным разбором одной из их статей», «Определить понятие и сущность социалистического реализма на основе анализа какого-либо произведения советского писателя». Ряд тем связан с творчеством Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Льва Толстого, Достоевского, Тургенева, Островского, Чехова. Отдельные темы по древней русской литературе требуют от студента специальных серьезных изысканий и самостоятельных научных выводов, как, например, тема «Чем различаются две редакции «Жития Сергия Радонежского» и какой из них вы придаете бóльшее значение как литературному памятнику?» или «Чем объяснить возникновение «Слова о создании церкви Печерской» не в Киеве, а в Суздальской земле?» Некоторые темы сформулированы явно неудачно, как, например: «Определить роль и значение одного из следующих лиц в истории русской интеллигенции: Хомякова, Писарева, Данилевского, Лаврова, Каткова», или «На каком основании Бакунин и Толстой могут быть названы «кающимися дворянами»?», или «Рассмотреть творчество Маяковского либо как поэта-футуриста, либо как поэта русской революции». Многие темы связаны с отдельными высказываниями русских писателей, критиков, литературоведов, в том числе советских, о русской литературе. Эти высказывания приводятся в форме цитат, которые предлагается разобрать и проанализировать.

Из русских писателей студенты британских университетов больше всего знакомы с нашими классиками XIX века, особенно с Толстым, Достоевским, Чеховым. Видимо, эти авторы наиболее популярны среди английских читателей вообще. Большой интерес вызывают пьесы Чехова, часто идущие в английских театрах. Силами студенческой самодеятельности Кембриджского университета поставлены на русском языке «Три сестры», «Вишневый сад», «Предложение» и «Свадьба». Шли также «Борис Годунов» и «Ревизор». В Эдинбургском университете студенты-руссисты инсценировали «Капитанскую дочку» и «Героя нашего времени». Автором этих инсценировок был руководитель русского отделения университета доцент Уорд, любитель и коллекционер редких русских книг. В его домашней библиотеке я видел два экземпляра первого посмертного издания сочинений Пушкина 1838—1841 годов, сочинения Карамзина в издании Смирдина, первое издание словаря Даля. Что касается советской литературы, то, насколько мне удалось установить, британские читатели, в частности студенческая молодежь, хотя и проявляют к ней интерес, но знакомы с ней в значительно меньшей степени, чем с русской классической литературой; их знания в этой области часто случайны и не систематизированы.

В Великобритании большой популярностью пользуется как русская музыка

XIX века, так и советская музыка; высоко ценится русское театральное искусство, особенно современное. Среди экзаменационных тем Кембриджского университета можно найти такие, как «Современная русская музыка» или «Чехов на английской сцене». Но в Великобритании плохо знают русскую живопись или даже совсем не имеют представления о ней. В Англии и Шотландии есть первоклассные музеи, начиная с Национальной галереи в Лондоне, есть и незаурядные галереи в других крупных и мелких городах страны. В них собраны ценнейшие произведения мирового изобразительного искусства, начиная с шедевров эпохи Возрождения и кончая выдающимися образцами западноевропейской, в том числе английской, живописи XVII — начала XX веков. Но среди них, к сожалению, не найдешь ни одной картины русского художника. Зато многие галереи загромождены полотнами, типичными для французского и английского декаданса.

В Кембридже мне подарили студенческий «Сборник литературных произведений членов славянского общества при Кембриджском университете», озаглавленный «Плоды»; он вышел в 1952 году, напечатан на стеклографе и снабжен несколькими изящными рисунками. В этом сборнике помещены прозаические и стихотворные произведения авторов-студентов на русском языке, а также переводы «Песни о купце Калашникове» и эпиграммы на Э. К. Мусину-Пушкину «Графиня Эмилия белее, чем лилия...» Лермонтова. Первые страницы заняты взволнованными описаниями Кембриджа и студенческой жизни в этом городе-парке, расположенном на берегу живописной реки Кем; он примечателен красивыми зданиями колледжей, построенными в старинном архитектурном стиле, к которым примыкают обширные сады и зеленые спортивные площадки.

Большое место в сборнике кембриджских студентов занимают стихотворные послания и эпиграммы на университетских преподавателей и студентов, непринужденные и нередко остроумные, хотя и уступающие по своим литературным достоинствам прозаической части сборника. Там же помещены и прочувствованные стихотворения, посвященные Пушкину, Гоголю, Чехову, а также легкие, незамысловатые рассказы и шутки, среди которых мы обнаружили пародии на работы некоторых французских ученых о «Слове о полку Игореве», считавших его литературной подделкой конца XVIII века.

С законами русской грамматики авторы сборника в общем живут в ладу. В предисловии оговорено, что все материалы, помещенные в сборнике, прошли через «цензуру» русского лектора славянского отделения, но что эта «цензура» была не слишком строга: она касалась только самых грубых грамматических ошибок и пропускала все остальные небольшие погрешности. Таким образом, авторский стиль и манера выражения везде сохранены в неприкосновенности.

Удивило меня, что в Англии мало читают таких классиков, как Байрон, Вальтер Скотт и Диккенс, считая их устаревшими. Нетрудно понять, какое сильное впечатление на моих слушателей произвели сообщенные мною данные Всесоюзной книжной палаты о том, сколько книг английских и шотландских писателей и какими тиражами переведены на русский язык и на языки народов Советского Союза.

Великобритания — страна устоявшихся и укоренившихся традиций; часть из них утратила, на наш взгляд, свой былой смысл. Так, например, театральные представления по праздникам запрещены, но вместе с тем разрешена совершенно беспрепятственная демонстрация кинофильмов, иногда самого вульгарного содержания. Давние традиции сохранились и в повседневном университетском обиходе. В одних городах их придерживаются не очень строго, в других, как, например, в Оксфорде и в Кембридже, они соблюдаются в обязательном порядке. На лекции и даже на ежедневные обеды в колледжах совместно со студентами преподаватели обязаны являться в мантиях; когда однажды женщина-профессор в Кембридже по рассеянности забыла надеть мантию, ей было сделано строгое внушение.

Студенты также должны приходить на лекции и на обеды в мантиях, черных или синих в зависимости от того колледжа, в котором они учатся. Они обязаны появляться в мантиях и на улицах после наступления темноты, в противном случае их задерживает университетская полиция, налагающая за нарушение правила соответствующее взыскание. Особым видом франтовства у студентов считается облачение в старую, потрепанную мантию. Любопытная деталь: длина этого студенческого одеяния прямо пропорциональна величине стипендии, которая и в Англии зависит от успеваемости. Несколько слов о составе студентов в университетах Оксфорда и Кембриджа. Сейчас в обоих этих университетах немалый процент учащихся составляют молодые люди, принадлежащие к семьям среднего достатка.

Я был приглашен как-то в один из оксфордских колледжей на обед. Студенты сидели за длинными столами, расставленными вдоль всего зала, а преподаватели — за поперечным столом в начале зала, на возвышении, за «хай-тейбл». Все присутствующие, не считая, разумеется, меня, были в мантиях. Такого рода совместные обеды преподавателей и студентов содействуют установлению более тесных отношений между ними.

После обеда, в тот же вечер, я побывал в одном из студенческих клубов на собрании, которое с внешней стороны напоминало заседание английского парламента. В зале находились одни лишь студенты-мужчины, студентки и специально приглашенные профессора сидели на хорах. Одна часть студентов, сидевших в зале,

изображала «правящую партию», другая — «оппозицию...» Располагались они друг против друга. На особой трибуне в креслах восседали председатель и члены комитета клуба — студенты во фраках и лакированных ботинках. Заранее намеченные ораторы с обеих сторон были одеты в смокинги, прочие участники заседания — в обычные костюмы.

В повестку дня в этот раз была включена дискуссия на тему о том, следует ли сохранять в Англии старые традиции, или надо стремиться к «здоровой новизне». Поочередно выступали защитники одной и другой точек зрения, и каждый из выступавших начинал свою речь обращением к председательствующему, именуя его «сэр президент». По окончании прений должно было происходить голосование, причем участникам дискуссии, как это происходит и в парламенте, надлежало голосовать путем выхода в разные двери. Самой процедуры голосования я не дождался.

На такого рода заседаниях готовятся будущие парламентарии из числа студентов; здесь они заранее приобретают соответствующие навыки. Время от времени перед студентами выступают члены палаты общин. Так, на следующий день в колледже, который я посетил в качестве гостя, ожидался Иден.

Встречи с преподавателями и студентами британских университетов убедили меня в том, что и те, и другие проявляют живой интерес к научной и культурной жизни и постановке учебного дела в Советском Союзе. Они неоднократно говорили о желательности более тесного и длительного общения между учеными и учащимися Англии и СССР, об организации обмена научными изданиями и научной информацией. Как советский ученый я чувствовал очень внимательное и благожелательное к себе отношение. Наши английские коллеги не жалели времени и труда для того, чтобы ознакомить меня не только с университетской жизнью, но и с теми достопримечательностями, которыми столь богаты Англия и Шотландия; все эти достопримечательности запоминаются надолго при знакомстве с Лондоном, Эдинбургом, Кембриджем, Оксфордом, с шекспировским Стрэтфордом и другими городами Великобритании, где мне удалось побывать. Мне, как и остальным членам делегации, была предоставлена также возможность посетить домик Бернса близ Глазго, и замок Вальтера Скотта близ Эдинбурга.

Не только студенты и профессора университетов, но и другие люди, с которыми мне довелось общаться во время нашей поездки, произвели впечатление радушных и гостеприимных хозяев, дорожащих знакомством и со своими советскими гостями. Мы встретили любезный прием и у официальных лиц, и у членов парламента, пригласивших нас на заседание палаты общин, и у частных лиц, особенно членов Обществ англо-советской дружбы, культурной связи Англии с СССР и общества «Шотландия — СССР». При их содействии нам удалось осмотреть дом в Лондоне, где жил и умер К. Маркс, а также дом, в котором Ленин в 1902 году редактировал «Искру»; мы побывали на Хайгейтском кладбище и посетили могилу Карла Маркса: летом прошлого года сюда был перенесен его прах со старого, довольно неказистого участка, где находилось место первоначального погребения.

Из Эдинбурга мы должны были отправиться по железной дороге на север Шотландии, в город Абердин; шотландский фермер г. Макки, принадлежащий к левому крылу лейбористской партии, пригласил нас предварительно посетить его ферму; мы воспользовались его гостеприимством и радушием. У него мы познакомились с семидесятипятилетним лордом Бойд-Орром, крупным ученым-ботаником, лауреатом Нобелевской премии, и его супругой. Оба они не так давно побывали в Советском Союзе, и леди Бойд-Орр предстала перед нами с пионерским галстуком на шее и с серьгами в ушах, сделанными из советских монет достоинством в одну копейку. И галстук, и серьги были подарены ей московскими пионерами. На другой день мы были с ответным визитом у лорда Бойд-Орра, где нас также встретили очень радушно.

Мы покидали Великобританию и возвращались на родину, воочию убедившись в том, что при наличии доброй воли и стремления к взаимопониманию, проявляемого обеими сторонами, отношения между нашими народами могут с каждым днем расширяться и крепнуть, поскольку именно эта перспектива отвечает подлинным интересам Англии и СССР.

Арнольд Кеттл

Английская литература в 1955 году

Пожалуй, никто не станет утверждать, что состояние английской литературы пятидесятых годов можно назвать благополучным. Показательно почти полное отсутствие серьезных литературных журналов и обозрений. Кроме литературного приложения к газете «Таймс», нет ни одного периодического издания, рассчитанного на широкий круг читателей, да и этот еженедельник сравнительно мало известен за пределами университетских кругов.

Это не означает, что в Англии вовсе нет литературной критики и литературных дискуссий. Еженедельники общеполитического характера, как, например, «Нью стейтсмен», «Спектейтор», «Лиснер» (издаваемый Би-би-си), уделяют много места рецензиям на книги и театральные постановки и помещают отдельные статьи по общим вопросам культуры; так же поступают и более «респектабельные» (но менее читаемые) воскресные газеты. Из ежедневных газет больше всего внимания обсуждению литературных и культурных вопросов уделяет «Дейли уоркер»; «Манчестер гардиан» и «Таймс» также много занимаются этими вопросами. Но все эти газеты имеют сравнительно маленький тираж (в общей сложности, меньше миллиона экземпляров), а массовые ежедневные газеты с миллионным тиражом, в сущности, полностью игнорируют литературные проблемы. Обычно они рецензируют только книги с определенной политической тенденцией или книги сенсационного характера.

Би-би-си посвящает часть времени литературным темам, но большая часть бесед, обзоров и дискуссий включена в так называемую третью программу, которая предназначается для «избранных» и полностью игнорируется подавляющим большинством радиослушателей.

Литература в английском капиталистическом обществе не обсуждается широко, не волнует, не интересует многих людей. Даже по нормам буржуазного общества, она находится в плохом состоянии. Это не значит, что литература не играет существенной роли в идеологической борьбе внутри страны или что чтение не оказывает серьезного влияния на идеи и убеждения людей. Но по сравнению с тем положением, которое существовало сто или пятьдесят лет тому назад, лишь немногие произведения могут быть названы «ферментом», вызывающим общественное брожение.

Характерную черту литературной и культурной жизни Англии составляет полная противоположность понятий «хорошая» и «популярная» литература. К «хорошей» я отношу, в данном случае, не ту литературу, которую считают хорошей буржуазные законодатели вкуса, но все более или менее серьезные произведения, в отличие от книг, написанных с откровенно коммерческими целями. Многие из произведений, которые я называю серьезными, в действительности (как будет видно дальше) с точки зрения объективной и гуманистической не представляют большой художественной ценности. Эти произведения я называю серьезными в субъективном отношении в том смысле, что их авторы искренне пытаются выразить то, что кажется им важным и истинным, а не ставят своей целью заработать деньги. Конечно, здесь трудно провести определенную границу. Не суще-

---

Редакция журнала «Иностранная литература» обратилась с просьбой к прогрессивному английскому литературоведу Арнольду Кеттлу поделиться с советскими читателями своими взглядами на современную английскую литературу. Публикуемая статья представляет собой отклик А. Кеттла на просьбу редакции.

ствует термометра, измеряющего субъективную искренность, и писатели, подобно прочим людям, бессознательно испытывают давление, заставляющее их приспосабливаться к общепринятым вкусам буржуазного общества. Поэтому между честным писателем и литературным дельцом, проституирующим свой талант, имеется лишь относительное различие; но о нем следует упомянуть, так как в Англии есть много писателей, которые даже и не претендуют на то, чтобы быть честными художниками, и, не скрывая этого, пишут ради денег, презирая собственные сочинения. Более того, большое число честных и искренних писателей с трудом может существовать на гонорар, получаемый ими за свои книги; поэтому и они вынуждены писать для денег, т. е. выпускать заведомо низкопробную литературу, чтобы иметь возможность обратиться к созданию чего-то значительного. Результаты подобной системы, и моральные и эстетические, вполне очевидны.

Надо подчеркнуть, что в Англии прожить на литературный заработок трудно не только прогрессивным писателям, идущим против течения, но даже и тем честным буржуазным писателям, которые сохранили достаточно самоуважения, чтобы не дать подкупить себя дельцам от литературы.

Я умышленно заключаю в кавычки слова «хорошая» и «популярная», так как вовсе не хочу сказать, что эти определения отражают художественную ценность книги или подлинно народный ее характер. Однако я настаиваю на этих определениях, так как без их понимания нельзя правильно оценить состояние английской культуры. Вследствие того, что все правдивые произведения (независимо от их художественных достоинств) печатаются довольно незначительным тиражом, а литература, приносящая деньги, почти вся относится к числу низкосортной, в Англии создалось следующее положение: дельцы способствуют деградации литературы, а честные писатели живут, мыслят и работают в узком кругу, в небольших замкнутых группках интеллигенции, оторванных от народной жизни и презирающих народ из-за того, что слово «популярный» стало синонимом слова «торгашеский». Таким образом, широкие читательские массы отданы на откуп литературным дельцам, а честные писатели начали гордиться своей обособленностью. «Непопулярность» возводится в добродетель, она — признак стойкости, своего рода членский билет достойного братства «высоколобых».

В результате создавшегося положения народные массы справедливо упрекают «хорошую» литературу в узости, педантизме и скуке, ибо в основном она отражает проблематику и образ мышления, мало интересные для людей, бóльшая часть времени которых уходит на добывание средств к жизни. Третья программа Би-би-си, которую обычно слушает интеллигенция, не только оскорбляет среднего слушателя своим интеллектуальным снобизмом, но и почти непонятна по содержанию. Со своей стороны интеллигенция, возмущенная вульгарностью и откровенно фальсификаторским характером столь широко распространенной торгашеской культуры, все более утверждается в сознании собственного превосходства и все дальше и дальше уходит в свой мир третьей программы, в мир Пруста и Кафки, Стриндберга и Джеймса Джойса, мир двадцатитональной музыки и абстрактного искусства, в котором печальная и одинокая судьба буржуазного интеллигента воспевается с предельной обостренностью чувств, патологической болезненностью и отчаянием.

* * *

Водораздел в культурной и литературной жизни сегодняшней Англии (так же как в экономике и политике) таков: на одной стороне — интересы и духовные ценности тех групп буржуазии, которые хотят продать национальную независимость и смыкаются с американскими империалистами в подготовке новой, «последней» войны против колониальных народов и «социалистической трети мира»; на другой стороне — интересы и духовные ценности народных масс, особенно рабочего класса, который хочет защитить национальную независимость, не допустить войны и расширить свое демократическое наследие.

Только в этом свете можно полностью понять и правильно оценить современное состояние литературы в Англии. Правда, большинство писателей недостаточно сознательно и отчетливо представляют себе создавшуюся обстановку. Большинство «высоколобых» писателей с негодованием стало бы отрицать, что их творчество каким бы то ни было образом связано с защитой или предательством независимости Англии. Однако горячий отклик на воззвание

Писательского объединения в защиту всеобщего мира, опубликованное в 1951 году и встречающее все более широкую поддержку, показывает, что английские писатели не стоят в стороне от насущных проблем нашего времени. Следует, конечно, указать, что многие из подписавших воззвание не вполне ощущают связь между своими взглядами, своей художественной практикой и своим стремлением к миру. Но огромное значение имеет тот факт, что большое число литераторов, людей самых различных политических, религиозных убеждений и эстетических вкусов, чувствует необходимость объединяться в борьбе за дело, которое они инстинктивно считают для себя самым важным.

Не следует забывать, что идеологическая борьба не является абстракцией, о которой можно рассуждать, оперируя понятиями формальной логики. Писатель-католик Грэхем Грин, идеологию и художественные принципы которого справедливо критикуют прогрессивные деятели и который, насколько мне известно, не принимает участия ни в одной организации движения за мир, благодаря своей решимости высказать правду о положении в Центральной Африке и Вьетнаме, своей защите Чарли Чаплина, изгнанного из США американскими реакционными силами, и своим реальным подходом к экономической тяжбе писателей с издателями сыграл более благородную роль в идеологической борьбе *, чем «социалист» Джордж Оруэлл или «либерал» Джильберт Меррей. Я не хочу этим сказать, что прогрессивные писатели не должны критиковать те пессимистические неврастеничные произведения Грина, которые принижают людей и подрывают уважение к человеческому достоинству. Следует, однако, помнить, что, определяя место каждого отдельного писателя в идеологической борьбе, очень важно избежать абстрактного, ригористического, формального подхода, при котором писателей бойко раскладывают по ящичкам согласно заранее заготовленной схеме. В творчестве каждого отдельного писателя действуют противоположные силы и тенденции. Каждый из нас представляет собой как бы поле битвы, на котором войска прогресса и жизни бьются против сил реакции и смерти. В этом бою участвуют не только армии, но и шпионы и тайные лазутчики, разведывающие военные объекты, минирующие оборонительные сооружения.

В происходящей борьбе прогрессивным является тот писатель, который в конечном счете служит человечеству, не человечеству вообще, в абстрактном смысле слова, но конкретной части человечества — английскому народу, глубочайшие интересы и чаянья которого совпадают с надеждами и интересами всех других народов мира; реакционным писателем оказывается тот, кто в конечном счете вместо помощи людям в разрешении их задачи и расширении завоеваний свободы сознательно или бессознательно помогает их врагам, разрушая надежды человечества.

Идеологическая борьба в Англии XX века редко ведется в открытую. Гораздо чаще сущность философских убеждений автора неясна даже ему самому. Вероятно, в связи с прежними успехами британского империализма, позволявшими господствующим классам до недавнего времени делать народу много экономических, политических и идеологических уступок, английская интеллигенция в отличие от своих собратьев в других странах могла с известным основанием убеждать себя, что она стоит «выше» современной борьбы. Поэтому в идеологической жизни Англии традиция открытой полемики сравнительно слаба, а тенденция принимать в штыки любой разговор о художественных или философских «школах» и «направлениях» очень сильна. Традиция эмпиризма сильна настолько, что даже среди прогрессивной интеллигенции широко распространена враждебность ко всякой теории или стройной системе мышления. С другой стороны, следует отметить, что упадок британского империализма за последние сорок лет сильно поколебал уверенность и оптимизм, которые являются основой эмпирического мышления; следствием этого явилось стремление занять более ясную, последовательную философскую позицию: наиболее важными примерами этой тенденции служит — со стороны прогрессивных сил — обращение к марксизму (особенно в 30-е годы), а со стороны реакции — консолидация сил во-

* Эти взгляды Грина отразились не только в публицистических выступлениях, но и в его последнем романе «Тихий американец», получившем высокую оценку прогрессивной английской прессы. См. раздел «Из месяца в месяц», стр. 261.

круг католицизма и его незаконного брата, англо-католицизма.

Для иллюстрации этого положения можно привести пример из области литературной критики. За последние двадцать лет наиболее широко читаемыми и наиболее дискуссионными (при разной степени реакционности) были произведения критиков-католиков, особенно Т. С. Элиота и К. С. Льюиса. С позиций марксистской критики против них выступали Кристофер Кодуэлл и Элик Уэст. И от тех и от других английская интеллигенция ожидала полемических выступлений и относилась к ним терпимо, хотя и не без оговорок. Но, когда немарксистский и некатолический критик вроде Ф. Р. Ливиза (его позиция может быть охарактеризована как либерально-пуританская) начал резко выступать против академических педантов и дилетантов-эстетов, большая часть интеллигенции пришла к выводу, что такая манера — свидетельство дурного тона и что было бы лучше, если бы критики не принимали так близко к сердцу литературные споры. Ливиза обычно упрекают не за то, что он неправ, а за грубость и фанатизм, за то, что его стилю недостает изящества и он страдает манией преследования. Тот факт, что и христиане и марксисты обладают довольно странным убеждением, будто взгляды и идеалы писателя связаны с его творчеством, буржуазная критика привыкла принимать как должное; но в большинстве случаев появление в работах прямой моральной оценки и резко полемический тон считается неудобным и приводит критику в замешательство.

* * *

Одним из моментов, объединяющих английскую интеллигенцию 1955 года, является ненависть к маккартизму и опасения, что его будут навязывать и по эту сторону Атлантического океана. Основной и наиболее серьезной из реакционных тенденций является проникновение в Англию культуры американского империализма.

Крупные американские бизнесмены, стремящиеся к господству над миром, экспортируют не только капиталы, бомбардировщики и кока-кола; они прекрасно понимают важность идеологической борьбы и стремятся экспортировать свою культуру. Они ввозят музыкальные автоматы в Западную Африку и порнографическую литературу в Западную Германию. Объектом их воздействия является и Англия, тем более, что общий язык облегчает дело. Наиболее сильной атаке подвергается, пожалуй, кино; на втором месте стоит телевидение и детская литература. Всем теперь хорошо известно влияние комиксов с их культом насилия, расизмом, грубой моралью дельцов и оскорбительным отношением к женщине.

Интеллигенция почти не читает американские бестселлеры и журналы и их английские копии, игнорирует их, но вместе с тем недооценивает их влияние на массы. Однако дешевая вульгарная литература, сенсационная, сентиментальная и порнографическая, издается миллионными тиражами и составляет основное чтиво для значительной части английского народа, особенно молодежи. Различные обследования показывают, в частности, что молодые люди, находящиеся в армии, читают почти исключительно макулатуру американского образца.

Американское влияние проникает и в более серьезные области литературы. Правда, немногие из английских писателей, претендующие на нечто большее, чем просто литературная поденщина, скатились до уровня Д. Б. Пристли, который в известной статье в «Кольерсе» выступил с военной пропагандой самого гнусного толка. Но тлетворное влияние американской декадентской литературы распространяется довольно широко, и не случайно, что многие представители английской интеллигенции реакционного и мистического направления за последние 15—20 лет перекочевали в Америку. «Обамериканились» такие писатели, как Олдос Хаксли, У. Г. Оден, Кристофер Ишервуд, Джеральд Херд. Стивен Спендер немало времени затратил на пропаганду за деньги «свободной» (т. е. капиталистической) культуры Соединенных Штатов. Лакомые голливудские контракты соблазняют не только актеров, но и писателей; и не один «многообещающий молодой романист» уголком глаза поглядывает на авторские права, которые можно продать Голливуду. Помимо этого, у ряда писателей можно наблюдать литературную и стилистическую манеру, идущую из Америки, которая оказала весьма сомнительное влияние на английскую литературу последнего времени. Американский «жестокий» роман, вроде книги Джеймса Кейна «Поч-

тальон всегда звонит дважды» *, явился источником таких произведений, как мерзкий, садистский бестселлер «Нет орхидей для мисс Блэндиш».

Что же касается литературы более высокого уровня, то большая часть современных прозаиков испытывает влияние Хемингуэя.

Вопрос о влиянии американского реалистического романа 20—30-х годов (Хемингуэй, Дос Пассос, Скотт Фитцджеральд, Стейнбек и др.) на английских писателей решается не так-то просто. В основе многих из этих произведений лежат подлинно демократические устремления их авторов (например, «Гроздья гнева» Стейнбека, «Прощай, оружие» Хемингуэя). Эти книги представляли собой искреннюю попытку нарушить благопристойную буржуазную традицию и создать литературу «простого человека»; но в то же время это направление отличалось значительной ограниченностью. Индустриальный рабочий редко выступал «простым человеком» у этих американских писателей; гораздо чаще это были деклассированные циничные индивидуалисты из слоев, примыкающих к рабочему классу. В идейном строе этих романов отразилось скорее сознание разочарованного мелкого буржуа или «люмпенпролетария», нежели мироощущение, свойственное собственно рабочему классу. Их влияние (и сильное) на английскую литературу сыграло скорее отрицательную, чем положительную роль. Прогрессивные английские писатели, такие, как, например, Джеймс Олдридж, когда-то находившийся под сильным влиянием Эрнеста Хемингуэя, должны были (порой ценою усилий) отказаться от его стиля, оказавшегося негодным для создания подлинно демократических произведений, и попытаться найти подлинно национальный язык, уходящий корнями в жизнь английского народа.

Следует упомянуть пример американского влияния совсем из другой области. Он относится к тому, что можно назвать высшей ступенью рафинированной буржуазной литературы. Генри Джеймс и Т. С. Элиот — двое из наиболее уважаемых «английских» писателей за последние 70 лет, были теми американцами, которые приняли британское подданство. Оба они принадлежали к тем высшим культурным кругам Новой Англии, которые всегда выражали презрение к грубости и филистерству «новой» американской цивилизации; оба с тоской (хотя и не без критики) обращались к культурному наследству Европы и, покинув, наконец, Америку, стали в качестве британских граждан бо́льшими «британцами», чем представители высших классов английского общества. Как Джеймс, так и Элиот оказали глубокое влияние на новейшую буржуазную английскую литературу; поэтому и необходимо подчеркнуть особый характер этого влияния. Ибо оба эти писателя принадлежат в основном к традиции американской, а не английской буржуазной литературы. Эти люди, отличающиеся глубоким, хотя и скрытым снобизмом, усиливают и поддерживают космополитические тенденции в среде английской интеллигенции, содействуя распространению ложной и порочной концепции «западноевропейской культуры» (которая на самом деле является объединением реакционных направлений, одновременно существующих в буржуазных культурах различных европейских стран).

* * *

«Среднелобой» (middlebrow) литературой начали называть в Англии книги, написанные ради денег и предназначенные преимущественно, хотя и не всегда сознательно, для «среднего класса» — этой значительной части английского населения, куда входят низшие слои буржуазии, собственно мелкая буржуазия, лица интеллигентных профессий (врачи, адвокаты, учителя и т. д.) и «респектабельные», зажиточные рабочие.

Характер и достоинства произведений этих писателей различны. Творчество Чарльза Моргана является образцом наиболее претенциозной «среднелобой» литературы; его специальность — псевдофилософия и «духовные ценности». Сомерсет Могэм, большой мастер слова, специализируется в области утонченного цинизма; Филип Гибс и А. Дж. Кронин занимаются социальными проблемами; Дороти Сейерс обратилась к религии; ее детективные романы с налетом «высоколобой» утонченности пользовались большим успехом среди университетских преподавателей. Дафни дю Морье

* Говард Фаст отзывался о Кейне как о руководителе «школы жестокости в американской литературе». (Прим. автора).

славится сентиментальной мелодрамой без особых претензий на серьезность.

Несправедливо было бы сказать, что ни один из этих писателей вообще не создал ни одного ценного произведения. Лучшие из представителей этой группы, такие, как С. Форестер и Филлис Бентли, писали романы, хотя и не очень глубокие, но честные и достойные уважения. Многие из этих писателей — прекрасные стилисты. Порой «среднелобый» писатель создает действительно значительное произведение — такова, например, атака Кронина на развращенных богатством врачей в «Цитадели» или отличная пьеса Пристли «Он пришел»; но в таких случаях автор перестает быть типичным писателем, пишущим из-за денег. В целом же «среднелобая» литература, составляющая основную массу книг в больших библиотеках, состоит из произведений, воспевающих неизменный домашний уют и намеренно щекочущих нервы читателя. Эта литература самодовольна или сентиментальна, или то и другое вместе. Но ее главной, действительно определяющей чертой является решительное стремление избежать всякого выражения мысли или чувства, которое может поколебать прочность мелкобуржуазных идеалов.

* * *

Между коммерческой «среднелобой» литературой, стремящейся просто развлекать средние круги, и более серьезными явлениями буржуазной культуры не существует резкой грани. Без сомнения, многие из посредственных писателей, упоминавшихся в предыдущем разделе, принимают свое творчество абсолютно всерьез; в то же время многие из более «серьезных» писателей не могут избежать соблазна увеличить тираж своих произведений и занять теплое местечко в буржуазном обществе. Данная группа писателей отличается от предыдущей более высокой степенью творческой честности, но этот критерий оказывается довольно обманчивым и неопределенным.

Литература, которую в Англии 50-х годов следует характеризовать как реакционную и — по сути дела — декадентскую, это прежде всего литература, отрицающая возможности прогрессивной деятельности человека и всего человечества и проповедующая вместо этого отчаяние и мистицизм. Литература эта не всегда сознательно реакционна; однако характерно, что лишь немногие писатели этой категории согласны приложить хотя бы минимум усилий для защиты дела мира; политические взгляды и действия большинства из них направлены против прогрессивных сил.

Самой крупной фигурой в этой группе, без сомнения, является Т. С. Элиот, поэт, критик и драматург, которого последнее лейбористское правительство представило к ордену «За заслуги» (высшая награда, на которую может рассчитывать английский интеллигент). Выступления Элиота звучат, как папские послания. Элиот, без сомнения, очень талантлив, особенно как поэт. Он приобрел большое влияние в 20-х годах, так как сумел тонко выразить разочарование, охватившее интеллигенцию после окончания первой мировой войны. Его произведения 20-х годов, особенно часть ранних стихотворений и в какой-то степени его поэму «Бесплодная земля», следует рассматривать как сильную и искреннюю (хотя и сделанную с ложных позиций) попытку выразить в поэзии духовный голод многих людей в период упадка капитализма.

Однако с конца 20-х годов Т. С. Элиот начал играть в английской литературной жизни абсолютно реакционную роль. Объявив себя защитником традиционализма, монархии и англо-католицизма, он ополчился против гуманизма, разума и демократии. Его длинное мрачное мистическое произведение «Четыре квартета» воспевает некую форму мистического религиозного познания в качестве средства разрешения всех противоречий, жертвой которых является человек в современной действительности. Он решительно отвергает историю как развивающийся процесс, как какую бы то ни было форму прогресса: «Сознавать — не значит существовать во времени». «Правильно действовать — это значит быть свободным от прошлого и будущего одновременно». Подобные же идеи мы находим в его пьесах (хотя по поводу современной поэтической драмы Элиот высказал несколько ценных соображений). Человек, по Элиоту, изначально грешен и способен лишь осознать свое ничтожество и воспринять божественную благодать.

Но, декларируя презрение к человеческой деятельности, Элиот не отказывается распространить свое влияние на некоторые области практики. Он мало обращается к

истории, но зато отстаивает «традиции». В «Заметках по поводу определения культуры» (1948), помимо нападок на слишком, по его мнению, демократический закон 1944 года об образовании, Элиот заявляет: «В правильно организованной обществе государственные обязанности не должны распределяться равномерно; наибольшая ответственность должна возлагаться на тех, кто наследует особые привилегии и в ком личный интерес и защита интереса их семей (являющихся «оплотом государства») сочетается с духом общественного интереса. Господствующая элита нации в целом будет состоять из тех, чья ответственность передается по наследству одновременно с богатством и положением в обществе».

Таково мировоззрение верховного жреца английской буржуазной культуры.

«Четыре квартета» объявлены великим произведением не только собратьями Элиота по англо-католицизму; их мнение разделяет либеральный критик Ф. Р. Ливиз и даже критики социал-демократических убеждений. Поэтический стиль Т. С. Элиота оказывает огромное влияние на молодых поэтов, и его религиозные пьесы, без сомнения, повлияли на таких поэтов-драматургов, как Рональд Дункан, Анна Ридлер и Кристофер Фрай. Английская поэтическая драма пятидесятых годов — это, как правило, драма религиозная.

Среди известных буржуазных романистов нет фигуры такого масштаба, как Т. С. Элиот, однако здесь следует упомянуть двух очень влиятельных и широкоиздаваемых писателей-католиков Грэхема Грина и Эвлина Во.

Грэхем Грин — сильный писатель, усвоивший многие черты гладкого стиля американских романов и киносценариев. Постоянная тема его произведений — это греховность человека и его злосчастная неспособность установить какие-либо прочные связи в мире, личные или общественные. Создается такое впечатление, что Грэхем Грин твердо решил расправиться с человеческим родом, нанося ему удары со всех сторон. В Лондоне пользовалась большим успехом пьеса Грина «Гостиная», в которой смерть изображалась единственным завидным и достойным восхищения состоянием человека.

Эвлин Во — писатель, не столь популярный, как Грэхем Грин. Он выступил в конце 20-х годов как блестящий сатирик, но со временем становился все более и более отталкивающим и реакционным. В современной английской литературе нет более яркого примера воинствующего декаданса, чем его книга «Снова в Брайдшеде», произведение, вызывающее чувство невероятного отвращения. Здесь есть все: попойки оксфордских студентов, почтенные семейства, к сожалению, ставшие добычей вульгарной военщины (действие происходит во время войны); гомосексуализм; великосветские адюльтеры; снобизм и набожность вперемежку со слащавым флиртом; обращение в католицизм на смертном одре; герой, который кончает кандидатом в святые, так как напивается до смерти неподалеку от Северо-Африканского монастыря; и чуть-чуть искусства.

Конечно, не все современные реакционные писатели отличаются религиозностью. Стивен Спендер может сколько угодно говорить о «духовных ценностях», но нельзя же назвать духовной ценностью его религию — антикоммунизм. Приверженность к этой «вере» Спендера, как и Артура Кёстлера и умершего Джорджа Оруэлла, перерастает в тяжелый психоз.

Из всей этой группы писателей больше всего рекламировали и издавали произведения Джорджа Оруэлла; его романы «Звероферма» и «1984 год» широко продавались и пропагандировались при помощи радио, телевидения и кино. Культ Оруэлла (которого одинаково превозносят и консервативные и социал-демократические круги и которого как сатирика часто сравнивали со Свифтом) — это явление, чрезвычайно показательное для современной английской культуры.

Естественно, возникает вопрос, каким образом эти человеконенавистнические книги, являющиеся продуктом больного воображения, могли привлечь внимание и получить признание многих читателей, включая ряд честных и прогрессивных людей. Ответ может быть дан только исходя из политической обстановки. Успех книги «1984 год» явился результатом «холодной войны»; по мере того, как растут силы мира и расширяется возможность подлинного взаимопонимания между различными социальными системами, уничтожается и основа популярности Оруэлла. Тысячи людей, содрогавшихся при одной только мысли о возможности прихода «1984 года», осознают в конечном счете беспочвенность своих

страхов и поймут подлую и презренную тактику Оруэлла, играющего на этих страхах.

Писатели типа Олдоса Хаксли и Джильберта Меррея, в прошлом свободомыслящие рационалисты, за последнее время начали оказывать чисто реакционное влияние. Своего высшего предела мизантропия Хаксли достигла в книге «Обезьяна и сущность», вызвавшей отвращение даже у его прежних поклонников. Его последнее произведение — это исследование того, как наилучшим образом воздействовать на воображение наркотиками. Он и его друзья Джеральд Херд и Кристофер Ишервуд живут в Калифорнии, занимаясь учением иогов и другими мистическими учениями Востока.

* * *

Таков облик некоторых ведущих буржуазных писателей сегодняшней Англии, писателей, которые, очевидно, сознательно смыкаются с антинародными силами и даже ставят себе в заслугу проповедь обскурантистских и антидемократических идей. Необходимо понять, что среди современных английских писателей они составляют меньшинство, хотя и чрезвычайно влиятельное. Что же касается большинства писателей, то здесь труднее дать определенную классификацию.

Дело в том, что большинство честных писателей, которые творят в условиях буржуазного общества, резко отличается друг от друга по своим социальным и художественным взглядам. Было бы неправильно назвать прогрессивным недавно умершего поэта Дилана Томаса или романиста Джойса Кэри; но будет совершенно несправедливо и ставить их на одну доску с Т. С. Элиотом и Эвлином Во.

Современная английская поэзия находится в плачевном состоянии. Поэты большей частью обращаются к чрезвычайно узкой аудитории (тираж в 750 экземпляров считается уже значительным) и в камерный мир их поэзии допускаются только посвященные. Большинство талантливых поэтов 30-х годов — Оден, Дей Льюис, Луис Макнис, Стивен Спендер — либо остановились в своем развитии, либо резко повернули в сторону мистицизма, хотя «Итальянское путешествие» Дея Льюиса и содержит некоторые интересные моменты. Что касается поэтов старшего поколения, то Уолтер де ла Мар продолжает публиковать чистую лирику; Хью Макдайармид сохранил ведущее положение в Шотландии, а Эдит Ситуэлл сделала серьезную попытку перейти от довольно узкой, манерной поэтической традиции к поэзии, касающейся важнейших проблем современной цивилизации. Джек Линдсей считает, что последние произведения мисс Ситуэлл достигли уровня большой поэзии. Другие критики, признавая и одобряя направление развития ее поэзии, более сдержанны в своих оценках. Среди молодых поэтов можно, пожалуй, назвать шотландца Хэмиша Хендерсона, который удачно разрабатывает стиль, основанный на балладной и фольклорной традиции (я недостаточно компетентен, чтобы говорить о шотландских и уэльских национальных поэтах, которые пишут на уэльском и галльском языках).

Другая группа молодых поэтов — здесь можно назвать Тома Ганна, Дональда Дейви, Джефри Хилла — не составляет определенной школы. Они пишут умные и искренние стихи (часто в традиции английской «метафизической» поэзии XVII века); но, несмотря на простоту и стремление избежать напыщенности, их поэзия обычно отличается узостью тематики и чрезмерной утонченностью.

Поэты XVII века крайне остро ощущали связь частных и общественных проблем своего времени, поэтому у них даже очень личная поэзия, крайне индивидуалистическая и необычная, все же не является узко личной. У их последователей XX века личное чувство патологически замкнуто и эксцентрично, ибо поэт не ощущает своей «принадлежности» к какой-либо общественной группе.

В своих последних произведениях, особенно в пьесе для радио «В молочном лесу», Дилан Томас сумел приблизиться к поэзии, отражающей жизнь и чаяния народа; вот почему его смерть кажется особенно трагичной. Томас — уроженец Уэльса, яркий и живой человек — был, безусловно, поэтом большого дарования, хотя он никогда не умел как-то организовать свой красочный язык и неожиданные образы. Кроме того, его творчество в целом оказывало далеко не положительное влияние, так как способствовало утверждению взгляда на поэзию как на вихрь субъективных образов за счет стройности и упорядоченности чувств и мыслей. Горькая правда

заключается в том, что после смерти великого ирландского поэта У. Б. Йитса, чьи произведения можно смело рекомендовать молодому рабочему, желающему изучать поэзию, в Англии не осталось крупных современных поэтов. Если вспомнить поразительно богатую традицию английской поэзии за последние 500 лет, то положение выглядит вдвойне позорным.

Не лучше обстоит дело и с драмой. Если не считать усилий прогрессивных театров, то создается впечатление, что драма дышит на ладан. Почтенные театры, как, например, Олд Вик в Лондоне или театры Плейхауз в Бирмингеме и в Ливерпуле, прекрасно ставят классические произведения, но очень редко обращаются к современным пьесам. Лондонские театры за редким исключением ставят очень посредственные спектакли, а стихотворная драма изгнана почти отовсюду и перекочевала на маленькие церковные сцены. Появляются отдельные яркие произведения, например, «Леди нельзя сжечь»,— остроумная живая пьеса Кристофера Фрая, к сожалению, написанная о пустяках, «Эскапада» Роджера Макдугалла, «Он пришел» Пристли, «Дело Уинслоу младшего» Теренса Раттигана, но в массе — ничего, кроме скуки и посредственности, разбавленной отдельными откровенно реакционными произведениями.

Положение романа несколько лучше, может быть, потому, что роман сохранил в современном обществе более твердую народную основу. Но тем не менее и у романа положение не блестящее. Даже лучшие романы чрезвычайно ограниченны и по своей направленности, и по кругу изображаемых явлений. Еле теплится эпическая традиция великих писателей XIX века. Показательно, что самый выдающийся из живущих либерально-буржуазных писателей Е. М. Фостер после книги «Путешествие в Индию», появившейся в 1924 году, не написал ни одного романа.

Стоит отметить Айви Комптон-Бернет, очень оригинальную и умную писательницу, которую не случайно сравнивают с Джейн Остен. Но следует сразу сказать, что ее вклад в современную литературу крайне ограничен и ее романы так же похожи один на другой, как их названия: «Дочери и сыновья», «Родители и дети», «Семья и деньги», «Служанка и слуга». Кроме того, по ее откровенному признанию, после войны 1914 года она никогда не могла прийти к соглашению с миром. Поэтому ее книги остаются блестящим и сокрушительным разоблачением социальной структуры общества, которое уже в дни ее юности находилось на пути к гибели. Ее романы изображают приходящий в упадок мир высших слоев буржуазии в начале XX века. Взаимоотношения этих людей она подвергает анализу исключительно экономному, тонкому и глубоко проникающему, сохраняя традиционный не натуралистический диалог. Она почти не питает иллюзий по поводу изображаемых ею героев. Однако ограниченность ее очевидна.

Очень многие писатели занимаются изображением детства и юности. Такой интерес не заключает в себе ничего специального, нездорового, но создается впечатление, что многие из авторов так и не вышли из юношеского возраста. По замечанию современного критика Генри Рида, «романы о детстве .., возможно, представляют собой благородную форму бегства от повседневной жизни»; он же говорит еще более многозначительно: «В мире тьмы мы стараемся ухватиться за воспоминания о чем-то светлом. Ребенок может быть несчастен, но он никогда не бывает несчастным до конца».

Смутное ощущение несчастья — таково основное настроение буржуазных романов последнего времени.

Реакционные писатели ищут выхода в мистике и даже в скрытом фашизме; более честные остаются сомневающимися и одинокими, подобно А. Е. Хаусмену: «Я чужой и испуганный в мире, которого я никогда не создавал». Это подтверждают и буржуазные критики. Френсис Уиндхэм писал в 1950 году: «Последние пять лет явились вызовом роману... вокруг беспокойство и неуверенность... самые счастливые писатели — те, кто замкнулся в своем уединении...»

Я полагаю, что для советского читателя самым удивительным в содержании (и форме) типичного современного английского романа должно показаться полное отсутствие героики в каком бы то ни было виде. Характерно, что с упадком буржуазного общества героический образ почти исчезает со страниц буржуазного романа, и героизм становится такой чертой человеческого характера, к которой относятся с подозрением и с некоторым замешательством.

* * *

Прежде чем обратиться к писателям, которые в создавшейся обстановке пытаются занять последовательно прогрессивную позицию и прийти к положительному решению стоящих перед литературой проблем, я хотел бы упомянуть несколько произведений, которые, как мне кажется, стоят на грани прогрессивной литературы.

Найджел Болчин — писатель, не оправдавший возлагавшихся на него надежд; но его роман военного времени «В маленькой лаборатории» — честное произведение. Это, пожалуй, наиболее сильное обличение бюрократии и карьеризма английских государственных чиновников. В книге проскальзывают нотки бесплодного цинизма, но общая картина постепенной коррупции государственного учреждения во время войны написана правдиво и раскрывает в художественной форме процессы, действительно происходящие в капиталистическом обществе.

Более крупной фигурой, чем Болчин, является Джойс Кэри, писатель, который упорно отказывается занять какую-либо определенную позицию. Однако среди современных романистов Кэри выделяется своей энергией и независимостью, обращаясь к большим проблемам.

Ему лишь частично удалось достигнуть успеха. В его книгах об Африке, в частности в романе «Мистер Джонсон», много искренности и человеческой теплоты (частично с позиций «просвещенного» колониального администратора). В книге «Узник милосердия» Кэри проницательно изображает английскую политическую жизнь. А его «плутовские» романы «Лошадиная морда» и «Удивившая сама себя» проникнуты гуманизмом и раблезианской жизнерадостностью. Но отсутствие последовательной точки зрения и твердой веры в прогрессивное развитие человечества мешает его романам стать большими произведениями. Ему не удается воплотить полностью свой замысел и достичь полного успеха.

* * *

Те писатели, которые в Англии 50-х годов сознательно пытаются принять сторону народа в идеологической борьбе, находятся в невыгодных условиях. Им трудно публиковать свои произведения, пока они не приобрели определенного положения в обществе, и им трудно приобрести это положение, так как издатели предпочитают не рисковать. Кроме того, и это более важно, представителям рабочего класса, из среды которого неизбежно выходит большинство прогрессивных писателей в буржуазном обществе, очень трудно вообще стать писателями. В этой связи следует упомянуть журнал «Дейлайт», который за три года много сделал для поощрения рабочей литературы. У журнала «Дейлайт» было много недостатков, но он был пионером в своем деле и в ряде случаев добивался успеха. Журналу удалось открыть талантливого рабочего писателя Лена Догерти, молодого шахтера, чей роман «Сыновья шахтера» только что вышел из печати. Это роман, написанный с большой художественной силой, в котором автор обнаруживает глубокое понимание социальных противоречий. Мне кажется, что это лучший английский роман о рабочем классе, написанный за последние 50 лет (со времени появления «Филантропов в рваных штанах» Роберта Трессела) и значительное достижение социалистического реализма в Англии.

Не следует также игнорировать деятельность театров «Юнити» в Лондоне, Мерисайде и других городах, а также театра «Уоркшоп», недавно организованного в восточном Лондоне и получившего европейскую известность после триумфальных гастролей в Париже. Пьесы Юэна Макколла, поставленные театром «Юнити», а также такие постановки «Юнити», как «Розенберги» и «Тень свастики», много сделали для укрепления традиции левых театров. Кроме того, готовность, с которой эти театральные коллективы выступают на предприятиях и в рабочих клубах, указывает на серьезную попытку сломать стену между Культурой и Народом. В коммерческих театрах ставятся время от времени отдельные прогрессивные пьесы, вроде «Эскапады» или американской пьесы «Нарушители порядка», однако показательно, что даже такому известному драматургу, как Шон О'Кейси, почти невозможно добиться постановки своих пьес на коммерческой сцене.

Наиболее решительная борьба происходит в области романа. Несколько хороших романов было написано молодыми писателями: Александр Бэрон выступил с военным романом «Из города и от сохи»; Мервин Джонс написал «Новый город». Более серьезной попыткой связать личные

и общественные проблемы явился интересный, хотя и не очень удачный роман Джона Соммерфилда «Противники»; Монтегью Слейтер и Хью Сайкс Дейвиз написали необычные детективные романы, связанные с прогрессивными идеями. Это увлекательные книги, но они не решают проблему создания народной демократической литературы. Пожалуй, более удачно (и, безусловно, более последовательно) выступает Джек Линдсей. Его романы «Весна, которую предали» и «Час выбора» явились первой серьезной попыткой дать широкую картину общественного развития английской жизни в виде большого эпического полотна. Он назвал всю эпопею «Роман о путях Англии» и поставил перед собой действительно замечательную задачу. Линдсей правильно представляет себе, о чем следует писать, но ему не всегда удается художественно воплотить свой замысел, вдохнуть жизнь в изображаемые им характеры и ситуации.

Говард Фаст очень хвалил Гвина Томаса, уэльского романиста. Томас тонко и лирично изображает человеческое благородство и обладает превосходным чувством юмора. Его комический роман «Мир не может услышать тебя» богат наблюдениями над характерами людей, но его композиция недостаточно стройна. Трагический исторический роман «Все изменяет тебе» (опубликованный в Америке под названием «Листья на ветру») — это повесть о начале рабочего движения в Англии в первой половине XIX века и о положении художника в буржуазном обществе. Роман проникнут великим чувством любви к человеку и полон тонкой трагической иронии; но мне кажется, что в языке Томаса часто чувствуется небрежность, которая легко переходит в выспренность.

Кроме Лена Догерти, наиболее способными из молодых прогрессивных писателей современной Англии мне представляются Джеймс Олдридж и Дорис Лессинг. Первые романы Олдриджа были написаны под влиянием Эрнеста Хемингуэя. Наряду с большой художественной силой в них чувствовалась ограниченность стиля Хемингуэя. В романе «Дипломат» Олдридж сумел полностью избавиться от этого. «Дипломат» — это политический роман большого масштаба, в котором выделяются превосходные иранские сцены и замечательный образ английского дипломата лорда Эссекса. В его характеристике Олдридж проявил большую проницательность. В книге есть слабые места: не очень убедительна героиня, слабо написана последняя — английская—часть повествования. Но роман посвящен серьезной проблеме, и в нем чувствуется рука крупного писателя.

Последний роман Олдриджа «Герои пустынных горизонтов» появился в 1954 г. Многие читатели испытывают известное разочарование после «Дипломата». Я придерживаюсь иной точки зрения. Некоторые сомнения связаны с образом главного героя, прототипом которого послужила примечательная фигура «Лоуренса из Аравии» Я считаю этот роман очень значительным произведением эпического жанра, в котором с большой драматической силой рассказывается о борьбе арабских народов против империалистов на Среднем Востоке. В отличие от предыдущих произведений Олдриджа, здесь отсутствует натуралистическая манера письма, а продуманный и отточенный стиль его прозы представляется мне чрезвычайно удачным с точки зрения художественной. Это трудная книга, но она принадлежит к числу тех немногих современных романов, которые приближаются к подлинному величию.

Дорис Лессинг также производит впечатление талантливой писательницы. Большую часть жизни она провела в Родезии и пишет об Африке, прекрасно зная материал. Ее первый роман «Трава поет» оказался почти бестселлером; это сильная книга, хотя и несколько мрачная. Последняя книга Дорис Лессинг состоит из пяти повестей и кажется мне лучшей из всего, что было ею написано. Две повести об Африке — «Муравейник» и «Голод» — это трогательные и яркие истории, явившиеся результатом честного и глубокого проникновения в ту реальную действительность, которую писательница изображает.

Вряд ли кто-либо будет утверждать, что прогрессивные писатели уже одержали победу в происходящей в Англии борьбе культурных сил. Исход борьбы за здоровую народную литературу связан с проблемами, далеко выходящими за рамки литературы. Когда английский народ в целом начнет более энергично бороться за свои насущные интересы, за мир, независимость и лучшие условия жизни, тогда появится более прочная база для самобытной народной культуры.

Милослав Стеглик

Сдано на почту
перед второй пятилеткой

Молодому драматургу

Дорогой друг!

Ты послал мне планы трех своих пьес и сопроводил их письмом, полным вопросов. Ты обращаешься ко мне с надеждой, что я уделю тебе минутку своего «драгоценного времени» и на основе своего «богатого опыта» дам тебе добрый совет; ты даже прилагаешь к письму почтовую марку.

Ну что ж, ничего не поделаешь, я отвечаю тебе. По крайней мере, я поупражняюсь в теории драмы и поделюсь некоторыми мыслями, которые я нашел в последнее время в статьях о театре. Было бы умнее, если бы ты сам прочел эти материалы, потому что они общедоступны и были зачитаны на Втором всесоюзном съезде советских писателей. Если у тебя найдется время, просмотри эту дискуссию в советской прессе, там есть любопытные вещи. Да, я знаю, что это слишком обширный материал, а люди при нынешних темпах жизни предпочитают краткие извлечения, которые можно успеть прочесть за чашкой кофе. Поэтому я постараюсь, чтобы мое письмо было кратким. Если же ты захочешь узнать о теории драмы больше, то следи в «Литерарни новины» за дискуссией. Надеюсь, что она не будет такой нудной и тягучей, какой была дискуссия о поэзии, и не будет походить на горячий кнедлик, который киноработники во время недавней дискуссии настойчиво совали друг другу в руки.

Итак, ты послал мне планы трех своих пьес, которые собираешься написать, и поставил основной вопрос: какую пьесу следует тебе написать прежде всего? У тебя материала одинаковое количество для всех трех пьес, но какая тема сейчас наиболее желательна? И на это я тебе, стало быть, должен дать ответ. Если бы ты пять лет тому назад задал этот же вопрос бывшему Драматургическому совету, он достаточно внимательно рассмотрел бы твои материалы и дал тебе совет. (Это вовсе не значит, что я хочу оклеветать покойника, я и сам там сидел, просматривал материалы.) Но жизнь, как известно, эволюционирует, так же как и эволюционирует помимо указаний и наше драматургическое творчество. Так что теперь я как бывший член Драматургического совета могу дать тебе совет и без просмотра материалов. Если ты сидишь и прикидываешь, на какую тему имеется сейчас наибольший спрос и соответственно с этим, и только соответственно с этим планируешь пьесы и подбираешь материал, то откажись от планов и надежд написать хорошую пьесу. А ты ведь хотел бы написать х о р о ш у ю пьесу? Не стыдись этого, мы все этого хотим. И я тоже. Поверь мне, порой, сидя на собраниях, я думал про себя, почему мне это до сих пор не удалось. Добрая воля у меня была, материалу было бездна, о том, как строить материал, я имел кое-какое понятие, да и о людях тоже, и писали обо мне обычно: «один из наших передовых...» И все-таки этого всего было мне недостаточно для хорошей пьесы. Почему же?

Позволь мне вернуться на четыре года назад. Не пугайся, я не собираюсь воскрешать умершую (и по заслугам!) анкету «Мои десять лет в литературе». Я не буду ни оправдываться, ни превозносить себя и ошибки буду искать главным образом в себе самом. Я только попытаюсь разъяснить тебе на своем примере, почему я не питаю доверия к твоим планам с тремя папками материалов. Я тоже поехал — в день св. Анны тому исполнилось четыре года — в плановом порядке на Остраву для собирания материала. То, что я поехал на место, на Остраву, и даже не оповестил об этом событии «Литерарни новины», этого я себе в упрек не ставлю. Но я пробыл на Остраве год, а тамошние люди обо мне ничего не знали; и когда я по истечении года уехал оттуда, то

Статья М. Стеглика «Молодому драматургу» напечатана в газете «Литерарни новины» в связи с дискуссией, развернувшейся перед съездом писателей Чехословакии.

никто об этом не сожалел. И вот этого я не прощаю себе и по сей день. Иначе говоря, я собирал там материалы втихомолку, только для пьесы, и думал про себя: какое до этого может быть дело другим людям? Я собирал материал сначала на молодежной стройке. На моей стороне были все преимущества: я жил в лагере молодежи, собственной машины тогда еще не было в моем распоряжении, за писателя меня в то время никто не считал — словом, это был настоящий рай. К тому же я был очень прилежен. Я собирал материал, собирал его без отдыха. В то время положение в лагере было скверное, штаб молодежи в кирпичном бараке представлял собою «независимую республику», рядовая молодежь, жившая в деревянных бараках, была лишена руководства, утрачивала энтузиазм, смотрела на все наплевательски, — но зачем мне в это вмешиваться, думал я про себя, ведь это политическая работа, а не творческая. И я подбирал колоски в то время, как горела рига. Я собирал материал не только среди молодежи, но и на других участках стройки. (Автору в пьесе нужны ведь бывают и пожилые действующие лица.) Вел я себя благопристойно, не раздражал понапрасну людей лисьим боа, как некая редакторша, не ротозейничал сверх меры около рабочих мест и охотно избегал начальства, как и вообще избегал людей. Папка с материалом росла самым утешительным образом — три записные книжки и несколько тетрадок, заполненных до отказа. (А почерк у меня, дорогой мой, очень мелкий.) Когда спустя полгода я разложил все это на письменном столе, то испытал подлинную радость. Однако не надолго. Драматические секции театров в репертуаре уже торжественно обещали мою новую пьесу о молодежной стройке, а я все еще перебирал свои записи и никак не мог создать из них нечто цельное. Чем же это объяснялось? Материал я собирал добросовестно, отбирал его добросовестно и сверх того прочитал все работы, относящиеся к молодежи. И, кроме того, я был знаком с новыми достижениями в области армирования и бетонирования и у меня имелись в миниатюре рама Тенцера и балка Новотного, и все же, поверишь ли, всего этого мне не хватало для пьесы о строительстве! Да и в творческом отношении я в то время был на высоте, потому что много знал о схематизме, на формализм смотрел сверху вниз и осуждал бесконфликтность на сцене, хотя в жизни и не люблю конфликтов. И, хотя в жизни избегаю конфликтов — мысль об этом сразу же начала сверлить мне мозг. Мучительно. Сидя над несчастной папкой за письменным столом, я соображал: штаб молодежи уволил со стройки хорошего парня за то, что он якобы не пригоден к тому, чтобы коллективно строить социализм,— и я это у себя отметил. Молодежная ударная бригада имени Готвальда, работая по двадцать четыре часа, невзирая на тьму и слякоть, закончила в срок работы по бетонированию — и я записал проценты и то, что она не получила за это обещанной премии. Молодая секретарша из министерства высидела себе диплом ударницы в канцелярии — и я отметил это у себя с особой пометкой. Я многое отметил у себя — и неэкономное расходование материалов, и бульдозеры, которые забрасывают глиной чистые лесоматериалы и железо,— но уклонился от конфликта с теми бюрократическими бульдозерами и самозванными «лидерами», которые по глупости или умышленно не берегли людей и забрасывали глиной их трудовой энтузиазм, их здравый смысл и их вкус к жизни. Так вот. Все это я осознал, сидя над папкой собранного материала, но как мог я теперь написать хорошую, мужественную, короче говоря, гражданскую пьесу о людях на стройке, если я те полгода не прожил с ними как гражданин. Я жил среди них как писатель-собиратель, но не как товарищ писатель. Поэтому они снабдили меня информацией, но не дали мне своего сердца. А что такое пьеса без сердца? От твоей информации зритель будет только кашлять. Я вздохнул и отказался от надежды настричь что-либо из привезенного материала, пользуясь руководствами. Но зато я получил урок: если ты только смотришь на жизнь и усердно собираешь касающиеся ее факты, то под конец будешь плакать над грудой этих фактов. Когда редакция издаваемого на стройке журнала попросила у меня небольшую статейку на какую угодно тему, то я не сумел выбрать из всего материала даже и этой статейки. Писать восторженный вздор я постеснялся, смело атаковать распределение на стройке пива мне не хотелось, так что я обещал редакции статейку, когда собранный мною материал дозреет. (Примерно так же делали все писатели, которые прошли через эту стройку. Их было несколько десятков, но ни одной статейки так и не появилось.) Поверишь ли, этот собранный мною материал все еще не созрел, хотя он лежит в ящике стола уже четвертый год.

Что я хочу этим сказать, мой молодой друг? Что из твоих планов со сбором материала для трех пьес на меня пахнуло прошлым. Я прочитал наброски трех твоих пьес — и не нашел в них сердца. Верно, у тебя все очень хорошо рассортировано. Ты сочувствуешь добрым и прогрессивным, осуждаешь злых и реакционеров и предостерегаешь колеблющихся, а кончишь ты восходом солнца. (Признайся, что под этим солнцем ты подразумеваешь социализм?) Так мы делали пьесы десять лет, но теперь настало время отказаться от таких приемов.

Как же, в таком случае, мы должны их делать?

Теоретически нам все ясно. Если бы кто-нибудь сейчас пришел ко мне со срочным заказом на пьесу «Сразу вслед за косой — плуг» я бы, не задумываясь, отказался.

Потому что не только теоретически, но и практически мы уже знаем, что с холодным рассудком хорошей пьесы написать нельзя даже при наличии аванса. Человек должен быть захвачен и потрясен жизнью, для того чтобы быть в состоянии что-нибудь о ней писать. (Это цитата, и за ней последуют новые, молодой мой друг. Но авторов в скобках я приводить не буду; думай, что я сам дошел до этого — ведь это всего только частное письмо.) Стало быть, человек, захваченный и потрясенный — и даже *ужаленный* — жизнью. Это слово мне очень нравится, потому что когда хорошо пишешь (это я знаю и по нескольким кратким мгновениям, которые сам пережил), то кровь у человека кипит и пенится. Ужаленный! Разумеется, укус укусу рознь. Писателя может ужалить и бюрократ, если он в поисках гаража ненароком наступит этому бюрократу на мозоль. Либо у писателя во время послеобеденного отдыха лопается над головой водопроводная труба, приходит монтер и жалит его коммунальным счетом. И вот у человека на мгновение забурлила кровь. Однако от укуса веретенницы пьесы не напишешь. Как же, в таком случае, добиться нужного укуса? Очень легко, если только ты не будешь сам строить свой социализм при закрытых дверях, а выйдешь на улицу, станешь встречаться с людьми, вот тогда-то дело и пойдет. Это основное: искать встреч с друзьями и столкновений с врагами. Сердце у тебя колотится — до чего же хороши наши люди! И кровь у тебя закипает от непорядков в нашем обществе. А если дело дойдет до борьбы, то тем лучше. Стоишь с людьми? Напишешь народную пьесу. Борешься вместе с людьми? Напишешь хорошую народную пьесу. (Для этого нужна лишь еще одна важная мелочь: есть ли у тебя талант?) Как видишь, все это просто и ясно. Вот только с борьбой у нас, драматургов, как-то не ладится. Взять хотя бы Божену Немцову или Тыла и других — тем было сущее приволье. Всю жизнь они с кем-то дрались — или за свою жизнь или за жизнь народа. А мы, их наследники... но нет, я не стану развивать этого дальше, потому что на это не уполномочен. Признаюсь тебе, мой молодой друг, что с этой борьбой дело обстоит не очень хорошо. По сути говоря, совсем даже не хорошо. Собственно говоря, я еще и не дрался. Ну, конечно, характер такой. А также мне очень «мешает» бороться наш общественный строй; мне прямотаки во вред идут разные удобства и привилегии. Но я решил, что на съезде писателей выдвину такое предложение: создать секцию писателей, которые будут стойко бороться против своих личных выгод. Само собою разумеется, мы не откажемся от материальных благ, но будем решительно противиться тому, чтобы эти выгоды причиняли нам вред. Мы просто примем резолюцию, что не желаем в расцвете жизни и в разгар нынешней борьбы иметь ради каких-то выгод в наших писательских удостоверениях пометку «молокосос» (годен к канцелярской службе). Мне думается, что это мое предложение будет принято на съезде.

У тебя, мой молодой друг, нет никаких преимуществ, кроме твоей молодости. Тебе легче решиться быть гражданином, не становясь молокососом. Мужественным гражданином, понимаешь ли? И тогда ты напишешь (само собой, я неизменно предполагаю, что у тебя есть талант) мужественную пьесу, или, как говорят сегодня, смелую пьесу. Если ты читаешь критику, то признаешь, что в этой области я компетентен тебя поучать, потому что считаюсь смелым писателем. Такое определение, признаюсь, мне по душе, если даже я его еще и не заслужил. (Пока что!) Писательская смелость — это подлинно прекрасная вещь и прежде всего, разумеется, нужная вещь. Особенно для драматурга. Но будет ли смелостью, если ты на сцене станешь говорить о том, о чем уже воробьи чирикают на крыше? Это воробьиная смелость. Мне думается, что смелости не будет даже и тогда, когда ты станешь рассказывать о том, о чем уже говорят люди на улицах. Если ты расскажешь об этом на сцене, то, да вознаградит тебя за это господь бог, но завтра это уже будет историей. Смелость драматурга, творческая смелость проявляется лишь в том случае, если ты рассказываешь о том, о чем люди еще не отважились говорить, если ты говоришь то, для чего люди еще не подыскали слов. Да, мой милый, если я стану таким вот смелым, тогда я и сделаюсь инженером человеческих душ. Но пока что в моих пьесах у меня не хватало смелости даже довести до конца простую мысль. Перелистай моих «Орденоносцев». Выразителем главной моей идеи в этой пьесе является шахтер Матуш, славный малый, у которого от славы и денег начинает кружиться голова, он становится мещанином; коллектив поднимается в гору — Матуш катится вниз, идет на обман, предательство... но тут я остановился, уперся, решил выждать — что ж теперь будет с моим героем? Политическая ситуация, мол, такова и такова, Матуш был и остается пролетарием, было бы правильно, если бы... Будет лучше всего, если я быстренько заварю хорошую драчку, возьму Матуша за руку и — бац! — с ним обратно в коллектив. Сказано — сделано. Матуш озадачен, но доволен. Зритель тоже озадачен, но возможно, что и недоволен. Автор доволен, что сумел дать Матушу правильную политическую установку. То есть был доволен. Теперь-то я вовсе недоволен, потому что знаю, что не дал Матушу никакой установки, а подставил ему у финиша подножку.

Это должно было бы меня умудрить, но не умудрило. В «Высоком летнем небе» мой безземельный крестьянин Гунач по-своему живет хорошо, и все же в последний момент я ему со всей убедительностью сказал: «Не мучайся, Гунач, посадим парк, и будет то, что требуется». На это Гунач

своему товарищу ответил бы с присущим ему пылом, но автору он не посмел возражать, а только кивнул, что, мол, верит, будто от этого у деревни сразу окажется социализм в кармане. Особенно если автор планирует разом — чтобы переломить его характер — шесть тысяч деревьев. (Но этого, мой молодой друг, не давай читать никому из театральных работников. В противном случае об этом сразу же все узнают, драматурги вынесут соответствующую резолюцию, и «Небо» будет снято с репертуара.)

Ты мог бы возразить мне, что случаи с Матушем и Гуначем — это вопросы композиции. Но нет. Это вопрос смелости: довести до конца свою мысль вне зависимости от того, нравится она кому-нибудь или не нравится в тот момент. Ведь я, дорогой мой, мог бы сделать из «Орденоносцев» и «Неба» пьесы с подлинными героями, если бы я не превратил этих двух в «положительных» героев любой ценой.

Вот я и добрался до этого положительного героя. Мы очень много о нем дискутировали, на шестичасовых собраниях катали его, беднягу, по столу из конца в конец, потом он у нас с собрания удрал, мы всюду его искали, но никто из нас до сих пор его еще не нашел. Боюсь, что нам придется в конце концов искать его в самих себе. Понимаешь ли, мой милый писатель, мне думается, что твой Большой, Положительный, Истинный Герой никогда не будет ни на волос больше, положительнее и взаправдашнее тебя. И если ты будешь притворяться, что твой герой большего формата, чем ты, то люди станут думать, что ты набил ему карманы пальто агитками. И если ты будешь притворяться, что твой герой подлиннее тебя, то люди станут думать, что он болтун. И если ты трус, то ты можешь на протяжении всей пьесы утверждать, будто он удалец,— люди этого не увидят. И если голова у тебя намазана бриолином, то, хоть твой герой на протяжении всей пьесы и будет утверждать, что он не мазал себе головы, люди будут видеть этот жир у него даже и под шляпой. Ничего не поделаешь, писатель, в конечном счете тебе придется поверить в то, что в каждой пьесе, в каждой правдивой пьесе ясно проступает и твоя биография. Тому, что ты пережил и прочувствовал, поверит актер, поверит и зритель. Если же ты не пережил и не прочувствовал этого, актер будет вынужден притворяться, и зритель его освищет. Далеко не достаточно собрать и отобрать материал. Такая уж злая пора сейчас для писателей. Но в то же время и добрая. Если ты ничего не подделываешь и являешься гражданином сегодняшнего дня (а не зрителем сегодняшнего дня), то можешь браться в пьесе за все, что угодно. Ручаюсь тебе тогда — за все. Тогда напишешь о людях правду, а правда о людях — это и есть лучшая для людей тема. Тема, которая сейчас более всего нужна в театре.

Этим, собственно, мой молодой друг, я и закончу ответ на твой основной вопрос. Боюсь, что я тебе многого не сказал. Я не написал тебе ничего существенного о схематизме, формализме и даже не коснулся вопроса об эстетических нормах. Но в этом я ничего не смыслю. Серьезно. Теория мне никогда не давалась. И если «Литерарни новины» начнут дискуссию о драме, я тоже буду говорить только о практических вещах. Хотя бы о нашей секции (одобрительно), о критике (с порицанием), о профессиональных театрах (тоже), о требовании расширить ассортимент форм наших пьес (тоже с порицанием, но, конечно, в известных границах). В этом частном письме к тебе я мог себе кое-что позволить. Вполне возможно, что в этом письме и есть что-либо предосудительное, не в духе новых современных веяний мещанского либерализма в нашем театре. Если ты найдешь что-либо такое не подходящее, то прости мне и признай, что я тоже имею право на развитие.

А если тебе тоже захочется принять участие в дискуссии, то советую тебе внести в нее свой торжественный взнос: напиши пьесу. Напиши хорошую современную пьесу!

Анна Саксе

О повести Марии Домбровской

Я не критик и даже не рецензент. Пишу просто как рядовой читатель, который с увлечением, можно сказать, залпом прочитала хорошую повесть и продолжает о ней думать, радоваться ярким, дышащим подлинной жизнью образам писателя, временами спорит с ним, требует еще большего.

Меня взволновала напечатанная в пятом номере вашего журнала повесть польской писательницы Марии Домбровской «На деревне свадьба». Зная, что писательница Домбровская внимательно изучала крестьянскую жизнь буржуазной Польши, неоднократно выступала по этому вопросу в печати и в своих произведениях тех лет защищала права угнетенного польского крестьянина на труд и землю в своей стране, я с большим интересом раскрыла в вашем журнале страницу, начавшую повесть о крестьянах свободной Польши.

Мария Домбровская моя современница. Я, так же как она, большую часть жизни прожила в буржуазной республике сосед-

ке Польши — буржуазной Латвии. Своими глазами видела я также беднейших польских крестьян, завербованных к латвийским кулакам на лето в батраки, для того чтобы сбить и без того низкую зарплату сельского пролетариата. Их работало на полях Латвии 40 000 человек. Помню я их рассказы о панской Польше — о роскошной жизни крупных хозяев и невообразимой нищете бедноты, о том, как бедному землеробу приходилось экономить каждую крупинку соли и расщеплять спичку на четыре части.

Мария Домбровская выбрала для своей повести яркий красочный фон — деревенскую свадьбу. Это дает возможность автору свести вместе всю родню молодой четы, а ведь у каждого родственника свой характер, своя судьба, свое место в жизни. Большая собралась семья, и надо сказать, что у автора хватило красок и художественного воображения, чтобы отметить индивидуальные черты каждого члена семьи во всех деталях. С большим мастерством знакомит нас писательница с биографиями своих героев, причем делает это она не путем отдельного повествования о каждом из них, а вскользь сказанной фразой или метким словцом, раскрывающим жизненный путь, внешний облик, социальное положение, внутреннее существо, политическую настроенность каждого отдельного персонажа повести. Таким образом и читатель сам начинает чувствовать себя участником этой свадьбы, он слушает речь свадебных гостей, присматривается к вновь прибывающим гостям, разделяет обычные в таких случаях волнения и радости.

Так писательница незаметно приобщает нас к героям своей повести, и мы с удовольствием вместе с ними гуляем на свадьбе Зузи, дочери Малгожаты и Щепана Яснотов.

Хотя обычно на свадьбе центром внимания является молодая супружеская пара, читатель все же скоро начинает замечать, что в повести Марии Домбровской молодым уделяется не так уж много места. Незаметно на первый план выдвигается простая крестьянка, бывшая служанка, ставшая после замужества владелицей нескольких гектаров тощей земли без своего дома и хозяйства,— мать невесты,— Малгожата. В размышлениях и воспоминаниях в часы бессонницы этой работящей терпеливой крестьянки раскрывается неописуемо тяжелая жизнь бедного крестьянства во времена буржуазной Польши и под игом оккупации немецких фашистов. Как бы ни трудились Малгожата и ее муж, им не удается заработать столько, сколько нужно, чтобы приобрести собственный дом и лошадь. Приходится платить хозяину за крышу над головой, отрабатывать богачу-кулаку за пользование инвентарем и лошадью. И двое ее ребятишек малолетками умирают только потому, что в семье Яснотов слишком часто гостит нужда.

Но вот прошла война. Новый народно демократический строй вносит огромные изменения в жизнь всего польского народа. Однако крестьянину, который всегда был консервативнее рабочего, трудно сразу понять тот резкий перелом, который произошел в его жизни.

Непривычный быстрый темп новой жизни несколько озадачил и Малгожату. Всюду что-то строят — здесь кирпичный завод, там новую железную дорогу. Везде нужны рабочие руки, подрабатывают на новостройках и крестьяне. Перебравшиеся в город родственники оставляют Яснотам свои шесть гектаров земли и домишко. Казалось бы, началась новая, совсем другая жизнь. Но Яснотов одолевают сомнения. Дело в том, что часть самых бедных крестьян, которые не имели ни дома, ни скота, ни инвентаря, за последние несколько лет далеко шагнули вперед. В бывшем панском поместье они организовали кооператив и обрабатывают землю машинами. И то, что Малгожата и Щепан еще сомневаются, не вступают в кооператив (писательница очень интересно показывает, как каждый из них ждет, чтобы другой взял на себя решение в этом важном для их жизни шаге), очень верно отображает психологию крестьянина, которого обычно пугает все неведомое, все, что он не ощупал своими руками. Кооператив, тот, что рядышком, еще слишком молод, и трудно угадать, можно ли полюбить общую землю так же горячо, как свой собственный клочок.

Такие же сомнения слышатся и в разговорах свадебных гостей. Жаль, что Мария Домбровская не пригласила на свадьбу никого из членов кооператива, — тогда вокруг всех этих вопросов развернулась бы еще более оживленная дискуссия. Быть может, писательница опасалась, что отображение такого спора не обошлось бы без известной доли публицистики, и хотела ее избежать или пожелала ограничиться показом резкого расслоения крестьян на «молодых» и «старых»?

После прочтения повести становится ясным, что писательница устами своих персонажей поставила много вопросов, стоящих перед крестьянством всех стран народной демократии. Но исчерпывающих ответов на эти вопросы в повести мы не найдем. В повести есть одно лирическое место, в котором сделана попытка показать перспективу жизни глазами ребенка. Это страничка, посвященная прогулке маленькой дочки Малгожаты, Ядвиги, которая вместе с дядей идет мимо кооперативных полей. В рассказе ребенка о том, что поля кооператива обрабатываются машинами, что после долгих лет жизни в сырых землянках основатели кооператива перебрались в большие светлые дома, слышится уверенность, что молодое поколение будет тем, для кого происходящий теперь крутой перелом станет естественным положением, и что поколение это врастет всеми своими корнями в коллективное хозяйство.

Но этот маленький эпизод, вставленный

где-то в середине повести, как-то стушевывается перед той борьбой между громко поставленными вопросами и последующими робкими ответами, которая в дальнейшем разворачивается в беседе Малгожаты с ее братом, сознательным городским рабочим Михасем, человеком новой эпохи. Как раз эти последние страницы повести ярче всего выражают сомнения крестьянки Малгожаты в преимуществах кооперации перед индивидуальным хозяйством и ее страстное стремление понять сущность новой жизни. Рассказывая брату о всем том дурном, временами даже безобразном, что неизбежно сопутствует трудовому росту нового, она с отчаянием как бы обращается с вопросом ко всему обществу:

— Хоть бы кто-нибудь мне объяснил, как это так?

Правда, ее брат Михась пытается ей кое-что разъяснить. Он говорит о пути, который ведет в будущее и по которому невозможно заблудиться. Но является ли это символическое разъяснение достаточно убедительным ответом на громкий вопль души Малгожаты, жаждущей ясности?

Устами Малгожаты вопрошают миллионы крестьян. Мы можем быть благодарны Марии Домбровской за то, что она в такой полнокровной и живой художественной форме поставила вопросы, подсказанные самой жизнью, заставила многих своих читателей задуматься над этими вопросами. Хотелось бы думать, что в последующих произведениях писательницы торжество нового выступит с еще большей художественной наглядностью.

Таковы мои мысли читателя и писателя об этом рукою мастера написанном произведении.

Ефим Дорош

Открытое письмо Марии Домбровской

Уважаемая Мария Домбровская!

Недавно я прочитал Вашу повесть «На деревне свадьба», и как это часто бывает, когда вместе с искренней и талантливой книгой в дом словно входит ее автор, ощутил вдруг сердечную потребность поделиться с Вами мыслями и чувствами, возникшими при чтении повести.

По случайному стечению обстоятельств, Вашу повесть я прочитал вслед за несколькими другими иностранными повестями и романами, посвященными деревне. И вот сейчас, когда я пишу это письмо, в памяти встают крестьяне разных стран, которые хотя и говорят на разных языках и работают на различной земле — у одних она каменистая и сожжена солнцем, у других — холодная, изобилующая стоячей водой, у третьих — обыкновенный, небогатый туками суглинок,— при всем этом чем-то очень похожи друг на друга. Может быть, причина этого сходства в том, что у всех крестьян одинаковая работа и похожая судьба. Во всяком случае, как бы ни звучало на том или ином языке слово «деревня», оно всегда вызывает в нашем сознании образ пахаря и пастуха, привыкшего с тревогой глядеть на небо, которое сулит ему дождь либо засуху. И чем талантливее писатель, чем теснее связан он со своим народом, чем ярче сказываются в его произведениях национальные особенности страны, тем правдивее этот созданный им образ, тем доступнее он пониманию людей иного языка.

В минувшем году, как и в прошлые годы, я подолгу жил в старинном селе, неподалеку от древнего русского города Ростова, некогда называвшегося великим, где вот уже тысячу лет возделывают землю.

Из старых документов, изустных преданий и книг мне хорошо известно давнее прошлое этой обширной котловины, поднимающейся от берегов озера Неро к холмистому горизонту,— она пересечена множеством речек, между которыми среди болот и заболоченных кустарников простираются луга и пашни. И когда я читал здесь замечательную книгу Халлдора Лакснесса «Самостоятельные люди», мне легко было вообразить далеких предков Бьяртура из Летней обители, которые, подобно древним предкам моих знакомых крестьян, пасли скот и запасали на зиму сено на девственной, еще не знавшей плуга земле.

Что же до судьбы самого Бьяртура, мужественного и работящего исландца, пытавшегося лишь с помощью собственных рук создать себе независимую жизнь и потерпевшего жестокое поражение, то она была судьбой умерших отцов и матерей многих моих деревенских знакомых или же тех ветхих стариков, которые, как у нас говорят, из годов вышли и в солнечные дни посиживают на завалинке, грея старые кости.

Недавняя судьба этих моих постоянных собеседников, судьбы уже отошедших в землю поколений крестьян, что отработали заданный им жизнью урок и теперь покоятся на заросшем репейником и лебедой сельском кладбище, героические и тяжкие мужицкие биографии жителей этого села как бы прошли передо мною и в прекрасном своей суровой правдой романе Сульвей Хауган «Из земли ты вышел».

Нет нужды, что роман этот о норвежской деревне. Разве не было здесь, под Ростовом, чтобы крестьянская мать, как и Теа из Энгена, лежала, прислушиваясь

к шуму ночной бури, вонзавшей в щели стен ледяные иглы, вспоминала о неудачах мужа, вставала и укутывала тряпьем разметавшихся во сне детей, снова лежала без сна и с тревогой думала: «Если после рождества зима станет совсем суровой, принесет лютые морозы и неистовые бури, она поглотит последние щепки из сарая. А если дождь будет лить изо дня в день, скудные запасы сена на сеновале сгниют от сырости». Кстати сказать, это сено Теа, надев свое лучшее платье, выпросила в долг у старого Хальвара Веннoса, местного богача, который сказал ей при этом: «Твой муж должен прийти и отработать за сено, как только земля оттает».

Видать, дело не только в том, что лютые морозы, неистовые бури, затяжные дожди или беспрестанно палящее солнце угрожают существованию крестьянина, хотя и эта постоянная зависимость от стихийных сил природы накладывает некий общий отпечаток на характеры людей, возделывающих землю. И не потому только находим мы общие черты в облике земледельцев разных стран, что и в Норвегии и у нас под Ростовом, чтобы вырастить картофель, надо сперва вспахать поле; что сено — выросла ли трава на лугах Исландии или в пойме озера Неро — и там и здесь убирают к зиме на сеновал; что один и тот же запах аммиака и навоза стоит в хлеву моей деревенской хозяйки и в тех тесных сарайчиках для скота, какие наблюдал в поселке Гальяно на юге Италии художник и писатель Карло Леви, написавший отличную, на мой взгляд, книгу «Христос остановился в Эболи».

Помимо пока еще существующей всюду зависимости земледельца от природы и кроме сходных навыков и привычек, сложившихся в течение тысячелетий в условиях почти везде одинакового крестьянского труда, имелись, а во многих странах и до сих пор не перевелись, другие причины разительного сходства крестьян между собою.

Земля может быть разной, но тот, кто владеет ею, угнетая бедняка, везде одинаков, называется ли он старостой из Утиредсмири, на которого, чтобы купить у него в рассрочку клочок земли, восемнадцать лет гнул спину Бьяртур, или же его величают Нейпертом, который, унаследовав имение своего умершего тестя Хальвара Веннoса, ввел здесь порядки куда более тяжкие, нежели патриархальная отработка за взятый в долг воз сена. И разве что-нибудь меняется от того, что одни богачи, владельцы латифундий на юге Италии, живут в Неаполе или Палермо, а другие, родовитые помещики из-под Ростова, по преимуществу жили в Петербурге. Разве не одинаковы в своей хищнической сути буржуа из Гальяно, существующие мелким грабежом, и бывшие ростовские кулаки, что пауками сидели в своих хозяйствах.

Но здесь-то как раз начинается коренное различие между моими деревенскими знакомыми и теми крестьянами, которые, будучи литературными персонажами, изображены с такой силой реалистического мастерства, что я не могу не числить их живыми, близкими мне людьми.

Я вспоминал их—героев Халлдора Лакснесса, Сульвей Хауган и Карло Леви, — когда в минувшую годовщину Октябрьской революции получил в подарок небольшую брошюру, написанную моим добрым приятелем Иваном Александровичем Федосеевым, который вот уже скоро четверть века председательствует в одном из колхозов под Ростовом.

Почти в те же годы, когда Карло Леви жил в Гальяно и наблюдал, как тамошние крестьяне молили черноликую Мадонну ниспослать дождь на их жаждущие поля, в колхозе у моего приятеля, как это часто водится на земле, люди страдали от прямо противоположной беды.

«В 1934 году,— рассказывает в своей брошюре Федосеев,— из-за избыточной сырости в колхозе погиб почти весь урожай. Летне-осеннее наводнение 1935 года снова погубило посевы хлебов и овощей».

Случись подобное не в середине тридцатых годов, а несколько раньше, скажем, в начале века или даже в середине двадцатых годов, и о земле, которая кормит ростовских крестьян, можно бы сказать то же самое, что говорит Карло Леви о сожженных полях под Гальяно.

«Земля была слишком твердой, чтобы обрабатывать ее,— с горечью свидетельствует писатель,— оливы начали сохнуть на изнывающих от жажды деревьях; но черноликая Мадонна оставалась бесстрастной, равнодушной природой, чуждой милосердия, глухой к мольбам».

Здесь надо лишь сделать поправку на то, что в одном случае была засуха, а в другом — наводнение, что на юге Италии возделывают одни сельскохозяйственные культуры, а в районах России, расположенных северо-западнее Москвы,— другие, что жители Гальяно молятся Мадонне ди Виджино, тогда как в бывшем Ростовском уезде превыше всех угодников почитаем был святой Дмитрий Ростовский.

Но это ведь частности, а в главном все было бы так же.

Только соединив свои усилия с усилиями себе подобных, земледелец перестает быть одиноким — и не перед одной лишь властью богатого соседа, который, пользуясь несчастьем ближнего своего, купит его за воз сена или мешок пшеницы, но и перед лицом бесстрастной, чуждой милосердия природы, слепо посылающей дождь или засуху.

«Посоветовавшись со специалистами,— пишет мой приятель,— мы приступили в 1936 году к осушению своих земель... В следующем году колхозницы Е. Н. Степанова и А. М. Тюрина на осушенных землях получили по 222 центнера картофеля и по 196 центнеров лука с гектара».

Преимущества социалистического хозяйствования на земле столь общеизвестны, что я не стал бы о них говорить, если бы,

читая о свадьбе в польской деревне пятидесятых годов, не вспомнил вдруг те далекие годы, когда и у нас, в Советском Союзе, крестьянин с душевной мукой, прикидывая и так и этак, решал, как же ему дальше жить.

В ту пору я бывал в украинских степях, с их глинобитными мазанками под камышом, мягкими от пыли летними шляхами, рослыми подсолнухами, кукурузой и пшеницей. Бывал и в лесных русских районах, где среди освободившихся от снега холмистых полей лежали голубоватые валуны, полноводная река несла заготовленные зимой бревна, в глухих деревеньках с высокими рублеными избами пахло оттаявшей землей и мокрой хвоей. Бывал и в белорусской деревне, соломенные крыши которой желтели меж красных по осени полосок гречихи. Вот здесь-то, но только не осенью, а в начале лета на затравенелой полевой дороге, разговорился я с крестьянином из середняков, который, когда я спросил его о колхозе, с наигранной бодростью, скрывавшей тревогу, ответил: «Покуль подождем!» Похожий ответ можно было услышать почти всюду, где я бывал в те переломные годы, потому что, хотя и по-разному выглядели поля и деревни, но одинаковой оставалась душа мелкого собственника, привыкшего жить в одиночку.

И вот они как бы вновь передо мной, мои давнишние собеседники, одержимые сомнениями: синица в руках, дескать, вернее журавля в небе! Пожалуй, ни исследования экономистов и социологов, ни даже поездка в ту деревню, куда в субботу, под третье воскресенье октября, стали с полудня съезжаться гости на свадьбу Зузи Ясноты, не дали бы мне возможности увидеть их так явственно, как это произошло, когда я начал читать Вашу повесть, уважаемая Мария Домбровская.

Свидетельства ученых воздействуют лишь на разум, картины повседневной жизни способны ошеломить своей пестротой и многообразием, и только реалистическое искусство, за которым стоят ум и сердце правдивого художника, изображает действительность такой, что мы словно живем в ней, свободно разбираясь во всем происходящем.

Я читал Вашу повесть на даче под Москвой, поздним зимним вечером, когда за черными окнами смутно белели отяжелевшие от снега ветви деревьев, и сразу даже не понять, как и почему, но из обыкновенных слов возник вдруг осенний день в польской деревне, домик Щепана Ясноты и его жены Малгожаты, запахи праздничных деревенских кушаний, чем-то знакомые черты быта, веселая суета, вызванная приездом гостей, крестьяне и крестьянки, напоминавшие тех, с которыми я встречался четверть века тому назад, и то тревожное ожидание, какое памятно мне по последним дням нашей единоличной деревни.

Трудно передать последовательность, с какой это происходило, быть может, одновременно, но я узнавал и то общее, что всегда существовало между нашими народами, и то, что одинаково у всех тружеников на земле, и какие-то характерные особенности, которые, видать, бытуют сейчас не только у нас, но и в современной Польше, и те проблемы, которые нами уже решены, а у вас еще только решаются.

Не такая уж значительная, казалось бы, подробность, — парень варит жженку, смешивая водку с маслом и сахаром, добавляя к этому толченый мускатный орех. Но как тут было не вспомнить украинскую варенуху, которую приготовляют из водки, меда, изюма и пряностей.

А великолепная старуха, бабушка невесты!

И у нас по деревням на свадьбах встречаются такие бабки,— сидят перед налитой им молодежью рюмкой, которая так и простоит весь вечер, потому что где уж им теперь пить, и поют, точно подрядившись, старинные, вышедшие из моды песни, а дочка или любимая невестка, с милой простотой сунувшая грудь ребенку, вторит старухе.

Да и песни-то почти одинаковые, одного славянского корня,— сходные представления о мире и похожие условия существования, вероятно, породили образность и печаль этих свадебных песен.

Беда, коль бурьяном поле заглушило,
Беда, коль невестку свекровь не взлюбила,
Хоть бы та невестка розы вышивала,
Свекруха ей скажет — день-деньской гуляла!

Это поют бабушка Яснота и Катажина Гондек, а в деревнях под Ростовом, бывает еще, можно услышать на свадьбе такую песню:

Не шиплитесь, гуси серые!
Не сама я залетела к вам.
Как засватал меня сватушко,
Запоручил родной батюшка.
Мне чужой отец — не батюшка,
Мне чужая мать — не матушка,
Безжаленны уродилися:
Из утра будят ранешенько,
Ввечеру кладут познешенько.

И уже другое, нечто очень современное, вспомнил я, когда прочитал, как один из гостей, «работник умственного труда,— говорят о нем люди,— из уездного города», вздумав поощрить двух старомодных певиц, сказал с напыщенной снисходительностью невежественного чинуши из какого-нибудь отдела культуры: «Вы облагородили наше собрание... Это наша прекрасная народная песня... Облагораживайте!..»

Право, ведь он целиком списан с того моего знакомого «деятеля культуры в районном масштабе», который, хорошо зная, какое внимание уделяется нашим правительством сбережению старины, глубокомысленно изрек при виде ростовских древностей: «М-да! Памятник архитектуры!» Нужно ли говорить, что до этого, по-

ка правительство не отпустило миллионные суммы на реставрацию ростовского кремля, деятель сей равнодушно взирал на его разрушение.

Разумеется, эти и многие другие живые подробности, без которых не обойтись художнику, потому что они сообщают произведению достоверность, придают поэтичность среде, в какой действуют главные герои, всего лишь второй или даже третий план, тогда как на первом — мысли и чувства, подобные тем, какие охватывают Малгожату возле постели свекрови или Гжегожа и Михала у могилы матери.

Сколько человечности в том, как с болью и горечью смотрит Малгожата на беззубую ветхую старуху, вспоминая при этом те далекие дни, когда еще невестой поехала она со Щепаном в его деревню, не будучи уверенной, пойдет ли за него замуж, и решила, что пойдет,— очень уж полюбилась ей веселая, живая и милая старуха!

Сцена эта, занявшая лишь несколько строк текста, одновременно вызывает грусть об уходящей жизни, об отшумевшей молодости, заставляет улыбнуться тому, что Щепан, видать, не очень-то бойким был хлопцем, и— что всего дороже — позволяет ощутить то, я бы сказал, нравственное здоровье, какое свойственно людям труда.

Эта же душевная чистота любимых Вами героев, скромных деревенских жителей, присущее им чувство собственного достоинства, ощущается и в мимоходом сказанных словах Малгожаты о том, как любила она некогда варшавского железнодорожника и музыканта Адама Руцинского, приехавшего теперь на свадьбу ее дочери, и в той, берущей за сердце, сцене, где Михал и Гжегож, братья Малгожаты, размышляют о жизненном подвиге их покойной матери. Мне трудно не привести здесь отрывок из этой сцены на кладбище, хотя, быть может, и нет нужды напоминать автору то, что вышло из-под его пера.

«...Они долго стояли неподвижно, и у них обоих, немолодых уже мужиков, градом текли слезы. Сквозь эти слезы они видели мать, как живую, видели всю ее жизнь. Жалкая это была жизнь! Будто и хозяйка, а на самом деле батрачка, вечно гнущая спину на чужой земле, кулацкой и помещичьей; отец был человек болезненный, умер еще в первую мировую войну, и она осталась одна с крошечными ребятишками. Измученная, изнуренная, и все же крепкая, неутомимая, никогда и ни от чего не падавшая духом, она горячо любила детей, но воспитала их в строгих правилах. Они не помнят, чтобы она когда-нибудь прикрикнула на кого-нибудь из них, а между тем они слушались и боялись ее, так как не хотели ее огорчать. И до конца ее жизни они любили мать и теперь жалели, что она не дождалась лучшей доли, которой дождались все ее дети. Умирала мать, глядя на гнетущую бедность Малгожаты, но такой уж она была человек, что только у Малгожаты и хотела жить на старости, потому что здесь больше всего нуждались в помощи и ободрении. У других, более зажиточных детей она бывала только в гостях и опять возвращалась к суровой жизни у своей Малгоси, потому что, говорила она, «никто из вас день и ночь не работает, а моя Малгося по ночам шьет, чтобы не впасть в нищету, так пусть хоть утром поспит, а я за нее все сделаю». Как бы радовалась мать, если бы дожила до нынешнего дня!»

При всем том, что речь идет о польской женщине, о крестьянке из польского села, сколько их, точно таких же женщин на земном шаре, наших старых матерей, и разве не о такой же точно тяжелой крестьянской доле рассказывается в книгах Халлдора Лакснесса, Сульвей Хауган, Карло Леви,— в сотнях книг, соединивших в себе, как и Ваша повесть, правду национальную с правдой общечеловеческой.

Печалишься и сожалеешь вместе с братьями Богусскими, что мать их не дожила до нынешних счастливых дней, и вместе со всеми, кто гуляет на этой веселой свадьбе, радуешься новому дню Польши.

Тень прошлого как бы еще лежит на всем, что происходит здесь, и не только потому, что память о минувшей нужде соседствует с нынешним достатком, но еще и потому, что это прошлое сказывается в таких, например, подробностях, как умиление бабушки Ясноты, вспомнившей тех господ, у которых ее невестка некогда жила прислугой.

«— Ах, невестушка, невестушка,— утирает бабушка слезы.— Давно уж это было, приехала я к тебе на свадьбу, а твоя барыня и говорит: «Малгося, Малгося, дай матушке поесть, дай, говорит, матушке чаю». Мало уж что я помню, а это хорошо мне запомнилось, как твоя барыня говорила: «Дай матушке поесть...»

Как все это по-житейски верно,— барыня-то может быть и хорошей, может оставить по себе добрую память, и в разогнувшем спину трудящемся человеке продолжают жить черты рабства! Правдивость этой маленькой подробности равна правдивости всего, что происходит в повести, в том числе и той мужественной правде, с какой изображается смятение перед возможными переменами, охватившее мужицкие души, тревожное недоверие к существующему рядом кооперативу.

Но ведь и это последнее — тоже тень недавнего капиталистического прошлого, остатки той власти частной собственности, которая цепко держит человека, особенно мелкого крестьянина.

А ему есть чего опасаться: в кооперативе, судя по всему, дела еще идут плохо, тогда как сам он при народной власти живет не худо. Разговоры о кооперативе напомнили мне слова Ленина о том, что крестьяне — трезвые, деловые люди, люди практической жизни, и что им надо разъяснять дело практически, на простых, житейских примерах. И еще я вспомнил, ко-

гда читал описание запущенного парка и облупившегося барского дома, где теперь помещается кооператив, точно такой же парк и такой же дом, куда попал лет двадцать с лишним тому назад и где наблюдал жизнь бывшей батрацкой коммуны, только что перешедшей на устав сельскохозяйственной артели.

Ваша повесть написана с такой силой художественной правды, что я поддался наивному искушению рассказать людям, созданным талантом и воображением писателя, что и у нас все было так же на первых порах, что мой друг Иван Александрович Федосеев, как он вспоминает частенько, не мало сгноил добра, пока научился хозяйствовать, и что за последние три года, как пишет он в своей брошюре, ежегодный доход его колхоза равен полутора-двум миллионам.

Впрочем, все это отлично делает Михал Богусский, городской рабочий, так похожий на тех наших рабочих, которые вели и ведут себя в деревне как добрые товарищи крестьян. Я не убежден, известно ли ему, что Ленин, имея в виду отношение рабочего к трудящемуся крестьянину, писал: «Это не будет приказ командира, а совет товарища». Но эти ленинские слова угадываешь в словах и поступках Михала, и они-то и есть то доброе зерно, которое наверняка примется на крестьянской почве, о чем мечтает растерявшийся и напуганный суровой действительностью ксендз, — они, слова рабочего, а не слова самого ксендза и не слова «работника умственного труда».

Михал Богусский способен мягко и уважительно заметить Зузе, которая удивляется тому, как одеты и говорят бабушка и тетя Гондек: «Это старинное крестьянское платье, и говорят они по-старому... Должно быть, живут в глухой, старой деревне». И с точно такой же раздумчивой мягкостью, за которой угадываешь страстную убежденность, говорит он Малгожате, ищущей истины: «Кооперативы... Жизнь, по-моему, она как дорога... А куда ты по этой дороге жизни идешь? В будущее идешь. Вот и надо хорошенько следить за этой дорогой, чтобы не прозевать, не потерять будущего».

Собственно, тут и конец повести, если не считать заключительной строки об утренней звезде, которая горела на бледном, чистом небе прямо над хатой Яснотов. Но и звезда эта — не столько деталь пейзажа, я думаю, сколько символ, потому что истинное произведение искусства обращено к нам каждой своей строкой, далеко не случайно написанной писателем. И такой вот образ говорит воображению читателя ничуть не меньше, чем высказанная прямо мысль.

Этого можно бы не касаться, если бы не одно обстоятельство.

Одновременно со мной Вашу повесть прочитали два моих товарища-литератора, и мы не то чтобы спорили, но долго рассуждали о том, что та манера, в какой написана повесть, может навести на мысль, будто автор, правдиво изобразив действительность, как бы отошел в сторону, не решился активно вмешаться в жизнь.

Однако сколько художников, столько же и художественных средств изображения действительности, чему множество примеров. Достаточно вспомнить, что в великой русской литературе прошлого почти в одно время звучали одинаково искренние и правдивые голоса Глеба Успенского и Антона Чехова, из которых первый заявлял о своем отношении к действительности прямо и непосредственно, тогда как второй делал это как бы устранившись от изображенной им картины.

Что же до Вашей повести, то здесь, мне кажется, следует обратиться к обаятельному образу Михала Богусского, и не только к его прямо высказанным словам о кооперативах, но и ко всему тому доброму и человечному, что как бы излучает этот городской рабочий, который уходит со свадьбы осененный утренней звездой, вставшей не над одной лишь хатой Яснотов, а над всеми крестьянскими хатами народной Польши. А вслед за утром, как известно, наступает день.

Говард Фаст

ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ

О РОЛИ КРИТИКА

Много лет назад я время от времени рецензировал книги для литературного отдела большой чикагской газеты. Редактором этого отдела был искренний, доброжелательный человек; он стремился к тому, чтобы редактируемое им еженедельное приложение велось честно и было содержательным, — понятия, сливавшиеся в его представлении в одно неразрывное целое. Этот редактор посылал мне книги, которые, по его убеждению, могли заинтересовать меня; обычно это были серьезные книги, отличавшиеся вместе с тем подлинной занимательностью или представлявшие определенный познавательный интерес. Все шло хорошо до тех пор, пока он не прислал мне новый роман на тему о неграх.

После первой же страницы я почувствовал отвращение к книге. Но я не мог получить о ней полного представления, не дочитав ее до конца. Это был отвратительный, лживый роман, в котором на негритянский народ возводилась всевозможная клевета. В нем содержался набор избитых, стереотипных обвинений против негров. Я написал резкую рецензию и выразил в ней возмущение по поводу того, что до сих пор находятся люди, которые все еще пишут такие книги и издают их.

Неделю спустя редактор возвратил мне рецензию; не без некоторого смущения он спрашивал у меня, не проявил ли я чрезмерной резкости, горячности и непримиримости в своих суждениях? В конце концов, указывал он, не может быть, чтобы существовала книга, в которой не было бы пусть незначительных, но все же оправдывающих ее появление достоинств. А кроме того, издатели — большая влиятельная фирма — будут, несомненно, возмущены моей рецензией. Вместе с тем редактор спешил заверить меня в том, что он никогда не оказывал давления на своих рецензентов; в данном же случае им руководит только чувство определенной ответственности за свою газету. Он спрашивал, не сочту ли я возможным в интересах дела изложить свои соображения в менее резкой форме.

Я был раздражен этим письмом, но не мог не признать, что у меня действительно есть склонность излагать свои суждения весьма резко. Я снова перечел свою рецензию, и, хотя мне попрежнему не удалось обнаружить в книге ничего достойного похвалы, я все же несколько смягчил ряд наиболее острых мест.

Ознакомившись с новым вариантом моей рецензии, редактор прислал мне второе письмо. Он извещал меня, что книга послана другому рецензенту и что он опубликует обе рецензии одновременно. Я возразил, подчеркнув, что это беспрецедентный случай и что мне никогда не приходилось видеть две рецензии на одну и ту же вещь, напечатанные рядом, в одном и том же номере газеты. В ответ на мои возражения он вообще отверг мою рецензию и напечатал рецензию другого обозревателя.

Таково лицо нашей коммерческой прессы, таковы нравы, царящие во всех ее разделах. Критика перестала быть критикой, как бы ее ни понимать, и все негодование направляется лишь против тех немногих либеральных книг, которым в наши дни удается проникнуть в коммерческие издательства. Что же касается произведений писателей прогрессивного направления, то их либо вовсе обходят молчанием, либо обрушивают на них яростный поток оскорблений. И никакие медоточивые речи защитников существующего положения вещей, дискутирующих с русскими по вопросам свободы печати, ни на йоту не могут скрыть этого положения. Критика — один из атрибутов свободы, и там, где нет свободы, нет критики.

Я всегда утверждал и продолжаю утверждать, что только наши весьма немногочисленные прогрессивные издания представляют сегодня подлинно свободную американскую прессу. Только эти издания дают мне и другим литераторам возмож-

ность писать так, как нам диктует совесть. Наш единственный «цензор» — наш коллективный разум, наша искренность, наше чувство ответственности за высшие интересы трудовых людей Америки. Я говорю не о трудностях, а об ограничениях, ибо, несмотря на все трудности, мы сами не ставим перед собой никаких преград, все ограничения могут исходить и исходят только от наших противников.

А сколько прогрессивных писателей на вопрос, как они относятся к критике, могли бы ответить словами Эренбурга: «Как может относиться олень к охотнику?»

Уверяю вас, очень многие ответят так. Ибо если в реакционной критике усиливается процесс разложения, то ряд прогрессивных критиков во все возрастающей степени страдает склонностью к догматизму: они все чаще равняются в своих оценках на ложные представления о чистой непорочности — результат чрезмерно строгого подхода к жизни, при котором критик игнорирует плоть и кровь действительности и сводит ее просто к схеме. Эта ограниченность диаметрально противоположна широкому в своей человечности восприятию жизни, столь необходимому для критика; это скорее примитивное отражение осточертевшего всем ученического разбора литературных произведений, который обычно выдается за критику в ежеквартальной университетской печати и в так называемых «научных журналах», метод, получивший столь неуместное название «новая критика».

Это не значит, что от писателей мы требуем ученых трактатов. К сожалению, мы требуем от них слишком малого. Но как часто мы обращаемся с произведением писателя так, как если бы речь шла о трактате. Как часто мы забываем, что прогрессивные писатели составляют лишь небольшую горстку людей, отказавшихся поддаться одурманивающему действию напитка, который с такой щедростью изготовляют рекламные агентства и могущественные издатели. И как часто нам не удается рассмотреть ту неутомимую и трудную борьбу, которую писатель ведет в столь сложной обстановке, борьбу за право любой ценой сохранить свое лицо и правдиво изображать окружающую жизнь.

Наша критика должна быть чем-то бо́льшим, чем просто критикой. Мы работаем здесь, в самом сердце страны, в которой искусство превращено в насмешку, печатное слово унижено до небывалой степени; страны, где телевидение — чудо нашего века — стало зрелищем столь позорным, что зритель благодарен спасительной темноте комнаты, скрывающей краску стыда на его лице; страны, в которой кино превращено в пародию, а книги — в посредственность.

Но кто повинен во всем этом? Не народ. Ибо наш народ продолжает в условиях этой действительности жить своей собственной жизнью, полной реальных надежд, радостей и страданий...

И если мы забываем обо всем этом, мы теряем право называться прогрессивными писателями. Тогда пусть другие, те, кто помнит об этом, заменят нас. Перед прогрессивным писателем стоит почетная задача: изображать ту реальную действительность, в которой он живет. Однако еще слишком часто критики требуют от него, чтобы он изображал жизнь так, словно уже наступил Золотой век. Но век этот еще не наступил. Мы идем к нему, как шли всегда, — через борьбу, страдания и заблуждения.

Прогрессивный писатель обязан знать жизнь, ибо он вооружен наиболее передовым методом познания; и критик должен научиться пользоваться этим методом, проявляя терпение, сочувствие, понимание и прежде всего бесстрашие.

Называть плохое хорошим — самый тяжкий грех критики; это постоянно свойственно реакционным критикам. Понять, почему и насколько плоха или хороша та или иная вещь, дано нам, потому что мы владеем действенным оружием познания. Мы не должны подражать пресмыкательству и ужимкам охваченной страхом буржуазной критики, нас не должна пугать их самая низкопробная продукция, мы должны давать ей спокойную и трезвую оценку. Если мы возьмемся за это с полной серьезностью, то научимся правильно судить о произведениях людей доброй воли.

АНАТОМИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Вряд ли найдется хоть один мыслящий американец, который не пережил бы несколько неприятных минут после того, как прочел сообщение о чудовищном происшествии — убийстве Джоном Джильбертом Грэхемом своей матери и еще сорока трех человек*. Убить родную мать — при одной мысли об этом кровь застывает в жилах; не потому, что речь идет о зверском поступке, — кстати, в мире зверей не существует ничего подобного, — а потому, что это преступление с беспощадной ясностью показывает, до какой степени падения может докатиться человек. Это происшествие поистине можно назвать наглядным уроком анатомии преступления.

В данном случае Грэхем стремился убить только свою мать; но его поступок в значительной степени связан с тем, что для него не представляла никакой ценности не только жизнь его собственной

* Грэхем, как сообщали американские газеты, предварительно застраховал свою мать (без ее ведома) на 65 тысяч долларов, а затем в момент посадки на самолет положил в ее чемодан бомбу замедленного действия, взорвавшуюся во время полета.

матери, но и жизнь человека вообще. По чистой случайности в самолете, который он уничтожил, оказалось сорок четыре человека; можно без труда предположить, что если бы в самолете оказалось четыреста сорок четыре человека, Грэхем не стал бы действовать иначе. Найдутся люди, которые сразу же подыщут объяснение столь чудовищному поведению Грэхема, — они скажут, что он безумен, и совсем не исключено, что они будут правы. Если действия представителей влиятельных американских кругов так часто граничат с безумием, то это, несомненно, в той или иной степени оказывает воздействие и на поведение рядовых людей.

Весьма характерна, однако, та конкретная форма, в которой безумие этого человека нашло свое выражение. Именно об этом и стоит поговорить.

Из сообщений, появившихся в прессе, явствует, что Грэхема толкнули на это преступление не ненависть, не месть и не ревность — Грэхем совершил это преступление во имя наживы. И сколь бы безжалостно это ни звучало, следует сказать, называя вещи своими именами: Грэхем понял, что, уничтожив свою мать и еще сорок три человека, он увеличит свое состояние. Естественно, что это вызывает у нас только чувство возмущения и отвращения; но стоит ли нам удивляться этому? Мы должны задать себе вопрос: а нет ли в поведении Грэхема страшной логики, логики, порожденной событиями последнего десятилетия? Возьмем, например, последний «бестселлер» — книгу Полли Адлер «Не всякий дом — родной дом». Это изложенная со всей откровенностью биография преуспевающей хозяйки перворазрядных публичных домов.

Гнусная и непристойная книга. И не из-за одной лишь порнографичности, а в силу полнейшей ее аморальности, что явствует не только из приведенных в ней взглядов самой мисс Адлер, но и из отраженных ею взглядов ее клиентуры. А клиенты мисс Адлер — столпы общества. Среди них нет ни рабочих, ни простых людей. Это сенаторы, конгрессмены, губернаторы, промышленные тузы, светские бездельники и титулованные джентльмены... И все они как один были польщены тем, что могли причислить мисс Адлер к своим друзьям, — личным знакомством с «мисс Полли» хвастали сливки так называемого «высшего света» Нью-Йорка.

Ведь не секрет, что один только намек на интимное знакомство с мисс Адлер мог быть чрезвычайно полезен любому светскому человеку; но наибольшую славу и преклонение она снискала благодаря успехам в этой древней, как мир, профессии.

В своей книге мисс Адлер подчеркивает, что она ни разу не слыхала ни слова упрека от своих клиентов, — они обращались с ней, как с деловой женщиной. Она была известна тем, что ни разу не выгнала ни одного пьяного; то, что она торговала телами и душами, не доставляло ей особенного беспокойства, поскольку ее клиентура в той или иной мере имела дело примерно с тем же товаром. Они, как и мисс Адлер, получали отпущение грехов гораздо быстрее и проще, чем это предусматривалось какой бы то ни было религией. Миллион долларов мог открыть любые двери и отпустить любые грехи.

Грэхем пошел еще дальше по пути этой примитивной философии, свойственной правящим классам: он убил свою мать и еще сорок три человека из соображений чистой выгоды; и мы должны высказать свое удовлетворение тем, что американский народ сделан из совершенно другого теста.

Многие ученые мужи утверждали раньше, что в Америке не существует деления на классы, нет рабочих, нет богатых и бедных в «устаревшем», марксистском понимании этих слов, а есть единое целое — народ, который дружно черпает из бездонного, неиссякаемого колодца зеленые долларовые бумажки. Так утверждали раньше; однако лживость этих утверждений стала столь очевидной, что даже вышеупомянутые ученые мужи и те могли бы сейчас их опровергнуть. Более того, они могли бы благодарить судьбу за то, что в Америке существуют классы, и особенно за то, что существует могущественный рабочий класс.

Они могли бы быть благодарны, если бы удалось извлечь урок из чудовищного преступления Джона Джильберта Грэхема; ибо, совершив страшное преступление, которое миллионы американцев заклеймили всей душой, он просто-напросто повторил в виде чудовищного гротеска то, что его больное воображение позволило ему разглядеть в поведении кучки власть имущих.

Он, должно быть, вспомнил о бомбе, которую сбросили на японский народ, хотя в этом не было никакой необходимости, и подумал о тех десятках тысяч людей, которые были испепелены этим чудовищным взрывом. Он, наверное, слышал бесконечные запугивания «массированным возмездием» и читал «пророческие предсказания» военных экспертов о грядущей гибели десятков миллионов людей в первые часы атомной войны. Он, разумеется, не забыл позорного скандала, связанного с выпуском вакцины против полиомиэлита. И, быть может, даже сосчитал, сколько детей погибло в результате этой погони за легкой наживой; возможно, он неплохо знал арифметику и сумел высчитать, сколько стоит жизнь одного ребенка по сравнению с жизнью одной или двадцати матерей; может быть, он вспомнил гнусную торговлю наркотиками, которая за последние пять лет превратилась в большой бизнес и принесла с собой горе и страдания тысячам американских семей; возможно, он понял, с какой циничной жестокостью американские нефтяные тресты играют судьбами целых народов, а может быть, в его ушах звучали залпы расстрелов в Гватемале, перед его глазами стояли

дикие расправы, возникали камеры пыток в фашистских тюрьмах.

Может быть, ко всему этому в его сознании присоединился предсмертный вопль Эммета Тилла *. И, наконец, может быть именно тот факт, что убийцы Эммета Тилла остались на свободе, нагло похваляясь перед всем миром своим зверством, как раз и послужил последним толчком к совершенному Грэхемом преступлению.

Мы не знаем, о чем думал Джон Джильберт Грэхем, но мы твердо уверены в том, что совершенный им поступок соответствует гнилой философии меньшинства, и мы воздаем хвалу всем богам за то, что большинство отвергает и осуждает ее.

* Эммет Тилл — подросток негр, подвергнутый не так давно в США „суду Линча".

Лев Никулин

Стамбул и Анкара

(Знаменательные страницы турецкой истории)

Политические деятели, возглавившие национально-освободительное движение стран Востока, несомненно, заслуживают внимания историков и писателей. Речь идет о тех деятелях, которые стремились и стремятся освободить свои страны от пут колониализма, создать в них новые формы государственного строя. Такой выдающейся личностью был Кемаль Ататюрк, которого в Турции звали коротко: «гази», что значит «победитель».

Однажды автор этих строк участвовал в продолжительной беседе с Кемалем Ататюрком, беседе, неожиданной по теме и позволившей довольно ясно представить себе особенности этого своеобразного, сильного характера.

В 1925 году, когда мне впервые довелось посетить Турцию, солдаты в серых папахах, или, как их тогда называли, кемалисты, с боями пришедшие из Анатолии, патрулировали по ночам враждебный, настороженный Стамбул. Победу национально-освободительного движения, во главе которого стоял Мустафа Кемаль, над мрачным наследием прошлого и властью колонизаторов еще нельзя было считать окончательно упроченной. Хотя прошло около трех лет со дня свержения власти султана, но Стамбул сохранил свой разноязычный, космополитический облик. В центре, на Гран рю де Пера, мелькали вишнево-алые фески, кусочки черного тюля прикрывали лица женщин турчанок. А иностранные негоцианты еще чувствовали себя хозяевами города, где многие со вздохом сожаления вспоминали времена султана Мехмеда VI, младотурецких лидеров — Энвера, Талаата и Джемаля, хотя они и привели Турцию к тяжким испытаниям первой мировой войны, к поражению и оккупации. Иностранцы, находившиеся в Турции, надеялись, что будет восстановлен режим «капитуляций», режим особых привилегий, при котором совершившего преступление иностранца судил консул его страны, а не турецкий суд. Но все это наследие старой Турции доживало последние дни — национально-освободительное движение нанесло сокрушительный удар власти султана, вынуждавшего народ к рабскому повиновению иностранцам.

Во второй раз мне случилось побывать в Стамбуле в начале весны 1933 года. Нельзя было не заметить разительной перемены. Стамбул изменился даже внешне: суровый анатолийский ветер снес с головы стамбульцев алые фески и чалмы — головные уборы, характерные для старой Турции. Однако кое-где реакционеры не желали расставаться с феской, но тот же суровый ветер Анатолии, случалось, уносил вместе с ней и голову фанатика. Молодежь уничтожала вывески на улицах с султанским вензелем, на смену арабскому алфавиту пришел латинский, и, что самое удивительное, женщину в чадре можно было встретить лишь в самых отдаленных кварталах Стамбула. Все это несколько напоминало далекие времена петровских реформ. Гран рю де Пера, в прошлом своего рода цитадель колонизаторов, теперь называлась «Истикляль джаддеси» — «Проспект независимости». Площадь Таксим украсил монумент — арка в восточном стиле и скульптурная группа: люди с развевающимися знаменами, а впереди человек с гордой осанкой, как бы оглядывавший с высоты дело своих рук — не только новый Стамбул, но и всю Турцию, возрождающееся независимое государство. Этим человеком был Мустафа Кемаль. Его личность давно привлекала внимание мировой прессы. В то время некий Армстронг, бывший начальник английской полиции в оккупированном союзниками Стамбуле, опубликовал свою книгу о Кемале. Книга называлась «Серый волк», и содержание ее было клеветническим, хотя Армстронг и делал вид, что дает якобы объективное жизнеописание выдающегося государственного деятеля новой Турции.

Мустафа Кемаль родился в 1880 году в небогатой буржуазной семье в Салониках. Получив высшее военное образование, он, как и многие его товарищи по академии, примкнул к младотурецкому движению. В 1908 году, когда лидеры младотурок — Энвер, Талаат и Джемаль — на плечах народа пришли к власти и заняли высокие посты, Кемаль остался в тени, несмотря на заслуги, которые он имел как член тайного революционного общества.

В 1911 году, когда началась итало-турецкая война из-за Триполитании, Кемалю поручили организовать отпор врагу. Тогда он впервые столкнулся с Энвером и оказался в оппозиции к этому склонному к авантюризму искателю славы. Чтобы удалить Кемаля из Стамбула, его назначили военным атташе в Софию: там его и застала первая мировая война. Мустафа Кемаль решительно возражал против участия Турции в этой войне; он понимал, что такая политика не принесет его стране ничего, кроме поражений. К голосу Кемаля в то время никто не прислушался.

Командуя в годы войны войсками в южной части Галлиполийского полуострова, Кемаль отчетливо сознавал, чем грозит Турции прорыв и крушение этого фронта. Он приложил немало усилий для того, чтобы находившиеся под его командованием войска сражались стойко и сохранили за собой эти важнейшие ключевые позиции.

Кемаля глубоко возмущало поведение кайзеровской военщины, чувствовавшей себя в Турции, как в своей колонии, и без колебаний посылавшей на смерть тысячи турецких солдат во имя чуждых им интересов. Во время галлиполийской операции он действовал вопреки указаниям немецкого генерала Лимана фон Сандерса, фактически командовавшего турецкой армией. Позднее, в 1917 году, Кемаль открыто отказался сотрудничать с немецким генералом Фалькенгайном, грубо вмешивавшимся во внутренние дела Турции.

Победа при Дарданеллах, постоянное несогласие с германской военщиной, нескрываемое осуждение авантюристической политики Энвера и его клики — все это уже тогда завоевало Кемалю широкую популярность в военных кругах.

После галлиполийского фронта Кемаль был командирован на кавказский фронт, а затем, в 1918 году, сопровождал наследника престола Вахидеддина во время его поездки в Германию.

Характерно замечание Кемаля об этой «высокой особе»: «...должен признаться, что у меня сразу сложилось впечатление — передо мной сумасшедший».

«Этот человек не сегодня-завтра будет султаном. Что можно ожидать от него?» — писал в своих воспоминаниях Кемаль.

Эта поездка еще более убедила его в неизбежности поражения. Когда же предвидения Кемаля оправдались и Турция разделила судьбу побежденной кайзеровской Германии, ему удалось спасти армию, находившуюся под его командованием в Сирии. Его войска, сохранившие дисциплину и боевой дух, были способны оказывать дальнейшее сопротивление американским, французским и английским колонизаторам, которые пришли в Турцию на смену колонизаторам германским. Когда султанское правительство, пресмыкавшееся перед империалистами Антанты так же, как оно во время войны пресмыкалось перед кайзеровским милитаризмом, потребовало, чтобы в ответ на «джентльменские обещания» англичан оккупанты были вопреки условиям перемирия впущены в Александретту, Кемаль заявил, что в таком случае он подаст в отставку, и закончил свою телеграмму великому визирю так: «Имею честь доложить, что я лишен надлежащей деликатности и не могу ни оценить джентльменство английского представителя, ни отвечать на него указанной любезностью». Когда же начальник генерального штаба Иззет паша предложил Кемалю всемерно содействовать высадке английских войск, Кемаль ответил: «...я приказал силой воспрепятствовать всякой попытке высадки англичан...»

Ясно, что пребывание Кемаля в Стамбуле, оккупированном союзниками, не сулило ему ничего хорошего — в любую минуту он мог быть арестован. Но вот неожиданно Кемалю поручают привести к повиновению анатолийский корпус Карабекир паши. Поступая таким образом, султан и его приближенные пытались популярность Кемаля в войсках использовать в своих интересах. Кемаль назначается инспектором третьей армии и направляется в Самсун. В последнюю минуту тайная полиция получает сведения о том, что Кемаль не только не собирается выполнить позорное поручение, а, наоборот, готовится стать во главе неповинующихся приказам султана войск, во главе начавшегося под влиянием идей Октября национально-освободительного движения. Подписан приказ об аресте Кемаля, но поздно — Кемаль высадился в Самсуне.

О настроениях, владевших Кемалем накануне отъезда в Самсун, можно судить по его воспоминаниям об оккупированном Стамбуле.

«Улицы были полны вооруженных солдат, — писал он о тех временах. — Синие волны Босфора покрылись вражескими кораблями, пушки повернуты вправо и влево (в сторону европейского и азиатского берегов)... Прохожие шли по улицам, прижимаясь к стене, опасаясь обид и оскорблений. Стамбул, со всем его многотысячным населением, казался вымершим. Всюду слышна была одна только вражеская речь... Не удивительно ли, что в обстановке такого унижения нашлись люди, которые могли верить в возможность создания независимого национального правительства».

На совещании в Самсуне Кемаль обрисовал сложившуюся обстановку: султан и правительство в руках врагов. Долг патриота не позволяет подчиняться приказам из Стамбула. Кемаль понимал, что перевес сил на стороне оккупантов; он задержал сдачу оружия союзникам и, находясь под защитой отрядов, поднявшихся на партизанскую войну, собрал и объединил уцелевшие воинские части.

В результате двух конгрессов, созванных представителями национально-освободительного движения в Эрзеруме и Сивасе, власть в Анатолии фактически оказалась сосредоточенной в руках Представительного комитета национально-революционных организаций. Председателем комитета был избран Кемаль. 16 марта 1920 года оккупанты разогнали в Стамбуле оттоманский парламент. В Анкаре открылось Великое Национальное собрание, к нему перешла власть в Анатолии. Султан объявил священную войну «безбожникам и мятежникам» — сторонникам Национального собрания. Но уже широкие народные массы становились под

знамя борьбы за национальное освобождение. Стамбульские лодочники и грузчики с риском для жизни перевозили в Анатолию оружие. Минуя кордоны жандармерии и оккупантов, сотни патриотов переправлялись через Босфор, чтобы принять участие в вооруженной борьбе против колонизаторов.

Одним из первых актов Великого Национального собрания было обращение к советскому государству. 26 апреля 1920 года Мустафа Кемаль отправил В. И. Ленину письмо. Он предложил установить дипломатические отношения и просил оказать помощь Турции в ее борьбе за независимость.

Советское правительство во главе с В. И. Лениным, провозгласившее политику мира, равноправия и уважения национального суверенитета больших и малых наций, сразу же откликнулось на просьбу турецкого народа. В своем ответе оно выразило согласие установить дипломатические отношения с Турцией, а также оказать содействие ее борьбе против колонизаторов. Конкретным проявлением дружеских отношений между Турцией и Советской Россией была посылка миссии в Анкару.

Осенью 1920 года в Москву прибыла первая делегация Великого Национального собрания Турции для заключения договора о братстве и дружбе между РСФСР и Турецкой республикой.

То было суровое для Турции время борьбы за свою независимость. В самом Национальном собрании возникали колебания — то принимались решения идти на мир с султаном и перенести заседания Национального собрания в Стамбул, то борьба между сторонниками независимости и султаном вновь обострялась. Севрский договор был подписан, на оккупационные войска возложили миссию произвести раздел Турции; эти войска, почти не встретив сопротивления, заняли европейскую часть Турции и высадились в Измире, откуда повели наступление вглубь Анатолии. Обескровленный балканскими войнами и первой мировой войной народ жаждал мира. Стамбульские негоцианты-экспортеры требовали восстановления связей с иностранными капиталистами. В Национальном собрании некоторые политические деятели боялись принимать далеко идущие решения, определяющие будущее Турции. Тогда-то и прозвучал голос Мустафы Кемаля.

— И вы, — говорил Кемаль, имея в виду колеблющиеся и нерешительные элементы, — вы называете себя турками... Готовьте победу — и она будет вашей!

Воссозданная Кемалем и его соратниками армия остановила наступление оккупантов. Интервенты потерпели поражение в решающих боях на реке Сакарья. Через год десант оккупантов, высадившийся в Измире, был сброшен в море. Севрский договор перестал существовать.

Выступая в Великом Национальном собрании после победы на Сакарье, Кемаль заявил: «Мы с Россией — друзья. Ибо Россия раньше, чем кто-либо другой, признала наши национальные права и проявила к ним уважение...»

1 ноября 1922 года была упразднена власть султана. От высадки в Самсуне до создания независимой Турецкой республики — вот исторический путь, пройденный Мустафой Кемалем. Слава, завоеванная им как полководцем-победителем, была подкреплена славой, которую он снискал в качестве государственного деятеля-реформатора.

Эпоха борьбы за независимость навсегда останется в памяти турецкого народа. В Анкаре мне показывали старый, ничем не примечательный с виду дом — здесь происходили заседания Великого Национального собрания, в этих стенах Кемаль призывал к сопротивлению оккупантам.

Анкара — этот провинциальный город. местопребывание губернатора провинции, называемого «вали», превратился в столицу Турции. По соседству с руинами тысячелетней древности и крытыми черепицей домиками времен султанов вырос новый столичный центр. Широкий проспект Каваклы Дере — улица иностранных посольств, правительственных зданий. Здесь возвышается дворец Чанкая — резиденция Мустафы Кемаля.

Сюда в памятное мартовское утро 1933 года направились мы — сотрудники советского полпредства и автор этих строк. С огромным интересом ожидали мы встречи с человеком, чье имя так часто упоминалось в мировой печати. Мы только что прочитали статью одного видного европейского журналиста, который утверждал, что Кемаль не только сумел ввести новые формы правления в Турции, новый алфавит, новую одежду, но и не устрашился посягнуть на монархию, некоторые религиозные обряды, на архаические формы быта.

В то же время иностранная печать сообщала, что, совершив такие дерзновенные политические акты, Кемаль якобы почти отошел от непосредственной политической деятельности и занялся историческими изысканиями, языкознанием. Об этом, как о некой причуде, сообщали иностранные корреспонденты из Турции.

Дом президента республики — Чанкая — походил скорее на виллу. В архитектуре этого здания было что-то напоминавшее яхту для увеселительных прогулок. Это ультрасовременное здание не имело ничего общего с ослепительной роскошью султанского дворца в Стамбуле.

Мы прошли в вестибюль, отделенный от внутренних комнат стеклянной стеной. За нею был виден бассейн, в нем — зеленоватая, прозрачная, как аквамарин, вода, над бассейном потолок из стекла, сквозь который падали лучи солнца. Проходя через террасу, мы на мгновение задержались —

отсюда открывался живописный вид на город.

Дежурный адъютант проводил нас в кабинет-библиотеку, которую легко было принять за кабинет ученого, а не государственного деятеля. На столах что-то вроде школьных таблиц и огромных фотоснимков древней скульптуры. Образ Кемаля как-то сразу ассоциируется со сражениями в Триполитании и Сирии, на Домлу-Пынарских высотах и у Сакарьи; поэтому мы ожидали увидеть полководца, военного человека с головы до ног. Но в комнату вошел пожилой, все еще стройный человек в синем штатском костюме; приветливо поздоровавшись, он затем тепло поблагодарил нас за преподнесенные ему труды наших ученых-ориенталистов и сразу начал разговор о том, что его более всего тогда интересовало. Во время беседы, длившейся около двух часов, он говорил о памятниках турецкой культуры в бассейне Средиземного моря.

Мы всматриваемся в крупные черты лица Кемаля. Точно высеченные из камня подбородок и нос, нависшие брови, серебристые нити в волосах. Голос Кемаля кажется глуховатым, но временами он обретает металлический тембр. Излагая свои мысли, он словно спорит с невидимым противником, повелительно и даже гневно доказывая ему ценность древней турецкой культуры. И тут мы убеждаемся в том, что вовсе не мир чистой науки привлекает Кемаля, а, в конечном счете, политическое значение его гипотез. Он стремится подвести научный фундамент под созданный им государственный строй. Религиозные основы старой Турции расшатаны, духовные лица ислама оказались на стороне реакции, на них нельзя опереться. Значит, надо искать нечто новое, что могло бы воодушевить нацию, убедить народ в том, что не халифы, не султаны и не ислам были опорой величия и славы Турции. Этой опорой является многовековая культура турецкого народа.

Затем Кемаль атакует тех своих соотечественников, которые осмеливаются предпочитать арабскую и иранскую культуру турецкой. Он горячо отстаивает чистоту подлинного турецкого языка, живой народной речи. Литературный турецкий язык оторван от народных масс; его надо вернуть народу, очистить от наносных, непонятных ему слов. Кемаль упоминает, в частности, о недавно обнародованном законе, предписывающем муллам немедленно перевести с арабского на турецкий язык тексты молитв. Дело не только в том, что смысл молитв должен быть общепонятен; одновременно надо нанести удар по реакционерам — и пусть они попробуют сопротивляться... Он хмурится, глаза его засверкали холодным стальным блеском.

Беседа на эти темы продолжается и за завтраком. Мимоходом Кемаль интересуется, видели ли мы «Гази-Чифтлик», сельскохозяйственную опытную ферму близ Анкары. Узнав, что в Анкаре мы пробыли дольше, чем в Стамбуле, он удовлетворенно кивает головой. Новая Анкара — его детище, ставшее сердцем Турции.

Кто-то из иностранных корреспондентов писал, что Кемаль, принимая гостей, держит себя с некоторой надменностью. Нет, он был прост в обращении, приветлив, гостеприимен. Прямым, открытым взглядом смотрел он в глаза своему собеседнику. На его лице запечатлелись следы многих испытаний: он не только стоял на фронте под вражескими пулями, но и вел еще более опасную войну с султаном, с реакционным духовенством, религиозными фанатиками, империалистами и колонизаторами, с теми, кто стремился отдать Турцию в руки иностранных капиталистов.

В 1927 году, обращаясь к турецкой молодежи, Мустафа Кемаль говорил: «Турецкая молодежь! Твоей первой обязанностью является всегда охранять и защищать национальную независимость, Турецкую республику. Это единственная основа твоего существования и твоей будущности. Это является самым дорогим для тебя сокровищем». В этом призыве были высказаны Кемалем его самые заветные мысли, которым он придавал огромное значение.

Кемаль, конечно, солдат, военачальник. И вместе с тем, когда мы его видели, Кемаль предпочитал, чтобы его изображали не в военной форме и не во фраке, с высшим орденом независимости, а в скромном пиджаке, в виде учителя, который обращается к народу и просвещает его.

Он продолжал свой огромный труд по преобразованию страны, был верен своим старым дружеским связям с Советским Союзом и в 1935 году произнес такие знаменательные слова: «Дружеские связи, оставшиеся со времен наших черных дней, турецкий народ хранит как незабываемое, самое дорогое воспоминание. Турецко-советская дружба до сих пор принесла только добро и пользу миру во всем мире. И в дальнейшем она будет только полезной и благотворной».

Много сил отдал Кемаль Ататюрк для того, чтобы некоторые страны навсегда расстались с привычным представлением о Турции как о колонии. В этом своем стремлении он всегда получал поддержку от бескорыстного друга турецкого народа — Советского Союза. Вот почему с горечью думаешь сейчас о том, что старые, доброжелательные, равноправные отношения между нашими двумя странами омрачены. Но заветы Кемаля Ататюрка, отвечающие самым кровным интересам Турции, не могут исчезнуть бесследно. Тем более, что традиционная, проверенная на деле дружба Турции со своим северным соседом в равной степени, как напоминал Кемаль, «полезна и благотворна» для обеих стран. Этот разумный призыв Кемаля не следует забывать ни нам, ни Турции.

Жан Эффель

ХУДОЖНИК-ПОЭТ

«Эта книга должна стать поэмой во славу человека, произведением, исполненным любви к нему и верой в него».

Такими словами французский художник Жан Эффель закончил предисловие к своему сборнику «Сотворение человека».

Удивительно прежде всего то, что слова эти принадлежат талантливому юмористу и сатирику. Ведь с незапамятных времен считалось, что человек, из-под пера которого выходят карикатуры, обычно бывает прежде всего мизантропом, человеконенавистником или, по крайней мере, убежденным скептиком. Однако Жана Эффеля в нарушение всех канонов можно назвать прежде всего именно поэтом.

Его юмор насквозь пронизан лирикой; перелистывая его альбомы, любуясь мягкой линией рисунка, восхищаясь разнообразием выдумки, наслаждаясь остроумием метких подписей, убеждаешься еще раз в правоте художника, назвавшего свой цикл поэмой; это действительно поэма, притом глубоко человечная и, пожалуй, по своему мироощущению родственная творчеству другого замечательного художника — Чарльза Чаплина.

С понятием карикатуры, сатирического рисунка, оперирующего прежде всего подчеркиванием, преувеличением, связывается часто и понятие деформации, искажения человеческой природы в целях достижения наиболее острого, гротескового эффекта.

Такая манера рисунка, нарочито небрежного, хлесткого и как бы впитавшего в себя влияние все еще не вышедшей из моды сюрреалистической и кубистической стилистики, стала особенно распространенной за последнее время на Западе и широко проникла как в журналы, так и в мультипликационный и рекламный рисунок. Человек в этих зарисовках, иногда метких, большей частью очень злых, возникает как некая геометрическая формула, схема, обнажающая иррациональные, уродливые формы этой фантастической марионетки, возомнившей себя человеком на том же примерно основании, на каком возомнил себя важной персоной нос, сбежавший с лица гоголевского майора Ковалева.

Всему этому миру взбесившихся уродцев, толкущихся на страницах буржуазных журналов, противостоит мир, созданный карандашом Жана Эффеля.

Мягкая улыбка вместо сардонической усмешки, плавная, как бы музыкальная линия вместо судорожного конвульсивного штриха сразу резко отличают стиль Эффеля от манеры и манерности большинства современных ему буржуазных карикатуристов.

Стиль художника — это образное выражение его мировоззрения, и несомненно, что творческие особенности Эффеля неразрывно связаны с его взглядом на мир, на природу человека, на место его в жизни общества.

Жан Эффель — прежде всего гуманист в самом широком и всеобъемлющем смысле этого понятия; это особенно ценно и необычно, когда речь идет о художнике, видящем свое призвание и назначение в том, чтобы изображать достойное осмеяния в окружающей его жизни.

Сатирик, юморист, политический карикатурист, берущий на прицел все уродливое и несообразное, смешное и зловредное, дол-

жен быть по природе своей, по складу своего ума человеком, настроенным философски. Размышления, наблюдения и обобщения — только они могут придать карикатуре, гротеску, юмористическому рисунку ту силу выразительности, точности и остроты, которая позволит им из однодневки превратиться в летопись эпохи.

Еще со времен античного театра, а позднее и театра Шекспира известно, что из-под комической маски шута или «глупца», их устами легче всего произнести беспощадный приговор своему времени. И сегодня фильмы Чаплина — не только чередование забавных и трогательных происшествий, но и свидетельство горьких размышлений умного и тонко чувствующего современника о судьбе капиталистического мира.

Жан Эффель — это художник-философ. Философия его оптимистична и наполнена верой в человека, так как он тесно связал свою судьбу и творчество с жизнью и борьбой трудовой Франции. Эффель хорошо знает и страстно любит свой народ. Силу свою как художник он обрел не только в результате того, что непрерывно совершенствовал мастерство, впитывая лучшие традиции национальной культуры, но и потому, что активно участвовал в каждодневной и суровой борьбе французских трудящихся, жил как передовой гражданин своей родины. Вместе с ней прошел он долгий и трудный путь — и в трагические годы оккупации, когда чередовались часы отчаяния и надежды, и в послевоенные годы, когда радостный смех освобождения сменился гневом при виде новых заокеанских оккупантов, пытающихся хозяйничать на многострадальной и неувядающей французской земле.

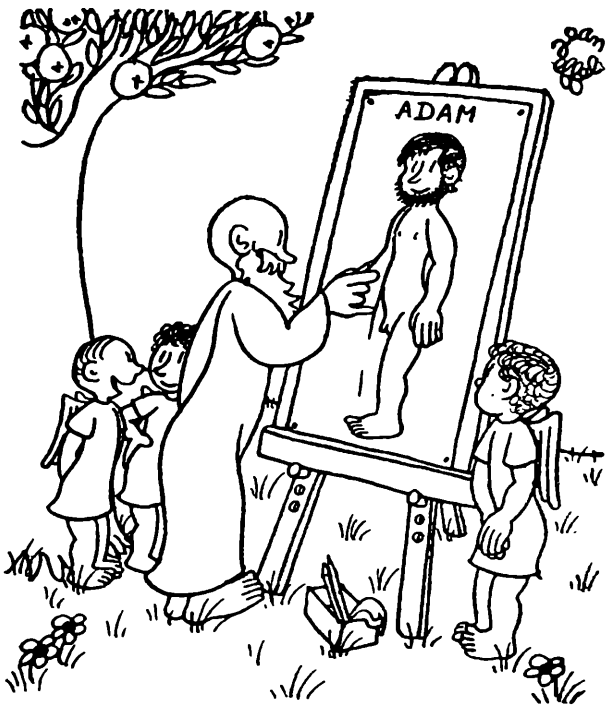
В буржуазных справочниках трудно найти сведения о жизни и творчестве такого художника. В иных случаях не слишком скупой на слова «Ларусс» ограничился

Титульный лист альбома
„Сотворение человека“

Чтобы вам помочь, нужен по меньшей мере человек.

О, святая простота!

В нем же нет ничего человеческого!



Он рисует как бог!

Крутой замес.

Да ведь он будет альпинистом!

на сей раз трехстрочной справкой. Из нее мы не можем даже узнать, когда Франсуа Лежён, родившийся 12 января 1908 года в Париже, избрал себе псевдоним «Жан Эффель», где он учился, как воевал в рядах французской армии против фашистских оккупантов, как, наконец, силой своего таланта пробился в первые ряды сорока тысяч официально зарегистрированных художников Парижа.

Большая, настоящая слава пришла к нему после войны. Однако ей предшествовали годы неустанного труда. Уже с 1934 года мы встречаем имя молодого художника под серией злободневных карикатур в прогрессивной французской прессе. Ни одно из сколько-нибудь заметных политических событий тех лет не проходит мимо его внимания. Здесь отчетливо обнаруживается, что доброта и гуманизм Эффеля ничуть не помешали ему сатирически зло заклеймить и коричневую чуму фашизма, и политическую ритурнель предвоенных лет Франции, в которой мелькают трагикомические фигуры ее тогдашних правителей. Всеми средствами своего искусства художник протестует против их предательской политики, против постыдного мюнхенского торжища, против кровавых авантюр отечественного «фюрера» — полковника де ла Рока.

Ныне гнев художника опять разит новых оккупантов, на сей раз одетых в военную форму другого образца. Кульминационным пунктом этой серии остроумных и метко бьющих в цель рисунков-памфлетов, которую, пожалуй, можно было назвать циклом «Янки, убирайтесь домой!», является превосходный лист, где изображена знаменитая Триумфальная арка на площади Звезды в Париже: как вздыбленный конь, одним ударом своего крыла она подкидывает в воздух и выбрасывает за пределы страны американского генерала Риджуэя.

А дьявол не дремлет...

Что-ж, получается неплохо...

Во всем этом цикле Эффель взволнованно, остро и лаконично выразил чувства и мысли французского народа, ни на минуту не прекращающего борьбу за свободу и национальную независимость.

Рисунки этого периода войдут в историю культуры Франции, так же как «Окна РОСТА» великого Маяковского вошли в историю борьбы советского народа в годы гражданской войны.

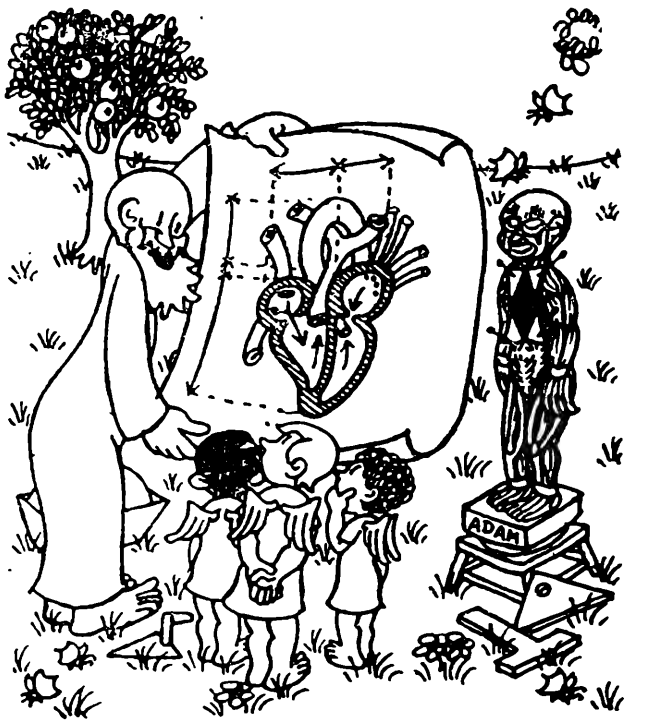
Наряду с этими рисунками — ударами сатирического бича Эффель создает как бы новый жанр серийного рисунка на, казалось, необычную и рискованную тему. Цикл называется «Сотворение мира». Основным персонажем становится бог Саваоф со своими сподручными — ангелятами и его противником — лукавым, хвостатым дьяволом.

Однако трактовка этих «божественных» персонажей не оскорбляет религиозных чувств даже у самых щепетильных в этом отношении людей. Добродушный старикан Саваоф не становится сам по себе объектом сатирического осмеяния. Он лишь предлог для очень тонкого, остроумного и глубокого проникновения в самую сердцевину проблемы возникновения и развития человеческого общества, прихотливо и своеобразно переплетающегося с событиями на злобу дня.

Шутливый комментарий к каждому рисунку, написанный, конечно, самим художником (отличительной особенностью его творчества вообще является органическое единство темы и рисунка), строится на контрасте между торжественной патетикой библейской темы и прозаизмами повседневной речи современника. Поэтическая ирония и бытовой юмор умело и тонко поставлены на службу передовому материалистическому миропониманию.

Перед нами один из альбомов этой серии — «Сотворение человека».

Фундамент нашего общества должен быть прочным...



Четыре цилиндра, три такта, шестьдесят пять оборотов в минуту... Гарантийный срок—сто лет.

Поместим его слева—оно красное...

Не ошибись—восемь метров тонких, два метра толстых...

Наградим-ка его аппендиксом.

Крои прямо по моей фигуре.

Саваоф задумывает проект создания Адама. Ангелята. такие же проказливые и шустрые, как гамены парижских улиц, восторженно встречают замысел седобородого старикана. Они кидаются к кочнам капусты. «О, святая простота!» — замечает Саваоф, глядя на них с улыбкой, и приступает к первым, чисто «научным» чертежам-проектам будущего человека.

«Он рисует как бог!» — восклицают ангелята, окружившие Саваофа, уверенной рукой наносящего на кальку первые абрисы фигуры Адама. Чертеж поступает в «разработку». Один из ангелят изображает фигуру с крыльями, но с ослиной головой. Саваоф возмущен. Он бракует этот проект. Будущий человек не должен быть помесью ангела с животным. Второй маленький сотрудник, следуя моде, набрасывает кубистический рисунок. Папаша Саваоф также бракует его. С позиций «реалистического искусства» он взывает: «В нем же нет ничего человеческого!». Саваоф набрасывает кроки будущих разновидностей человеческой природы. Здесь и китайцы и негры. Восторженный хор ангелят восклицает: «Он действительно создал новый жанр!»

Пользуясь, так же как и современные дети — игрушкой «конструктор», Саваоф наконец изготовляет скелет человека, собирая его из отдельных металлических палочек. Он смазывает отдельные суставы из масленки, так же как это делает механик, обслуживающий автомобиль.

Коварный дьявол, наблюдающий из-за дерева, увешанного плодами познания добра и зла, улучил минутку, подкрался к уже почти готовому человеку и приделал аппендикс, этот никому не нужный отросток слепой кишки. Наконец настал момент водружения сердца. «Поместим его слева — оно красное...» — говорит Саваоф.

Глядите—мальчик!

До чего хорош!

Дадим ему душу взаймы—пусть не забудет вернуть!

Невозможно пересказать эту серию, до краев наполненную выдумкой, наблюдательностью, иронией и юмором и в то же бремя проникнутую глубокой верой и любовью к человеку!

«Запасы» изобретательности Эффеля поистине неистощимы. До сих пор почти в каждом номере газеты «Леттр франсез» помещается новый рисунок из серии «Сотворение мира». В одном из недавних номеров «Леттр франсез» он значится под цифрой 340, и в каждом из них та же глубина мысли, тот же тонкий юмор, то же острое, живое чувство современности.

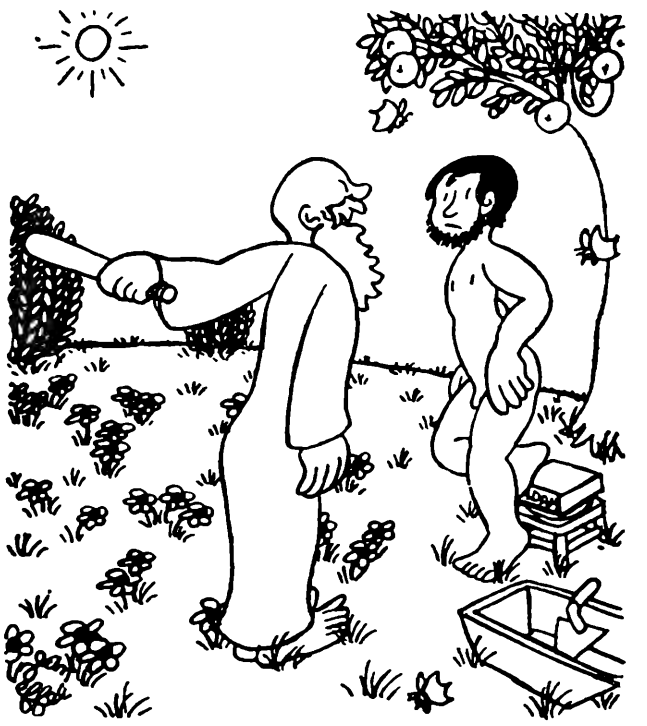
Жан Эффель, художник-патриот, создатель нового жанра и в то же время славный продолжатель традиций Домье и Гаварни, вошел сейчас в пору расцвета своего обаятельного таланта.

В одном из журналов промелькнуло сообщение о том, что чехословацкие мультипликаторы хотят создать фильм по рисункам Эффеля. Прекрасная идея! Рисунки Эффеля станут доступными еще для миллионов зрителей и за пределами его родины, они будут увековечены на пленке.

Впрочем, и без того знакомая подпись художника в виде цветка, украшающая, подобно печати китайских каллиграфов, уголок каждого его листа, сохранится в сокровищнице мировой культуры как еще одно свидетельство плодотворности творчества тех мастеров, которые черпают свое вдохновение из чистого, неиссякаемого и полноводного источника народной жизни.

Сергей Юткевич.

Стоит дунуть как следует—и он сразу задвигается...



Иди, не спотыкайся...

НОВОЕ ИЗДАНИЕ ВАЛЛЕСА

□

Jules Vallès, Jacques Vingtras, v. 2—Le Bachelier, Paris, Les Editeurs Français réunis, 1955.

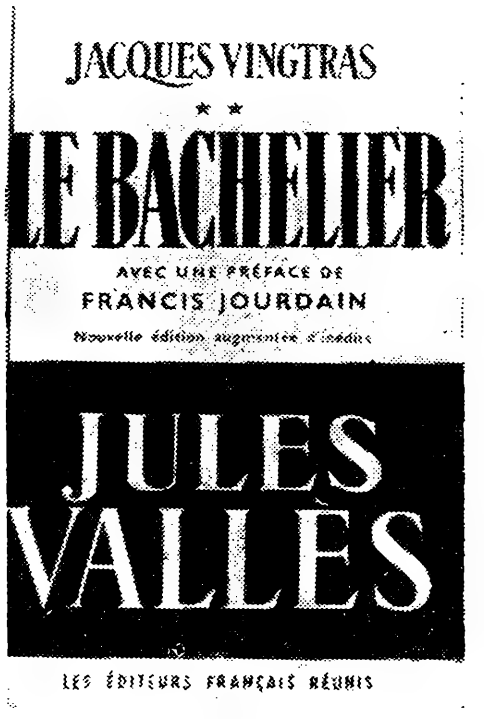
□

Творчество Жюля Валлеса приобретает все большую известность во Франции. Предпринятое прогрессивным издательством «Эдитер франсе реюни» собрание его сочинений отражает этот растущий интерес к произведениям писателя-коммунара. До настоящего времени вышло семь томов. Еще несколько томов готовится к печати. В осуществлении издания принимают участие видные деятели французской коммунистической партии и рабочего движения: Марсель Кашен, Рене Лакот, Гастон Монмуссо. Собрание сочинений Валлеса выходит под общей редакцией Люсьена Шелера.

Естественно, что в центре внимания издателей находится самое значительное произведение Валлеса, его трилогия «Жак Вентра». Трилогия?.. В письме от 22 мая 1878 года Валлес писал своему другу литератору Артюру Арну, что за второй частью эпопеи «последует еще, по крайней мере, один том — то есть третий — и, без сомнения, еще и четвертый, который будет завершением всего замысла...» Таким образом, Валлес предполагал создать не трилогию, а тетралогию. Но он не успел написать четвертый том своей эпопеи, который должен был быть посвящен жизни героя в изгнании. И от «Изгнанника» — а так, очевидно, должен был называться этот роман — не осталось даже набросков. До нас дошла только переписка Валлеса с Артюром Арну, содержащая ценные сведения о жизни Валлеса в Англии. Эти-то письма автора «Жака Вентра», большинство из которых приходится на период с 1872 по 1880 год, и были изданы Люсьеном Шелером в качестве четвертого тома эпопеи Валлеса. Опубликование «Изгнанника», своеобразного дополнения к трилогии, значительно обогащает наше представление о замечательном писателе-коммунаре, раздвигает рамки творческой биографии Валлеса.

Издатели не ограничились публикацией неизвестных произведений Валлеса. Произведения уже широко известные дополнены материалами черновых рукописей.

Так, выпущенная в сентябре 1955 года вторая часть эпопеи — роман «Баккалавр» — содержит большое количество ранее не публиковавшихся отрывков и вариантов. Для этого была использована черновая рукопись романа, описанная в 1934 году, но еще не опубликованная. Общий объем не вошедших в печатный вариант кусков доходит до 180 страниц. Люсьен Шелер отобрал из них наиболее законченные и интересные, отказавшись от публикации всего рукописного наследия Валлеса. Так, глава «Гасконцы, битва», являющаяся определенной параллелью к главе «Дуэль», не включена в новое издание, хотя она и представляет собой вполне законченное целое. По словам Шелера, образ Вентра в этой главе явно не удался автору. Всего в настоящем издании романа опубликовано до 50 страниц ранее не печатавшегося текста.



Характер отрывков различен. Это и подготовительные наброски, так и оставшиеся незаконченными, и вполне обработанные фрагменты. Это или лирические отступления, или дополнительные описания, или мелкие эпизоды, интересные сами по себе, но задерживающие стремительно разворачивающееся действие. Есть тут и отражение литературных взглядов Валлеса — отрицательный отзыв о творчестве реакционного романтика Шатобриана, рассуждения о подлинно революционной поэзии и в связи с этим — критика Беранже за его пассивность в момент бонапартистского переворота 1851 года. Во многих отрывках нашли отражение взгляды Валлеса-революционера, сторонника подлинно революционных методов борьбы.

В новом издании опубликованы две самостоятельные

главы книги. Глава «Надо заводить связи» рассказывает о знакомстве Жака Вентра с несколькими молодыми людьми, редакторами одной газетки. Более значительна глава «Я принимаюсь писать для театра». В ней рассказывается о попытке героя заняться драматургией. В иронической форме пишет автор о неудачных потугах Вентра писать в стиле Виктора Гюго. Валлес показывает, что весь этот «местный колорит», все эти крепостные стены, заговоры, убийцы в масках уже изжили себя. «Мне остается, — пишет Валлес, — лишь современная драма, пьеса жизненная, то есть со всеми страстями, величием и пороками нашего времени...»

У этого эпизода, как, впрочем, и у всего романа, есть своя биографическая основа: Валлес долгое время собирался написать драму. В отличие от своего героя, он написал ее. Называется она, как пишет в предисловии к «Баккалавру» Шелер, «Парижская коммуна». Эта пьеса в 5 действиях и 11 картинах еще не издана. Будем надеяться, что и она скоро увидит свет, как и другие неизданные произведения писателя-коммунара.

А. Михайлов.

ВОСПОМИНАНИЯ О ХРИСТО СМИРНЕНСКОМ

□

„Спомени за Христо Смирненски", София, Български писател, 1955

□

Институтом болгарской литературы и Институтом Христо Смирненского издан сборник воспоминаний о великом болгарском поэте и революционере Христо Смирненском, которого Георгий Димитров назвал болгарским Маяковским.

Это первый сборник воспоминаний о Смирненском. Большая часть помещенных в нем материалов написана по просьбе института, изучающего жизнь и творчество этого поэта, и публикуется впервые. В редактировании и составлении сборника принимали участие известные болгарские писатели Г. Караславов, Хр. Радевский, Л. Стоянов, сестра поэта Н. Измирлиева и др.

Сборник составлен из воспоминаний родных и друзей поэта, членов ючбунарской партийной организации (Ючбунар — рабочий квартал Софии, где долгое время жил Димитров; ючбунарская комсомольская и партийная организации дали болгарскому рабочему движению целый отряд смелых революционеров-борцов, среди которых Вылчо Иванов, Вылко Червенков, Елена и Тодор Димитровы — сестра и брат Георгия Димитрова, Димитр Константинов), товарищей по совместной работе в журналах, где сотрудничал Смирненский. Помещенные в хронологическом порядке воспоминания воссоздают образ поэта на протяжении всей его недолгой, но яркой жизни (он родился в 1895 году, умер в 1923 году).

Живые свидетели рассказывают о его детских годах и юности, о его кипучей партийной и литературной деятельности, о его большом человеческом обаянии, жизнерадостности, работоспособности, остроумии, скромности.

Еще юношей Христо стал страстным борцом за коммунизм. Он отдавал всего себя кипучей партийной работе, всегда шел впереди — будь то демонстрация, будь то «штурм кварталов» (так назывался обход рабочих улиц из дома в дом с книгами и прокламациями для ведения бесед и предвыборной агитации). Один из друзей Смирненского, Борис Понев, пишет, что Христо запомнился ему смелым, не щадящим себя, всегда в первых рядах манифестантов, или с оружием в руках охраняющим подпольную типографию, или проводящим тайное партийное собрание. В дни стачки транспортных рабочих, которой руководил Г. Димитров, Христо бросился на одного из конных полицейских, плетью разгонявших рабочих, и стащил его с лошади.

Вот одно из воспоминаний Александра Жендова: «Демонстрация. Навстречу ей летит отряд конной полиции. Первые ряды дрогнули, смешались, люди стали разбегаться. Христо остался один. Раскинув руки, он кричит: «Товарищи! Зачем же бежать? Сделаем живую стену!» Демонстранты возвращаются и, взявшись за руки, живой стеной останавливают полицию».

Смирненский хорошо знал русскую литературу. Его любимые писатели — Пушкин, Толстой, Достоевский. Он помнил наизусть целые страницы Горького, очень любил Лермонтова. В институте Христо Смирненского хранится принадлежавшая ему книга стихов Рылеева. Смирненский пробовал переводить Рылеева и Кюхельбекера на болгарский язык.

Товарищи Смирненского по литературной работе вспоминают о его необычайной способности писать всюду, в любых условиях. Примостившись где-нибудь в уголке, он на обрывке оберточной бумаги набрасывал свои стихи, которых с нетер-

пением ждала рабочая София.

Все авторы воспоминаний отмечают близость Смирненского простому, рабочему люду. «Мои бледнолицые братья», — называл он рабочих в своих стихах. Рабочим табачных фабрик, их тяжкому труду посвятил Смирненский прекрасное стихотворение, в котором он пишет о «желтой гостье» — туберкулезе, болезни нищеты, от которой вскоре погиб и он сам.

В сборник включены также волнующие воспоминания бывших политзаключенных и партизан, говорящих об огромном воздействии, которое поэзия Смирненского, огненная, опаленная дыханием борьбы, оказывала на людей, шедших на смерть во имя жизни.

Его стихи, пишут бывшие политзаключенные, помогали им переносить долгие годы заточения, поддерживали бодрость, укрепляли веру в победу дела рабочего класса. Зная об этом, тюремщики запрещали произносить стихи Смирненского вслух. В одном из воспоминаний читаем: «После сентябрьского восстания, когда я с группой товарищей вернулся из Советского Союза, нас долго держали в фашистской полиции. В камере окна были замазаны, стены были в грязи. В этой мрачной дыре, высоко над дверью, гвоздем в стене были выцарапаны стихи Смирненского». Бывшие партизаны пишут, что стихотворения поэта, переложенные на музыку, становились боевыми партизанскими песнями.

В сборнике помещено много интересных, до сих пор не публиковавшихся документов: рукописи, рисунки, последнее письмо поэта к сестре, а также ранее неизвестные фотографии Христо Смирненского.

Б. Бердичевский.

РОМАН ЛЕОПОЛЬДА ИНФЕЛЬДА

□

Leopold Infeld, Wybrancy Bogow, Warszawa, Ksarko i wiedra, 1954.

□

Париж 28 июля 1830 года. Толпы парижан с криками: «Да здравствует Конституция!», «Долой Бурбонов!», «Да здравствует свобода!»— направляются к городской ратуше. Король Франции Карл X встречает народ градом картечи. В толпе раздается призыв: «К оружию!» На улицах вырастают баррикады. В пороховом дыму за свободу и права народа сражаются и умирают патриоты Франции, борцы за республику...

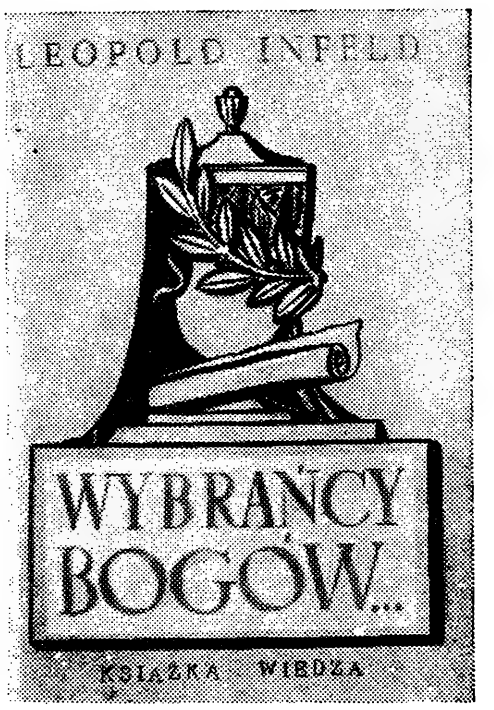
На высокую стену, окружающую здание парижской «Эколь Нормаль», взбирается юноша — Эварист Галуа, воспитанник школы, который вопреки запрету и угрозам пытается выбраться на улицу и присоединиться к восставшему народу.

Это — один из эпизодов романа «Любимец богов» выдающегося польского ученого, члена бюро Всемирного Совета Мира Леопольда Инфельда о гениальном французском математике и революционере Эвариете Галуа.

В качестве одного из эпиграфов к книге взяты слова Менандра: «Любимцы богов умирают молодыми». И действительно, Эварист Галуа погибает, не достигнув зрелого возраста. Он родился в 1811 году и был убит в 1832, двадцати двух лет от роду.

Перед читателем проходят дни учебы Галуа в Лицее и «Эколь Нормаль». Галуа быстро овладел знаниями в области математики. Он интересуется важнейшими математическими проблемами того времени и работает над ними, в частности — над решением алгебраических уравнений выше четвертой степени. Свою первую работу в этой области он посылает на отзыв в Академию Наук. Однако профессор Коши, которому она была направлена, не удосужился ее прочесть и выбросил в корзину. Сходная судьба постигла и вторую работу Галуа, посланную им в Академию Наук. В ней просто не смогли разобраться, а затем постарались затерять.

Изгнанный из «Эколь Нормаль» за свои республиканские убеждения, Галуа поступает на службу в артиллерию Национальной гвардии и готовится выступить на стороне народа против короля Луи-Филиппа. Привлеченный к суду по обвинению в посягательстве на жизнь короля, Галуа произносит в зале суда смелую



обличительную речь, направленную против монархии. Горячее одобрение, с которым присутствовавшие встретили речь Галуа, заставило присяжных вынести ему оправдательный приговор. Однако королевская полиция вскоре снова арестовала Галуа, и он был посажен на девять месяцев в тюрьму. Вскоре после выхода из тюрьмы Галуа погиб на дуэли, которая была вероломно подстроена полицией.

Инфельд дает волнующее описание последних часов Галуа перед дуэлью. Стремясь к тому, чтобы его работы дошли до потомков и были правильно поняты ими, Галуа еще раз кратко излагает существо

своей научной теории. Приближается назначенный час, он заканчивает свой последний труд словами: «У меня больше нет времени».

Работа Галуа, дошедшая до потомков, имела огромное влияние на развитие математики в целом, а также отдельных ее отраслей: алгебры, геометрии, физики и даже механики. Математикам нашего времени хорошо известны понятия: «группа Галуа», «ряд Галуа», «теория Галуа». «В ночь перед смертью, — пишет Инфельд, — он достиг бессмертия».

Леопольд Инфельд начал интересоваться Эваристом Галуа и его эпохой еще в школьные годы. Он работал над романом, живя в годы войны в Канаде. Книга вышла в Варшаве в 1951 году. Для второго издания автор написал послесловие, в котором дал анализ соотношения между имеющимся фактическим материалом о Галуа и тем, что является его творческой фантазией. Инфельд убедительно показывает, что выдающийся ученый и борец за свободу пал жертвой существовавшего в то время во Франции реакционного режима.

А. Мельников.

СКАЗКИ НАРОДОВ БИРМЫ

□

Maung Htin Aung, Burmese Folktales, Geoffrey Cumberlege, Oxford University Press, 1954.

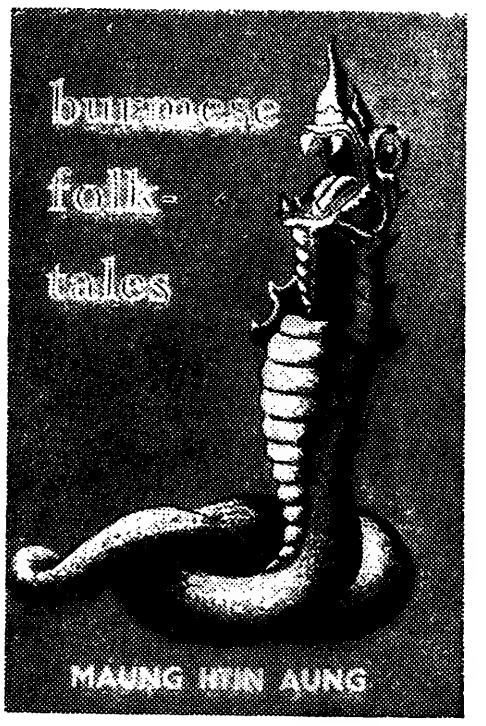
□

Однажды, рассказывается в бирманской народной сказке, Слон и Тигр поспорили, кто сильнее. По условию, сильнейший должен съесть того, кто слабее. Слон проспорил, но мудрый Кролик взялся спасти Слона. Он подговорил всех зверей и птиц кричать: «Могучий Кролик победил Слона и теперь ищет Тигра!» Только Обезьяне Кролик ничего не сказал, потому что, как всем известно, они с Обезьяной в давней вражде. Тигр не поверил, что Кролик такой сильный, но на всякий случай взял Обезьяну в союзники. Вот стали они ждать в условленном месте. Смотрят, идет Слон, на нем восседает Кролик, ест что-то белое и кричит: «Я ем мозги Слона, а скоро буду есть мозги Тигра!» Тигр не на шутку перепугался, а Обезьяна его успокаивает: «Да это же бананы!» Тигр было успокоился, *а* Кролик тут и говорит: «Ах ты, никчемная Обезьяна! Хвастала, что приготовишь мне большого жирного тигра, а привела какого-то замухрышку!» Тигр решил, что Обезьяна и в самом деле заманила его в западню, и пустился наутек. С тех пор Тигр и Обезьяна — заклятые враги.

Эта сказка вводит нас в круг популярнейших персонажей бирманских сказок. Здесь же мы знакомимся с наиболее распространенной в них темой: грубая сила и корыстолюбие состязаются с народным умом и смекалкой и неизменно проигрывают.

Бирманские сказки полны непередаваемого обаяния. Их теплый юмор и тонкая ирония создают тот чудесный колорит, за которым открывается глубоко национальное, особенное, неповторимое. Здесь есть свои любимые герои, о которых рассказывается с симпатией и добродушной улыбкой, есть магические превращения и волшебные чары, есть повествования о безграничной любви и трогательной привязанности.

Вот мудрый и справедливый, порой лукаво-хитрый Кролик, вызывающий в памяти и малайского Канчиля, и негритянского Братца Кролика, и русского Кота-Котофеевича. Мудрый Кролик всегда готов помочь в беде, он — неизменный судья во всех тяжбах и спорах. Вот недалекий и кровожадный Тигр, похожий скорее на придурковатую старую кошку, чем на коварного злодея. Вот Господин Голова, родившийся без туловища, но благодаря сообразительности и уму ставший зятем царя, а потом превратившийся в юношу ослепительной красоты. Вот Лунная Богиня, приходящая днем помогать бедняку, а вечером возвращающаяся на небо приглядывать за луной.



Один из наиболее популярных персонажей бирманских сказок — Нага-дракон, пришедший в сказку из древних верований и религиозных преданий Бирмы. Подобно Змею-Горынычу русского эпоса, Нага-дракон — чудовище со змеиным туловищем. Одного взгляда его достаточно, чтобы испепелить любое живое существо. Нага-дракон легко оборачивается человеком, но стоит ему заснуть — он мгновенно вновь становится чудищем. Живет Нага-дракон под водой и под землей, потому что до смерти боится Галон-птицы, которая не прочь полакомиться его мясом. В жизнь людей Нага-дракон не вмешивается, но от него зависят землетрясения и водовороты.

Знаете ли вы, почему у Баклана нет хвоста? Потому что жадный Баклан украл хвост у Рыбы и в наказание его заставили расстаться с собственным.

Что это за тени на луне? Это толкут рис старик и мальчик, которых Лунная Богиня взяла на луну. Куда девался язык у Крокодила? Откуда на небе радуга? Почему у Кролика дергается нос? Обо всем этом узнаешь, прочитав «Бирманские народные сказки».

Впервые сборник «Бирманские народные сказки», включающий семьдесят сказок Верхней и Нижней Бирмы, был издан в Калькутте в 1948 году на английском языке. Сказки собрал, обработал и перевел на английский язык ректор Рангунского университета Монг Хтин Онг. В 1954 году этот сборник был переиздан — и снова на английском языке. На бирманском языке сборник, как сказано в предисловии, еще не выходил. В предисловии Монг Хтин Онг рассказывает об исторических корнях и о некоторых особенностях бирманской сказки.

В. Артемов.

„ФИЛАНТРОПЫ В РВАНЫХ ШТАНАХ"

□

R. Tressell, The Ragged Trousered Philantropists, London, Lawrence & Wishart, 1955.

□

Одним из крупных событий литературной жизни Англии в прошедшем 1955 году был выпуск первого полного издания известного романа Р. Трессела о жизни английских рабочих — «Филантропы в рваных штанах».

Этот роман написан рабочим-маляром более сорока лет назад и имеет свою историю. В 1911 году в ливерпульской больнице умер от туберкулеза рабочий-социалист Роберт Нунен. Незадолго до смерти он передал дочери толстую рукопись своего романа «Филантропы в рваных штанах», который писал в течение шести лет. Роман был подписан псевдонимом Роберт Трессел.

Только через три года после смерти автора роман наконец увидел свет. Издатели не решились опубликовать рукопись Трессела целиком. Текст был сокращен и искажен редакторской обработкой: исключен образ социалиста Бэррингтона, искусственно приделан пессимистический конец и т. д. Однако и в таком обезображенном виде книга Трессела пользовалась исключительной популярностью среди английских рабочих.

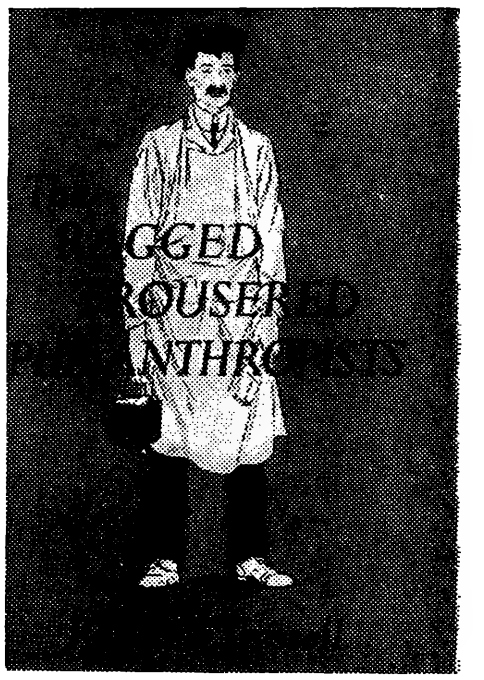
Рукопись романа тем временем затерялась, и английскому литературоведу Ф. Боллу стоило немалых трудов разыскать ее. В 1946 году он выкупил ее у частного владельца, что и позволило прогрессивному издательству «Лоренс энд Уишарт» издать полный текст романа Трессела.

Накануне выхода нового издания Гарри Поллит писал: «Прочтите эту книгу! Пусть она зажжет в умах и сердцах людей, способных мыслить и чувствовать, тот же огонь ненависти и возмущения против капитализма и его приспешников, какой она зажгла во мне».

Ироническое название «Филантропы в рваных штанах» направлено против рабочих, покорно мирящихся со своим бесправным положением. Весь роман пронизан горькой иронией и глубоким презрением к тем, кто униженно пресмыкается перед хозяевами и отказывается от активной борьбы за свои права.

Трессел глубоко переживает трагедию той части английского рабочего класса, которая не только не понимает своих классовых интересов, но и не желает их понимать. Социалист Оуэн, образ которого не лишен автобиографических черт, пытается объяснить своим товарищам по работе причину их нищеты, но встречает в ответ только насмешки. Рабочие голосуют на выборах за буржуазных кандидатов. Даже их идеалы отвечают понятию буржуазной респектабельности; они сторонятся безработных демонстрантов, стараются во что бы то ни стало казаться обеспеченными, состоятельными, хотя их дети питаются хуже, чем собаки и кошки богатых.

Образы социалистов Фрэнка Оуэна и Джорджа Бэррингтона противопоставлены не только миру капиталистов, который они обличают, но и всем «филантропам в рваных штанах», вместе с которыми они работают.



Перед читателем проходит целая галерея образов строительных рабочих — от престарелого Джека Линдена, попадающего после увольнения в работный дом, до молодого ученика Берта Уайта, которого, быть может, ожидает та же участь. Трессел дает правдивую картину жизни английских рабочих: нечеловеческие условия труда, постоянные лишения и вечный страх потерять работу.

Конец романа полон оптимистической веры в конечную победу социальной справедливости: «Человечество пробуждается после долгой ночи рабства и скорби и восстает из мрака, которым оно так долго было опутано, с надеждой взирая на свет, который разрывает и рассеивает темные тучи, так долго закрывавшие от него ясное небо...»

Удались Тресселу образы «отцов города», членов муниципального совета — Суитера, Раштона, Дидлама и Грайднера, которых он именует не иначе, как «разбойниками с большой дороги». Не менее выпукло нарисован образ злейшего врага рабочих, управляющего строительной фирмой Хантера, прозванного рабочими «Несчастьем».

Писательская манера Трессела-сатирика заставляет вспомнить лучшие образцы английской сатирической литературы прошлого, которые он любил и у которых учился: Свифта, Фильдинга, Диккенса. Трессел не обладал профессиональным литературным мастерством, однако подкупающая жизненность ситуации романа и сегодня привлекает к этой книге многочисленных читателей, среди которых находит отклик народный юмор и беспощадная сатира Трессела. Этим читателям близка и дорога основная идея книги — мир может быть перестроен, если мы будем бороться за свои права.

Английская прогрессивная критика высоко оценивает роман Трессела как одно из ранних явлений социалистической литературы в Англии.

В 1924 году вышел сокращенный русский перевод книги Трессела. Это издание стало библиографической редкостью. С выходом полного текста романа «Филантропы в рваных штанах» становится очевидным, что нужно заново перевести это произведение на русский язык.

А. Николюкин.

РАССКАЗЫ О ПОЛЬСКИХ КОММУНИСТАХ

□

Stanisław Wygodzki,
Pusty plac, Opowiadania,
Panstwowy Instytut
Wydawniczy, Warszawa, 1955.

□

В 1955 году вышел в свет сборник рассказов польского писателя Станислава Выгодского «Опустевшая площадь». Советские читатели знают С. Выгодского как поэта — его гражданская лирика печаталась в русских переводах еще в тридцатые годы. За истекшее десятилетие он опубликовал несколько поэтических сборников, ряд повестей и рассказов.

Новый сборник рассказов С. Выгодского, привлекший внимание польской литературной общественности, интересен прежде всего своей тематикой. В сдержанной, безыскусной манере автор рассказывает о скромных, мужественных людях, кто своим повседневным, самоотверженным и, на первый взгляд, неприметным трудом подготовлял победу над фашизмом. Немецкая коммунистка, с риском для жизни доставляющая важные партийные документы в кишащий гитлеровцами центр (рассказ «Двойное дно»), юная комсомолка, переправляющая в Словакию через Закопане добровольцев Интернациональной бригады («В горах»), беспартийный бухгалтер, который приютил у себя коммуниста и предпочел смерть предательству («Опустевшая площадь») — таковы герои рассказов.

Автор рисует их в столкновении с врагами, в острых напряженных ситуациях. Атмосферу этой борьбы хорошо отражают слова героя рассказа «Опустевшая площадь»: «Я знал, кто этот человек, я не сомневался, что он разыскивает меня. Но у меня мелькнула мысль: он пришел ко мне или за мной? Враги прикидываются друзьями, друзья зачастую не имеют права открыть свое истинное лицо».

В рассказе «Опустевшая площадь» беспартийный бухгалтер, почти случайно втянутый в водоворот революционной борьбы, попадает в тюрьму, где действует прославленная Мокотовская коммуна. Среди ее членов — участники боев 1905 года, люди, встречавшие в 1917 году в Петрограде Ленина, соратники Дзержинского. Многие сидели в этой же камере в царское время, затем в период оккупации Варшавы армией Вильгельма II во время первой мировой войны, теперь они здесь по воле фашистского правительства Польши. Встреча с ними оставляет неизгладимый след в памяти бухгалтера. И хотя он возвращается в свою мелкобуржуазную среду и попрежнему стоит в стороне от политической борьбы, много лет спустя, в период гитлеровской оккупации, он, не колеблясь, спасает товарища по тюремной камере и сам погибает как истинный польский патриот и борец.

Рассказ «В горах» повествует об участии польских коммунистов в борьбе испанских республиканцев. Коммунистическая партия Польши организует переправу добровольцев через горы в Словакию, где им уже не угрожают польские жандармы. Выгодский очень тонко раскрывает чувства героини — молодой польки: гордость оказанным ей доверием, восхищение людьми, за чью жизнь она отвечает.

Выгодский умеет строить свои рассказы на драматических и напряженных ситуациях. В «Опустевшей площади» коммунист, скрывающийся от гитлеровцев, слышит, как допрашивают человека, предоставившего ему кров, как его заставляют рыть себе могилу; немецкая коммунистка с фальшивым паспортом вынуждена ночевать в гостинице, где ужинает орава пьяных штурмовиков («Двойное дно»).

Мы видим в борцах-коммунистах, выведенных на страницах его рассказов, не ходульных геров, а людей из плоти и крови, которым свойственна преданная дружба и горячая любовь, сыновьи чувства, мягкий юмор и преклонение перед красотой.

В этом удача автора.

Р. Меркина.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРИЯ

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА „ГЛОБУС ФЕРЛАГ“

В связи с десятилетием существования венского издательства «Глобус ферлаг» газета «Эстеррейхише фольксштимме» отмечает плодотворность его деятельности.

«В последние годы,— пишет газета,— издательство «Глобус ферлаг» стремилось дать слово новому поколению австрийских писателей. Так, антологией «Круг имеет начало» (см. «Иностранную литературу», № 1, за 1955 год, раздел «Среди книг») издательство открыло для читающей публики ряд новых или малоизвестных талантливых авторов...»

Газета подчеркивает, что в этом издательстве вышли книги Фучика, Фаста, Амаду, Арагона, Андерсена Нексе, Киша, а также Горького, Эренбурга и других.

„СВИДАНИЕ С ФЕДОРОМ ШАЛЯПИНЫМ“

Под таким заголовком газета «Винер цейтунг» поместила сообщение о том, что в связи с празднованием 70-летия кинорежиссера Г. В. Пабста был организован просмотр снятого им в 1933 году во Франции фильма «Дон Кихот», главную роль в котором играет Федор Шаляпин.

«Это известие,— пишет газета,— привлекло многих любителей оперы, с удовольствием воспользовавшихся случаем для свидания с великим русским артистом». Напомнив о триумфе Шаляпина в Венской опере, где он исполнял роль Бориса Годунова, газета заключает: «Было и грустно, и приятно еще раз встретить его образ на экране...»

ФИЛЬМ ПО ПОВЕСТИ ПУШКИНА

Режиссер Йозеф фон Баки поставил в Вене широкоэкранный цветной фильм «Дуня», названный по имени героини уже экранизированной много лет назад немецкой кинематографией повести А. С. Пушкина «Станционный смотритель». (Как известно, в Советском Союзе по той же повести был сделан фильм «Коллежский регистратор».)

Сообщая о постановке фильма, западногерманская газета «Тагесшпигель» помещает ответ режиссера-постановщика на раздавшийся в прессе упрек в «бедности замыслов», свойственной якобы кинорежиссеру, берущемуся за то, что было уже сделано до него.

«...Существуют произведения,— заявил фон Баки,— которые должны экранизироваться многократно». «Такой вещью — и, по всей вероятности, даже типичным образцом такой вещи — является для Й. фон Баки пушкинское произведение»,— замечает «Тагесшпигель».

По словам режиссера, новый фильм во всем отличается от прежнего. «Если десять разных режиссеров возьмутся экранизировать эту пушкинскую повесть, получится десять совершенно разных результатов... Если я подхожу к теме иначе, чем мой предшественник, то я делаю это не из желания соригинальничать и не из-за боязни присвоить себе идеи моего коллеги...

...Возможно, через десять или двадцать лет еще один режиссер снова откроет, что едва ли какая-либо другая вещь лучше подходит для экранизации, и выпустит «Станционного смотрителя» номер три».

Газета «Фрейес фольк» считает, что в фильме «Дуня» не передана социальная атмосфера этого классического произведения Пушкина.

АЛЖИР

„ПО ВЕЧЕРАМ ОН КРАСНОГО ЦВЕТА“

В парижском издательстве Галлимар вышел роман алжирского писателя Рене Катала «По вечерам он красного цвета». Название романа связано с интересной особенностью алжирского цветка кетми: утром его лепестки белого цвета, днем они становятся розовыми, а вечером — красными...

Роман Катала рассказывает о судьбе алжирского юноши Махмуда. Рассказ ведется от лица француза, учителя одной из алжирских школ. Учитель говорит о нескольких своих встречах с Махмудом, который был его учеником в 1936 году.

Махмуда с детства приучали уважать и любить французов; но годы идут,

и он воочию убеждается в том, что далеко не все французы испытывают те же чувства к алжирскому народу. И Махмуд все больше ожесточается против колонизаторов, угнетающих его родину. Он становится революционером, его преследует полиция. В 1952 году, в Тунисе герой умирает.

Рецензируя эту книгу, французский еженедельник «Леттр франсез» высоко оценивает ее идейные и художественные достоинства. Писатель ярко изобразил алжирские города, толпы на улицах, маленьких школьников и тех детей бедняков, которые не имеют возможности посещать школу. И хотя сам Рене Катала, по словам рецензента «Леттр франсез», несколько испуган смелым поведением своего героя, но чувствуется, что он как автор горячо любит народ Алжира и честно и откровенно показывает современную жизнь этой страны.

АНГЛИЯ

КИНО — НА СЛУЖБУ МИРУ

В Лондоне состоялась четвертая ежегодная конференция киносекции организации «Писатели в защиту мира». На конференции обсуждались вопросы: о характере развития современной кинематографии, о достижениях киноискусства в борьбе за мир, а также о тенденциях, враждебных делу защиты мира.

Основным докладчиком был Седрик Белфрейдж, высланный из США редактор еженедельника «Нэйшнл гардиан». Он посвятил свое выступление основным направлениям современной американской кинематографии. Белфрейдж подробно остановился на системе «черных списков», существующей в Голливуде. «В настоящее время,— сказал он,—в «черных списках» числятся 214 операторов, 106 сценаристов, 11 режиссеров и 4 продюсера». Он упомянул и о так называемых «серых списках», куда вносятся фамилии неугодных кинопредпринимателям технических работников.

Представитель английского профсоюза киноработников Кристофер Брюнел рассказал о положении в английской кинематографии. Он довел до сведения собравшихся, что киносекция организации «Писатели в защиту мира» собирается создать фильм о разрушении и послевоенном восстановлении Ковентри.

Конференция впервые обсудила также вопрос о характере передач английского телевидения. В ней приняли участие представители многих профсоюзов и кооперативных организаций.

НОВЫЙ РОМАН ГРЭХЕМА ГРИНА

Английская печать уделяет значительное внимание новому роману Грэхема Грина «Тихий американец». Пресса отмечает новую для этого писателя проблематику романа.

Обозреватель «Таймс литерари сапплмент» говорит даже о «новом направлении» в творчестве Грина, поскольку место обычных для него религиозных проблем здесь заняли проблемы морально-политические, что, по мнению обозревателя, свидетельствует об «определенном изменении умонастроения мистера Грина». В то время как реакционная критика (скажем, в лице Эвлина Во) сожалеет о том, что Грин от «возвышенной» религиозной тематики вернулся к «земным темам», прогрессивная пресса горячо приветствует писателя, который предпочел в данном случае «животрепещущую современную тему».

«Рано или поздно человек должен стать на какую-нибудь сторону, если он остается человеком»,— эти слова из книги Грина, по мнению газеты «Дейли уоркер», характеризуют ее проблематику.

Новый роман Грина посвящен войне во Вьетнаме, причем писатель выражает в нем свое возмущение этой войной. До написания романа Грин побывал во Вьетнаме. В центре произведения два героя: «тихий американец» Пайл, сотрудник американской экономической миссии и тайный агент разведки; он снабжает деньгами антинациональные и антидемократические круги и выступает как «пугающий символ вмешательства Америки в дела других народов» («Трибюн»); его противник, английский журналист Фоулер — немолодой, циничный, как бы ни во что не верящий человек, не потерявший, однако, совести и чувства чести. Убедившись в том, что Пайл помогает врагам миролюбивого вьетнамского народа и хладнокровно, без колебаний убивает женщин и детей, Фоулер решает, что его самого необходимо уничтожить, и принимает участие в осуществлении своего решения. В споре с американцем, отвечая на его утверждение о том, что «вьетнамцы не хотят коммунизма», Фоулер заявляет: «Они хотят иметь достаточно риса. Они не хотят, чтобы в них стреляли. Они не хотят, чтобы дни проходили, похожие один на другой. Они не хотят, чтобы белые, находящиеся вокруг, навязывали им свою волю».

Характерно, что ряд газет стремится всячески затушевать политическую и идейную направленность романа. Так, например, рецензент «Таймс литерари сапплмент», ничего не говоря о политической роли и террористической деятельности Пайла, как она изображена в романе, называет его «искренним и добродетельным», хотя и «ошибающимся идеалистом». Эвлин Во, выступая на страницах «Санди таймс», занимает иную позицию. Прямо называя Пайла секретным агентом американцев, он вместе с тем обвиняет Фоулера в связи с коммунистами и стремится вся-

чески дискредитировать последнего.

В то время как некоторые газеты отождествляют мысли Фоулера с идеями автора («Таймс литерари сапплмент»), Э. Во категорически отрицает возможность такого отождествления. Признавая, что Грин намеренно ведет рассказ от имени Фоулера, Во хочет видеть здесь только проявление «дурного вкуса» писателя, а решение Фоулера убить Пайла приписывает исключительно ревности.

Другие газеты не разделяют мнения Эвлина Во и подчеркивают большие достоинства романа, реалистическое изображение «нужды и страданий множества людей, желающих жить». Газета «Трибюн» отмечает, что книга написана с прозрачностью, не свойственной обычной манере Грина. «В первый раз,— говорится на страницах «Трибюн»,— в произведении этого писателя можно почувствовать, что жизнь не так печальна, что каждый день приносит с собой какую-то радость».

«Дейли уоркер» также считает, что роман «Тихий американец» — «лучшая книга» Грина. «Долг писателя — говорить правду, как он ее видит»,— утверждал Грин. В романе «Тихий американец» Грэхем Грин пробился к правде» («Дейли уоркер»).

РЕМБРАНДТ В БРИТАНСКОМ МУЗЕЕ

В ознаменование 350-летия со дня рождения Рембрандта в Британском музее (Лондон) была открыта выставка его рисунков, офортов и гравюр. Выставка состояла из четырех разделов: один был посвящен предшественникам Рембрандта, два — графическим произведениям самого художника и один — произведениям его учеников и художников позднейшего времени, находившихся под его влиянием. Рембрандт был представлен этюдами, пейзажными рисунками и портретами.

„МАТУШКА КУРАЖ" ПО РАДИО

Британская радиовещательная корпорация (Би-би-си) несколько раз передала радиопостановку пьесы Бертольда Брехта «Матушка Кураж». Радиоспектакль поставлен режиссером Р. Д. Смитом. Для исполнения главной роли матушки Кураж он пригласил австрийскую драматическую актрису Марию Фейн. Театральный критик газеты «Ньюс кроникл» назвал ее после этой постановки «лучшей актрисой, выступавшей в 1955 году по радио». Оценивая реалистичность всего радиоспектакля и особенно центральной роли, тот же критик писал: «Основное впечатление от постановки — ее «зримость». Я до сих пор «вижу» эту старую храбрую женщину, потерявшую всю свою семью, «вижу», как она, впрягшись в свою повозку, пошатываясь, уходит в темноту снежной ночи». Английские газеты, в том числе и консервативный еженедельник «Обзёрвер», в своих рецензиях отметили успех пьесы Брехта. И одна из причин этого успеха заключается, по их мнению, в ее антивоенной направленности.

ЗЛОБОДНЕВНАЯ РАДИОСАТИРА

По мнению театрального обозревателя газеты «Дейли уоркер», самой удачной передачей английского радио за последнее время следует считать сатиру канадского писателя Рубена Шипа «Расследователь».

В ней подвергаются сатирическому осмеянию террористические кампании в США, причем главный герой передачи, по словам обозревателя, очень напоминает сенатора Маккарти, в чем может убедиться «каждый, кто видел его в кинохронике».

Краткое содержание передачи сводится к следующему. Американский сенатор после смерти отправляется на небеса, оказавшиеся «весьма неразборчивыми», и становится там членом комиссии, в состав которой входят фанатики и изуверы всех времен и народов, в том числе Торквемада и судья Матер из Салема, прославившийся своей «охотой на ведьм». Комиссия подвергает многих знаменитых деятелей прошлого допросу, причем заставляет их «сознаться» в «подрывной деятельности».

Автор остроумно использует подлинные цитаты из произведений допрашиваемых. Так, например, Мильтон говорит:

«...ужасный шум мне режет ухо — крик сов, кукушек, обезьян, ослов, собак».

«Я запрещаю вам говорить о членах комиссии»,— кричит сенатор.

В результате «расследований» почти все, пребывавшие в раю, направляются в ад, где они начинают проводить реформы среди грешников. Что касается сенатора, то он продолжает развивать бурную деятельность «по очистке рая» от нежелательных элементов и наконец умудряется вызвать на допрос самого господа бога, правда, «в качестве свидетеля». Тут выясняется, что он явно переборщил. Разгневанный бог изгоняет его, дьявол отказывается принять его в ад, и он поневоле вынужден возвратиться на землю, где его сажают в сумасшедший дом как неизлечимого больного.

О КРИЗИСЕ ТЕАТРА И ЕГО ПРИЧИНАХ

В Лондоне вышел сборник «Театр 1954—1955 годов», включающий ряд статей о нынешнем уровне английского театрального искусства и справочный материал по репертуару.

Авторы, представленные в сборнике, придерживаются весьма различных взглядов; но вывод, к которому

они приходят, одинаков: современный английский театр переживает кризис. «Дейли уоркер» указывает, что критик Айвор Браун свысока обвиняет во всем зрителей, Дж. Б. Пристли винит Шекспира, поскольку современным авторам трудно с ним «состязаться». Однако, по мнению той же газеты, основная причина всех затруднений заключается в совершенно другом обстоятельстве. Речь должна идти о бедности современного репертуара и о том, что антрепренеры отказываются ставить пьесу, «невзирая на ее художественные достоинства, если нет уверенности, что она принесет прибыль». Такой сугубо коммерческий подход, естественно, обедняет репертуар и отзывается на всем уровне театрального искусства в стране.

ЭКСПОНАТ № 3013 БРИТАНСКОГО МУЗЕЯ

Экспонат под номером 3013 — это папка с рукописью последней комедии Бернарда Шоу, оставшейся незавершенной. Ее описал лондонский корреспондент западногерманской газеты «Тагесшпигель», осматривая обширную коллекцию рукописей в Британском музее.

Знакомство с шестнадцатью страницами, написанными в 1950 году 94-летним Шоу, показывает, как утверждает «Тагесшпигель», что перед нами — лишь черновой набросок комедии. Название ее — «Почему она не хотела («Why she would not») — не поддается точному объяснению.

Действие комедии начинается с того, что какой-то бродяга спасает красивую молодую особу Серафину Уайт от покушавшегося на нее бандита. Однако Генри Боссборн — таково имя героя — не заурядный бродяга; его манеры выдают его непростое происхождение. Серафина в знак благодарности пытается устроить своего спасителя на фабрику, принадлежащую ее деду. Старик Уайт готов нанять Генри в качестве рабочего. Но последний отклоняет это предложение и просит дать ему две недели сроку, чтобы осмотреться и самостоятельно выбрать себе должность. Второй владелец фабрики критически относится к такому предложению, однако старый Уайт соглашается.

В следующем эпизоде Генри Боссборн уже выступает в роли реформатора фирмы Уайта. Старик умирает, Генри намеревается построить для Серафины дом в новом стиле вместо старого семейного очага, в котором она живет. Серафина в негодовании...

Новый эпизод. Героиня все-таки поселяется в новом доме, построенном по плану Боссборна. Упрекнув однажды Генри в том, что он редко показывается ей на глаза, Серафина заверяет, что если он опасается каких-либо притязаний с ее стороны, то эти опасения беспочвенны: она об этом и не помышляет. Генри в недоумении.

В этой сцене происходит диалог, в котором, видимо, и содержится расшифровка замысла всего произведения. В ответ на заявление Серафины о желании оставаться полностью независимой, Генри говорит:

— Я никого не принуждаю. Я лишь указываю путь.

Серафина. Ваш путь, но не наш.

Генри. Не мой и не ваш путь, а путь мира, указанный свыше...

Однако взгляды Серафины не меняются. Единства мнений нет. На этом обрывается действие и рукопись...

Пересказав содержание этих сцен, «Тагесшпигель» замечает: неясно, рассматривал ли Шоу готовые страницы как основные сцены или как сцены, подлежащие впоследствии коренной переработке. Неясно также, какую часть пьесы составляют эти 16 страниц рукописи. Известно лишь, что творческой фантазии Шоу были свойственны неожиданные повороты, и мы можем только строить догадки о том, в каком направлении устремлялась она, прежде чем угаснуть навсегда...

* * *

Как сообщает газета «Нью-Йорк таймс», английский драматург Лайонел Бриттон, удостоенный столь редкой в устах Шоу похвалы за его пьесу, опубликованную 25 лет назад, написал окончание комедии «Почему она не хотела» и намерен издать ее в июне 1956 года — к столетию со дня рождения «великого ирландца».

Разрешение на публикацию должно быть, однако, предоставлено Бриттону советом директоров Британского музея; он должен также высказать свое мнение о возможности постановки этой пьесы на сцене.

ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ ТОМАСА ХАРДИ

В издательстве «Хогарт» вышли в свет «Записные книжки Томаса Харди». Первая — бóльшая по объему — охватывает период с 1867 по 1920 год. Вторая включает в себя записи, сделанные писателем в 1921—1928 годах.

БОЛГАРИЯ

ПИСАТЕЛИ В 1956 ГОДУ

Георгий Караславов работает сейчас над второй частью романа «Обыкновенные люди», где будет показано, как под влиянием исторических событий и главным образом Великой Октябрьской революции бурно росло политическое сознание народных масс. В центре повествования — судьба Станки Тошавровой, типичной представительницы болгарского трудового крестьянства. К концу 1956 года писатель рассчитывает закончить давно задуманную повесть о жизни достойного сына партии, воспитанника РМС (молодежной коммунистической организации) Бояна Чоноса.

Повесть расскажет о том, какие чистые, светлые, талантливые люди отдали свою жизнь в борьбе за торжество новой жизни.

Кроме того, Георгий Караславов работает над комедией, посвященной современной болгарской деревне, труженикам одного сельскохозяйственного кооператива.

Издательство «Народная культура» предполагает начать в течение этого года издание десятитомного собрания сочинений Караславова. В него войдут лучшие беллетристические и публицистические произведения писателя.

Людмил Стоянов работает над автобиографическим романом «Детство, юность и война», охватывающим события с 1892 года до второй мировой войны.

В начале 1956 года выйдут из печати два последних тома избранных произведений писателя, в одном из которых собраны статьи, в другом — пьесы. В этом году выйдет также из печати «Слово о полку Игореве» в переводе Л. Стоянова.

Димитр Талев работает над подготовкой второго, дополненного издания романа «Илинден», над историческим романом и романом о современной Болгарии.

Стефан Дичев рассчитывает закончить в этом году вторую часть романа «За свободу»; в ней будет рассказано о событиях 1868—1873 годов. В центре сюжета — история создания болгарского Революционного центрального комитета. Главным героем второй части явится известный деятель революционного движения Левски; наряду с ним большое место займут образы революционных демократов Ботева, Каравелова, Хаджи-Димитра и др.

Валерий Петров, вернувшись из четырехмесячной поездки по Китайской Народной Республике, пишет книгу путевых записок в прозе и стихах. Кроме того, он задумал сценарий кинокомедии на современную тему.

Димитр Чавдаров-Челкаш работает над книгой впечатлений о Монгольской Народной Республике, где он не так давно побывал.

БРАЗИЛИЯ

„РИО, 40°“

«Начальник полиции запретил демонстрацию кинофильма «Рио, 40°»,— это краткое сообщение, появившееся в бразильской прессе в сентябре прошлого года, послужило поводом для широкой кампании протеста, развернувшейся по всей стране.

Молодой режиссер Нельсон Перейра дос Сантос поставил фильм, посвященный Рио-де-Жанейро и его жителям. Маленький негритенок, продавец земляных орехов, с его единственным другом — ящерицей, жители трущоб, рабочие, спортсмены,— таковы главные герои этого фильма.

На экране показан один из обычных летних дней в Рио-де-Жанейро, когда температура достигает сорока градусов по Цельсию. Кинокамера запечатлела всю многообразную жизнь большого города. Создатели фильма не приукрашивают действительность: нищета трущоб, страшный вид полуразвалившихся домишек бедноты резко контрастирует с фантастической роскошью богатых кварталов аристократического района Копакабана.

Крупные деятели бразильской культуры и прогрессивная печать единодушно признали, что фильм «Рио, 40°» является одним из лучших произведений бразильской национальной кинематографии. Против этого не возражала даже официальная цензура, разрешившая его демонстрацию. Но начальник полиции заявил, что в Рио-де-Жанейро «не бывает сорокаградусной жары», что в фильме показаны «отбросы общества», под которыми, очевидно, подразумеваются бедняки, и что фильм вообще плох, «так как нравится коммунистам».

Однако на многочисленных собраниях и в печати бразильская прогрессивная интеллигенция и деятели культуры потребовали отмены незаконного запрещения и предоставления гарантий свободы творчества.

Широкая кампания за свободную демонстрацию кинофильма «Рио, 40°» — один из характерных эпизодов борьбы бразильцев за независимую и самобытную национальную культуру.

* * *

Бразильский писатель Жоржи Амаду посвятил запрету фильма «Рио, 40°» гневную статью, звучащую одновременно и как протест против незаконных действий полиции и как призыв к объединению всех прогрессивных сил страны. «Демонстрация картины запрещена под самыми нелепыми предлогами; за ними кроются истинные причины запрещения: желание окончательно уничтожить наше киноискусство и таким образом помочь американским кинофирмам... попытка заставить замолчать наших деятелей культуры, воспрепятствовать тому, чтобы они отражали жизнь народа, создавали национальные произведения, полезные для народа... Запрещение «Рио, 40°» — лишь слабая попытка реализовать планы врагов нашей свободы и нашей культуры. Они начинают с фильма Нельсона Перейра дос Сантоса с тем, чтобы в дальнейшем обрушиться на театр и литературу, живопись и музыку.

Не протестовать против начавшегося сейчас наступления на культуру — значит действовать в духе преступного и рокового сообщничества»,— пишет в этой статье Жоржи Амаду.

НА СТРАЖЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Трагические контрасты бразильского Северо-Востока — края несметных бо-

гатств и жестокой нищеты трудящихся — широко известны по романам Жоржи Амаду «Бескрайние земли» и «Земля золотых плодов».

Не так давно в Ресифе был созван «Конгресс спасения Северо-Востока», на котором обсуждались экономические и социальные проблемы северо-восточных, наиболее отсталых районов Бразилии. На конгрессе был также поднят вопрос об охране и развитии народного искусства этих штатов. Художники, артисты и музыканты Северо-Востока показали делегатам лучшие образцы своего искусства. Делегаты посетили фабрику граммофонных пластинок Мокамбо, выпускающую записи народных мелодий в исполнении известных певцов и музыкантов района Пернамбуку: братьев Валенса, Капиба, Зумба, Закариаса и других. На керамической фабрике Сан Жоан да Варзеа делегаты познакомились с чудесными образцами народного прикладного искусства. Большое впечатление на делегатов произвело выступление женского хора под руководством Альваро Коста, исполнившего песни поэта Жайме Гриз на мотивы народных песен.

Корреспондент газеты «Импренса популар» пишет: «Делегаты конгресса имели возможность услышать наши музыкальные произведения, основанные на подлинных бразильских традициях, не носящие и следа разлагающего влияния космополитической музыки североамериканского декаданса. Не знаешь, чем восхищаться больше: единством ансамбля, прекрасным выбором тем или чистотой мелодии».

ИНТЕРЕС К ЧЕХОСЛОВАЦКОМУ КИНО

Как сообщает еженедельник «Зонntаг», в Бразилии организовано кинобюро по распространению чехословацких кинофильмов. Различные латиноамериканские страны заключили с Чехословакией соглашения о развитии кинообмена. Проводятся также месячники чехословацкого фильма.

Театр «Берлинский ансамбль» поставил комедию А. Н. Островского «Воспитанница». В роли Нади выступила мексиканская актриса Росаура Ревуэльтас, завоевавшая широкую известность своим участием в картине «Соль земли». На снимке: Росаура Ревуэльтас в роли Нади и Лотар Беллаг в роли Леонида.

(*Газета „Трибуна люду“*)

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

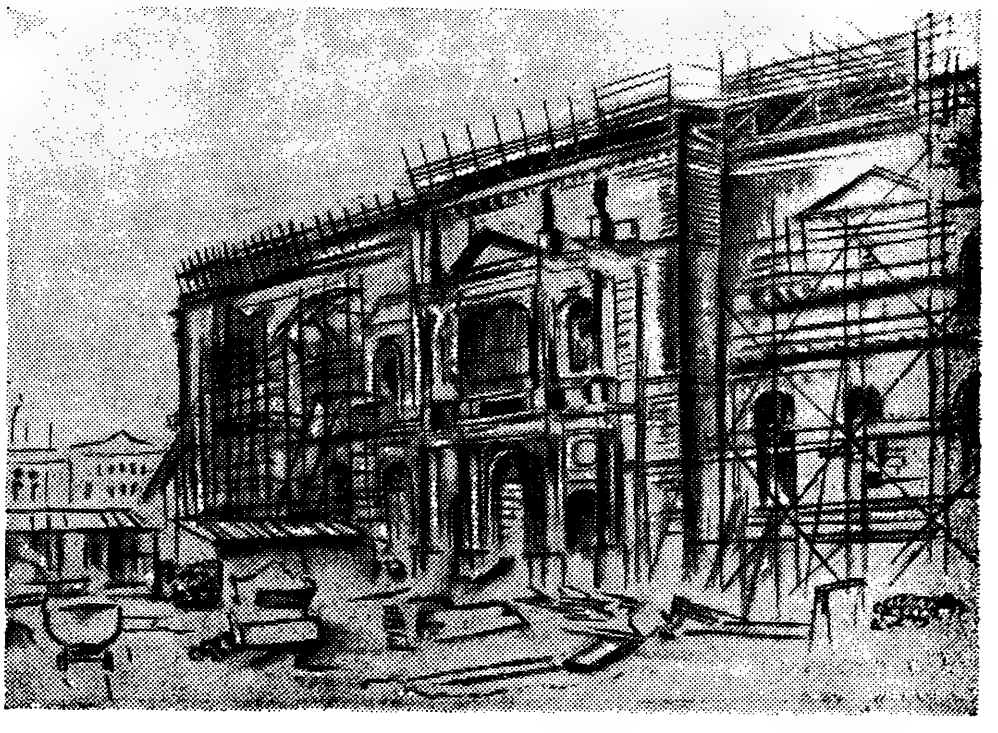
АНГЛИЙСКАЯ ГАЗЕТА О ТЕАТРЕ БРЕХТА

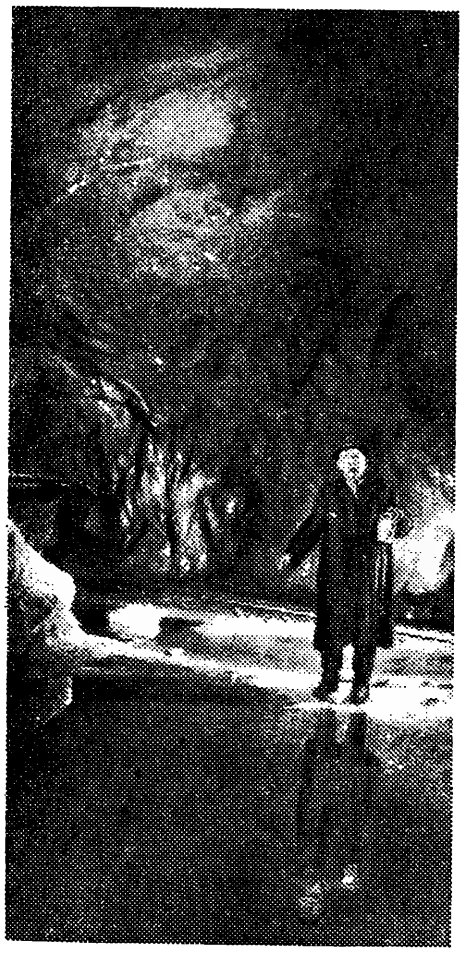
Лондонский еженедельник «Обзёрвер» поместил статью, в которой содержится странная положительная оценка деятельности театра «Берлинский ансамбль», руководимого Бертольдом Брехтом.

«Бертольд Брехт,— пишет автор статьи,— некоронованный король современной немецкой драмы, является мощной притягательной силой для зрителей из Запад-

Летом этого года во вновь отстроенном здании музея Земпер должна быть размещена Дрезденская картинная галерея. На снимке: строительство здания музея Земпер в Дрездене.

(*Еженедельник „Зонntаг“*)





В этой пещере войсками Советской Армии были обнаружены сокровища Дрезденской галереи. Здесь они были спрятаны нацистскими варварами, которые свалили их в кучу или наспех прислонили к сырым стенам.
(Еженедельник „Нейе Берлинер иллюстрирте“)

ного Берлина и из Западной Германии, а также для зрителей всего западного мира вообще». В творческой манере Брехта, по мнению автора статьи, есть моменты, напоминающие Шекспира. «Большой драматург, являющийся вместе с тем и крупным режиссером, он сам пишет пьесы для своего ансамбля и сам инсценирует их...» «Театр Брехта,— продолжает комментатор,— представляет собой одно из замечательных явлений наших дней... Стоит совершить длительную поездку в Берлин, чтобы увидеть «Берлинский ансамбль»...»

Как сообщила западногерманская газета «Фрейес фольк», английская публика впервые получила возможность познакомиться с творчеством Брехта по недавней радиопередаче драмы «Матушка Кураж».

По словам газеты «Фрейес фольк», «содержание и тенденция пьесы вызвали у критики большой интерес».

ЮЛИУС ФУЧИК О ГЕНРИХЕ ЦИЛЛЕ

Газета «Зонntаг» опубликовала, впервые на немецком языке, статью Юлиуса Фучика о крупнейшем немецком графике конца XIX века Генрихе Цилле. Фучик очень тепло писал об этом «художнике пролетарского Берлина, друге всех бедняков из предместий». Цилле сделал жизнь народа единственной темой своего гуманистического творчества... «Его социальные рисунки полны страшной грусти, незлобивого отчаяния и настойчивого призыва о помощи»,— пишет Фучик. Художник яркого, самобытного дарования, Цилле пользовался огромной популярностью среди трудящихся, но только к концу жизни, 76 лет, был избран в Академию. Умер Цилле в бедности.

Статья Фучика о Цилле была написана в 1929 году.

ФИЛЬМ О ТОМАСЕ МЮНЦЕРЕ

В киностудии ДЕФА начались съемки цветного фильма «Томас Мюнцер» по сценарию Фридриха Вольфа. Роль Томаса Мюнцера исполняет западногерманский актер Вольфганг Штумпф.

Лозунг, под которым вели свою освободительную борьбу крестьяне XVI века, руководимые Мюнцером, гласил: «Мы протягиваем руку нашим братьям за Майном». Этот лозунг, ставший рефреном песни, которую поют крестьяне в фильме, имеет теперь, как подчеркнул режиссер фильма Мартин Гельберг, такое же значение, как и четыреста лет назад.

В фильме снимается 20 западногерманских актеров.

* * *

В городском архиве города Цвиккау обнаружен автограф Томаса Мюнцера — его расписка в получении денег, датированная тем самым днем 1521 года, когда князья церкви заманили его в замок Остергейм и подвергли заключению. Интересна его собственноручная подпись: «Томас Мюнцер, тот, кто борется за правду в мире».

Западногерманский актер Вольфганг Штумпф в роли Мартина Лютера.
(Газета „Нейес Дейчланд“)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

ЗА ТЕСНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ

В Берлине, западном и восточном, существует шестнадцать театров, среди них три оперных. Однако, как отмечает журнал «Франкфуртер хефте», берлинцы для посещения театров слишком редко решаются переступать зональную границу, что мешает им пользоваться достижениями немецкой культуры в полном объеме. В статье, написанной по поводу ежегодного берлинского фестиваля, говорится: «В виде курьеза можно рассказать, как самым серьезным образом обсуждался вопрос о том, нельзя ли организовать гастроли труппы Брехта с его «Кавказским меловым кругом» в западноберлинском «Шиллер-театре» при условии, что «Шиллер-театр», со своей стороны, выступил бы в восточном Берлине с инсценировкой «Войны и мира» Толстого, сделанной Пискатором. Никому не пришло в голову, что в Берлине за 25 пфеннигов можно доехать на метро не до «Шиллер-театра», а до Шиффбауэрдама и там, в театре Брехта, посмотреть «Кавказский меловой круг».

Высказываясь за установление культурных связей вопреки зональной границе, автор статьи уделяет особое внимание пьесе Макса Фриша, в которой затронут этот наболевший вопрос. Пьеса Фриша называется «Китайская стена».

«Китайская стена»,— поясняется в статье,— стала для Фриша олицетворением постоянно повторяющейся попытки остановить время и сохранить status quo. Китайский император велел воздвигнуть ее потому, что надеялся с ее помощью задержать течение истории... Импозантное заблуждение длиною в десять тысяч ли («что соответствует расстоянию от Берлина до Нью-Йорка»,— дополняет Фриш). Время нельзя остановить, а стеной можно отгородиться от многого, но не от правды. Она прорывается повсюду, и китайские стены, как каменные, так и идеологические, превращаются в смешные анахронизмы еще прежде, чем их достраивают».

В СТРАХЕ ПЕРЕД ПРАВДОЙ

Роман «И в делах — человек» является первой книгой молодой писательницы Урсулы Рютт. Автор выступает против атмосферы взяточничества и бюрократизма, царящей в боннском государственном аппарате. Мартин Бруннер, герой ее книги, посмел быть человечным при исполнении служебных обязанностей. Вместо болтовни с сослуживцами, вместо флирта с секретаршами он охотно принимает просителей и человечно относится к ним, стараясь им помочь. В романе показана вся ярость, с какой обрушивается на Бруннера сплоченная чиновничья клика. Для него наступают трудные дни. Очутившись без денег и без работы, он подвергается издевкам и начинает унизительное хождение по инстанциям. Его жена, отчаявшись, пытается покончить жизнь самоубийством. Автор, видимо, не решился довести повествование до логического конца; когда его герой, почти окончательно потеряв надежду, обращается в последнюю инстанцию, ему улыбается счастье: его восстанавливают на работе.

Издать такой роман в Федеральной Республике Германии оказалось невозможным. Ни одно издательство не согласилось приобрести рукопись Урсулы Рютт. Может быть, новая книга не обладала необходимыми художественными качествами? Нет, этого о ней сказать нельзя. Немецкий писатель, действительный член Академии искусств ФРГ Вальтер фон Моло, прочитав роман Урсулы Рютт, обратился к писательнице с приветственным письмом, в котором подчеркнул высокие достоинства ее произведения. «Эту книгу,— писал Вальтер фон Моло,— должен прочитать каждый, кто ищет не только развлечения, но и хочет укрепиться духовно, поднять свое человеческое достоинство... Такой литературный дебют внушает большие надежды. Продолжайте в том же духе! Рад за вас!»

Все же роман «И в делах — человек» был выпущен, но не в Западной Германии, а в Швейцарии, где им заинтересовалось издательство «Штейнберг ферлаг».

Но, как сообщила газета «Фрейес фольк», лишь только «крамольная» книга пересекла границу ФРГ, боннские чиновники, имеющие, очевидно, основание бояться правды, забили тревогу. Специальным постановлением суда распространение романа Урсулы Рютт было запрещено в пределах ФРГ. Экземпляры, поступившие в книжные лавки и библиотеки, подверглись срочному изъятию. Западногерманский комитет по защите авторских прав немецких писателей выступил с протестом против подобных полицейских мер, указав, что они являются нарушением боннской конституции. Однако протест этот был оставлен без внимания.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПЕРЕВОДЧИКОВ

По сообщению журнала «Вельт унд ворт», в Бонне начал выходить ежемесячный журнал «Ревю энтернасьональ де ла традюксьон».

В задачи журнала, являющегося, по словам «Вельт унд ворт», «первым в мире международным переводческим журналом», входит освещение различных проблем теории и практики перевода.

Журнал издается по инициативе и при поддержке ЮНЕСКО.

ПАМЯТИ КУРТА ТУХОЛЬСКОГО

«Двадцать лет прошло с тех пор, как Курт Тухольский, охваченный отчаянием, положил конец своей жизни.

Он любил и ненавидел всей душой. Ничто не казалось ему более презренным, чем «тепленькое». Удар в сердце был нанесен ему тогда, когда он почувствовал себя лишенным возможности обращаться к людям, которые на его глазах в ослеплении, страхе и равнодушии шли дорогой гибели».

Так начинается статья о Курте Тухольском, напечатанная в газете «Фрейес фольк». Эта статья посвящена жизни и творчеству талантливого поэта и публициста, погибшего в эмиграции через два года после того, как на его родине нацисты захватили власть. Мастер бичующей сатиры, Тухольский разоблачал общественные порядки, основанные на угнетении трудящихся. С непримиримой ненавистью он относился к империалистическим войнам.

«Известно ли нам всем, что Тухольский и сейчас рядом с нами? Что оружие, выкованное им, и сегодня смертоносно для наших врагов?» — спрашивает газета «Фрейес фольк».

В ГДР в серии «Современные книги для чтения» вышел сборник произведений Тухольского. Этот сборник открывается литературно-биографическим очерком, написанным Вальтером Виктором. Газета «Фрейес фольк» высоко оценивает книгу, считая, что она представляет несомненный интерес для всей Германии.

ХОРОШЕЕ НАЧИНАНИЕ

«Гильдия немецких художественных кинотеатров» существует уже три года. В ней объединены те владельцы западногерманских кинотеатров, которые протестуют против низкопробных фильмов иностранного и отечественного происхождения, заполнивших экраны. Созданное в настоящее время добровольное общество «Друзья гильдии» должно способствовать подъему немецкого киноискусства на основе прогрессивных традиций, как национальных, так и международных. В кинотеатрах Дюссельдорфа, Кельна, Гамбурга, Мюнхена, Франкфурта и других городов для «Друзей гильдии» проводятся специальные сеансы, во время которых повторно демонстрируются широко известные фильмы, в том числе «Броненосец «Потемкин», «Мать», «Конец Санкт-Петербурга», французский фильм «Антракт», поставленный Рене Клером. Показываются и лучшие образцы киноискусства, недавно вышедшие на экран, в частности японский фильм «Дети Хиросимы».

Членом общества «Друзья гильдии» может стать каждый гражданин, достигший шестнадцати лет. Предполагается, что общество, организованное в Мюнхене, будет иметь свои отделения и в других городах ФРГ.

По достоинству оценивая значение этого полезного дела, газета «Фрейес фольк» пишет: «Вместо того чтобы примиряться с предлагаемой ему неполноценной продукцией, зритель должен определять свое отношение к показываемому и тем самым помогать киноискусству открывать новые пути и становиться художественным отображением нашего времени».

* * *

Английское музыкальное издательство, существующее в Бонне, выпускает в свет выдающиеся произведения современных композиторов. Как сообщает газета «Фрейес фольк», в этом издательстве выходят сочинения Прокофьева и Шостаковича, Хачатуряна и Кабалевского.

ДАНИЯ

ВЫСТАВКА ФАРЕРСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Союз художников Фарерских островов организовал в Копенгагене выставку работ двадцати художников. Союз, созданный в 1941 году, ставит своей целью поощрять развитие национальной живописи и закупать картины для создания национального музея изобразительных искусств. Среди выставленных экспонатов произведения пейзажистов Нильса Крусе, И. Вогстейна, картины писателя В. Хейнессена.

Газета «Ланд ог фольк» отмечает большую художественную ценность выставки, свидетельствующей об одаренности национальных фарерских мастеров, многие из которых являются самоучками. Помимо Копенгагена, выставка будет показана и в ряде других датских городов.

ЕГИПЕТ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЕГИПЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Египетские писатели, представляющие различные политические взгляды и литературные направления, выступили с совместным заявлением, в котором целиком поддерживают политику правительства Насера.

В этом заявлении, в частности, говорится: «Египетские литераторы, сознающие свою ответственность в деле защиты отечества, мысли и культуры, идут сегодня сплоченными рядами за египетским правительством, отстаивая независимость и свободу родины и будущее культуры, всецело одобряя сопротивление премьера Гамаля Абдель Насера любой попытке вмешательства и давления извне и веря, что он будет и дальше оставаться на этой позиции».

Среди подписавших это заявление писатели Таха Хусейн, Нагиб Махфуз, Ихсан Абд аль-Кудус, Абд ар-Рахман аш-Шаркави, Юсуф Сибаи и другие.

СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Газета «Аль-Гумхурия» сообщает о создании единой писательской организации в Египте — «Общества литераторов», которое объединило многочисленные клубы, существовавшие в стране. Всего в составе «Общества литераторов» 500 человек, представляющих различные литературные и политические направления.

Председателем новой писательской организации избран ветеран арабской литературы Таха Хусейн. Общественность Египта приветствует создание единой писательской организации, выражая надежду, что ее деятельность будет способствовать расцвету литературы в стране.

НОВЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

За последнее время в Египте создано два новых издательства — «Дар ан-Надим» и «Дар аль-Фикр». Издательство «Дар ан-Надим» выпустило книгу Мухаммеда Аввада «Народный Китай». Издательство «Дар аль-Фикр» издает новую книгу прогрессивного египетского писателя Абд ар-Рахмана аш-Шаркави «Бандунг».

ПРОТИВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ЖУРНАЛОВ

В Египте усиливается волна протеста против распространения американских журналов, издаваемых на арабском языке. Известный египетский литературовед Махмуд Амин аль-Алим в статье, напечатанной в журнале «Роза аль-Юсуф», призывает запретить распространение этих журналов в Египте, как это сделало правительство Неру по отношению к некоторым американским изданиям в Индии.

ЕГИПЕТСКИЙ РОМАН НА ВЕНГЕРСКОМ ЯЗЫКЕ

Как сообщает журнал «Роза аль-Юсуф», в Венгрии переводится роман крупного современного египетского писателя-реалиста Нагиба Махфуза «Переулок аль-Мидакк».

ИНДИЯ

ИЗДАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В. И. ЛЕНИНА

Многие произведения В. И. Ленина переведены на языки народов Индии и пользуются в этой стране большой популярностью. Калькуттское издательство «Нэшнл бук эйдженси» выпустило ряд ленинских работ в переводе на бенгальский язык. Среди них «Что делать?», «Шаг вперед, два шага назад», «Две тактики социал-демократии в демократической революции», «Детская болезнь «левизны» в коммунизме», «Государство и революция»; находится в печати книга В. И. Ленина «Империализм, как высшая стадия капитализма».

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ С ГДР

Писатель и руководитель театральной труппы Харындранат Чаттопадхайя, посетивший ГДР, поместил статью в еженедельнике «Зонntаг».

«Я особенно интересовался театром,— пишет он,— так как правительство Индии планирует сооружение здания Национального индийского театра. Два архитектора были посланы за границу. Я считаю достойным крайнего сожаления, что оба эти архитектора, побывавшие, насколько мне известно, также и в Западной Германии, не посчитали необходимым посетить демократический Берлин, где находятся такие прекрасные театры, как, например, Государственная опера, Народный театр, Немецкий театр и «Берлинский ансамбль».

По возвращении в Индию я сообщу об этом моему другу премьер-министру Неру и вместе с тем внесу предложение о приглашении специалистов из Германской Демократической Республики для оказания помощи в строительстве нашего театра».

В той же статье Х. Чаттопадхайя одобряет сообщение о том, что вскоре в Индию направится делегация киноработников из ГДР, намеревающаяся вести переговоры о совместных съемках фильма.

ТРАГИЧЕСКАЯ СУДЬБА МОЛОДОГО ПИСАТЕЛЯ

Карнайлу Сингху не довелось увидеть в печати свой рассказ «Солнце человечества», опубликованный 5 сентября 1955 года в еженедельнике «Лон-Джуг»,— рассказ о юноше, отдавшем свою жизнь во имя счастья родины. 15 августа, в День независимости страны, Карнайл Сингх погиб в Гоа (португальская колония на территории Индии) во время избиения мирной демонстрации, требовавшей покончить с остатками колониализма.

Выросший в крестьянской семье молодой пенджабец становится учителем, открывает магазин прогрессивной книги. Страстно любящий литературу талантливый поэт и прозаик Карнайл Сингх четко определил свой жизненный путь гражданина и писателя, путь беззаветного служения народу. «Моя мечта — походить на Гурбакша Сингха *»,— говорил он.

---

* Гурбакш Сингх — один из старейших пенджабских писателей, член Всемирного Совета Мира.

Воспоминания товарищей, брата Карнайла Сингха, последнее письмо писателя воссоздают благородный облик молодого патриота. Просьбу об отпуске, необходимом для поездки в Гоа, Карнайл Сингх мотивировал болезнью матери. Когда же один из друзей упрекнул его в том, что он сказал неправду, Сингх ответил:

— Я имею в виду мать-родину.

Уезжая в Гоа, Карнайл Сингх не хотел тревожить своих близких, родных и товарищей; он не сообщил им о цели своей поездки. «Я понял, что мне нужно поехать, и я уеду. Это мой долг по отношению к народу. Надеюсь, вы меня простите»,— пишет он в письме брату. Перед отъездом он вложил свое последнее произведение — рассказ «Солнце человечества» — в конверт, запечатал его и сделал надпись: «Вскрыть, если я не вернусь».

«Мы гордимся тем, что Карнайл Сингх писал по-пенджабски,— подчеркивает в журнале «Притлари» Навтедж Сингх.— Мы горды тем, что наш журнал помог становлению молодого таланта... Когда Карнайл Сингх шел вперед, на устах его, вероятно, звенели слова написанной им песни:

— Братья, братья! Поднялась народная война.

Вы слышите ее? Свободу Гоа!»

КНИГИ БЕНГАЛЬСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

В Калькутте вышел в свет сборник антивоенных стихов бенгальских поэтов под названием «В защиту человека». Сборник состоит из четырех разделов; в него включены лучшие произведения поэтов Бенгалии, относящиеся к периоду от первой мировой войны и до наших дней. Последний раздел посвящен разоблачению колониализма.

В аннотации на этот сборник, помещенной в справочнике «Э Джугер Шахитью», говорится: «Встав на защиту народа, поэты Бенгалии показали... что они являются продолжателями великих литературных традиций Рабиндраната Тагора, а идеи мира, прогресса и свободы — их вклад в литературу».

В Калькутте издан также роман Голама Кушума «Морийом». Этот роман является первым произведением, в котором речь идет о жизни Восточной Бенгалии после раздела Индии в 1947 году. Действие романа начинается сразу же после раздела и заканчивается после всеобщих выборов 1954 года. В романе изображена жизнь одной рабочей семьи в железнодорожном поселке. Главной героиней книги является жена рабочего. Живя в ужасных условиях, снося бесконечные оскорбления, она не теряет чувства человеческого достоинства. Кушум показывает, как, преодолевая трудности и борясь против унижения, растет новый человек.

По мнению бенгальской критики, в художественном отношении роман не лишен недостатков, но новизна сюжета, гуманизм, правдивое изображение супружеской верности в рабочей среде — все это способствует положительной его оценке.

ИНДОНЕЗИЯ

ШЕКСПИР НА ИНДОНЕЗИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Писатель и поэт Трисно Сумарджо известен в Индонезии как переводчик пьес Шекспира. За последние несколько лет он перевел на индонезийский язык «Гамлета», «Венецианского купца», «Макбета», «Как вам это понравится».

Недавно в журнале «Индонесиа» — ежемесячнике, освещающем вопросы культуры и литературы, — был напечатан его перевод «Ромео и Джульетты».

В отзывах печати отмечается точность и мастерство, с какими сделан перевод. Поэт, проявив большую находчивость и изобретательность, сумел, не отклоняясь от оригинала, передать ряд понятий, совершенно необычных для индонезийского читателя.

ОБЩНОСТЬ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ

Индонезийский еженедельник «Маджалах мердека» сообщает об установлении тесных культурных связей между Малайей и Индонезией.

Малайцы проявляют огромный интерес к современной индонезийской литературе,— сообщает корреспондент журнала. В книжных магазинах Сингапура и других городов можно приобрести любые книги индонезийских писателей, начиная от произведений А. Муиса и кончая романами П. А. Тура.

Абдул Муис — один из самых популярных писателей старшего поколения, автор таких широко известных в Индонезии романов, как «Неправильное воспитание» и «Сурапати». Особый интерес представляет вторая книга, в которой рассказывается о яванском герое Сурапати, возглавлявшем крупные восстания против голландских колонизаторов в конце XVII — начале XVIII веков.

Прамудья Ананта Тур — представитель молодого поколения писателей. Ему 31 год, но он уже популярен у себя на родине как автор многих рассказов и романов, посвященных темам национально-освободительной борьбы. Так, например, в своем романе «Преследование» Тур рассказывает о жизни индонезийцев в условиях японской оккупации, а в книге «На берегу реки Бекаси» он описывает борьбу жителей острова Ява против английских интервентов.

Неудивительно, что в Малайе так живо интересуются творчеством этих писателей.

В журнале «Маджалах мердека» говорится также о том, что многие малайцы подписываются на индонезийские ежемесячники «Кисах» («Рассказ») и «Сени» («Искусство»), а также на ряд еженедельников с литературными приложениями.

Тот же журнал «Маджалах мердека» призывает к дальнейшему расширению культурных связей с малайским народом.

ИСЛАНДИЯ

НОВЫЙ РОМАН Х. ЛАКСНЕССА

В переводе на шведский и датский языки вышел новый роман Халлдора Лакснесса «Герпла». В этом произведении Лакснесс изображает жизнь на сканди-навском Севере во времена викингов, в эпоху насильственного введения там христианства; он показывает ход событий без всяких прикрас, пользуясь беспощадными сатирическими красками.

Шведская газета «Ню даг» посвятила роману большую статью своего редактора Густава Юхансона.

«Лакснесс — борец за мир,— пишет Юхансон.— И даже когда речь идет о далеких временах викингов, его симпатии на стороне людей, которые ловят камбалу, сельдь, тюленей,— на стороне тех, кого грабят викинги. С викингов снимается вся легендарная мишура; в результате они возникают перед нами как веселые, грязные, вонючие, хвастливые разбойники. Викинги презирают честный труд, считают воинственным и благородным делом массовое убийство и насильственное присвоение земель и имущества; они развлекаются тем, что, отдыхая после сражения, поднимают младенцев на острие копья».

В Дании роман Лакснесса вышел под названием «Богатыри на Севере». Газета «Ланд ог фольк» также посвящает книге большую статью. В ней отмечается, что материал для своего романа Лакснесс почерпнул из многих саг; в одной из них он нашел и своих главных героев — Торгеира и Тормуда, богатыря и скальда. «Лакснесс показывает,— пишет «Ланд ог фольк»,—что большинство мужчин и женщин в Исландии в те времена были отнюдь не героическими существами, а обыкновенными людьми, приземистыми и кривоногими, худыми, как скелеты, с опухшими суставами, узловатыми и искривленными от ревматизма. Лакснесс беспощадно развенчивает «дутую славу» богатырей и скальдов древних саг.

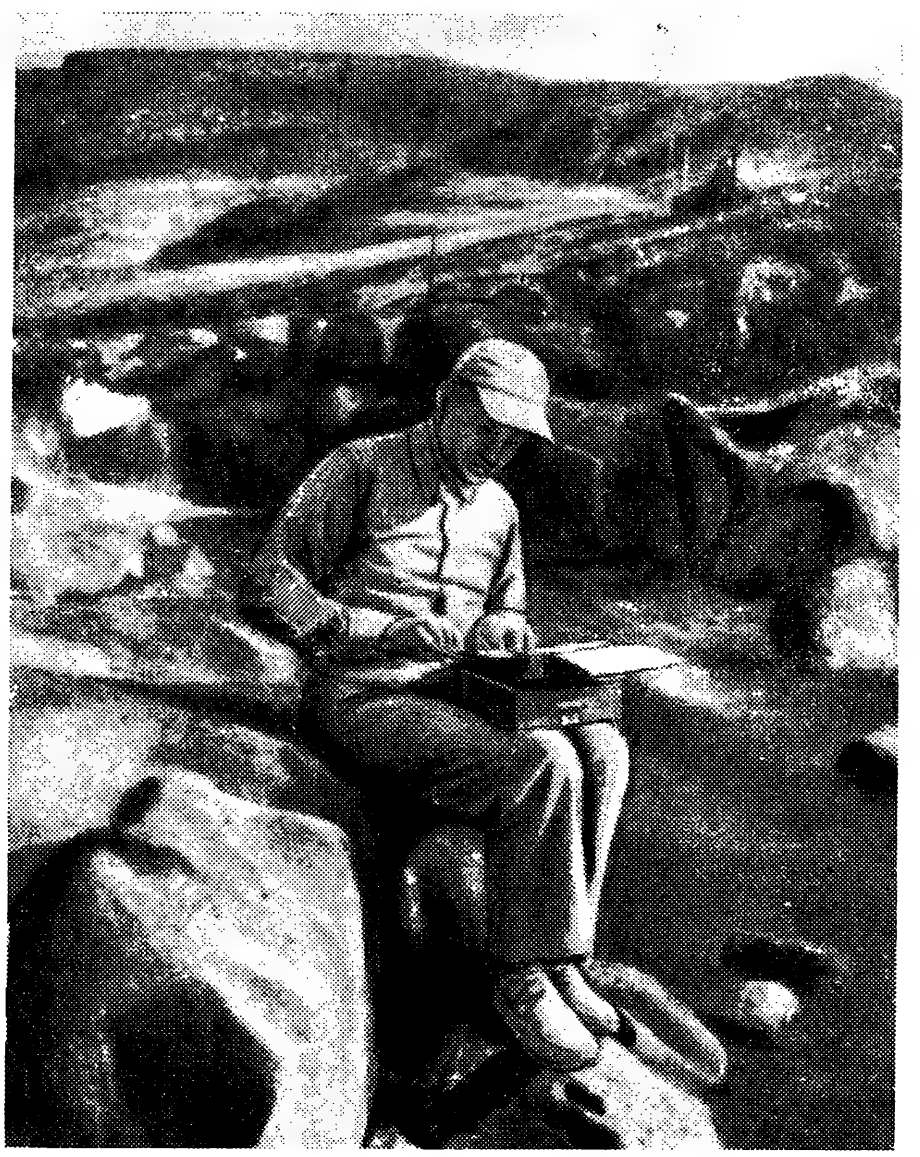
Лакснесс зло высмеивает также певцов, которые за хорошее вознаграждение готовы были воспевать какого угодно короля и приписывать ему самые замечательные подвиги».

ШВЕЙК НА ИСЛАНДСКОЙ СЦЕНЕ

«Нашональтеатрет» в Рейкьявике открыл сезон этого года постановкой инсценированного романа Гашека «Похождения бравого солдата Швейка». По сообщению газеты «Фрихетен», спектакль пользуется огромным успехом у зрителей. Норвежский театр «Ден национале сене» в Бергене рассчитывает осуществить эту постановку в следующем сезоне.

Халлдор Лакснесс за работой у себя на родине.

(*Еженедельник „Нейе Берлинер иллюстрирте“*)



Римский театр «Квирино» поставил пьесу американского драматурга Артура Миллера «Салемские колдуньи». На снимке: постановщик пьесы Лукино Висконти и актриса Адриана Асти во время репетиции.

(*Журнал „Вие нуове“*)

ИТАЛИЯ

„СЛОВА — ЭТО КАМНИ“

В издательстве Джулио Эйнауди вышла новая книга Карло Леви «Слова — это камни». В ней на фоне общей борьбы безземельных крестьян и рабочих серных рудников Сицилии изображена жизнь и судьба молодого социалиста, активиста крестьянского движения Сальваторе Карневале, убитого маффией по приказу помещиков. Центральная фигура романа — мать Сальваторе Франческа, которая смело нарушает заговор молчания вокруг преступлений, совершенных сицилийскими баронами и их наемниками; она бросает вызов маффии и возглавляет борьбу крестьян своего селения. По единодушному мнению прогрессивной печати, образ крестьянской матери Франчески Карневале — один из самых ярких женских образов в послевоенной итальянской литературе.

Наряду с высокими художественными достоинствами новое произведение Карло Леви отличается своей строгой, почти документальной точностью — перед читателем встают истинные события, происшедшие несколько лет назад на Сицилии.

Итальянские прогрессивные журналы и газеты посвящают новой книге Леви рецензии и публикуют отрывки из нее.

КНИГИ РУССКИХ И СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

За последнее время в Италии значительно увеличилось число переводов произведений русских и советских авторов. Внимание итальянских читателей привлек роман В. Некрасова «В родном городе», тема которого глубоко волнует многих итальянцев. Роман В. Некрасова вышел одновременно в двух разных издательствах — Джулио Эйнауди и Феллтринелли. Большую положи-

Писатель Карло Леви и героиня его новой книги «Слова — это камни» Франческа Карневале, мать убитого маффией вожака сицилийских батраков Сальваторе Карневале.

(*Журнал „Контемпоранео“*)

тельную статью посвятил роману критик Карло Салинари.

На итальянском языке вышли «Старинные русские сказки», сборник «Русский театр», составленный видным специалистом по русской литературе профессором Этторе Ло Гатто (им были отобраны для перевода двадцать пьес русских и советских авторов, начиная с XVIII века и до наших дней); в серии «Театральная библиотека» вышла впервые переведенная на итальянский язык книга Станиславского «Работа актера над собой»; готовится издание другой книги Станиславского — «Моя жизнь в искусстве». Для детей выпущен перевод рассказа А. Гайдара «Чук и Гек», известного в Италии по одноименному советскому фильму.

„ДЯДЯ ВАНЯ" В ТЕАТРЕ „ЭЛИЗЕО'

В одном из лучших римских театров «Элизео» идет с большим успехом пьеса Чехова «Дядя Ваня». Поставлен спектакль известным режиссером Лукино Висконти, который три года назад ставил также «Три сестры».

Журнал «Контемпоранео» отмечает, что творчество Чехова весьма популярно в Италии. Тот же журнал дает высокую оценку режиссерской работе Висконти, сумевшему создать волнующий, реалистический спектакль и тонко передать особенности чеховской пьесы. В рецензиях отмечается также игра Рины Морелли (Соня) и Марчелло Мастройянни (Астров). Роль дяди Вани исполняет известный актер Паоло Стоппа.

ОБРАЩЕНИЕ ДЗАВАТТИНИ

Итальянский писатель и киносценарист Чезаре Дзаваттини в статье, опубликованной в журнале «Чинема нуово», призвал все итальянские газеты и журналы независимо от их характера, направления, места издания и т. д. обратиться к своим читателям с вопросом: «Какой фильм вы поставили бы, если бы это зависело от вас?» и предоставить на своих страницах место для ответа на этот вопрос.

«Результаты такого «обследования»,— пишет Дзаваттини,— содействовали бы укреплению тех слабых связей, которые существуют в Италии между кинематографией и широким зрителем, и безошибочно показали бы, какие фильмы хочет увидеть итальянский зритель».

Прогрессивная печать широко откликнулась на это предложение. Газета «Унита» обратилась к своим читателям с просьбой присылать ответы на вопрос, поставленный Дзаваттини.

В Венеции была организована выставка полотен Джорджоне и его учеников, среди которых был, как известно, Тициан. Картины, собранные во Дворце дожей, являются собственностью многих музеев мира, в том числе и Ленинградского Эрмитажа. Всего на выставке было представлено 137 полотен Джорджоне и его школы. По сообщению печати, выставку посетило более 120 тысяч человек.

На снимке — автопортрет, приписываемый кисти Джорджоне.

(*Еженедельник „Зонтаг"*)

ЛЕТОПИСЬ НИЩЕТЫ

Недавно в итальянской печати появилось необычное сообщение: сицилийский писатель-католик Данило Дольчи объявил недельную голодовку, стремясь хотя бы таким путем привлечь внимание общественности и властей к острым и злободневиым вопросам современной сицилийской действительности. В своем заявлении для печати Дольчи указал на ряд таких вопросов, требующих немедленного разрешения: подыскание работы безработным, организация помощи семьям политических заключенных, расширение школьной сети. Тяжелому положению на-

селения Сицилии посвящена книга Дольчи «Бандиты в Партинико».

«Перед нами,— писала газета «Унита»,— не обычное литературное произведение, художественные достоинства которого нам предстоит оценить, а скорее одно из наиболее мрачных и трагических свидетельских показаний нашего времени».

В центре внимания автора книги все растущая волна бандитизма, захлестнувшая Сицилию. Дольчи указывает на причины этого характерного явления: хроническую безработицу и связанную с ней нищету, почти полную недоступность образования для выходцев из народа, разорение сицилийских рыбаков, которые не могут конкурировать с крупными компаниями, ведущими механизированный лов на моторных ботах.

Обо всем этом свидетельствуют рассказы простых людей Сицилии, собранные в книге Дольчи.

Оценивая новую книгу Дольчи, газета «Унита» подчеркивала: «Много было написано о проблеме бандитизма, но никогда еще жизнь этих областей, их мрачная, трагическая нищета, их изолированность от остального мира, их полное запустение не были освещены так ярко, как в книге Дольчи».

Работница пекинской типографии «Синьхуа» просматривает готовые экземпляры первого тома Сочинений В. И. Ленина, выходящих на китайском языке.

(*Газета „Гуанминьжибао“*)

кооперированию сельского хозяйства, в том числе новые книги Цинь Чжао-яна и Чэнь Дэн-кэ; о жизни рабочего класса расскажут новые книги Ай У и Лэй Цзя. Главная тема романа Мао Дуня, который будет закончен в этом году,— борьба против контрреволюционных элементов.

Начато издание нового собрания сочинений Лу Синя, избран
ний Горького
польских, ру
гарских писа

Кроме то
с юбилейн
выйдут произ
дасы, Досто
Шоу и Ибсе

НОВАЯ ПЬ

Лао Шэ н
пьесу «Чанъа
де»; в ней по
лачение пре
тельности
проходимца,
в государств
дение. Пьеса
жественном
тайской молод

ПОДГОТОВКА
МОЛ

В связи
первого Все
вещания мо
лей Союз ки
лей и ЦК
ческого Со
провели в
ратурный ве
дежи.

Выступавш
выдвижение
писательской

Во время пребывания делегации Германс
тической Республики в Китае премьер-
Гротеволь и министр иностранных дел Ло
сетили известного художника Ци

На снимке: Отто Гротеволь обменивается
с Ци Вай-ши.

(*Еженедельник „Нейе Берлинер*

КИТАЙ

ГОДОВЫЕ ПЛАНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВ

Издательства «Народная литература», «Писатель», «Искусство» и другие выпустят в этом году 469 книг; среди них главное место занимают новые произведения китайских писателей, отражающие ход социалистического строительства и социалистические преобразования в стране, а также книги советских писателей.

Как сообщает «Гуанминьжибао», свыше 50 произве-
дений будет посвящено

Цена 10 руб.